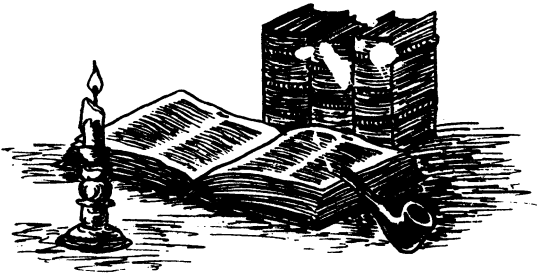


ПОХОД ВИКИНГОВ

ПОХОД ВИКИНГОВ

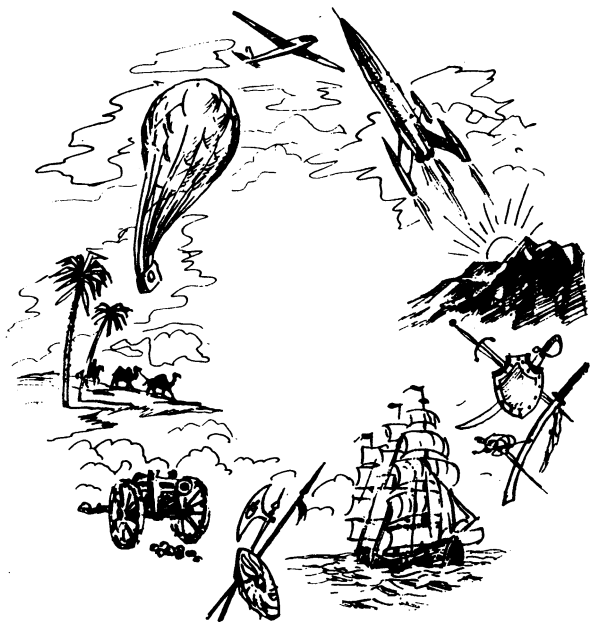


ПОХОД ВИКИНГОВ



СОБРАНИЕ РОМАНОВ

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА СУШЕ И НА МОРЕ**



Ж. Оливье
Поход викингов

А.Алтаев, Арт.Феличе

Меч Али-Атора
В великую бурю

«КЕЛВОРИ»
Москва, 1993

Иллюстрации
С. Э. КЛЕЙМАНА

ISBN 5—85917—001—7

ISBN 5—85917—004—1

© «КЕЛВОРИ»
Составление, 1993
© В. Ф. Расторгуев
Оформление, 1993
© С. Э. Клейман
Иллюстрации, 1993

Ж. Оливье
Поход викингов



Часть первая

Глава I

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЙРИКА РЫЖЕГО

Мальчишки прижались к скале и перевели дух. Старший, Лейф, повернулся к брату. Его смелое лицо стало суровым от напряжения.

— Мужайся, Скъольд! До вершины уже недалеко, а моя шапка полна яиц. Океан ревнив. Слышишь, брат, как он ревет, словно бык?

В его ясных зрачках заиграли веселые огоньки, смягчив резкие очертания носа, крепко вылепленных скул и широкого подбородка. И он с облегчением засмеялся, как бы гордясь своими мускулами, своей ловкостью и сообразительностью, которые помогли ему преодолеть крутую стену, нависшую над фьордом, — безраздельное и неоспоримое владение чаек, тупиков и морских ласточек. Ослепительно белые зубы сверкали, как у молодого волка. Улыбка раздвигала сочные губы, резко выделявшиеся на матовом лице. Он медленно обвел взглядом бескрайнюю даль, будто желая запечатлеть в памяти всю необъятную Вселенную, окаймленную тонкой линией туч.

На горизонте небо и море, казалось, покачивались, сливаясь воедино. Безмятежное спокойствие воздуха и морских просторов нарушалось лишь равномерными набегами волн. С глухим рокотом они разбивали свои пенные гребни о серые рифы Боргарфьорда.

— Ну как, Скъольд, отдохнул? Карабкайся за мной, не бойся!

— Дай мне отдышаться, Лейф. У меня все руки в крови и кружится голова. Так недолго и разбиться об эти проклятые скалы. Я не могу двинуться с места.

Лейф сунул за пазуху шапку с яйцами и протянул брату руку:

— Неужели ты боишься, викинг?

— Нет, Лейф, я просто выбился из сил.

Лейф опять засмеялся, да так громко, что вспугнул чаек, вивших гнезда в расселинах скалы.

— Скъольд, Скъольд,— продолжал он,— спой во весь голос песню Рагнара Лодброка, и кровь, как огонь, снова побежит по твоим жилам. Никогда не забывай, Скъольд, сын Вальтьофа, что ты из породы ярлов, презирающих усталость и страх. Пой, брат! Пой громче!

Скъольд рассмеялся вслед за братом и запел.казалось, слова знаменитой песни бросали вызов береговым утесам, беспредельному морю, крикливым чайкам. Мальчика увлек ритм песни. Голос его крепчал, становился все громче, звонче и разносился над каменным хаосом до самого небесного купола, омытого весенними грозами:

Я гибну, но мой смех еще не стих.
Мелькнув, ушли дни радостей моих.
Я гибну, но пою последний стих¹.

Выражение восторга преобразило его доброе, с тонкими чертами лицо, озаренное какой-то необычайной мягкостью, которая струилась из глубины его глаз. В зеленых зрачках Скъольда отражались озера, снежные вершины, тучи и грозы. Эти два зеркала, одинаковые, как близнецы, отражали все смятение его чувств.

Песня лилась, а голос звенел все громче и громче. Когда последние слова эхом отдались среди береговых скал, к мальчику уже полностью вернулось спокойствие духа.

— Я готов, Лейф,— сказал он.— Я крепко стою на ногах.

И Скъольд еще туже стянул свою куртку кожаным поясом с костяной застежкой.

— Держись крепче, брат! Нам еще придется трудно, но я уже вижу траву на вершине.

¹ Здесь и далее стихи в переводе Д. М. Горфинкеля.

Нога Скъольда ощупывала каждую неровность скалы. Тропинка, протоптанная дикими козами, казалось, висела в пустоте, как легкий каменный мост. Внизу, на расстоянии двухсот футов, по обеим берегам речки Хвиты, раскинулись поселок и пристань Эйрарбакки, образуя прихотливый узор из квадратов и прямоугольников, окруженных стенами оград и массивными скалами, загородившими фьорд. Уединенные фермы на склонах узкой долины, небольшие амбары, разбросанные там и сям на дальних пастбищах, дозорные башенки, посаженные на каменные зубцы утесов, — все это с такой головокружительной высоты казалось придавленным громадой каменной гряды.

Чем дальше мальчики подвигались вперед, тем сильнее бились их сердца. Еще немного, и они победят гору!

Олаф и Торфин, лучшие среди их сверстников ползуны по скалам, и те никогда не осмеливались на такой подвиг.

Да и среди взрослых мало кто отважился хоть раз в жизни пройти по этой козьей тропе. Рассказывали, правда, что давным-давно, еще в первые годы поселения викингов на берегах Исландии, некий Ивар без костей в любое время года, пренебрегая опасностью, пробирался по отвесной стене к гнездам белых с черными пятнами диких соколов — за птенцами, которых он затем дрессировал. Но это были только предания далеких времен, когда на земле еще властвовали боги — Один, Тор и могучая Фрейя.

Из-под ног Лейфа выскользнул камень, но юноша успел ухватиться за выступ скалы, окаймлявшей плоскогорье. Камень покатился вниз, подпрыгивая и ударяясь о гранитную стену. Четыре, пять, шесть отскоков! Прижавшись к стене, Скъольд не услышал шума от удара камня о прибрежные рифы.

Лейф напряг мускулы и подтянулся на плато.

— Дай руку, Скъольд!

Он привлек брата к себе и положил ему руки на плечи. Глаза его сверкали, как в тот день, когда на состязаниях в Брейдавики он победил в единоборстве Эгиля.

В эту минуту у Скъольда мелькнула мысль, что в опасных подвигах — вся прелесть жизни для его брата.

— Скульд! — воскликнул Лейф. — Подумай только, ведь мы взобрались на самую вершину скалы! Завтра ты должен будешь воспеть этот подвиг, как скальд Стюркар воспел победы Глума Воителя. Эта новая сага прогремит в мире. Моряки и купцы, покидающие наш остров, донесут до родной земли наших отцов славу о сыне Вальтьофа, Лейфе Турлусоне, которому в пятнадцать лет удалось победить скалу над Боргарфьордом.

Скульд нахмурился. Уже не в первый раз Лейф в час победы приписывает всю славу себе одному и забывает о брате. Но почему? Только потому, что он на два года старше, что плечи его шире, а мускулы крепче? А может быть, потому, что он привык верховодить сверстниками во время игры в мяч, стрельбы из лука и метания дротика? Или потому, что он с легкостью может переплыть фьорд и уже научился объезжать низкорослых полудиких лошадок, которых разводит их отец в горной долине Окадала?

А разве он, Скульд, при этом испытании рисковал меньше Лейфа? Разве он не прошел вслед за братом весь опасный путь?.. И так было всегда — с тех пор, как Скульд себя помнил.

Лейф угадал мысли младшего брата. Но сейчас было не время для обид.

— Скульд! Слушай, зеленоглазый викинг! Я хочу сказать тебе, что слава сыновей Вальтьофа перелетит через моря. Но в нашем роду испокон века старший сын носит оружие викинга, а младший воспеваает великие подвиги своего времени. По словам нашего отца, Вальтьофа, род Турлусонов всегда тем и был знаменит, что одновременно воспитывал и воинов и поэтов. А их современники равно почитали и тех, и других.

— Ты прав, Лейф, Арни Турлусон Тихий в давно минувшие времена привел наш род из Норвегии на остров Флокки, который он назвал Исландией. И, как только первый норвежский домик появился в Окадале, отец Арни, Освир Турлусон, сложил большую сагу о новой земле. Это было давно, очень давно, но нить преданий никогда не обрывалась. Вот и наш отец Вальтьоф — воин, он доходил на своем дракаре до берегов страны франков. А наш дядя Бьярни Турлусон...

— Тише, Скъольд! Не искушай неведомых духов, с которыми, может быть, борется в эту минуту наш дядя Бьярни Турлусон, великий скальд.

Братья умолкли. На их загорелые лица падали мелкие брызги, приносимые ветром с моря, и в то же время другой ветер, из глубины острова, насыщенный талой водой ледников, развеивал светлые волосы мальчиков.

Лейф и Скъольд находились на неровном плато, выпуклом, как щит, и усеянном серыми камнями и пучками исландского мха. Это было место, где сталкивались ветры, мчавшиеся из неведомых краев. Далеко-далеко из розовой дымки утра выступали высокие горы Исландии, перерезая горизонт. У подножия горной гряды раскинулась унылая, бесплодная страна. Недаром весь остров сохранил название «Исландия», данное ему первыми поселенцами. Это одновременно могло означать «Страна ледников» и «Пустынная страна».

Лейф бросил в воздух горсточку соли — дар древним богам, которым давно уже не поклонялись. Один, Тор и Фрейя канули в небытие вместе с древними легендами, но старинный обычай бросать богам щепотку соли не был забыт, и о нем вспоминали в дни значительных событий. Лейфа не покидало восторженное состояние.

— Скъольд! Мы победили скалу! Этими словами будет начинаться сага о братьях Турлусонах. Наша жизнь будет полна подвигов, как амбар — зерна. Мы с тобой отправимся в далекий путь на дракаре с длинными веслами. Я буду сражаться, а ты — петь. Имя твое прославится, сочетаясь с моим. Твои песни останутся в памяти нашего народа, властителя морей. Спой же, брат мой, песню о дракаре, спой ее для меня здесь, над морем!

— Но ведь песню о дракаре сложил дядя Бьярни, а ты знаешь, что с того дня, как он уехал, наш отец...

— Мы здесь одни, Скъольд! Слушай, я доверяю тебе важную тайну! — Юноша понизил голос: — Вальтьоф, наш отец, тоскует со времени отъезда своего брата, Бьярни, как тосковал бы и я, если бы ты уехал от меня в далекие страны. По ночам он ворочается в постели, стонет, призывает брата. После смерти нашей матери дядя Бьярни стал для отца самым дорогим че-

ловеком и таким же священным, как старое дедовское кресло с резными ручками, стоящее у очага. Отец говорил мне, что дядя Бьярни прославил нашу мать на веки веков, воспев мужество, с каким она приняла смерть. Так прекрасно этого не мог бы сделать ни один скальд. Когда дядя Бьярни вернется, отец встретит его с распростертыми объятиями и забудет оскорбление, которое тот ему нанес, пустившись в незнакомое море с изгнанником Эйриком Рыжим...

— Лейф! Лейф! Не произноси этого имени!

Лейф рассмеялся, и в голосе его звучала вся гордость викинга.

— Не произносить? Да я поклялся быть похожим на этого человека, который на голову выше всех...

— Замолчи, Лейф, замолчи! — Скольд подскочил к брату, пытаясь зажать ему рот. — Горе тебе, Лейф! Старейшины Исландии строго-настроено запретили произносить имя Эйрика Рыжего.

Но Лейф смеялся все громче и громче, и, казалось, никакие силы мира не могли бы удержать слова, рвавшиеся из его уст:

— Эйрик Рыжий — самый великий и самый гордый из викингов! Он осмелился бросить вызов судьям альтинга. Он осмелился сказать им, что море не кончается у шхер Гунбьерна. Что море катит свои седые волны гораздо дальше! Он не побоялся сказать, что намерен перейти запретную границу и плыть дальше шхер.

— Эйрик Рыжий изгнан, Лейф... Ты не имеешь права...

— Эйрик Рыжий свободен, как и все, кто последовал за ним. Свободен и наш дядя Бьярни. Судьи альтинга не пустятся искать их в чужие моря, которые бороздит «Большой змей». Эйрик Рыжий — морской ярл, и я, Скольд, той же породы. Я не побоюсь пропеть сложенную нашим дядей песню дракара перед жителями Эйрарбакки и перед судьями, приговорившими его к изгнанию...

Я сяду на лихого скакуна.
Меня помчит он в голубые дали.
Холмы, леса — они не для меня,
Я полюбил изменчивое море.

Ветры, кружившие над плоскогорьем, подхватывали стихи Лейфа, разнося слова, как дикие семена, что прорастут потом на неведомой земле. Голос Лейфа звучал сурово и глухо, иногда обрываясь чем-то похожим на стон.

Мальчики были одни на огромном плоскогорье. Грубая шерстяная куртка и кожаные штаны, прихваченные у колен и заправленные в высокие сапоги из воловьей кожи, похожие на толстые мокасины, мало защищали от порывов ветра, но братья, казалось, даже и не чувствовали холода. Им не давала покоя мысль, которая с прошлой весны, после решения судей альтинга об изгнании Эйрика Рыжего, будоражила умы всех жителей Эйрарбакки: кончается ли море у шхер Гунбьерна, этого пустынного архипелага, замеченного некоторыми моряками после двух суток плавания на запад? А что, если...

— Лейф! Лейф! Смотри на море... туда...

Вытянутой рукой мальчик указывал какую-то точку на горизонте, где в море вдавалась западная коса фьорда. К великому удивлению Скъольда, Лейфа это несколько не поразило.

— Я заметил это раньше, Скъольд. Это парус дракара поднимается из-за морских вод. Я не спешил об этом говорить, приняв его сначала за облачко на горизонте. Но теперь я уверен, что это парус. Ты понимаешь, Скъольд, — парус судна!

— Парус судна. Но оно не из наших, не из Эйрарбакки, не с Гебридских островов, не из Брейдавика. Весь наш флот в море, у восточного побережья. Люди из Брейдавика говорили, что пошли большие косяки трески и суда останутся там до тех пор, пока канаты не сотрут в кровь руки рыбаков.

— Все это я знаю. Слепая ворона и та заметила бы, что в гавани пусто. Неужели ты не догадываешься, Скъольд, какой корабль направляется к нам с запада? Это... это... Клянусь кольцом Фрейи, это...

«Кольцом Фрейи!» Эта старинная клятва произносилась только в самых торжественных случаях... Смутная мысль зародилась в мозгу Скъольда. По спине его пробежала дрожь — дрожь ужаса и восторга.

— Ты думаешь, Лейф?.. Ты клянешься кольцом Фрейи и молниями Тора?

Каждый из них разделял восхищение другого, не решаясь выразить обыкновенными словами то, что их так волновало и в чем они больше не сомневались.

— Нужно, чтобы мы были первыми. Дозорный на молу не может заметить судно, которое так далеко. Он долго еще не поднимет тревоги.

— Нужно, чтобы мы были первыми, — мечтательно повторил Скъольд. — Поэтому мы, наверно, и заговорили о дяде Бьярни... — И он приложил ладонь к глазам, чтобы лучше видеть. — Да, да, потому мы о нем и заговорили. Ветер с моря донес до нас дыхание дяди Бьярни.

Не в силах больше сдержаться, Лейф воскликнул:

— Эйрик Рыжий вернулся! Эйрик Рыжий уже близко! Он правит прямо на Эйрарбакки. Теперь-то мы узнаем, где кончается море. Если Эйрик Рыжий нашел проход через шхеры Гунбьерна, значит, он побывал в самом конце моря.

— И дядя Бьярни споет сагу о новых землях. О Лейф, веришь ли ты, что Эйрик нашел за морем другие земли... земли, подобные тем, откуда пришли наши отцы, где деревья сплелись вершинами и уходят в необозримую даль?

— Не знаю, видел ли он деревья, но я уверен, что дядя Бьярни смотрел в оба.

Воцарилось молчание. Парус рос на их глазах, расправляясь, как птичье крыло. Он был квадратной формы и укреплен на мачте, вделанной нижним концом в большую деревянную колоду.

Высоко приподнятые нос и корма не оставляли сомнения в том, что это за корабль. Это был «Большой змей», построенный по замыслу Эйрика Рыжего, — торговое судно, достойное плавать в океане и противостоять бурям в открытом море.

Солнечный луч, скользнув по волнам, на мгновение осветил находившееся все еще далеко чудесное судно, и Лейф со Скъольдом отчетливо различили красные полосы паруса и алую голову дракона над носом корабля.

— Эйрик Рыжий вернулся! Пойдем, Скъольд, и поскорее расскажем всем!

— Но ведь Эйрик Рыжий был изгнан из Эйрарбакки, — опасливо заметил Скъольд.

— Теперь его уже никто не изгонит. Эйрик Рыжий везет важные вести. Он узнал правду о море, которое находится за островами...

Порывистым движением Лейф выхватил из куртки свою шапку с яркой бахромой, наполненную яйцами чаяк.

— Я жертвую всю нашу добычу во славу Эйрика Рыжего, дяди Бьярни, во славу всех храбрых моряков с «Большого змея»! Пусть донесет ее к ним волна! — И он вытряхнул над грозной пучиной содержимое шапки.

— Пойдем, Лейф, — сказал его брат. — Пора поделиться со всеми нашей новостью.

И они пустились бегом по скале. В пятистах шагах была расщелина, и там начинался покатый склон к выгону, где паслись стада их отца, Вальтьофа.

Глава II

«БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

«Большой змей» мощно взрывал волну. Далеко в море вдавалась горловина фьорда, похожая на глотку собаки, ощерившей клыкастую пасть.

Эйрик и Бьярни неподвижно стояли на носу судна, не в силах оторвать взор от берегов родной Исландии, где они не были уже целый год. Вскинув голову, Эйрик отбросил назад две огненно-рыжие косы, по обычаю схваченные на затылке костяным гребнем.

— Послушай, Бьярни: необходимо, чтобы нам дали обо всем рассказать. Мы должны найти верные слова. Такие слова, которые поведали бы о наших подвигах. Слова, внушающие уважение.

— Достаточно и того, что ты вернулся, Эйрик. Это будет красноречивее всяких слов.

В Эйрике Рыжем угадывалась необыкновенная сила. Это был человек больше шести футов ростом, с округлыми, как гладкие скалы, плечами и такой широкой грудью, что стягивавшая ее оленья куртка, на которой Рагнар Кузнец расположил сотни металлических кружков, похожих на чешуйки большой рыбы, казалось, вот-вот должна была лопнуть по швам. От колен

до щиколоток шерстяные штаны были защищены тюленьими крагами. На викинге были сапоги из кожи задних ног вола, сшитой таким образом, что копыто служило каблуком, предохраняя моряка от скольжения на палубе. На поясе висел кинжал с узким клинком и рукояткой, инкрустированной ракушками. Рукава куртки, закатанные выше локтя и заколотые костяными булавками, открывали волосатые, с выпуклыми мышцами руки, похожие на ветви дуба, которыми размахивают могучие ветры на плоскогорьях Финмарка¹.

Холодная решимость его взгляда внушала уважение. Голубые глаза под дугами косматых рыжих бровей освещали все его лицо каким-то особым блеском, подчеркивая резкие скулы, тяжелые челюсти, мощный подбородок. Лицо это словно высечено было из непокорного гранита рукою смелого скульптора, который обработал его лишь вчерне, пренебрегая мелкими деталями. Широкий лоб, крупный нос, решительные губы, глубокие складки на щеках от глаз до подбородка — все выражало в нем твердую, властную, непреклонную волю. Тот, на ком хоть раз останавливался этот пристальный взгляд, никогда уже не мог забыть Эйрика Рыжего.

Бьярни Турлусон был скроен на тот же лад, но на голову ниже Эйрика. Волосы, собранные и стянутые на затылке узким ремешком, свободно ложились на плечи. На его подвижном лице, как в зеркале, отражалось все, что было на сердце, а веселая беспечность, искрившаяся в глазах, смягчала суровость, свойственную всем мореплавателям.

— Эйрарбакки!.. — тихо произнес Бьярни. — Мой брат Вальтьоф, наверно, потерял покой и сон с тех пор, как мы оставили родные места. Он питал к тебе большое уважение, Эйрик, но, когда я последовал за тобой, гневу его не было границ. «Ты идешь против закона, Бьярни, против закона! Альтинг изгнал Эйрика, потому что никто не может покинуть Исландию без разрешения судей. Ты пошел против закона, и закон обернется против тебя». Вальтьоф человек мудрый. С него достаточно и родных горизонтов, и он гордится лугами Окадаля.

¹ Ф и н м а р к — старинное название Дании.

Эйрик положил руку на плечо друга.

— А все же, что бы ты ни говорил, я буду просить твоего брата Вальтгофа отправиться с нами на новую землю. Человек он благоразумный и, я уверен, не откажется нас сопровождать.

— Как бы не так! Да он никогда не покинет своих земель, своей фермы в Окадале, своих хлевов и скота, своих сыновей и рабов, своего корабля и запасов ячменя.

— Да ему ничего и не придется покидать, кроме дома и пастбища. Сыновья и рабы последуют за ним на новую землю. Он поплывет туда на своем корабле и захватит с собой все свои богатства. Этой ночью я много раздумывал, Бьярни. Мы не имеем права брать себе всю огромную землю, что открыли за шхерами Гунбьерна. Эта новая страна должна расширить владения викингов. На южных склонах там прекрасные пастбища. Мы создадим новые поселения, и для этого надо, чтобы за нами последовали десятки исландских семейств. У нас будут десятки кораблей и десятки ферм. Это будет продолжением великого похода викингов на Западное море. Мы посеем ячмень и посадим капусту, а рыбы в тех местах такое множество, что ничего подобного не увидишь в водах наших фьордов. Оба лагеря, которые мы уже наметили, со временем превратятся в такие же, как Нидарос на Гебридских островах... А потом... потом, Бьярни, мы поднимем паруса и пойдем дальше, дальше, дальше, может быть, прямо на солнце!.. — И он решительно сплюнул в бурлящее море. — Но не это я им скажу, Бьярни. Викинги в Исландии давно разучились понимать язык моряков. Я буду говорить с ними на языке земледельцев, так чтобы они меня поняли. И, клянусь, мне это удастся. Тором и Гердой клянусь, нашими великими богами...

Он проговорил это глухо и печально. Две глубокие складки на его лице выступили еще резче.

— Раз ты вернулся сюда, Эйрик, великая мечта викингов не погибла... — вполголоса произнес Бьярни.

— Судьи альтинга изгнали меня за то, что я решил покинуть Исландию и уйти в море навстречу неизвестности. «Ты больше не вернешься на свои земли, Эйрик, — сказали они мне. — Ты сам отрезаешь себе путь в Исландию». Какая насмешка и какое оскорбление

для наших предков! Обуреваемые страстью к путешествиям, они отважно пускались в путь, едва закончив весенние работы на полях. В этом был смысл их жизни. Они с песней брали на бордаж новые моря. Но теперь все изменилось. Нынешние законы Исландии определяют пути кораблей и людей, как день и ночь определяют часы бодрствования и сна.

— В прежние времена законы были разумны, Эйрик. Все мужчины уходили торговать с родиной отцов¹ на новых судах, способных вынести любые бури, а работу на полях предоставляли рабам.

— Эти времена давно миновали, — усмехнулся богатырь.

— Правда, кое-кто сохранил в сердце любовь к морю, но таких можно по пальцам перечесть. Среди них и твой брат Вальтьоф. Вот эти люди мне и нужны.

Бьярни весело засмеялся:

— Ты шутишь, Эйрик! Вальтьоф больше всего на свете любит горную долину Окадаля и луга, где пасется его скот. Мне ли не знать Вальтьофа, своего родного брата! Человек он ровный и тихий. Мы с Вальтьофом ровесники. Мы сидели с ним рядом на веслах. Вместе сражались у берегов страны франков, вместе без страха шли навстречу опасностям. Мы делили с ним и лишения, и добычу. Такого человека нужно только хорошенько расшевелить, и он прозреет.

«Большого змея» сопровождали пронзительные крики чаек. Зеленые блики на море свидетельствовали о близости берега.

Бьярни умолк. Великая мечта Эйрика Рыжего распалила его воображение, но ему не верилось, чтобы исландские викинги поддались на уговоры. Ведь до новых земель плыть нужно долго. А в Исландии, на этом суровом острове, выросло совсем другое племя: оседлое, трудолюбивое, мало склонное пускаться навстречу опасностям, даже следуя за таким умным и храбрым человеком, как Эйрик Рыжий.

Все двадцать пять человек экипажа высыпали на палубу, заполнив боковые проходы между баком и ютом. Несколько человек, чтобы лучше видеть, даже взобрались на шкуры, натянутые над трюмом между обоими

¹ Имеется в виду Норвегия.

проходами. Только два моряка оставались у мачты, чтобы управлять парусом. Эти люди, все без исключения, раньше были рабами и принадлежали роду Эйрика. Еще два года назад они носили белые одежды, как было положено невольникам, и ходили с бритыми головами. Из чувства преданности Эйрику они последовали за ним в изгнание, а он в день отплытия на запад поднес каждому кубок пива в знак освобождения от рабства.

Среди них преобладали датчане, коренастые и молчаливые, но были также потомки пиктов¹ и уроженцы Гебридских островов. Этих последних легко было отличить по внешнему виду. Высокие, темноволосые, с зелеными задумчивыми глазами, они были сыновьями или внуками военнопленных, выросли в Исландии, обзавелись семьями и носили имена викингов: Гаральд, Торвальд, Рагнар, Эгиль, Торстейн, Бранд, Веф, потому и не чувствовали себя в этом племени чужаками. К дому Эйрика Рыжего они были привязаны скорее по старой привычке, чем из необходимости повиноваться. Когда Эйрик решил держать курс на запад, они распрощались с семьями в полной уверенности, что никогда больше не ступят на землю, куда нельзя будет вернуться их господину.

А теперь они снова видели перед собой Исландию и возвращались в родные края людьми свободными, с длинными волосами. Естественно, что все были веселы и взволнованны.

Уроженцы Гебридских островов затянули песню, переходившую у них из поколения в поколение, медленную и протяжную, проникнутую тоской по родине. Слова этой песни были непонятны даже им самим, но мелодия чаровала всех, кто ее слушал, и растрогала Эйрика и Бьярни.

Волны становились все сильнее и все чаще ударяли в борта судна. Солнце уже было высоко, и тень, отбрасываемая мачтой, постепенно сокращалась. Мол Боргарфьорда тонкой полоской протянулся в море, а за ним на сером горизонте уже угадывались очертания поселка.

— Ты готов следовать за мной, Бьярни?

¹ П и к т ы — племя, населявшее древнюю Шотландию.

— До конца... даже предстать рядом с тобой перед судьями альтинга. Скоро мы услышим, как зарычит от гнева Рюне Торфинсон, этот поборник законов, когда узнает о нашем возвращении.

Веселые огоньки заиграли в глазах Бьярни. Еле заметная усмешка скользнула по губам Эйрика.

— Слушай, Бьярни, что греха таить: ведь мы, как безумцы, готовы уплыть на край света и ради этого не посчитаемся ни с какими законами. Но теперь мы от радости блеем, как этот старый козел Рюне Торфинсон. А почему? Потому, что перед нашими глазами — пристань Эйрарбакки и утесы Боргарфьорда, куда мы детьми всегда мечтали взобраться.

— А помнишь, Эйрик, как мы развесив уши слушали рассказы о похождениях Ивара без костей, этого дьявола, которого и на свете-то не существовало?

Эйрик Рыжий промолчал. Видимо, он раскаивался, что на какую-то минуту дал волю чувствам.

— Ветер меняется, Бьярни. Сейчас самое время взяться за весла, чтобы войти в воды фьорда.

На кауп-скипе, торговом судне с широким обводом, которое называли круглым, в отличие от длинного дракара, веслами пользовались только для подхода к берегу.

Эйрик дал отрывистую команду, и большая часть экипажа тотчас же скрылась в глубине трюма. Не прошло и минуты, как десять пар длинных весел начали равномерно разрезать волну.

«Большой змей» выравнился и пошел дальше без крена.

Бьярни остался на носу и поглаживал шею вознесенного над кораблем дракона, как гладят верное животное. Эйрик не спеша подошел к нему и положил руку на плечо друга.

— А ты знаешь, Бьярни, что ждет тебя, если альтинг откажется нас выслушать и снова осудит?

Бьярни скорчил шутливую гримасу.

— Знаю, Эйрик: веревка палача и могила на торфяном болоте. Я рискую тем же, чем и ты. Но я уверен — они тебя выслушают. Они устроят тебе торжественную встречу: ты возвращаешься победителем, а они так нуждаются в твоей силе! Да, да, они тебя непре-

менно выслушают — недаром у них в жилах еще течет кровь великих викингов.

— Эта кровь отяжелела, Бьярни!

— Кровь викингов не может отяжелеть — она наполовину из морской воды. А если мы застанем Рюне Трофинсона в живых, он подскочит до потолка, когда мы объявим, что открыли новый материк.

Люди, не занятые на веслах, стояли, облокотившись о борта, и указывали друг другу разные места вдали на берегу — знакомые бухты, загоны для скота на склонах долин, и грубые северные имена в их устах становились благозвучными.

— Ты ищешь дом Вальтёфа, Бьярни?

— Его нельзя различить до тех пор, пока мы не войдем во фьорд. Я думал о сыновьях Вальтёфа — Лейфе и Скъольде. Старшему, Лейфу, в начале новой луны минуло пятнадцать лет. Этот будет настоящим викингом. Еще ребенком он мечтал о морских бурях.

— Пятнадцать лет. Взрослый мужчина! В его годы я уже ходил на драконе Гаральда Длинноволосого и считался самым сильным гребцом. Когда Гаральд стал ярлом на Оркадских островах, он отдал мне свой дракар. Это был корабль на пятнадцать пар весел... От души желаю твоему племяннику познать морскую славу!

— Гляди, Эйрик, вот и Эйрарбакки!

Теперь селение уже отчетливо выступало из серых вод, и гладкие камни на крышах блестели, как рыба чешуя.

— Послушай, Эйрик, — сказал Бьярни, — здесь ничто не изменилось, а мне Эйрарбакки кажется теперь меньше, еще более скученным, чем в тот день, когда мы подняли парус.

— Это мы изменились, Бьярни, и расширились наши горизонты. Мы раздвинули границы моря. Разве поймут нас те, кто живет за этими изгородами и ничего не видит дальше своего пастбища и домашнего очага? Разве будут им понятны наши слова?

— Если у стариков сердце стало таким же заскорузлым, как кожа, нам, Эйрик, надо будет обратиться к молодым. Эти-то нас поймут!

Внезапно «Большой змей» перестал скрипеть и стонать: южный волнорез Боргарфьорда сразу укротил

волну. Впервые за много дней палуба перестала качаться под ногами у моряков. Расслабив мускулы, привыкшие к постоянному напряжению, они вдруг ощутили приятную истому, а глаза, утомленные однообразием морских просторов, сощурились при виде отвесных скал, вздымавшихся, казалось, до самых небес.

— Смотри, Эйрик, на молу уже собираются люди!

— Любопытно, нет ли среди них этого старого козла Рюне Торфинсона? Он-то никогда не забудет старую вражду. Это так же верно, как то, что Эйрик Рыжий и Торстейн Торфинсон до самой смерти останутся врагами.

Две глубокие морщины, перерезавшие щеки викинга, побавровели, словно кровь внезапно прилила к рубцам старых ран.

— Торстейн Торфинсон никогда не вернется в Исландию, Эйрик. Он страшится твоего гнева. Он живет в изгнании, и никто не знает, в какой стране...

Позабыть это было невозможно.

Три года назад Торстейн, сын Рюне Торфинсона, убил Торвальда Рыжего, отца Эйрика, из-за спорного клочка земли в верховье реки Хвиты.

Преступник скрылся, но Бьярни знал, что подобная ненависть прекращается только со смертью. Там, где несправедливо была пролита кровь, ячмень уродится соломой. Для Торстейна лучше было бы никогда не возвращаться в Исландию.

Весла равномерно ударяли по воде. Чайки, крича, кружили над мачтой.

С расстояния в четыре полета стрелы от пристани Бьярни разглядел Рюне Торфинсона, отца Торстейна-убийцы, старшину альтинга, к чьему голосу прислушивались в совете. Облаченный в красную мантию, которую он носил на собраниях альтинга, Рюне что-то говорил, обращаясь к кучке таких же старцев, как сам.

Эйрик, казалось, и не замечал этого человека, особенно пылко ратовавшего за его изгнание.

— Я вижу твоего брата Вальтьофа, Бьярни. Он пришел с обоими сыновьями. За время нашего отсутствия орлята заметно подросли. Они пришли встретить тебя. А вот меня никто не ждет. Разве что мои враги!..

Крупным шагом он пересек бак и, взяв из рук моряка шкот квадратного паруса, громко отдал команду.

Подняв весла, викинги дали судну медленно подойти к причалу.

Неторопливо, точными движениями перехватывая шкот, Эйрик спустил большой парус.

Никто не заметил, как по его щекам скатились две слезы.

Глава III

ГНЕВ ЛЕЙФА

Альтинг был одновременно и народным собранием, и судилищем Исландии. Двадцать четыре старейшины — главы наиболее старинных и уважаемых родов острова — собирались в Длинном Доме, средоточии общественной жизни Эйрарбакки, и вершили суд и расправу. Собрания происходили в простом зале, вымощенном большими каменными плитами. В том же помещении в зимние дни юноши и взрослые мужчины состязались в силе и ловкости — боролись, гоняли мячи деревянными клюшками. В этом же зале год назад двадцатью голосами против четырех Эйрик Рыжий был осужден на пожизненное изгнание, если не выбросит из головы безумную мысль вывести свой дракар в открытое море, за шхеры Гунбьерна.

В день возвращения непокорного Эйрика возле Длинного Дома царило необычайное возбуждение.

Как только парус был спущен и «Большой змей» пришвартован веревкой из моржовой кожи к одному из битенгов причала, Эйрик Рыжий, Бьярни и их спутники, не произнося ни слова, не отвечая на вопросы, которые сыпались на них со всех сторон, даже не здороваясь с родными и друзьями, направились прямо к зданию альтинга, показывая этим, что вверяют себя защите закона. Они шли ухабистой дорогой, по обе стороны которой за изгородами виднелись норвежские домики с мощеными дворами. Эйрик даже не взглянул на свою собственную ферму, наблюдение за которой доверил Лункдюру, бывшему рабу, отпущенному на волю еще Торвальдом Рыжим, его отцом.

Следуя обычаю, путники оставили оружие на борту «Большого змея».

Раб, приставленный к Длинному Дому, распахнул перед ними дверь, и каждый, перед тем как переступить каменный порог, ударял по нему правой ногой. Раб стоял у входа, дожидаясь окончания этой церемонии. Толпа, следовавшая за ними, остановилась на просторной площади перед Длинным Домом. Впереди стояли старейшины — Рюне Торфинсон и другие члены альтинга. Глубокие морщины залегли на лбу у Рюне и окружавших его старейшин. От обиды, злобы и досады почернели лица их приверженцев. Но каковы бы ни были их чувства, все эти люди держались с большим достоинством.

Вальтьоф стоял рядом с сыновьями, которым удалось первыми принести ошеломляющую новость.

Когда Лейф, запыхавшись, неожиданно вбежал во двор, он застал отца на крыше дома за починкой кровли: старик заменял новыми плоские камни и куски торфа, сорванные осенней бурей.

— Отец! — закричал Лейф. — Эйрик Рыжий вернулся! Я узнал «Большого змея», узнал красный с белыми полосами парус!

Юноша умышленно не упомянул имени Бьярни.

Вслед за старшим братом ту же новость сообщил Скъольд.

— Эйрик Рыжий вернулся! Эйрик Рыжий сейчас будет здесь! — кричал он.

Вальтьоф тотчас же накинул на рубаху с короткими рукавами широкий плащ из козьих шкур. Нужно было предупредить Рюне Торфинсона и членов альтинга. «Боги, молю вас, — твердил он, запыхавшись, — сделайте так, чтобы брат мой Бьярни остался цел и невредим!»

Он увидел Бьярни, и сердце радостно застучало в его груди. Как только взгляд его встретился со взглядом младшего брата, все недовольство исчезло, как улетучивается дурной сон с наступлением дня. А этот огонек, что искрится в серых глазах Бьярни! Нет, путешествие его совсем не изменило.

— Отец, — спросил Скъольд, — как ты думаешь, что решит альтинг?

— Не знаю, сын мой. Старейшины уже совещались между собой. В Брейдавик, Скаттакот и к восточному берегу, где идет лов рыбы, посланы конные гонцы.

Людам предложено как можно скорее вернуться в Эйрарбакки. Видимо, будет созван всенародный сход, на котором члены альтинга сообщат о своем решении.

Лейф, не сдержавшись, перебил отца:

— А Эйрик Рыжий и дядя Бьярни получают право защищаться?

— Сначала, сын мой, будут говорить судьи, хранители закона.

— Но будет слишком жестоко, если самым смелым из викингов вынесут приговор, не дав молвить слова в свою защиту!

— Эйрик Рыжий был изгнан за то, что восстал против законов, Лейф. Исландские викинги не могут жить без законов. Рано или поздно это привело бы нашу страну к полному упадку. Какими бы достоинствами ни обладал Эйрик, он не может безнаказанно бросать вызов законам.

Толки в толпе вокруг Вальтьофа и его сыновей разом смолкли. Все с одобрением прислушивались к мудрым словам хозяина Окадаля. Даже сам Рюне Торфинсон наострил уши.

— Но разве люди, подобные Эйрику и Бьярни, не выше закона? — упрямо продолжал Лейф. — Разве их смелость не искупает вину? Ведь раньше никто не отваживался выйти за шхеры Гунбьерна.

Рюне Торфинсон грубо оттолкнул мальчика.

— Вальтьоф, — сказал он, — с каких это пор молоко-сосам дозволено разглагольствовать в собраниях взрослых? Ты внушаешь сыновьям пагубные мысли. Уж не взошли ли тут семена, посеянные Бьярни? Разве для твоей семьи мало брата, который не посчитался с законами и последовал за изгнанником?

Злой огонь зажегся в плутоватых глазах Торфинсона. Голос его звучал угрюмо и глухо.

Вальтьоф опустил голову. Ему было неловко чувствовать себя мишенью для сотен глаз... Он пробормотал что-то в свое оправдание. Скъольд робко прижался к отцу. Старый Рюне Торфинсон внушал ему страх. Он не осмеливался заглянуть в его маленькие холодные глаза, зоркие, как у морской чайки.

— Лучше бы ты вернулся на свою ферму, Вальтьоф! Тебе тут нечего делать. Твой брат Бьярни Турлусон и без того доставил нам много неприятностей.

И, если мне не изменяет память, ты был в числе немногих, защищавших Эйрика Рыжего перед альтигом. Что же касается твоих сыновей, то не пора ли им подрезать коготки? Эти Турлусоны...

— Турлусоны ни в чем не уступят Торфинсонам! Если бы ты не был таким старым гнилым бревном, я заставил бы тебя, Рюне Торфинсон, подавиться своими ядовитыми словами! Посмотри на меня хорошенько, беззубый старец! Я — Лейф Турлусон, сын Вальтьофа, племянник Бьярни, морской викинг.

Лейф сдавил руками плечи Рюне Торфинсона и тряс их, как пыльное одеяло.

Многие из присутствующих кинулись вперед, чтобы утихомирить юношу, но остановились, услышав его слова:

— Я скажу полным голосом то, что думают втихомолку сотни людей. Ты завидуешь мощи и отваге Эйрика Рыжего, Рюне! Завидуешь его молодости и силе! Ты хотел изгнать его навсегда, чтобы все забыли, что твой сын Торстейн — убийца благородного Торвальда Рыжего...

— Замолчи, Лейф! Заклинаю тебя, замолчи! — кричал Вальтьоф.

Но легче было бы остановить ураган. Глаза Лейфа метали молнии, а молодая кровь румянила бледные щеки...

— Так вот, раз все молчат, раз все викинги Исландии гнут спину, как рабы, я не побоюсь сказать то, что думаю!

Наступило молчание, прерываемое только криками чаек. Люди, схватившие было Лейфа, отступили и взглянули на юношу с уважением, которое невольно внушает храбрость.

Лейф повернулся к брату.

— Скъольд, — сказал он, — наша тайна принадлежит мне лишь наполовину. Разрешить ли ты мне ее открыть?

Вальтьоф смотрел на сыновей так, будто они вдруг перестали быть плотью от его плоти, и в его круглых, слегка навывкате глазах можно было прочесть растерянность.

Рюне Торфинсон в последний раз попытался вмешаться:

— Вальтоф! Я требую именем закона: прикажи своему дьяволенку заткнуть глотку!

Но люди, стоявшие в первом ряду, заметили, как внезапно дрогнул голос непреклонного старца. Его поблекшие щеки дрябло обвисли, а глаза стали похожи на две узкие щелки, в которых сквозила тревога. Красная шерстяная мантия болталась на его старческом теле, которое, казалось, на глазах у всех осело и съежилось, словно уклоняясь от удара.

Скьюльд шагнул вперед. Отец не стал его удерживать.

— Лейф, — воскликнул он, — скажи им всю правду! Пусть у викингов развяжутся языки!

Лейф вскочил на большой камень у входа в Длинный Дом и поднял руку, чтобы произнести клятву.

— Слушайте меня, люди! Торстейн Торфинсон, убийца Торвальда Рыжего, прячется здесь, в Исландии, а его отец, Рюне Торфинсон, хранитель законов, вот уже полгода, как укрывает сына от приговора альтинга. С каких это пор в законах Исландии появилось два разных мерила?

Медленно повернувшись в сторону главного судьи, Лейф скрестил руки на груди и продолжал:

— Разве я солгал, Рюне Торфинсон? Разве твой сын Торстейн с женой Альфид и десятком рабов не скрываются в глубоких пещерах на северной стороне фьорда Аслакстунга? И разве он не спрятал за скалой свой дракар, сняв с него мачту?

По рядам пробежал глухой ропот, шум стал разрастаться, послышались бранные слова, удивленные восклицания, гневные выкрики. Однако Рюне Торфинсона так боялись, что никто не решился потребовать от него ответа на тяжкое обвинение. Меж тем закон викингов был ясен: под страхом суровой кары никто не смел приютить у себя преступника или оказать ему помощь.

Хитрый старик уловил это колебание и понял, что еще может склонить чашу весов на свою сторону.

Его губы скривила презрительная усмешка, обнажив остатки гнилых зубов, которым он и был обязан своим прозвищем — Рюне Беззубый. Ровным и спокойным голосом он обратился к толпе:

— Детские речи — что игра света на воде и отпечатки волн на песке. По ним можно судить, какие разговоры ведут между собой старшие у домашнего очага. — И он указал пальцем на Вальтьофа, неподвижно стоявшего в первом ряду. — Вальтьоф Турлусон, ты вонзил в сердце своего сына острые стрелы вражды. А теперь, как раз в тот день, когда вернулись изгнанники, ты хочешь пустить в ход клевету и внести сумятицу в нашу жизнь. Каждый из присутствующих здесь знает, что мой сын Торстейн покинул Исландию и отправился в неведомые края. Викинги с открытой душой! Взгляните же на Вальтьофа Турлусона! Он вобрал голову в плечи! Он не знает, как себя вести, и застыл, как ворона в снегу. Отвернитесь же от Вальтьофа Турлусона! Клеветнику нет места в нашей общине!

Бедный Вальтьоф и впрямь походил на виновного. Хитрый Рюне Торфинсон ловко воспользовался его замешательством. Вальтьоф всегда был молчалив, а после смерти жены своей Гурид все больше и больше отдалялся от жителей Эйрарбакки. Он хорошо чувствовал себя только среди обитателей Окадаля, так же как и все они, носил одежду из звериных шкур и грубого сукна, довольствовался сушеной рыбой, кашей и сыром. Происходя из рода хёрсиров¹, он в молодости плавал по морям, но после смерти отца с головой ушел в хозяйство... Его лошади считались лучшими в Исландии, и уходу за ними он уделял большое внимание. Среднего роста, коренастый, немного неуклюжий, он с виду ничем не отличался от простых крестьян, еще недавно бывших рабами. Он был немногословен, говорил с трудом, а добровольное затворничество сделало его еще более нелюдимым. Он души не чаял в своем брате Бьярни и всячески его оберегал. Потом, став отцом семейства, Вальтьоф делил свою любовь между братом и сыновьями, любовь тайную и нежную, но он не мог понять характеров Лейфа и Скъольда, их жизнерадостности и восторженности, как не понял когда-то отважного, своенравного, обаятельного Бьярни.

Он стоял растерянный, заикался и ничего не мог

¹ Хёрсир — один из мелких племенных вождей в Норвегии до образования государства.

возразить на желчные нападки Рюне Торфинсона. Его бессилие можно было принять за признание вины.

— Что же ты молчишь, лгун Вальтьоф, говори же! — издевался старик.

Соседи невольно отодвинулись от Вальтьофа, а из дальних рядов раздались крики:

— Отрезать ему язык!

— Лжец! Подлый лжец! Пусть убирается отсюда и лжет на другой земле!

— Нужно хорошенько высечь сыновей лжеца! И накормить их солью!

— Правильно! Пусть едят соль, пока не распухнут их языки!

Рюне Торфинсон усмехнулся.

А Лейф даже не шелохнулся. Стоя на камне, он возвышался над шумной толпой. Юноша еще раз протянул руку, и этот простой и властный жест заставил умолкнуть крикунов. Настала грозная тишина.

— Слушайте меня, исландские викинги! Если мои уста произнесли ложь, я готов принять кару Большого орла. Сегодня я отвечаю за честь Турлусонов, потомков морских ярлов.

Его звонкий голос разносился во все стороны и звучал как удары молота о железный щит.

— Слушайте меня, Торgrim, Ньюорд и Лют Криворотый! Вы только что кричали на моего отца, Вальтьофа. Так вот, если я лгал, я поставлю спину под ваши острые мечи, чтобы вы вырезали на ней орла, и пусть этот кровавый орел дойдет до моих костей. У Рюне Торфинсона хорошо подвешен язык, и ему легко вас морочить. Но я собственными глазами видел в водах фьорда Аслакстунга судно Торстейна и самого Торстейна, наблюдавшего за своими рабами во время рыбной ловли. Кольцом Фрейи клянусь, что это чистая правда!

— Я тоже клянусь! Мой брат Лейф сказал правду. Я был вместе с ним в Аслакстунге, — промолвил Скъольд и стал рядом с братом.

Глум Косоглазый, гигант с тяжелой челюстью из клана Рюне Торфинсона, прочистил горло и вышел вперед.

— Мы никогда не бываем в таких далеких краях, как Аслакстунга, — сказал он. — Ведь там ничего не растет, кроме мха.

Зеленые глаза Скъольда лукаво сверкнули.

— Вот потому-то там и скрывается Торстейн. Лодка его отца доставляет туда каравай ячменного хлеба, сыр и козы мехи с пивом. Торстейн ест, спит и прячется в берлоге, как медведь.

— Скажи, Вальтьоф,— обратился к викингу Гаральд Толстопузый,— это правда, что ты позволяешь сыновьям ходить в северную часть острова, куда не забираются даже рыбаки? Их речи начинают меня убеждать.

Вальтьоф помотал головой и собрался с силами, чтобы ответить.

— Лейфу пятнадцать лет,— сказал он.— Лейф охотится, ловит рыбу и умеет управлять парусом. Он присматривает за младшим братом. Почему же мне запрещать им ходить куда вздумается? Когда их предку Арни Мудрому было пятнадцать лет, он уже стоял во главе флота. В пятнадцать лет викинг настоящий мужчина.— И он замолчал, будто утомившись от непривычно длинной речи.

— Лейф,— продолжал Гаральд Толстопузый,— если все, что ты говоришь, правда, почему же ты молчал до сих пор?

Этот вопрос был на устах у всех. Старый Рюне Торфинсон понял, что общее мнение меняется не в его пользу. Он попытался возвести последнюю плотину против волны, которая увлекла бы его за собой, если бы сын Вальтьофа доказал, что он прав. Необходимо было выиграть время, чтобы Торстейн успел покинуть Исландию. Как отвлечь внимание толпы, отвести ее любопытство в другую сторону?

— Слушайте меня, викинги! Мы потратили много времени на пустые пререкания. Пусть Вальтьоф с сыновьями возвращается к себе, а Эйрик Рыжий, Бьярни Турлусон и их люди ожидают в Длинном Доме, пока судьи альтинга вынесут свое решение... Прежде чем выскажутся старейшины, я предлагаю выслушать сейчас главаря изгнанников. Пусть Эйрик Рыжий заявит во всеуслышание, что побудило их вернуться в Исландию. Если он и те, кто с ним, нарушили закон, пустившись в далекое плавание, то еще более неслыханная дерзость — их возвращение к берегам Боргарфьорда.

Рюне Торфинсон ловко вывернулся. Весть о возвращении Эйрика Рыжего прогремела как гром среди ясного неба, взволновав все население Эйрарбакки. Даже ярые приверженцы хитрого старика сторали от нетерпения узнать историю изгнанников.

— Именем богов, Рюне Торфинсон, мы тебе доверяем! — заревел Глум. — Пусть Турлусоны убираются к себе домой, а Эйрик Рыжий предстанет перед нами!

— Я хочу ответить на вопрос Гаральда Толстопузого! — закричал Лейф.

Рюне нетерпеливо щелкнул пальцами. Глум Косоглазый, грубо расталкивая стоявших плотной стеной людей, набросился на Лейфа с кулаками. Его широкие ноздри раздувались от гнева.

Он схватил Лейфа за локоть и, прежде чем Вальтьоф успел защитить сына, столкнул его с камня.

Началась свалка. Сразу же образовалось два лагеря, и посыпалась ругань.

Рюне Торфинсон завернулся в красный плащ. Ему удалось отвести бурю. Он наклонился к сопровождавшему его рабу и шепнул ему что-то на ухо. Верный раб покорно склонил бритую голову и исчез в разъяренной толпе.

Лейф был крепкий юноша. Он с такой силой ударил Глума по шее, что гигант покачнулся. Разъяренный Скъольд вцепился зубами в правую руку врага, сжимавшую нож с широким лезвием.

— Проклятые змееныши! Именем Торса клянусь, я сейчас раздавлю вас каблуком!

Тщетно пытался Вальтьоф пробиться к сыновьям.

Верзиле Глуму достаточно было хватить Скъольда кулаком, чтобы повалить его на землю. Окровавленной рукой гигант схватил Лейфа за плечо и сильно сжал его. У мальчика побелели губы, но он не издал ни звука.

Рюне Торфинсон с безучастным видом наблюдал за дракой. Льот Криворотый и Торгрим стали по обе стороны Вальтьофа. Приверженцы партии Торфинсона внезапно сбросили маски.

Большинство присутствующих осуждало эти грубые действия, но высокое положение главы альтинга удерживало их от вмешательства.

И в то же время становилось ясно, что, если бы нашелся хоть один смельчак, который решился бы выступить против Рюне, толпа перешла бы на сторону Вальтёфа и его сыновей. Хитрые слова старейшины вначале разожгли людей, как капли жира, попавшие в огонь, но вскоре шаткость его доводов стала очевидной для многих.

— Рюне Торфинсон, — закричал Гаральд Толстопузый, — прикажи Глуму отпустить мальчика!

Старик только развел руками, будто дело вовсе его не касалось, и, не мешкая, прошамкал беззубым ртом короткий приказ:

— Пусть приведут Эйрика Рыжего! Я уже приказывал это сделать! Именем альтинга!

— Меня не нужно приводить, Рюне Торфинсон, я здесь!

Мощный голос викинга эхом отозвался в прибрежных утесах. В Исландии уже успели забыть силу этого голоса, способного заглушать вой бури, рев моря, порывы ветра.

— Неужели я вернулся в родную страну, чтобы присутствовать на таком постыдном зрелище, когда Глум Косоглазый обижает ребенка на глазах у жалких сыновей викингов? Подлые рабы!

Он усмехнулся, а скалистая стена еще долго повторяла этот гордый вызов.

— Убери руки, Глум, сын волка! Я пришел сюда как человек свободный, чтобы ответить перед лицом закона. Я ждал под сводами Длинного Дома. Но теперь я вижу, что здесь уже нет законов, а есть люди с опущенной головой и бегающим взглядом... Слышишь, Глум, отпусти ребенка! Это приказывает тебе Эйрик Рыжий! Ты слышишь мой приказ?

Его огненные пряди развевались за плечами, а сжатый кулак, твердый, как палица, медленно поднялся над его головой. Грудь Эйрика вздымалась, подобно кузнечным мехам, растягивая полоски с металлическими кружками, нашитыми на оленью куртку, которая, казалось, вот-вот разорвется по швам.

Пронзительные крики чаек, словно осколки камней, падали с высоты на толпу, разрывая невыносимую тишину.

Тем временем Глум Косоглазый с вызывающим видом ударил Лейфа по зубам и, согнувшись вдвое, похожий на хищника, выжидающего первого промаха противника, чтобы накинуться на него, начал приближаться к Эйрику Рыжему.

Толпа любопытных расступилась.

Льот Криворотый и Торgrim отпустили Вальтьофа. Лейф рукой вытирал кровь, струившуюся с его губ.

Лежа на земле, Скъольд не мог оторвать взгляда от сжатого кулака Эйрика Рыжего.

Рюне Торфинсон стал белее снега. Казалось, что он с каждым мгновением делается все меньше и меньше и еще немного — совсем растает в группе своих растерянных приспешников, теснившихся вокруг повелителя.

Внезапно Глум Косоглазый прыгнул с легкостью, несвойственной его тяжелому телу. В его правом кулаке сверкнул нож, с каким ходят на зверя.

Эйрик Рыжий не двинулся с места. Молниеносным, точно рассчитанным ударом он остановил прыжок Глума. Тот упал, словно сраженный молнией бык. Его лобные кости затрещали, как сломанные ветви.

Эйрик даже не удостоил взглядом гиганта, расprostертого у его ног. Подойдя к Лейфу, который ощупывал ушибленные челюсти и рассеченные губы, он положил руку на плечо юноши.

— Лейф, сын Вальтьофа, — сказал он, — ты один показал себя достойным великого имени викинга. Ты один!..

Можно было подумать, что он говорит только с Лейфом. Юноша зарделся от волнения. Взгляд Эйрика скользнул от него на дорогу, пересекавшую Эйрарбакки, на узкую щель фьорда, на серый мол, на «Большого змея» и на волны открытого моря, догонявшие одна другую.

— Эйрик Рыжий!.. Эйрик!.. — пробормотал Лейф.

Моряк вздрогнул, словно его вырвали из другого мира, возникшего из пенистой дали.

— Слушай, Лейф, теперь ответь на вопрос Гаральда Толстопузого: почему ты до сих пор не сообщил о пребывании Торстейна в горах фьорда Аслакстунга, а дожидался этого дня?

Он говорил громко, чтобы слышно было всем.

Лейф вытер кровь с рассеченной верхней губы. В глазах его зажегся гневный огонь.

— Я был уверен, что ты вернешься, Эйрик Рыжий. И вот мы договорились с братом Скъольдом, что будем ждать твоего возвращения и тогда разоблачим двуличного Рюне Торфинсона. Это чистейшая правда. Не так ли, Скъольд?

— Да, это чистейшая правда,— подтвердил мальчик, крепко сжимая закрученную руку дяди Бьярни.

— Ну вот, теперь все ясно,— сказал Эйрик.— Викинги Исландии, вы можете судить изгнанников, но сначала назначьте должную кару Торстейну Торфинсону и его отцу Рюне, которые сами нарушили закон... Что касается нас, то мы можем уплатить вам выкуп и готовы это сделать. Мы с Бьярни Турлусоном и нашими спутниками привезли богатства, невиданные в Исландии... Мы возвратились сюда, не страшась ни бурь, ни блуждающих льдов, чтобы отдать вам все, что мы сумели добыть...

Люди приблизились к нему, невольно поддаваясь притягательной силе этого мощного голоса.

Даже Лют, Торgrim и самые ярые приверженцы Рюне Торфинсона сразу отбросили всю свою злобу и ненависть к его врагам.

— Значит, море не кончается у шхер Гунбьерна?— вполголоса произнес Гаральд Толстопузый, как бы желая преодолеть суеверный страх.

Голос Гаральда, казалось, прозвучал из глубины столетий, воскрешая дух викингов древних времен.

Все ждали. На какое-то мгновение людьми овладело чувство вновь обретенного единства. Одна и та же кровь в одинаковом ритме билась в жилах этих людей, одинаковым увлечением горели их взгляды. Все запреты были отброшены в сторону, и, если бы не распротертое на земле тело Глума Косоглазого, все недавно случившееся казалось бы дурным сном.

Эйрик Рыжий повернулся к Бьярни. «Как по-твоему,— спрашивал его взгляд,— не пора ли уже сказать им все, что мы думаем?»

Веселый и озорной огонек зажегся в серых зрачках Бьярни Турлусона.

Не в силах сдержаться, Лейф обеими руками схватил руку Эйрика Рыжего:

— Эйрик! Скажи же! Значит, море не кончается у шхер Гунбьерна?..

— Море, мой мальчик, беспредельно, а шхеры Гунбьерна — всего лишь камешки среди неизведанного океана... Мы сами решили, что эти скалы — граница океана. Мы были недостойны крови викингов, наших предков, да и сердца наши, должно быть, одряхтели.

— О Эйрик! Я тоже так думал! Говори же скорее, с чем ты вернулся? Ты открыл для нас новые земли?

— Больше того! Я обрел сам и вдохну в вас силу и мужество, чтобы идти вперед, все вперед и вперед. В поисках новых морей!

Говоря это, Эйрик с удивлением подумал, что обращается только к этому мальчику с пытливыми глазами. Между сердцем отважного викинга и сердцем Лейфа протянулась незримая нить крепче якорной цепи.

— Именем Фрейи, клянусь, я это знал! — с восторгом воскликнул Лейф. — Ты открыл за шхерами Гунбьерна большую землю! Расскажи нам о ней. Как ты ее назвал?

— Ты прав, мальчик. Там в самом деле оказалась большая земля. Двое суток мы плыли вдоль ее берега к северу, и все время, насколько хватал глаз, чередовались мысы и бухты. Но мы вынуждены были повернуть назад, ибо путь нам преградили ледяные горы, высокие, как утесы. Итак, мы открыли большую землю, где в изобилии водятся медведи и тюлени, а в долинах растет густая трава. Вот почему мы назвали эту землю Гренландией.

— Гренландия?.. Красивое название!

И вдруг долго сдерживаемое волнение прорвалось. Толпа закидала Эйрика Рыжего вопросами. Все говорили одновременно. Может ли там расти ячмень? Много ли рыбы в тамошних водах? Долго ли там лежат снега? Придется ли отвоевывать эту землю у коренных обитателей? Тысяча вопросов, теснивших друг друга, как овцы у водопоя.

Глум воспользовался общим возбуждением и уполз на четвереньках. Хоть он еще не совсем пришел в себя, но понял, что прибытие Эйрика Рыжего сильно поколебало положение Рюне Торфинсона.

Длинное и просторное жилище Торфинсонов было единственной деревянной постройкой в Исландии.

Двадцать лет назад старый Рюне за дорогую цену вывез из Норвегии еловые бревна. «Деревянный дом», как его теперь называли, свидетельствовал о прочном благосостоянии семьи Торфинсонов и служил как бы символом их могущества.

Не успел Глум Косоглазый миновать изгородь, отделявшую двор от дороги, как к нему во всю прыть кинулся кривоногий Хаук Свинопас.

— Не входи, Глум! Не входи! Там Торстейн. Он остервенел от злости. Я видел его глаза, когда он входил в дом. Они вращались, как мельничные жернова. — Хаук понизил голос: — Мне кажется, Глум, у него сейчас бешенство берсерка¹: на губах выступила пена, и он кусает свой щит.

Глум Косоглазый молча скривил губы — это у него означало улыбку. Уж если ярость Торстейна пригнала его сюда, Эйрик, как он ни силен, должен теперь поостеречься. Раз сын Рюне Торфинсона покинул свое убежище во фьорде Аслакстунга, значит, — Глум в этом не сомневался — он собирается драться с мореплавателем. Должно быть, тролли² — горные духи — поведали Торстейну о возвращении его врага.

— Не переступай порога, Глум! — заклинал Хаук, цепляясь за меховую безрукавку Косоглазого.

— Отвяжись, проклятый горбун!

Привлеченный шумом, Торстейн открыл тяжелую, окованную железными полосами дверь. В руке он сжимал короткое копье, готовый нанести удар.

— Ах, это ты, Глум! Входи!

У Торстейна был хриплый и низкий голос. Длительное пребывание в диких пещерах Аслакстунга оставило след на его тупом лице. В глубине глаз затаился беспокойный огонек, трепетавший, как искра на ветру. Ноздри его раздувались, как у волка, учуявшего запах съестного, принесенный бурей или морским ветром.

— Я не могу больше так жить, Глум! Медведи и те счастливее меня. Мой дозорный Серли с высоких скал Аслакстунга заметил, как приближался в тумане «Больш-

¹ Берсерк — свирепый воин, приходящий в иступление и одержимый припадками безумия. Согласно поверью, воин, в которого вселился берсерк, делался неуязвимым.

² Тролли — в скандинавской мифологии сверхъестественные существа, враждебные человеку.

шой змей». Это была воля богов. Глум, ты пойдешь к Эйрику Рыжему и передашь ему от моего имени вызов на хольмганг...¹

Старый Рюне, сидя на скамеечке возле резного кресла, седалища предков, жаловался на злосчастную судьбу, и его причитаниям вторил щенок, прикорнувший у его ног. В одну минуту со старого Рюне слетели вся его надменность и самоуверенность. От главы альтинга осталась только тень, оплакивавшая свою утраченную власть.

Торстейн подтолкнул Глума к двери:

— Ступай же и объяви, что я его вызываю. Мы будем драться на островке не на жизнь, а на смерть. Передай еще, что я не успокоюсь до тех пор, пока не выпущу из его трупа всю кровь и он не станет плоским, как кожа зарезанной свиньи или пустой бурдюк. Иди же, Косоглазый, иди, пока на тебя не обрушился ужасный гнев, который клокочет в моем сердце и обжигает мои кулаки.

Испуганный Глум бросился прочь. Видит Фрейя, поход на остров был бы ужасным. Уже долгие годы в этих местах не прибегали к хольмгангу. Древние северные боги снова воскрешали смертельную вражду.

Эйрик и его спутники, смешавшись с толпой возле Длинного Дома, вели оживленную беседу. Ветер дул теперь явно в их сторону. Переменчивые исландцы столпились возле изгнанников. Только и разговору было, что о новой земле и о связанных с нею мечтах и надеждах. Таинственная Гренландия распалила их воображение.

Злоба вновь обуяла Глума. Он стал, подбоченившись, посреди дороги, в двадцати шагах от входа на Тинг — так называлась площадь перед Длинным Домом, — выпятил бычью грудь и с дикой радостью проревел:

— Эйрик Рыжий! Торстейн Торфинсон передает тебе моими устами вызов на хольмганг. Один из вас лишний на этой земле!.. — И, войдя в раж, Глум слово за словом повторил проклятие Торстейна: — «Я не успокоюсь, — сказал он, — до тех пор, пока не выпущу из его трупа всю кровь и он не станет плоским, как кожа зарезанной свиньи или пустой бурдюк».

¹ Хольмганг — древний вид поединка, обычно происходивший на одном из островков.

ЛЬОТ КРИВОРОТЫЙ

«Хольмганг», или поход на остров, — так назывался у викингов самый древний вид поединка, который обычно устраивали на одном из островков фьорда. Противники дрались на мечях, при участии щитоносцев, избираемых среди юношей не моложе пятнадцати лет. По обычаю, вызванный на единоборство делал первый выпад, объявляя тем самым поединок открытым. В зависимости от уговора противники выкрикивали одновременно традиционные слова: «Бой до первой крови!» или «Бой насмерть!».

Этот обычай был распространен у викингов на материке, но совсем не был в ходу у исландцев. Старики рассказывали как о значительном событии о поединке, происходившем в первые годы обоснования в Исландии. Сражались Гуннар Гримсон и Клауфи Пьяница из-за дележа быков. Говорили, что при первой же схватке рука Гуннара была так сильно рассечена у запястья, что кровь забрызгала все лицо Клауфи, а сам он от страха потерял дар речи.

Но на этот раз все понимали, что бой будет не на жизнь, а на смерть. Ведь ставкой тут была не пара быков! От исхода поединка зависела судьба всей Исландии. Победа Торстейна означала бы укрепление клана старого Рюне и конец морским походам, тогда как победа Эйрика Рыжего подготовила бы колонизацию только что открытой легендарной Гренландии.

Островок, выбранный для поединка, находился приблизительно в трехстах шагах от причала, на равном расстоянии от обоих берегов фьорда. Не превышая в поперечнике трех полетов пущенной из лука стрелы, островок этот был совершенно круглый, в центре немного приподнятый, что делало его похожим на щит. Между плоскими камнями, отшлифованными приливной волной, здесь росли одни только лишайники. Для поединка это было превосходное место. Чтобы попасть туда, противники должны были переправиться на лодках с того и другого берега и покрыть одинаковое расстояние, отделявшее их от ровной площадки, где и решалась судьба в поединке. Разгоряченные бе-

гом, противники не тратили силы на предварительные маневры. Миг встречи одновременно означал и начало боя.

Жители Эйрарбакки столпились на береговых утесах. Рыбаки, только утром вернувшиеся с восточного побережья, жадно слушали рассказы о невероятных событиях вчерашнего дня: о возвращении «Большого змея», о разоблачениях, сделанных сыновьями Вальтгофа, и о вызове, брошенном Эйрику Рыжему Торстейном Торфинсоном. Окруженный слушателями, Гаральд Толстопузый повествовал о схватке Эйрика с Глумом:

— Он вернулся еще сильнее, чем был. Мне думается, он мог бы одной рукой свернуть Глуму шею. Да, Торстейну Торфинсону придется нелегко.

Мнения разделились. Многие вспоминали былые подвиги Торстейна, его ловкость и упорство.

Торстейн подобен волку, который держит в пасти зайца. Даже под ударами он ни за что не выпустит бедного зверька и, едва живой, найдет в себе силы, чтобы мертвой хваткой вонзить клыки в добычу.

Но большинство присутствующих предпочитали помалкивать — не хотелось раньше времени делать предсказания. Ведь это была не обычная распря. После поединка, смотря по тому, чья возьмет, разгуляются страсти, и победитель постарается обессилить вражеский клан, как бы довершая этим свою победу.

Торгрим, Ньорд и Льот Криворотый — самые ярые приверженцы Торфинсона — переходили от группы к группе, прислушиваясь к разговорам. Они не преминули бы передать своим покровителям слова зрителей, подслушанные на берегу. Но осторожность подсказывала им не упреждать событий, не петь преждевременной хвалы ни той, ни другой стороне. К тому же необходимо было подчиняться старинному обычаю викингов: во время хольмганга одобрение громогласно высказывали только при особенно ловких ударах и необычайных проявлениях мужества.

Старый Рюне и члены альтинга заняли места на самом возвышенном месте берега, откуда открывался вид на весь остров, выбранный для поединка. Само присутствие старейшин обеспечивало честное соблюдение правил боя. Прежде чем противники заняли места

в своих лодках, старейшины должны были проверить длину мечей и вручить щитоносцам по три кожаных щита, допускаемых условиями единоборства.

Льот подошел к тому месту, где стояли Бьярни Турлусон, Вальтгоф и Скъольд.

— Ты что, Криворотый, наелся гнилой рыбы, что ли, и тебе не сидится на месте? — съзвил Бьярни. — Ступай прочь — от тебя дурно пахнет!

— Рано ты загордился, Бьярни Турлусон! Я бы на твоём месте воздержался от оскорбительных слов — Эйрик Рыжий еще не правит в Исландии.

Бьярни расхохотался. Веселый огонек, который так любил Скъольд, зажегся в его глазах и, казалось, осветил все лицо.

— Ах, вот почему ты бродишь по берегу из конца в конец с негодеем Торгримом и этим мерзким хорьком Ньордом! Неужели Торстейн Торфинсон так слабо верит в свое оружие и для прославления своей доблести нуждается в подобных глашатаях? Смотри мне в лицо, Криворотый, и не дрожи, как осиновый лист! Клянусь Фрейей, что, если ты приблизишься ко мне еще хоть на один шаг, я сброшу тебя с этой скалы. Ветер с моря обострил мое обоняние, и я говорю тебе при всех, что от тебя разит тухлятиной! Ты весь провонял трусостью и предательством. А ну-ка, подойди ближе, жалкий раб! Может быть, хоть этим докажешь, что ты человек.

Раскатистый смех могучего скальда вспугнул пролетавшую чайку.

Льот опешил и переминался с ноги на ногу. Смех Бьярни, как отточенное лезвие, вонзался в его нутро. Отступить — значило потерять навсегда всякое уважение жителей Эйрарбакки. А если пренебречь угрозой скальда, надо было быть готовым к опасной драке. Бьярни был крепок, как скала.

— Ты ведь безоружен, Бьярни Турлусон...

К ним приблизилось несколько человек. Все напряженно ждали начала хольмганга. Эта перебранка немного разрядила тяжелую атмосферу, ослабила томительную неопределенность.

— Ты ведь безоружен, Бьярни Турлусон, — повторил Льот.

— Неужели ты думаешь, что мне нужно оружие, чтобы переломать кости какому-то Льоту Криворотому? Когда я отгоняю пса, мне не нужен меч. Пса отпихивают ногой или стегают ремнем.

Ответ скальда был встречен одобрительным смехом. Викинги повеселели.

— Ты сам этого хотел, Турлусон!

Льот обнажил меч и нацелил его в сердце Бьярни.

— Берегись, дядя Бьярни! — крикнул Скъольд. — Льот целится в сердце, а метит в живот.

Вальтьоф привлек сына к себе. И зачем понадобилось Бьярни впутываться в эту историю? Неужели любовь к острому слову будет постоянно брать у него верх над разумом?

Дикий рев Льота эхом отозвался в Боргарфьорде, и в ответ послышался могучий хохот Бьярни. Викинги сузили круг.

Льот пригнулся и бросился вперед, стараясь нанести противнику опасную рану в живот. Но скальд не дрогнул, а только слегка повернулся на каблуках, и клинок скользнул по его кожаной безрукавке. Широкий меч Льота, ударив о камень, высек из него целый сноп искр. Тогда Бьярни с удивительной точностью поймал руку Льота и начал выворачивать и сжимать ее запястье. Льот завопил и выронил меч, который отлетел в сторону, как уже ненужная вещь.

Пальцы Бьярни сжимались все сильнее, и люди, стоявшие близко, слышали, как хрустели и дробились кости. Бьярни не уступал в силе легендарному Аудуну Длиннобородому, который во время охоты легко скручивал шею схваченному живьем орлу.

Торгрим и Ньорд издали видели, как туго пришлось их приятелю, но и не подумали вмешиваться. Все были восхищены победой Бьярни, и это сбило с них спесь.

— Брось его на съедение рыбам, Бьярни!

— Мы уже достаточно нагляделись на его глупую рожу! Брось его, как бросают сломанный нож!

— В море его! Хватит ему угрожать нам законами альтинга!

Бьярни не торопился. Он выжидал, пока лодки обоих бойцов отплывут от берегов Боргарфьорда. Он не хотел, чтобы возбуждение викингов улеглось. Бьярни

не сомневался, что победит Эйрик Рыжий и что его победа сплотит всех жителей острова. Это сплочение было необходимо Эйрику для успеха колонизации Гренландии.

— Отпусти меня, Бьярни Турлусон! Фрейей и Тором клянусь, я не причиню вреда никому из твоих друзей!

Больших усилий стоило Льоту молить о пощаде, но невыносимая боль доходила уже до плеча и отдавалась в затылке. На пепельно-сером лице блуждали безумные глаза.

— Но ведь я поклялся свернуть тебе голову, Льот, а клятва Турлусона дороже золота.

Викинги подошли к ним так близко, что Льот ощущал на затылке их горячее дыхание. Кто-то из них तोпил Бьярни скорее разделаться с доносчиком.

— Не верь ни одному его слову, Бьярни! Он будет кляузничать до последнего вздоха. Поторопись разделаться с ним! Судьи альтинга уже проверили щиты противников. Эйрик и Торстейн со своими щитоносцами садятся в лодки.

— Не думай, что я слепой! — ответил скальд.

Гнев его понемногу утих, и ему противно было приканчивать Льота.

Но клятва викинга была превыше всего.

Теперь Льот уже хныкал, как ребенок, и его плечи судорожно вздрагивали от всхлипываний.

— Послушай, дядя Бьярни! — вдруг заговорил С্কюльд. — Клятва, произнесенная одним Турлусоном, может быть снята другим. Мой брат Лейф будет участвовать в поединке как щитоносец Эйрика Рыжего. Ты омрачишь славу его первого боя, если растопчешь ногой этого гада, Льота Криворотого.

Юноша произнес эту тираду, не переводя дыхания. Бьярни, не ожидавший ничего подобного, застыл от изумления.

— Именем троллей из саги клянусь, что ты говоришь, как настоящий скальд, мой мальчик! Ты прав: не будем омрачать сегодняшнее солнце ничтожной тенью Льота! С глаз долой, Криворотый, и помни, что спасением ты обязан заступничеству моего племянника С্কюльда Турлусона.

Викинги расступились и пропустили Льота. Кое-кто разочарованно ворчал. А тем временем Криворотый

улепетывал, сжимая в левой руке искалеченное запястье правой.

Бьярни привлек к себе племянника:

— Помни об этом поединке, Скъольд Турлусон! Боги Севера благоволят к тебе: в твоих руках начало большой поэмы. Ибо в этот день будет положено начало чему-то неслыханному.

Скъольд не совсем ясно понял смысл этих слов. Между тем на противоположном берегу Эйрик Рыжий сел в лодку, его весла уже пенили воду. Гордость и страх боролись в душе Скъольда.

Опасная честь отражать щитом направленные на Эйрика удары выпала на долю Лейфа. Один из Турлусонов участвовал в самом знаменитом хольмганге, когда-либо решавшемся на исландской земле.

— Скажи, дядя Бьярни, Лейф не может пострадать от какого-либо незаконного выпада? Я боюсь этого Торстейна, как смерти.

Бьярни не ответил. Он только сжал могучей рукой плечо Скъольда.

На двести футов ниже по гладким водам фьорда скользили лодки Эйрика Рыжего и Торстейна Торфинсона. С двух сторон приближались они к островку, где должен был состояться хольмганг.

Глава V

ПОХОД НА ОСТРОВ

Лейф греб к островку, где должен был состояться поединок. На душе у него было радостно. Из двадцати юношей Эйрик Рыжий выбрал себе в щитоносцы именно его. О такой чести он не смел и мечтать. Когда накануне великий викинг, обратившись к его отцу, запросто спросил: «Разрешит ли ты сыну, Вальтьоф, принять участие в хольмганге?» — ему на мгновение показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди.

Тогда Вальтьоф повернулся к сыну:

— Считаешь ли ты себя достойным, Лейф, носить щит Эйрика Рыжего?

Сначала Лейф не знал, что ответить. Слова застряли в горле и не могли вырваться на свободу, а он вовсе не

хотел показаться нерешительным или даже смешным. Однако Эйрик улыбнулся и сказал:

— Я заранее знаю его ответ, Вальтгоф. Рука Лейфа не дрогнет!

Скоро Торстейн и Эйрик должны будут скрестить оружие. Рассекая воду веслом, Лейф не мог оторвать взгляда от лежащего рядом на скамье обоюдоострого меча викинга. Длиною он был более трех футов от острия до рукоятки и блестел на солнце, как золотой луч. Средняя часть меча была шириной с ладонь, в обе стороны он равномерно сужался, отливая голубым блеском. На рукояти из полированного дерева, инкрустированного костью, были изображены охотничий рог и голова орла. Сейчас этот большой меч, который нужно держать обеими руками, встретится с мечом Торстейна, высекая снопы искр. Любой удар мог оказаться смертельным, а кожаный нагрудник с железными полосками и шлем из тюленьей шкуры, подбитый роговыми пластинками, не давали надежной защиты. Способность щитоносца предусмотреть вражеский выпад, его умение отразить неожиданные удары, быстрота, с какой он мог подставить щит, — все это более обеспечивало безопасность, чем плохо сшитая и не всегда хорошо пригнанная броня. Вот почему эта роль предоставлялась юношам, более гибким и ловким, чем зрелые мужи.

Торстейн взял себе в помощники Скаллагрима, старшего сына Глума. Лейф хорошо знал этого невзрачного парня, двумя годами старше его, с длинными, как паучьи лапы, руками и тонкими ногами. Скаллагрим обладал юркостью угря. Сонный с виду, он вдруг оживал, чем и заслужил прозвище «Скаллагрим» — «Рыболовный Крючок». Лейф был уверен, что Скаллагрим будет защищать Торстейна с храбростью и коварством, но не питал к нему никакой злобы, хотя тот и был сыном негодя Глума.

Весла внезапно заскребли по песку... Эйрик еще раз рванул лодку вперед, и она остановилась.

— Готов ли ты, викинг? Не дадим Торстейну первым явиться на поле боя, — сказал Эйрик.

Он взял свой меч и один из щитов. Лейф захватил два остальных.

Прибрежные камни были окаймлены бахромой из рыжих морских водорослей. Эйрик второпях поскользнулся и чуть не упал.

— Это боги призывают меня к осторожности! — засмеялся он.

Лейф бежал следом за викингом. Поспеть за ним было нелегко. Мальчик и не предполагал, что мощное тело гиганта может быть таким подвижным.

В десяти футах от вершины холма им послышался глухой топот. Это бегом поспешали Торстейн и Скаллаgrim. Встреча должна была состояться на бугре, в самой середине острова. Это было справедливо. Каждый из противников имел в своем распоряжении равное пространство, на котором он должен был либо победить, либо погибнуть.

Эйрик Рыжий, еще не добежав, бросил щит на двадцать шагов вперед, как бы обозначив этим для себя границу поля битвы. Отступить от нее нельзя было ни на шаг.

То же самое сделал и Торстейн. Оба щита столкнулись на лету.

Судьи альтинга, собравшиеся на берегу фьорда, и другие жители Эйрарбакки, столпившиеся на береговых утесах, узрели в этом случайном происшествии знамение судьбы: накипевшая ненависть предвещала поединок не на жизнь, а на смерть. А может быть, сами боги, столкнув вместе оба щита, хотели этим показать, что они тоже могут принять участие в хольмганге со всем своим грозным могуществом?

Согласно обычаю, Эйрик, получивший вызов, должен был нанести первый удар. Это был совсем не опасный, скорее почетный удар, возвещавший о начале единборства. Скаллаgrim Рыболовный Крючок легко отразил удар острой кромкой щита. Церемония была соблюдена. Эйрик Рыжий и Торстейн отступили каждый на три шага, а их помощники с высоко поднятыми щитами стали по правую руку, в двух шагах от того и другого викинга, подавшись чуть назад.

В эту минуту с мола донесся протяжный рев. Это напоминал о себе большой старый бык, приведенный с горной долины для жертвоприношения, — рыжее чудовище с низко опущенной мордой и налитыми кровью глазами, разъяренное тем, что его привязали за

ноздри к столбу. Победитель хольмганга должен будет зарезать этого быка в знак благодарности Тору, древнему богу. Кровь жертвы потечет в холодное море, а судьи альтинга будут следить за справедливым дележом священного мяса.

— Да постой ты спокойно, — ворчал погонщик, — тебя ведь еще не режут! Поединок может продлиться до ночи.

Впрочем, бык сейчас никого не интересовал. Все глаза были устремлены на островок.

Эйрик Рыжий и Торстейн вертелись, как танцоры, близ того места, куда они запустили свои щиты. Не раз уже скрещивались их тяжелые мечи, и каждый раз юные помощники, искусно действуя кожаными щитами, отводили в сторону опасные удары. Торстейн, как баран, кинулся в атаку, надеясь захватить противника врасплох и неожиданно обойти его. Но Эйрик Рыжий встретил его атаку и последующие выпады со спокойствием каменной скалы. Казалось, гнев Торстейна должен был исчерпать себя, настолько слабым было противодействие мореплавателя. А на утесах даже самые ярые приверженцы Эйрика стали понемногу охладевать. Они надеялись на молниеносную победу смельчака, вернувшегося в Исландию с ореолом первооткрывателя новой земли.

И что же оказалось? Он несколько не отличался от других викингов, тоже не решавшихся идти на разъяренного Торстейна.

Ньорд и Торгрим, растерявшиеся было после постыдного бегства Льота, снова воспрянули духом. Они переходили от группы к группе, и их ядовитые замечания не встречали отпора.

— Видали мы этого горлана Эйрика Рыжего! Пока что он с грехом пополам защищает свой кожаный панцирь. А вы слушали развесив уши этого жалкого искателя приключений!

Даже Вальтьоф заколебался и избегал отвечать на вопросы соседей. Один только Бьярни сохранял в глазах огонек, но и скальд не разжимал губ.

— Ты слышишь, Бьярни, что говорят люди? — осмелился спросить Скъольд, когда ветер донес до них ядовитые слова Ньорда.

— Гранит не боится ни дождя, ни ветра, Скьольд! Гранит не спешит.

— Дядя Бьярни! Смотри! Ведь Эйрик не отвечает на удары!

— Эйрик сам знает, что ему делать. Ты лучше посмотри на своего брата Лейфа. Он не позволяет себе ни одного лишнего движения и при этом ухитряется ни на шаг не отходить от Эйрика. Да, Лейф из породы отважных. Посмотри-ка на него, нет, ты только посмотри!.. Послушай, Вальтьоф, — обратился он к брату, — когда я уезжал, мои племянники были птенцами, а вернувшись, я застал орлов. Смотри!..

Остальные слова Бьярни потонули в гуле толпы.

При очередном выпаде Торстейна, мгновенно прикрытом ловким Скаллаgrimом, Эйрик вынужден был уклониться и отступить на пять-шесть шагов. В этот миг у него подвернулась нога в кожаном мокасине с шипами на подошве. Потеряв равновесие, викинг упал и выронил меч. Теперь он был во власти врага, который обеими руками поднял оружие, готовясь обрушить его на голову противника. В нескольких шагах от него застыл Скаллаgrim, низко опустив щит.

Тогда Лейф Турлусон, сын Вальтьофа, перескочив через лежащего на земле Эйрика, поднял обеими руками свой щит и подставил его под удар тяжелого меча Торстейна... Это был безумно смелый поступок. Если Лейф мог спасти Эйрика от чудовищного удара врага, то неизбежно должен был погибнуть сам, подставив под клинок не только щит, но и свою незащищенную голову.

Скьольд испустил крик, который прокатился по всему фьорду, разорвав тишину, внезапно нависшую над сотнями опечаленных голов.

Сталь и в самом деле прошла сквозь толстую кожу, но в ту же секунду Лейф сумел слегка повернуть свой щит. От неимоверного усилия мальчик даже подпрыгнул... Между тем люди, наблюдавшие с береговых утесов Боргарфьорда за поединком, от испуга инстинктивно втянули голову в плечи. Меч Торстейна новым ударом рассек три слоя моржовой кожи, но удар этот был ослаблен деревянным каркасом щита, окованным железом. Это ослабило силу удара. Бросив щит, Лейф отскочил в сторону. Торстейн поспешно нагнулся, чтобы

высвободить свой клинок, на две трети вошедший в деревянную раму щита. С него градом катился пот. Тяжелая усталость, как плащ, опустилась на его тело. Бешеный ритм первой части поединка вызвал внезапное изнеможение. Неловкими движениями он высвободил меч.

Тем временем Эйрик Рыжий вскочил могучим прыжком и бросился вперед. Торстейн парировал боковой удар. Усталость не помрачила его разума. Он с ужасом понял, что противник так бодр и свеж, словно только что встал после отдыха на меховых шкурах. Он был поработчен зловещим спокойствием Эйрика Рыжего. В его светлом взоре Торстейн прочел холодную решимость.

Ловкий удар выбил из рук Скаллагрима щит и ранил его в правое плечо. Это дало Эйрику Рыжему еще немного пространства. Торстейн почувствовал, как меч отяжелел в его руке. Несколько раз он жадно глотнул воздух. Казалось, его грудь вот-вот разорвется от напряжения.

Эйрик следил за каждым его движением, подтверждая, что враг теряет силы. Волчьи ноздри Торстейна начали быстро раздуваться, а в узких глазах зажегся огонек тревоги. В любое мгновение Торстейн мог оказаться во власти Эйрика, но ему хотелось, чтобы отступление врага еще ярче оттенило победу... Он принялся размахивать мечом, как дровосек топором. В руках Скаллагрима треснул второй щит. Торстейн уступил противнику еще пять шагов. Скоро начнется склон. Оба это знали.

Эйрик не терял из виду линию серых камней, обозначающих начало склона. До них уж едва оставалось двадцать шагов. Этот опасный рубеж был за спиной у Торстейна. А тот даже не осмеливался обернуться, чтобы измерить расстояние, отделявшее его от этих предвестников неумолимой судьбы. Если еще отступить, придется уже драться на склоне. Торстейн с огромным упорством пытался отвоевать хоть несколько шагов потерянного пространства. Он решил рискнуть, шагнул вперед, но при этом обнажился. Эйрик зашел слева и плашмя ударил его в бок. Оглушенный ударом, Торстейн закачался и широко раскрыл рот. Ужасная боль пронзила ему грудь.

Струсивший Скаллаgrim двумя прыжками хилых ног очутился у линии камней. Но Торстейн не последовал за ним. Мысль о позорном бегстве лишь усилила его звериную ярость. Желание унижить и прикончить врага взяло у него верх над благоразумием. Любой ценою он должен был пролить кровь Эйрика Рыжего... В его руках меч превратился в топор и молот, чтобы рубить и дробить. Подхваченный гневом, как волной, он на пять шагов продвинулся вперед. На губах у него выступила пена. Правила наступления и защиты были забыты.

— Я ждал минуты, когда ты снова станешь волком, Торстейн Торфинсон! Так было, когда ты убил моего отца.

— Собачье племя! — прорычал Торстейн. — Я свалил твоего отца одним ударом!

Эйрик кинулся навстречу сыну Рюне.

— Отойди, Лейф! — крикнул он. — Остальное я сделаю сам!

Лейф бросил к ногам уже ненужный щит. Он понимал, что отныне поединок будут решать только темные силы ненависти и мести.

Скаллаgrim сбежал со склона и столбом застыл на берегу. Этот юнец бежал с поля боя, но Лейф не мог его осуждать, как жалкого труса. Такой поединок был делом необычным. Он был выше понимания щитоносцев, а может быть, даже и самих противников.

Вокруг клинков сверкали молнии.

Викинги с береговых утесов слышали яростные крики Торстейна Торфинсона. Битва достигла апогея.

А на молу без устали ревел рыжий бык и бил копытами о камень, будто и его захватило безумство людей.

Бьярни Турлусон наклонился к Скъольду:

— Вспомни-ка сагу Флоаманна, племянник. Этот бой по ярости не уступает поединку Дуфбакра и Сторольфа, сына Хенга. Припомни!

И вдохновенный скальд вполголоса произнес слова легендарной саги:

Медведь и бык сошлись на поле Хвелл,
И закипел смертельный, ярый бой.
Сочилась кровь у них из тяжких ран.
Казалось, поразил их град камней.

Медведь взял верх. Когда ж забрезжил день,
Чернела там изрытая ложбина.

Грудь Торстейна вздымалась, как кузнечные мехи. Пот и слюна смешались у него на бороде. Из раны на шее капля за каплей сочилась кровь. Ему ни разу не удалось коснуться врага, и унижение томило его не меньше, чем усталость, сковавшая мышцы. Порой ему казалось, что он атакует стену, а она все время уклоняется от ударов.

Вдруг Эйрик перешел в нападение, словно торопясь его прикончить.

— Земля расступается под твоими ногами, Торстейн Торфинсон, уже видна твоя могила.

Торстейн в ответ хотел произнести проклятие, но был оглушен страшным ударом. Эйрик Рыжий наносил ему пощечины лезвием меча. Волна горечи затопила сердце Торстейна. Но вдруг он почувствовал, что у него в груди забился страх, как испуганный барсук в норе. Он был во власти страха! Это открытие его потрясло. Теперь в его плоти жили уже два Торстейна Торфинсона. Один из них еще кое-как отвечал на удары Эйрика Рыжего, но его двойник с ужасом наблюдал, как все выше, пеленою тумана, поднимается непреодолимый страх.

Сотни раз видел Торстейн, как ужас изменяет лица людей. Он знал, что страх зарождается глубоко внутри человека, а его щупальца протягиваются и обволакивают бока, грудь, шею, постепенно сковывая ноги. Сотни раз Торстейн Торфинсон преодолевал это отвратительное чувство. Он считал себя сильнее страха.

Растерявшийся, обезумевший, он отступил, наткнулся на один из серых камней и зашатался, как пьяный. Эйрик Рыжий не переставая гнал его вниз своим мечом. Пятясь, Торстейн мало-помалу сползал со склона. В ушах его внезапно и грозно усилился шум моря.

А на молу ревел рыжий бык и пытался вырваться из своих пут. Старый Руне провел дрожащей рукой по лбу, на котором выступил холодный пот.

Бьярни Турлусон широкой рукой закрыл глаза Скъольду.

— Это конец, Скъольд! Это финал, как в саге Эгилля! Вспомни, мой мальчик, конец этой саги.

И Скъольд медленно прочитал:

Тогда Эгиль, отбросив меч и щит,
Схватился врукопашную с Атли.
Их силы оказались неравны:
Атли вмиг рухнул навзничь, и Эгиль
Ему тотчас зубами впился в горло.

Скъольд и не хотел смотреть. Он с восторгом думал о брате Лейфе, который в этом бою показал себя настоящим викингом.

Торстейну часто случалось сражаться спиной к морю. И тогда нежный лепет волн и завывания бури возбуждали в нем пыл, умножали наступательную силу.

Когда ноги Торстейна коснулись ледяной воды, остатки боевого чутья побудили его броситься вперед. Но страх, поселившийся в теле, неумолимо терзал внутренности. Перед полуослепшими глазами Торстейна плясали рыжие косы Эйрика и вспышки солнца на его мече.

Море быстро дошло ему до колен. Люди на береговом утесе что-то кричали, но до него, как сквозь густой туман, доносились лишь приглушенные возгласы.

Он споткнулся. Вода уже была по пояс. Ему казалось, что все жизненные силы сосредоточились у него в голове.

Лейф стал возле Скаллагрима. Они не обменялись ни словом. Обоих ошеломил этот торжественный марш к смерти. Видно, сам Тор, черный бог с огромными крылами ворона, был судьей в этом хольмганге. Может быть, это он вел руку Эйрика Рыжего?

Море покрывало уже грудь Торстейна. Быстрое течение мелкими водоворотами разбивалось над черными головами подводных камней, чуть высывавшихся из воды.

— Ты сейчас умрешь, Торстейн Торфинсон! Я сражу тебя одним ударом, как ты сразил моего отца!

Быть может, сам Тор говорил устами викинга?

Торстейн выбросил руки вперед, словно отстраняя невидимого врага.

Эйрик Рыжий нанес удар. Только один. На краткий миг море окрасилось алым. Торстейн медленно начал падать назад, точно улегся на волну, чтобы уснуть. Тело поплыло меж двух волн, его подхватило бурное тече-

ние, перерезавшее гладь Боргарфьорда, и прибрежная пена тотчас вновь вернула себе свою молочную белизну.

А на молу без усталости ревел рыжий бык. Рюне Торфинсон лежал простертый на холодных камнях. Он поднес руку к груди, и это было в тот самый миг, когда меч Эйрика пронзил Торстейна. Сердце старика перестало биться, а его приверженцы в тупой растерянности смотрели на это безжизненное тело, скорчившееся под ярко-красным плащом и еще вчера принадлежавшее главному судье альтинга.

* * *

Эйрик Рыжий медленно подошел к тому месту, где стоял Лейф. На песке отпечатались двойные следы. Скоро ветер и песок покроют эти следы, и на островке, где происходил поединок, ничего больше не будет напоминать о Торстейне Торфинсоне.

Эйрик как будто вдруг заметил своего помощника.

— Ты сделал все, что нужно, Лейф! Смерть Торстейна была необходима: без нее викинги не могли бы идти вперед. Ну, нам пора — нужно принести в жертву Тору быка.

Лейф нагнулся и подобрал оба неповрежденных щита.

Часть вторая

Глава I'

БУРНОЕ МОРЕ

Веревка лопнула в руках Лейфа, как трухлявая деляшка, и от острой боли из груди мальчика вырвался крик, смешавшийся с неумолчным ревом бури.

Трос из моржовой кожи врезался в ладонь, и кровь окрасила пальцы. Раздосадованный, он положил руки на борт судна, через который захлестывали волны, и подставил стертые места действию морской соли. Этим мальчик бросал вызов обрушившейся на «Большого змея» буре, шумным волнам, катившимся по этим незнакомым водам, черному, как сажа, небу, похожему на крышку огромного котла, надвинутую на горизонт, и враждебной судьбе, только что сорвавшей с мачты парус. Ветер втянул в свою воющую пасть и проглотил разодранную холстину. Гордый парус «Большого змея» разлетелся в клочья, и ничего от него не осталось.

Столб бурлящей воды с головокружительной быстротой вздыбился над судном, на мгновение как бы откинулся назад и с оглушительным свистом, напоминавшим пронзительные крики невообразимого множества чаек, всей тяжестью обрушился на носовую часть судна и на скамьи гребцов. Обшивка «Большого змея» жалобно заскрипела, глухо затрещало дерево в трюме. Сквозь густую завесу пенистых гребней Лейф увидел, как трое или четверо моряков были сорваны со скамей и отброшены чудовищным валом далеко от судна, в клокочущую бездну. Кто это мог быть? Улаф, Га-

ральд Толстопузый, Йом Тригвасон, Эйрик Рыжий или дядя Бьярни? Лейф инстинктивно прижался животом к палубе и уцепился за плетеный кожаный трос, протянутый вдоль борта. На палубе от носа до кормы перекачивались волны, затопляя трюм, вырывая клинья уключин, заливая оба боковых прохода. Основание мачты подломилось и больше не могло выдерживать ее огромный вес. Среди кипящей пены мелькнуло лицо викинга. Расширенные от ужаса глаза вылезали из орбит. Лейф узнал Магнуса Арнисона, ловца трески из Боргарфьорда. Волна швырнула вперед его тело, притиснула к мачте, и тут же водяной смерч могучим рывком подбросил его на пятьдесят футов. Казалось, нет той силы, которая могла бы противостоять этому водяному хаосу, завладевшему «Большим змеем». Снасти гудели и трещали. С минуты на минуту судно, потеряв управление, могло завертеться волчком.

Лейф почувствовал на себе тяжесть водяных жерновов. По телу, от шейных позвонков до лодыжек, прошла нестерпимая боль. Кипящая водяная глыба рвала на части, давила, крушила. Лейфу казалось, что она никогда уже не отпустит его. В ушах звенели колокола Эйрарбакки, во рту был тошнотворный привкус крови, но юноша сосредоточил всю свою волю, всю яростную жажду жизни в израненных руках, сжимавших тугой трос.

Перед тем как пуститься в плавание, Эйрик Рыжий долго говорил об опасностях, подстерегавших путников в море. Какими далекими казались теперь Исландия, и ферма в Окадале, и день возвращения Эйрика Рыжего, и хольмганг посреди Боргарфьорда! После победы Эйрика события развернулись с удивительной быстротой. Старый образ жизни был отброшен. За три месяца Исландия познала больше волнений, чем за десять предшествовавших лет. Все дела на острове пошли в темпе, указанном Эйриком Рыжим и Бьярни Турлусоном. Все помыслы были направлены на предстоящее путешествие в Гренландию. Четыреста семейств согласились последовать за Эйриком на новые земли. Это составляло около полутора тысяч человек. Сторонники Рюне не возражали против такого массового переселения. Самые ярые из них — Глум Косоглазый, Торgrim, Льот и Ньорд — исчезли. Ходили слухи,

что они ушли в горы. По правде говоря, Эйрика и его друзей их судьба не очень интересовала. Групп Торстейна Торфинсона найти не удалось. Никто не сомневался, что течение унесло его в открытое море. Правосудие свершилось в согласии с законом. С прошлым было покончено.

Альфид, вдова Торстейна, покинула убежище во фьорде Аслакстунга и поселилась со своими людьми в просторном доме Рюне Торфинсона, но выходила оттуда очень редко. Альфид происходила из богатой исландской семьи. У нее было бледное, худое лицо, на котором резко выделялся острый нос. Серые глаза, круглые, как ягоды можжевельника, не выражали никаких чувств. До замужества ее называли Альфид — Ледяной Глаз.

Все, кто собирался в путь, перегнали своих коров и овец в загоны. Внезапно наступило лето, ячмень созрел рано, и приходилось торопиться с уборкой урожая. В каждом дворе сушили на больших плетенках палтус и треску, а детям и рабам было поручено следить за тем, чтобы не переставая шел густой дым. Во всех трех бухтах фьорда кипела работа: мужчины крепили обшивку кораблей, тесали привезенные из Норвегии драгоценные древесные стволы, вколачивали гвозди и до глубокой ночи обсуждали все приготовления к экспедиции. Эйрик собирался повести за собой флотилию из двадцати семи крепких судов, способных выдержать любые штормы. Они были шире дракаров, с настланной палубой и высокими надводными бортами. Двенадцать судов не отличались от «Большого змея», а пятнадцать были крупнее, с обширными трюмами, приспособленными для перевозки скота и запасов семян, которые переселенцы хотели захватить с собой в Гренландию.

Что же случилось с флотилией, которая только четыре дня назад обогнула шхеры Гунбьерна, миновав те самые скалы, которые находились на расстоянии всего лишь одного дня плавания от Исландии, но долгое время считались границей, замыкающей мир викингов? Где могли быть сейчас отец Лейфа и Скульд?

Оглушенный, притиснутый к палубе, измученный, как загнанный зверь, Лейф ясно представлял себе, что рассеянные бурей суда носились теперь наугад по бур-

ному морю, во власти ветров и течений. Правда, Эйрик подробно объяснил всем старшим на судах, какого курса нужно держаться, но при таком разгуле стихий эти наставления могли оказаться бесполезными. Сколько судов со сломанными мачтами и разбитым корпусом уже покоятся на дне! А сколько уцелевших переживают в эту минуту агонию!

Вальтьоф и Скъольд сели на один из самых больших судов. Им поручено было сопровождать лошадей, взятых из Окадаля. Да Вальтьоф и сам не согласился бы никому доверить уход за своими жеребцами и кобылами. Кроме того, морская традиция требовала, чтобы человек, отправлявшийся в плавание с несколькими сыновьями, распределил их по разным кораблям. Этот мудрый обычай викингов обеспечивал в случае несчастья продолжение рода.

Лейф был убежден, что и остальные суда не могли уйти от бури. Истерзав «Большого змея», она должна была избрать другую жертву. Бурные волны, как покорные звери одной стаи, мчались на просторе под рев разъяренных ветров. И все же сила бури была на ущербе. Можно было подумать, что волны уносили ее с собой. Дыхание моря становилось спокойнее. Волнение утихло, норд-вест ослабевал. Слабые лучи света прорезали кромешную черноту туч. «Большой змей» все еще переваливался с боку на бок, но корпус больше не скрипел.

Лейф приподнялся на колени. Он выдержал испытание и чувствовал, как в нем поднимается волна гордости. Он не поддался страху. Он с честью перенес боевое крещение, он не пал духом перед ураганом, пронесшимся над Западным океаном. На палубе «Большого змея» теперь раздавались громкие возгласы, и в каждом слышалась тайная радость людей, счастливых тем, что остались живы.

Неизвестно откуда появился Эйрик Рыжий. По его волосатой груди струилась вода. Огненные косы были перевязаны на макушке, и эта прическа дикаря делала его еще выше. Моряки один за другим собрались под мачтой. Эйрик осмотрел всех, соображая, кого из них недостает. Потом он окинул взглядом серое море, по которому волны все еще перекатывали свои пенистые

гребни. Презрительная усмешка скривила его верхнюю губу.

— Клянусь Тором, мы продвинулись довольно далеко. Вот это буря! Она помогает нашим гребцам и толкает нас как раз туда, куда мы должны плыть.

Лейф с восхищением смотрел на великана. Половина гребцов «Большого змея» потонула в пучине — их смыло вместе с веслами, — ураган разорвал в клочья парус, судно чуть было не погибло, флотилию разбросало в разные стороны, а этот человек не потерял присутствия духа и вновь бросал вызов океану! В эту минуту Лейф мысленно поклялся идти за Эйриком хоть на край света.

Бьярни, скрестив на груди руки, горестно обозревал разрушения, причиненные бурей.

Эйрик положил руку на плечо друга:

— Слушай, Бьярни Турлусон. Буря мчится на север. Мы плывем на запад. Наши пути больше не сойдутся. На западе к нам присоединятся уцелевшие суда. Тор похитил у нас парус, но в трюме лежит запасной. Однако, прежде чем его поставить, мне кажется, надо бы всем закусить и откупорить бочку пива. Мы обязаны совершить возлияние в память тех, кто от нас ушел. Они погибли в море, а потому прямо попадут в жилище богов и останутся там среди Ванов и Азов¹, которые будут подносить им пиршественные чаши. Этим молодцам наверняка достанется пиво лучше нашего.

Лейф никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так просто говорил о богах и духах.

— Лейф, — сказал Эйрик, — у тебя ноги быстрее, чем у всех нас. Спустишь-ка в трюм! Тебе даже не придется поднимать шкуру над трапом. Об этом уже позаботилась буря.

В большом трюме царил неопишемый беспорядок. Хлынувший сюда водяной вал перевернул все вверх дном. Снасти из моржовых шкур, скрученные из волоса канаты, медные сосуды — все плавало в воде. Бурдюки из козлиной кожи с пресной водой, кули ячменя, мешки с крупой, связки сушеной рыбы — все подмокло и —громоздилось друг на друга, издавая острый запах. Волна с огромной силой швырнула железный якорь на

¹ В а н ы и А з ы — божества в скандинавской мифологии.

деревянную переборку, и он вцепился в нее лапами. Сорвавшийся запасной кабестан протаранил бочонки, котлы и лари с одеждой. У перевернутого плуга торчал кверху сломанный лемех. Высокие резные кресла — символ домашнего очага, — стоявшие в домах Эйрарбакки на почетном месте, валялись вперемешку целые с поломанными. На ручках кресел, принадлежавших роду Эйрика — они уже пересекали Западное море, — было изображено колесо рядом с козлиной головой. Покидая Исландию, моряк снова забрал с собой эти кресла. Яростные волны пощадили их. Две бочки и бочонок с пивом, привязанные к толстому бревну, тоже не пострадали. Это было единственное уцелевшее бревно из двадцати погруженных в Эйрарбакки. Вода кипела в трюме, как в котле. Борты «Большого змея» только чудом устояли против такого натиска.

— Ну как, Лейф? Оставила нам буря что-нибудь, чтобы промочить горло?

Против света отчетливо вырисовывалась голова Эйрика Рыжего, склонившегося над люком. Каждая морщинка, каждая складка на лице выдавали его чувства. На людях викинг скрывал владевшие им ярость и гнев, вселяя в других мужество, но здесь, при виде загубленного добра, он не мог сдержаться. И под сорванной маской полубога, насмеявшегося над ураганом, Лейф увидел скорбное человеческое лицо.

— Не беспокойся, Эйрик! Пива у нас хватит до самой Гренландии, хватит и ячменя, чтобы не умереть с голоду, и хватит мужества, чтобы победить!

Говоря так, Лейф был послушен велению сердца. Чутье подсказывало ему, что в эту минуту великий викинг нуждается в чем-то другом, кроме беспрекословного повиновения своих спутников.

— Эйрик Рыжий! Все мы знаем, что удары судьбы жестоки, но наши отцы побеждали и не такие бури, преодолевали и не такие препятствия!

Эйрик вздрогнул, словно его ужалила змея. На какую-то долю секунды Лейф испугался, что был слишком дерзок. Имел ли право он, безбородый юнец, не видевший ничего, кроме серой полоски исландского моря, говорить так с человеком, который первым обогнул шхеры Гунбьерна и открыл путь на запад? Но лицо викинга смягчилось, ярость в глазах погасла. И тихо,

так, чтобы только мальчик расслышал его, он промолвил:

— Большое тебе спасибо, Лейф Турлусон! Море — наш давний враг. Вместе мы его победим. Мы будем все дальше на запад отодвигать наши рубежи. Для самых смелых Гренландия будет лишь передышкой.

Но вот его зычный голос снова загредел в полную силу:

— Лейф Турлусон говорит, что пиво не пострадало! Пусть трое людей спустятся в трюм и выкатят самую большую бочку. Мы откроем ее на палубе, и пусть каждый осушит полный рог. Викинги Исландии, нам нужно отпраздновать этот день! А как только море успокоится, мы выпустим ворона, и он отыщет нам землю.

* * *

Когда разразилась буря, судно, на котором плыли Вальтьоф со Скъольдом, было во флотилии крайним справа. С ними было тридцать мужчин, двенадцать женщин и четырнадцать детей. Старший на корабле, хитрый старик, прекрасно знавший коварство северных морей, немедленно велел спустить парус и дал приказ гребцам выбраться как можно скорее из центра урагана.

Вальтьоф тотчас же указал ему, что, идя теперь к северу, они нарушат распоряжение Эйрика все время держать курс на запад.

— Ты больше не дорожишь своей шкурой, Вальтьоф? Эйрик сейчас ничем не может нам помочь. «Большой змей» угодил в самую гущу бури. Глянь-ка в ту сторону! Можно подумать, что Один пашет на воде и на небе. Поверь мне, Вальтьоф, с этой минуты каждый должен думать о себе. Но рано или поздно наш ворон приведет нас к суше.

Вальтьоф не ответил. Он думал о Лейфе, плывущем на «Большом змее».

Судно «Гусь» шло, опережая бурю. Море было неспокойно. Дул сильный ветер, но старший правильно рассчитал курс: его корабль оказался в стороне от бури.

— Сколько дней так может продолжаться, Йорм? Старик пожал плечами:

— Одному Тору известно. Два, три, десять дней... Плохи наши дела, очень плохи! — Он сердито кусал гнилыми нижними зубами толстую губу. — Буря сильнее воли Эйрика Рыжего. Быть может, на новой земле нам придется избрать нового вождя.

Вальгьоф готов был резко возразить ему. Он никогда не благоволил к жадному, продажному Йорму, которому Рюне Торфинсон щедро платил за оказанные грязные услуги.

— Эйрик еще не умер, Йорм, и рано говорить о новом вожде, — сказал он.

Йорм захихикал и отвернулся, глядя на юго-запад, затянутый густой мглой.

— Немногим кораблям удастся там уцелеть.

— На борту «Большого змея» мой брат! — воскликнул Скъольд. — Зачем же ты говоришь это моему отцу?

Йорм едва удостоил мальчика взглядом и раздраженно прикрикнул:

— Шел бы ты лучше в трюм подбирать навоз за своими лошадьми! Благодарите богов, что наше судно не очень качает, а то бы я велел выбросить за борт этих вонючих животных!

— Этим ты посягнул бы на имущество нового поселения, Йорм!

Последние слова принадлежали Вальгьофу. Он говорил спокойно, но гнев бурлил в его крови. Вальгьоф прекрасно понимал, что старые распри, ненависть, соперничество, как и зерна, привезенные из Исландии, произрастут на новой земле. Ведь Йорм не исключение. Соперничество между родами скоро нарушит покой новой колонии, и неизбежно появятся недовольные.

Лошади были возбуждены, и Вальгьофу пришлось спуститься в трюм. Жеребцы, самые беспокойные, били копытами в пол. Они чуяли близость бури.

На следующий день к «Гусю» присоединились еще два судна — «Коза» и «Медведь». Они следовали тем же путем и мечтали как можно дальше оторваться от бури. На «Медведе» было более сорока переселенцев. «Коза» до ватерлинии была загружена ячменем. Старший на «Медведе», моряк по имени Бьорн, сообщил, что не хватает двух судов.

И вот уже трое суток все три судна плыли вместе. Воздух был чист, как кристалл. Дул холодный северный ветер, и наутро парус заблестел частицами льда. К середине третьего дня на серой поверхности моря появились плавучие льды. Они медленно скользили на юго-запад. Большинство льдин возвышалось лишь на пять-шесть футов над водой. Но их внезапное появление взбудоражило людей на борту. Йорм отдал приказ плыть прямо на запад. Старшие на «Медведе» и «Козе» последовали его примеру.

Вальтьоф с тревогой думал о том, что на «Гусе» не все спокойно. Люди обменивались ядовитыми замечаниями. Начались ссоры, и, если бы дальше все пошло в том же духе, это могло привести к пагубным последствиям.

Вальтьоф поднимался из трюма. Лошадей пришлось стреножить. И тут он оказался невольным свидетелем сцены, еще более усилившей его опасения. У подножия мачты ссорилась кучка моряков. К ним подошло несколько хозяев ферм. Один из них был некий Эгиль, владелец сорока голов рогатого скота и большого стада овец. Бывший старейшина альтинга, он принадлежал к тем немногим из богатых людей, кто согласился переселиться в Гренландию.

— Сейчас ты так же беден, Эгиль, как самый нищий из твоих рабов. И ты не скоро услышишь, как мычат твои коровы и блеют твои овцы.

Это был голос Йорма. Раздались злобные и веселые смешки. А тот продолжал:

— Овцы — это те, кто слепо пошел за Эйриком Рыжим. Послушать их, так сам могучий Тор спустился на землю им помогать. Нечего сказать, хорошему богу они доверились! Едва ли Эйрику удастся вывести из бури хоть один корабль. — Голос Йорма скрипел, как трещотка, смазанная желчью. — К счастью, — продолжал он, — есть еще такие люди, как я, умеющие распознавать ветры и причуды моря. Разве нам не удалось сойти с опасного пути без всяких потерь?

Кто-то заметил, что Эйрик мог увести свой флот на юг.

— Не мели вздора! — оборвал его Йорм. — Я обращаюсь к людям здравомыслящим, а не к болванам. Я только хотел сказать, что среди нас найдется сотня

таких, которые стоят Эйрика, и не менее десятка более достойных, чем он. Не думайте, что я говорю о себе. Я только моряк, умеющий управлять судном. Но вот, к примеру, ты, Эгиль Павлин. Ведь ты правил делами в Эйрарбакки. За тобой пошли твои друзья и слуги. Видно, тебе очень верят бедные люди, если Гренландия мерещится им раем. Ты ловок, умеешь разговаривать с людьми. Ты великодушен, и я знаю — не забудешь тех, кто поможет тебе умерить бахвальство Эйрика Рыжего и Бьярни Турлусона.

Лукавый язык Йорма расточал яд весьма умело. Слушатели уже видели себя на лучших общественных должностях, и толстый Эгиль, конечно, не мог остаться бесчувственным к этой лести. Неважно, что его называли Эгилем Павлином. Разве в такое время можно было обижаться?

— Тором клянусь, ты мудро рассуждаешь, Йорм! Незачем отдавать в руки Эйрика Рыжего и его дружок все богатства Гренландии. Вместо него нужен справедливый, рассудительный человек, думающий об общем благе, осторожный и сильный, которого поддержат друзья.

Эгиль Павлин с тупой самонадеянностью честолюбца быстро поддался игре ловкого Йорма. Тот попросил присутствующих хранить все это в тайне и пообещал, что те, кто примкнул к заговору с первого дня, получают наибольшие блага.

— Эгиль сумеет оценить достоинства каждого, друзья мои. А теперь те, кто не должен стоять на вахте, могут отправляться спать.

— Да благословит великий Тор все наши начинания! — напыщенно произнес Эгиль Павлин. — Идите к себе да накройтесь хорошенько шкурами! Ночь очень холодная.

Эгиль вдохновился предложением Йорма и уже видел себя вождем. Он с большим достоинством удалился. Йорм тоже направился по проходу, ведущему к полубаку. Его люди последовали за ним.

Дрожь пробежала по спине Вальтгофа. Они еще не успели добраться до новой земли, а уже затеваются низкие заговоры. К этим людям могут примкнуть все недовольные и глупцы, которые польстятся на их посулы. Йорм и несколько таких же честолюбцев сделают

Эгиля своим слепым орудием и будут вертеть им, как захотят.

Подлые псы! Презренные душонки!

Вальтьоф сжал огромные кулаки. Зависть к могуществу лишила заговорщиков последних остатков разума. Ведь Эйрик подарил им новый материк. Он приобщил их к великому начинанию, а вместо благодарности эти ничтожные пигмеи собирались его погубить.

Холодный ветер, который пронесился над палубой, не умерил его гнева. Вальтьоф задыхался. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы стряхнуть невидимую руку, сдавившую ему горло, и облокотился о планшир. Ему нужно было собраться с мыслями.

Серое, как рыба чешуя, море освещала бледная луна. Вдали невидимое течение относило ледяные глыбы. Их верхушки отливали то пламенем, то серебром. Блуждающие громады, оторвавшиеся от неведомых берегов, казались видениями другого, таинственного мира. Рассказывали, что там, на севере, где всегда царит ночь, льды и снега — безраздельные властители земли. А может быть, эта ледяная стена, плывущая навстречу трем кораблям, не что иное, как преграда, которую темные силы воздвигли в противовес человеческой храбрости?

Это невиданное зрелище немного разрядило гнев Вальтьофа. Эйрик и его приверженцы были достаточно сильны, чтобы справиться с кучкой предателей, объединившихся вокруг Йорма и Эгиля Павлина. Нужно так или иначе сообщить Эйрику о назревающем заговоре. Вальтьоф один владел этой тайной. Это было нелегкое бремя. Ведь он в любой день мог погибнуть. Йорм не любил его, потому что ненавидел Бьярни. Долго ли случится беде?..

Мысли путались в голове Вальтьофа. На этом судне не было человека, которому он мог бы довериться. Разве что Скъольд? Он больше не колебался и пошел по проходу вперед. В конце этого прохода было место, где спал его младший сын. Мальчик лежал, закутавшись в медвежью шкуру. Вальтьоф задумчиво посмотрел на него. Спору нет, хранить подобную тайну — тяжкая ноша для ребенка. Но выбора не было.

— Скъольд, проснись, это я, Вальтьоф, твой отец!

У Скъольда был чуткий сон. Это было наследственное свойство охотников и воинов, передававшееся из поколения в поколение.

— Я должен поговорить с тобой, сын. Ступай за мной! В трюме нет никого, кроме животных, а это немые свидетели.

Вальтьоф не любил спать на нарах в полубаке. Он предпочитал охалку соломы в трюме, возле лошадей. По ночам он гладил их, успокаивал, называя по именам.

Заслышав знакомые шаги, животные тихо заржали.

— Спокойно, спокойно, мои милые! Я поговорю с вами потом.

Скъольд погладил шею Грома, своей любимой лошади. Это был лихой жеребец с белоснежной гривой.

— Садись, Скъольд, и слушай меня внимательно!

Вальтьоф рассказал обо всем случившемся. Он говорил медленно, боясь упустить малейшую подробность, обращая особое внимание на то, что ему казалось наиболее важным. Оторопевший Скъольд слушал отца. Неужели люди его племени, исландские викинги, могли так погрешить против чести и закона! Ведь Эйрик Рыжий, открывший новые земли и вернувшийся, чтобы сделать их достоянием сотен людей, стяжал себе большую славу, чем наиболее почитаемые морские ярлы! Что же двигало Йормом, Эгилем и им подобными, подрывавшими его власть?

— Ты ничего не забудешь, мой мальчик? Если со мной что-нибудь случится — нет, не бойся, моей жизни не угрожает опасность! — ты передаешь все это Эйрику и дяде Бьярни. А теперь повтори, что я сказал.

Вальтьоф был, как всегда, спокоен и рассудителен. В его любви к порядку многие видели признак недалекого ума. Он не успокоился до тех пор, пока Скъольд слово в слово не пересказал ему всю историю заговора.

— Хорошо, сын мой! Нам придется бороться до тех пор, пока в Гренландии не восторжествуют неподкупные законы викингов. А теперь оставайся здесь и спи!

Он заботливо накрыл Скъольда и посидел рядом с ним, пока не услышал ровное дыхание мальчика. Вальтьоф запрещал себе думать о Лейфе. Бьярни обещал

ему присмотреть за сыном. Но ведь и Бьярни был бес-
силен перед бушующей стихией.

Вдруг забеспокоился белогривый жеребец, люби-
мец Скъольда. Вальтьоф встал и подошел к лошади.
Она вздрагивала, словно чуя приближение опасности.

— Успокойся, сын ветров, успокойся! Это я, Валь-
тьоф!

Он погладил коня и почувствовал, как по телу жи-
вотного от гривы до колен пробежала дрожь.

Глава II

«ГУСЬ» И «МЕДВЕДЬ»

Скъольд проснулся от какого-то странного топота
на палубе. Вальтьоф был уже на ногах. Сквозь просве-
ты в неплотно сшитых шкурах, натянутых над трюмом,
пробивалась серая мгла — предвестница утренней зари.

— Что случилось, отец? На нас напали?

— Гром всю ночь бил копытами. Видно, чуял в воз-
духе опасность.

До них доносились гул голосов, слова команды,
приглушенные всплесками волн, ударявшихся о борт
судна. Отец и сын поспешно оделись и поднялись на
палубу, застегивая на ходу меховые куртки. Уже на
трапе у Скъольда перехватило дух. От морозного воз-
духа у мальчика валяли изо рта клубы пара. После отъ-
езда из Эйрарбакки ему еще не привелось испытать та-
кой лютой холод.

Все моряки столпились у правого борта.

— Что случилось, Грим? — спросил Скъольд одного
из них, стоявшего у кабестана.

Лицо у Грима было землистого цвета.

— Айсберги! Истряслось же такое! «Коза» попала
в ледяной плен.

«Коза» находилась менее чем в трех кабельтовых от
«Гуся», в центре узкого треугольника, образованного
тремя ледяными горами. Скъольд никогда не видел ни-
чего подобного. Рыхлые и все же грозные, эти горы на
сто футов возвышались над морем, покачиваясь на вол-
нах. Рыбакам не раз приходилось встречать в Исланд-
ском море блуждающие ледяные глыбы, но о таких ги-

гантах не упоминалось даже в самых преувеличенных рассказах.

И сразу же произошло непоправимое. Одна из ледяных глыб перевернулась, удивительно похожая на резвящегося кита. Ее вершина погрузилась в воду близ носа «Козы», выбросив струю воды, равную по высоте утесам Боргарфьорда. В то же время основание ледяной горы очутилось на поверхности. Переворачиваясь, ледяная громадина задела судно, которое мгновенно раскололось пополам. Взметнувшаяся волна обрушилась на «Гуся». Еще минута, и все мужчины уже валялись на палубе, оглушенные мощным ударом ледяного чудовища. А гигантская льдина снова спокойно покачивалась на седых волнах.

От «Козы» не осталось и следа. Ни одно тело не поднялось из морских глубин, ни один обломок не всплыл на воду. Огромная воронка втянула все в себя.

Скольдь поднялся одним из первых.

Безграничный ужас отразился на лицах людей. Истошным голосом вопила какая-то женщина: ее брат был гребцом на «Козе». Пришлось запереть ее в трюм. Охваченная безумным отчаянием, она хотела броситься в море и била кулаками каждого, кто к ней приближался.

— Ледяная гора идет на нас! Она уже близко! Мы прокляты богами!

Эгиль Павлин, белый как мел, дико закричал, протянув руки к морю. Льдина на самом деле плыла к судну. В трюме ржали лошади. Обезумевшие жеребцы дрались и кусали друг друга.

— Поднять якорь! — крикнул Йорм. — Гребцы, на весла! Поставить парус! Ветер нам поможет.

Все приказы были выполнены мгновенно. Каждому хотелось скорее покинуть эти гибельные места.

— Держать на юго-запад!

Лучше было плыть навстречу сотням бурь, чем быть раздавленными этими льдами, неизвестно откуда возникшими из глубины ночи. Все задавали себе вопрос: почему дозорные на «Козе» не сообщили о появлении ледяных гор? Ведь ночь ясная и люди стояли на вахте. Вопрос этот, конечно, остался без ответа, и в душе у моряков затаился страх. Уж не за этими ли непрохо-

димыми рубежами живут черные эльфы, коварные души царства мертвых?

Эгиль Павлин, упав на колени у основания большой мачты, приказал, чтобы все слушали его клятву Тору.

— Если я когда-нибудь вернусь в Исландию, обещаю принести в жертву по рыжему быку на каждой из священных площадок — в Эйяфьорде, Дьюпадалре, Гнупуфелле и Эйрарбакки.

А в трюме, как волчица, выла женщина.

— «Медведь» обогнал нас, — сказал Скъольд Вальтьофу. — Прав был Эйрик, когда говорил, что надо все время держать курс на запад.

Вальтьоф не ответил. Он думал о тех, кто слаб духом и не вынесет подобного испытания, о тех, чье воображение воспламенили рассказы о новой жизни, кто видел в плавании Эйрика лишь победное движение вперед. Такие люди станут теперь послушными орудиями Эгиля и Йорма...

Двое с половиной суток «Гусь» шел на юго-запад. Дул ровный ветер. Утром третьего дня бросили плавающий якорь, и Йорм в присутствии всего экипажа выпустил за борт ворона. Птица недолго покружилась над судном и полетела на запад. Ее прождали полдня, но она не возвратилась.

— Видимо, поблизости на западе есть земля, — сказал Йорм, — и наш ворон опустился на нее.

* * *

«Большой змей» приближался к Восточному поселку, основанному Эйриком Рыжим еще во время первого плавания. Пока весь этот поселок состоял из трех низких просторных строений в глубине фьорда. Но кругом не было недостатка в камне. Здесь и задумано было создать для исландцев большой поселок. Еще за два дня до того, как на горизонте показалась земля, Эйрик перестроил свои восемь кораблей, мало пострадавших от бури. Они были нагружены ячменем, скотом и сельскохозяйственными орудиями.

У входа во фьорд Восточного поселка «Чайка» Олафа Тривигсона, на которой было семьдесят переселенцев, лишенная мачты и сильно потрепанная бурей, ждала помощи. Спасательные работы были выполнены

без помех. Груз, состоявший из рыболовных сетей, крючков, гарпунов и связок сушеной рыбы, не пострадал.

Едва ступив на землю, Бьярни Турлусон разложил торф и зажег большой костер на утесе, прикрывавшем вход во фьорд. На рассвете следующего дня приплыли еще три судна со ста шестьюдесятью двумя переселенцами.

Прошел еще день, но новые паруса не показывались. На четвертый день после окончания бури люди поняли, что последняя надежда дожидаться потерпевших кораблекрушение утрачена. Но Лейф Турлусон не отчаивался. Пока переселенцы знакомились со своей новой родиной, он оставался на берегу, поддерживая огонь. Это было делом нетрудным: по склонам плоскогорья в изобилии росли сухой лишайник и разные кустарники.

Лейф не терял надежды. Он был убежден, что Вальтьоф и Скъольд живы и находятся где-то в море. В глубине души что-то подсказывало ему, что они не погибли. Если бы Скъольд, его младший брат, утонул, то связывавшая их незримая нить оборвалась бы и он, Лейф, не мог бы этого не почувствовать. Вот почему юноша был спокоен.

— Дядя Бьярни, — обратился он к викингу, который принес ему миску каши и кусок сыра, — я буду ждать столько, сколько потребует. Пройдет, быть может, много ночей и дней, но я не устану смотреть вдаль, чтобы первому заметить парус «Гуся».

— Йорм хороший моряк, — уклончиво заметил Бьярни.

— Йорм прежде всего гнусный торгаш. Он брал четырехкратную плату за лес, который привозил из Норвегии для исландцев по распоряжению Руне Торфинсона. Но сейчас это безразлично. Когда у входа во фьорд покажется парус «Гуся», я готов буду петь хвалу Йорму...

Бьярни исчез в холодной ночи, окутанной белесым туманом, а Лейф, завернувшись в медвежью шкуру, укрылся меж двух скал. Его костер был ярким пятном во мраке. Лишайники долго питали небольшой огонек, плясавший на красных углях. Лейф без усталости смотрел на причудливые тени, беспрестанно рождавшиеся

в игре пламени. То подплывал дракар, распустив парус по ветру, то рушилась или вздымалась гора, то в глубине волшебного леса взлетала сказочная птица-дракон. Затем в мерцании огня показались тонкие черты Скъольда. Он улыбался. Лейф залюбовался этим счастливым видением и заснул. От неутихавшего ветра по морю стлались клочья серого тумана, и волны швыряли их о стену береговых утесов с равномерностью бьющегося сердца.

Быть может, рожденный в пламени дух Скъольда всю ночь беседовал со спящим Лейфом. Стая крикливых чаек над безымянным мысом приветствовала одновременно пробуждение юноши и появление в водах фьорда «Гуся» и «Медведя». Дозорные, вглядываясь в даль, заметили в ночи красный глазок костра. Старшие на судах, несмотря на желание плыть вперед, бросили якоря, и люди, пробуждаясь один за другим, забывали в эту минуту обо всех пережитых бедах. На берегу горел костер, зажженный для них! Их простые сердца, как почки весной, раскрывались для чувств, которые удивляли их самих. Ведь люди на невидимом берегу освещали им путь!

Скъольд сжимал в руке пальцы Вальтьофа.

— Это Гренландия, отец! Наши уже здесь.

Он говорил «наши», чтобы обмануть злого духа. Мальчик не осмеливался произносить имена Эйрика Рыжего, Лейфа, Бьярни.

— Да, Скъольд, там наши. Они указывают нам путь.

Огонек съезжился, на мгновение сверкнул, как падающая звезда, и погас. Лишь тогда Вальтьоф и его сын почувствовали ночной холод. Неподвижные стояли они во мраке, ожидая нового знака. Они так пристально вглядывались в темноту, что у них заболели глаза. Серый свет зари уже мало-помалу разливался над морем, а они еще оставались на том же месте.

Теперь уже отчетливее выделялась линия берега, закрывавшая горизонт. Внезапно открывшийся провал меж двух скалистых выступов указывал вход во фьорд.

Йорм и Эгиль Павлин стояли на носу судна.

— На месте решим, что нужно делать, Эгиль, — сказал Йорм. — Знай: что бы ни случилось, даже если мы застанем Эйрика в живых, к тебе все равно примкнут многие. Власть на новых землях будет принадлежать

тому, кто сумеет ее захватить. Ты стоишь не меньше Эйрика Рыжего, Эгиль, а твой род куда древнее, чем его.

— Я никого не боюсь. Вы все в этом убедитесь, — хорохорился Эгиль Павлин. — Мои предки принадлежали к королевскому роду. Это о них говорилось в саге: «Для этих гигантов спать под крышей или долго сидеть у очага считалось позорным». А моя кровь не хуже их крови.

Хитрый Йорм повернулся, чтобы скрыть улыбку. Этот дурень пойдет за ним в огонь и в воду. Жребий был брошен. Йорм дал приказ держать курс прямо во фьорд.

Оба судна прошли под скалой, где с надеждой в сердце бодрствовал Лейф. «Гусь» шел впереди, а «Медведь» — в кабельтове за ним.

Лейф видел все, оставаясь незамеченным. Отвесный утес, на котором тысячами гнездились чайки, был похож на береговой утес Боргарфьорда, и гребень его на триста футов возвышался над палубами кораблей. Вытянувшись на жестком граните, мальчик пытался узнать знакомых ему исландцев, двигавшихся на палубе «Гуся». Он узнал Йорма, владельца судна, и Эгиля Павлина, важно восседавшего на месте загребного, и Грима, и Торольфа Волка, и Бьорна Кальфсона, кузнеца, и Хравна, которого называли «Хравн» — «Сын Лосося», потому что его мать, Фригга, приносила с рыбной ловли в реке Хвита лучший улов, чем мужчины. И, наконец, он увидел Скьольда, стоявшего рядом с отцом.

— Слава Йорму, хозяину «Гуся», который благополучно доставил моего отца и моего брата! Слава Йорму Храброму!

Лейф отвернулся и сплюнул. Юноша ненавидел Йорма. Тем не менее он сдержал слово.

Он поспешил спуститься с крутого склона. До лагеря Эйрика было не меньше мили. Быть может, ему повезет и он первый принесет дяде Бьярни счастливую весть.

ЗАГОВОРЩИКИ

Из двадцати семи судов, отплывших из Исландии, только пятнадцать стали на якорь у Восточного поселка. Двенадцать судов с широким обводом погибли в бурю, унеся с собой более пятисот пятидесяти переселенцев. В Гренландии высадились триста мужчин и женщин и около четырехсот детей и подростков. Первое знакомство с новой родиной не оправдало надежд исландцев. Гренландия представлялась им зеленой страной, наделенной сказочными богатствами, а на деле все оказалось совсем иным. Там, где они ожидали увидеть леса, как в Норвегии, просторные пастбища, плодородную землю, простиралось серое каменистое плоскогорье. Его перерезали горные долины, покрытые редкой травой, чахлым кустарником и искривленными ветром корнями, которые звездообразными щупальцами спускались к фьорду. Скалистый щит был непригоден для жилья. Ни одна из возвышенностей не могла сдержать дикие порывы ледяных ветров.

Эгиль Павлин, снова ставший счастливым обладателем большого стада и по-прежнему богатый, выказал недовольство в первый же день прибытия на новые земли.

Эйрик Рыжий и Бьярни наблюдали за выгрузкой скота, сельскохозяйственных орудий и съестных припасов, тогда как несколько землепашцев, под началом Вальтёфа, наспех строили загон для лошадей, коров и овец. В трех больших домах с помещениями для сна, для стирки и для хранения припасов суетились женщины. Они варили в котлах сушеную треску.

Зная, что Йорм и его моряки находятся рядом, Эгиль Павлин с дерзким видом обратился к Эйрику:

— Ты посулил нам зеленую страну и огромные просторы земли, а что же мы нашли? Одни лишь камни, а растений не больше, чем на пустошах в Эйрарбакки.

Эйрик ожидал подобного взрыва. На этот случай он подготовил убедительные слова:

— Быстро ты теряешь терпение, Эгиль! Мы прибыли сюда в плохое время года. Ведь нам пришлось вы-

ждать в Исландии, пока поспеет ячмень. Зима здесь будет суровой. Снега покроют всю землю. Ледяные языки поползут по фьорду и доберутся до наших судов. Наши отцы изменили Исландию не за один год. Нам придется строить, сеять, распахать землю, сажать растения, обносить поля каменными оградами. На западе, по другую сторону мыса Братталид, есть и другие долины. Весной мы разделимся и построим новые селения. Это не скоро делается, викинг!

Эгиль ухмыльнулся. Случай был подходящий, чтобы затеять ссору.

— Если я тебя понял верно, Эйрик, ты предлагаешь нам работать на тебя. Сначала мы отстроим сотню домов и складов в Восточном поселке, ты поселишься в них со своими людьми, а нам предоставишь какой-нибудь пустынный фьорд. Так знай же, Эйрик Рыжий, что мы тебе не рабы.

Эйрик с величайшим трудом сдерживал гнев.

— На этой земле нет и не будет рабов, Эгиль. Все переселенцы, кем бы они ни были в Исландии, станут здесь свободными людьми. Поля будут вспаханы и засеяны для общего блага, а жилища все приехавшие получают по справедливости. Не пытайся же вселять тревогу в души слабых, Эгиль!

Чванный Эгиль отступил перед суровыми, но убедительными доводами Эйрика, однако Йорм полагал, что на этом успокаиваться не следует. Поскольку яд уже начал просачиваться, нужно, чтобы он как можно глубже растревлял рану. Йорм обладал способностью подливать масла в огонь.

— Эйрик, — сказал он, — я не хочу вмешиваться в твою распрю с Эгилем. Оба вы и правы и не правы. У нас, викингов, горячая кровь порой заглушает разум. Ты открыл этот край и назвал его Зеленой Землей, чтобы увлечь нас и распалить наше воображение. Пусть будет так! Мы последовали за тобой. Но ведь нельзя отказать Эгилю в мудрости. К его голосу прислушивались в альтинге. Он достаточно сметлив, чтобы с пользой заниматься делами поселка. Так почему бы вам с ним не разделить власть?

Йорм говорил спокойно, равнодушным голосом, будто все это для него, человека, непричастного к спору, не имело никакого значения. Он прекрасно знал, что его слова западут в душу некоторых разочарован-

ных викингов, которые сейчас один за другим оставляли работу и подходили послушать разговор.

Эйрик, подобравшись, как пес, отражающий нападение, сделал Йорму знак молчать, но лукавый моряк не обратил на это внимания. Вдруг, повернувшись к стоявшим полукругом безмолвным слушателям, он облизнул тонкие губы и сплюнул на сторону. Так поступают, когда хотят показать чистоту своих намерений.

— Викинги! Ваше дело решать! Согласны ли вы, что мое предложение справедливо?

Он был так уверен в своих силах, что даже не повысил голоса. Вкрадчивый старик, полузакрыв глаза, стоял и ждал, чтобы высказались его сторонники. Их восторженное одобрение неизбежно должно было найти отклик среди многих колеблющихся — людей, привязанных к Эйрику, но ожесточившихся после трудного плавания и разочарования, ожидавшего их на новых землях.

Но слышалось только несколько возгласов из кучки приверженцев Йорма. Среди них были Торольф Волк, Грим, Хравн — Сын Лосося, Скиди Норвежец, Ивар Горлан и еще десяток других. Наиболее хитрый из них, Грим, сдерживал безрассудный пыл своих товарищей. Он считал, что бесполезно им реветь подобно ослам, если предложение Йорма не вызывает бури одобрительных криков.

Эгиль Павлин волновался. Напротив него, менее чем в десяти шагах, стоял Бьярни Турлусон и в упор смотрел на него. Этот пристальный взгляд раздражал Эгиля. Что еще может прийти в голову проклятому скальду, и почему так слабо поддерживает друга Йорм?

Бьярни положил руку на правое плечо Эйрика Рыжего, как бы советуя ему не торопиться. Эгиль почувствовал, что слишком рано сбросил маску. Он ощутил на спине неприятный холодок, будто потекла струйка ледяной воды.

Йорма тоже охватило беспокойство. Тихим, миролюбивым голосом он повторил свое предложение:

— Отвечайте же, викинги! Считаете ли вы Эгиля достойным разделить власть с Эйриком Рыжим?

Сыну Лосося надоела вся эта неразбериха, и, чтобы покончить с нею, он заорал во всю глотку:

— Эйрик Рыжий нас обманул! Пусть его заменит Эгиль, хотя его и называют Павлином!

Торольф Волк, Скиди Норвежец и Ивар Горлан, опешив, переглянулись. Грим, поняв, что дело проиграно, переметнулся к другой группе. Дурак Лосось испортил все дело. Со всех сторон слышались смешки. Викинги облегченно вздохнули. Теперь они больше не боялись смотреть друг другу в глаза. Козни Эгиля были шиты белыми нитками. Йорм Хитроумный, удивившись в провале своего замысла, решил дожидаться лучших дней. Подражая бесстрастному голосу судьи, наблюдающего за правильным ходом поединка, он обратился к Эйрику Рыжему:

— Я ведь только хотел помочь нашему устройству на Зеленой Земле, но раз викинги не принимают моего предложения, говорить больше не о чем.

Покинутый всеми, Эгиль молча удалился. Глаза Бьярни Турлусона поблескивали, и заговорщик прочел в его взгляде жестокую насмешку. Неожиданно споткнувшись о камень, Эгиль тяжело упал ничком и, не в силах вынести раздававшихся кругом взрывов хохота, остался лежать, обессиленный, смешной, лишенный всего своего ложного величия. Он дрожал от ярости, как связанный бык.

Йорм закричал еще раз настолько громко, чтобы все услышали:

— Ну, вот и хорошо! Мне добавить нечего.

Люди в нерешительности топтались на месте, будто не удовлетворенные исходом этой ссоры.

— Если тебе больше нечего добавить, Сын Лиса, то вместо тебя скажу я... — раздался вдруг из толпы незнакомый голос.

И Вальтьоф Турлусон, за которым, как две тени, следовали Лейф со Скъольдом, смело раздвинул ряды слушателей. В толпе зашумели: Вальтьоф заменил имя отца Йорма самым оскорбительным прозвищем, какое только могло быть: он назвал Йорма Сыном Лиса.

Те, кто хорошо знал Вальтьофа, были поражены его смелостью. Впервые за многие годы его взгляд выражал спокойную уверенность.

Он шагнул к Йорму, который растерянно смотрел на него, не зная, как отвести грозящий ему удар.

— Ты так оскорбляешь меня, Вальтьоф, будто я причинил тебе какое-нибудь зло. Не забывай, что я привез тебя на борту моего корабля. Отца моего и вправду звали Рыжим; но это не имеет ничего общего с обманчивым нравом Лиса.

Его маленькие глазки метали искры и впивались в лицо Вальтьофа, словно искали объяснения этому неожиданному выпаду. Вальтьоф, не выказывая волнения, остановился перед Йормом.

— Твой отец здесь ни при чем, Йорм! Лис притаился в глубине твоей души, и с того самого дня, как ты появился на свет, вы связаны с ним, как быки в одной упряжке. Вас может удивить, друзья мои, что Вальтьоф Печальный, Вальтьоф Тихий вдруг заговорил перед таким многолюдным собранием. Но ведь сейчас решается успех всего нашего дела.

Он отвернулся от Йорма и продолжал:

— Я заговорил потому, братья, что от этого зависит наша жизнь. Я прошу вас выслушать меня внимательно. Потом вы вольны будете поступить, как найдете нужным. Всего лишь трое суток мы находимся на новой земле, куда добровольно последовали за Эйриком Рыжим, а уже среди нас поселилась вражда.

От этого человека исходила какая-то удивительная сила убеждения. Он еще не успел высказать свои обвинения против Йорма, но все уже почувствовали, что ни малейшая ложь не сойдет с уст этого человека, на лице которого залегли преждевременные морщины.

Йорм лучше кого-либо другого понимал, какая опасность над ним нависла.

— Вальтьоф хочет обвинить меня в вымышленных грехах! — закричал он отчаянным голосом. — А почему? Да потому, что Бьярни Турлусон завидует мне. Замолчи, Вальтьоф, и останемся добрыми друзьями! У тебя нет более преданного друга, чем я!

Не обращая внимания на эти льстивые слова, Вальтьоф привлек к себе обоих сыновей и выдвинул их вперед.

— Слушайте, викинги! Вот мое единственное сокровище на этом свете. Головами детей моих клянусь говорить только правду. А если я погибну раньше, чем dokonчу мой рассказ, младший сын заменит меня.

Я поведал ему о предательстве Йорма, хозяина «Гуся», чтобы зло не осталось безнаказанным.

— Ложь! Ложь! — завопил Йорм. — Скажите же ему, что это ложь! Ведь вы все знаете меня!

Он призывал в свидетели моряков своего судна, но его протесты не находили отклика. Торольф Волк, Скиди Норвежец и Ивар Горлан смотрели куда-то в сторону. Один лишь Сын Лосося поддержал его, проворчав несколько необдуманных слов, окончательно подорвавших доверие, на которое надеялся Йорм.

Выждав, чтобы Йорм перестал бесноваться, Вальтьоф спокойно продолжал:

— Я обвиняю Йорма, Эгиля Павлина, Скиди Норвежца и десяток других, чьих имен я не знаю, в том, что они хотели поднять бунт против Эйрика Рыжего. Это было однажды вечером на борту «Гуся». Я поднялся из трюма, где ухаживал за лошадьми...

Лицо Вальтьофа оживилось, будто гнев стер с него серый налет, покрывавший его, как маска.

Викинги почтительно слушали, как разматывался клубок заговора. Эгиль Павлин попытался протиснуться сквозь первый ряд, чтобы затеряться в толпе, но кузнец Бьорн Кальфсон грубо вытолкнул его на середину круга. Тогда Эгиль бросился на Йорма и стал изо всех сил бить его в грудь кулаками.

— Это все ты подстроил, Йорм! По справедливости наказан должен быть ты один. Я хотел только земли, чтобы мои стада приносили больше дохода.

Эйрик Рыжий, который до этой минуты стоял неподвижно, подошел к Вальтьофу:

— Тебе незачем продолжать, Вальтьоф! Эгиль сам признал свое участие в заговоре, и Йорму нечего возражать. Очень досадно, что на земле, которой еще не коснулась мотыга, уже начинаются распри. Но, может быть, это и к лучшему. В Гренландии пока нет законов, мы их еще не установили. Я не стану мстить ни Йорму, ни Эгилю. С востока на запад тянутся обширные земли. Все недовольные могут поселиться там, где им заблагорассудится. Они получают свою долю орудий, скота и семян. «Гусь» — собственность Йорма. Пусть он у него и останется! Вдоль западного побережья нет недостатка во фьордах.

— А я могу увезти свое стадо? — спросил Эгиль.

— Этим ты окажешь нам услугу, — пошутил Эйрик. — Если твои быки похожи на тебя, они будут только портить наших. Собирай их скорее и уходи отсюда прочь!

— Дай мне немного времени на сборы, — попросил Йорм. — Хоть несколько дней.

Дело обернулось для заговорщиков не так уж плохо, и склочник Йорм немного воспрянул духом. Быть может, эта отсрочка позволит увезти из Восточного поселка побольше людей.

— Вы уедете сегодня же вечером, — резко оборвал его Эйрик. — Пока Эгиль будет считать коров, ты, Йорм, собери своих людей. Клянусь Тором, я охотно уступаю тебе Скиди Норвежца, Грима и всех им подобных. А Сын Лосося сумеет позабавить вас по вечерам.

За Йормом и Эгилем последовали двадцать семейств и двенадцать неженатых мужчин. Это составляло семьдесят девять человек, включая детей. Тут были моряки с «Гуся», к которым присоединились недовольные, ожидавшие найти в Гренландии жизнь, свободную от всяких забот. Бьярни и Лейф Турлусон занимались выдачей отъезжающим их доли ячменя, съестных припасов и сельскохозяйственных орудий. Когда настала очередь Йорма, Лейф оказался с ним с глазу на глаз.

Йорм наклонился к Лейфу:

— Предупреди отца, Лейф Турлусон, что я ничего не забуду.

Юноша прямо смотрел ему в глаза:

— Если когда-нибудь на этой земле с моим отцом случится несчастье, а твоя рука или твой язык будут тому виной, я проломлю тебе голову, Сын Лиса. И знай, что это не пустая угроза.

Йорм отошел со своей сетью и двумя гарпунами. Лейф проводил его взглядом до песчаной отмели фьорда. Изгнанники переносили на борт «Гуся» свою долю имущества. Из трюма, где содержался скот, шел едкий запах пота и прелой соломы. На носу и на корме громоздились тюки звериных шкур и мехов. Трое подростков, вооружившись длинными ремнями, отгоняли рои чаек, слетавшихся с высоты на парусину, где были разложены зерно и сушеная рыба. Чем меньше времени оставалось до отплытия, тем больше все суетились, бегая с корабля на берег и с берега на корабль. В этой

сутолоке не смолкала перебранка женщин, рассаживавших маленьких детей под скамьями гребцов, чтобы уберечь от холодного ветра, дующего с суши.

Эгиль Павлин стоял, опершись на перила, безучастный ко всему, что происходило вокруг него. Его не огорчал отъезд из Восточного поселка. Где бы «Гусь» ни бросил якорь, где бы изгнанники ни решили основать поселение, везде он будет первым по богатству и положению. А здесь он должен был подчиниться Эйрику Рыжему. Судьба обернулась против него. Но он не таил злобы на великого викинга. Весь гнев и ненависть сосредоточились у него на Вальтьофе Турлусоне, который раскрыл перед всеми тщательно подготовленный заговор.

Придет время, и он отомстит этому человеку, унижившему его при всех. У Эгиля в ушах до сих пор отдавался оглушительный взрыв хохота, приветствовавшего его плачевное падение.

По сходням шел на корабль Йорм. Эгиль двинулся ему навстречу. Эгилю очень хотелось знать, как встретит его теперь хозяин «Гуся».

Йорм опустил широкую ладонь на руку Эгиля.

— Забудем взаимные обиды, Эгиль! — сказал он. — Теперь нам необходимо объединиться. Если мы с тобой найдем общий язык, нам не придется склонять голову перед Эйриком и его дружками. Наше положение выгоднее, чем их.

И, так как Павлин, пораженный бодрым настроением Йорма, удивленно поднял брови, моряк наклонился к Эгилю и сказал так, чтобы никто не мог его услышать:

— У нас то преимущество, Эгиль, что мы знаем, где их найти, а сами можем долгое время скрываться от них. Они выделили нам нашу долю семян и скота, орудий и гарпунов. Клянусь Тором, настанет срок, и мы вернемся сюда за всем остальным. Наши предки были пиратами, Эгиль. Если ты согласен, мы восстановим их обычаи на новой земле, а тебя изберем вождем.

— Ты умен, Йорм! Твои слова мне по душе. Знай, что здесь остается человек, у которого я мечтаю вырвать сердце из груди. Ради этого я готов стать пиратом или берсерком.

— А заодно приятно будет разделить добычу, Эгиль! Позднее мы будем совершать более далекие набеги.

— Я пойду за тобой, Йорм, но поклянись, что ты сможешь мне отомстить этому человеку. Ведь ты понимаешь, о ком я говорю?

— Конечно, о Вальтьофе Турлусоне. Не бойся, Эгиль, у меня накопилось не меньше обид на этого медведя! Обещаю тебе, что жертвой первого же набега станет Вальтьоф Турлусон. Если мы захватим его живьем, можешь, если тебе захочется, растерзать его. Если же он от нас ускользнет, то, быть может, нам удастся взять его детенышей.

— Ты дальновиден, Йорм. Хорошо, что ты мне доверился.

Эгиль Павлин принял важный вид, напыжился и тоном, подобающим вождю, произнес одну из тех фраз, какими прежде любил пересыпать свои речи перед судьями альтинга в Исландии:

— Я сумею проложить новые пути, Йорм!

Йорм одобрительно кивнул. Сейчас не время было противоречить этому напыщенному чурбану.

Между тем заканчивалась погрузка земледельческих орудий. Грим и Скиди Норвежец, завершая шествие, катили бочонок с крепким пивом, которое получалось от брожения брусничных и можжевельниковых ягод. Двум пройдохам удалось выклянчить его. В ту минуту, когда Йорм уже отдавал приказ поднять парус, к «Гусю» подошли Эйрик Рыжий и Бьярни Турлусон с сыновьями Вальтьофа.

— Эгиль, Йорм и все, кто последовали за вами! — обратился к отъезжающим Эйрик. — Я желаю вам доброго пути. Гренландия велика, и места хватит всем. Желаю вам успехов и процветания, но не вздумайте возвращаться в Восточный поселок. Если вы это сделаете, я прогоню вас, как собак. Для нас вы отныне чужие, и мы не хотим больше видеть ни вас, ни ваших потомков.

Это была не угроза. Это были издавна принятые слова, которыми провожали изгнанников. Эгиль, Йорм и их приспешники своими делами сами отделяли себя от общины, и община порывала с ними всякую связь.

Спорить было не о чем. Йорм поднял руку, и двенадцать пар весел погрузились в воду. Судно отвалило от берега. Жители Восточного поселка возвратились к прерванным работам.

— Дядя Бьярни, — задумчиво сказал Лейф, — что их ожидает?

Скальд пожал плечами.

— На этом судне слишком много плутов и лодырей, а таких едва ли ожидает завидная участь. Скажу тебе по совести, мой мальчик: не будь на борту женщин и детей, я пожелал бы, чтобы «Гусь» раскололся пополам в открытом море.

Глава IV.

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Отъезд Эгиля, Йорма и их приспешников мало отразился на жизни Восточного поселка. Колонистов ждало множество неотложных дел, и каждый час был дорог. Скоро суровая северная зима, как голодная волчица, набросится на долины и фьорд. Эйрик, Бьярни и все те, кому уже дважды привелось зимовать в Гренландии, знали, что нужно хорошо использовать двух- или трехнедельную отсрочку. К счастью, ветры не меняли юго-западного направления. Они гнали перед собой по небу тяжелые тучи, которые внезапно разражались ливнями. Эти поздние осенние дожди не только не охлаждали трудовой пыл викингов, но даже подстегивали их старания. Ведь стоит ветрам повернуть, как на смену дождям придут снега, и зима воцарится на всем плоскогорье.

Строительного камня было хоть отбавляй. Его даже не нужно было выламывать из скал. Гранитные плиты и толстые пласты сланца покрывали склоны фьорда.

Стоило лишь нагнуться, и можно было выбрать подходящий для кладки стен материал. Болотистая изменчивость в долине с избытком поставляла глину и торф.

За одну неделю двенадцать длинных строений и тринадцать поменьше, похожих на исландские постройки, начали расти по обе стороны от трех домов,

возведенных Эйриком в предшествовавшем году. На время холодов и люди и животные найдут кров. А весной в свободное время можно будет расширить поселок и предложить каждой семье поставить собственный дом.

С каждым приливом во фьорд заносило огромные косяки трески. В некоторых местах вода бурлила под натиском рыбы. словно серебряная дорога протянулась по морю. Даже самые бывалые исландские рыбаки не видали ничего подобного. Для лова трески не требовалось ни закидывать сети, ни прибегать к помощи гарпунов. Кузнец Бьорн Кальфсон роздал всем железные пики длиной от шести до семи футов, и мужчинам оставалось только глушить эту кишашую массу, которая два раза в сутки заполняла фьорд. Добычу перестали считать. Груды битой трески были выпотрошены и прокопчены над кострами из морских водорослей, разведенными на песчаном берегу.

Лейф и Скъольд предпочли бы разделить труд рыбаков, но Вальтьоф забрал под свое начало всех юношей поселка и приобщил их к однообразной и неблагодарной работе по расчистке и вспашке почвы. Отлынивать не приходилось. Будущая жизнь всей колонии зависела от их упорных усилий. Сейчас самые насущные нужды поселка — взрослые мужчины удовлетворяли охотой, рыбной ловлей и строительством, тогда как женщины собирали морские водоросли, ухаживали за коровами, овцами и козами, конопатили щели в стенах, готовясь к долгой зимовке. Вальтьоф и молодежь заботились о будущем урожае. Весь день Лейф, Скъольд и другие подростки — Торомы, Олафы, Гюнланги, Бьорны, Ульфы, Хруты, — карабкаясь по склонам трех долин, очищали пашню от валежника, корчевали кустарник, взрыхляли острыми мотыгами каменистую почву, удобряли ее, закапывая в борозды мох и навоз.

Однажды утром юноша, по имени Торкель, взбунтовался. Хватит с него по прихоти Вальтьофа унавоживать эту тощую землю!

— Такой труд недостоин война, Вальтьоф! Ты заставляешь нас работать, как рабов. Я пожалуюсь отцу!
Вальтьоф вместо ответа схватил Торкеля за шею и повалил лицом вниз, в грязь.

— На этой земле, — вмешался Эйрик Рыжий, — нет рабов. Так научись же любить камни Гренландии, которая сделала тебя свободным человеком. Отныне твоя родина здесь. — И, не обращая внимания на вопли Торкеля, он вымазал ему лицо навозной жижей. — Эта земля твоя, никто ее прежде не обрабатывал. Здесь воины не нужны. Так вставай и не обижайся — ведь многие из твоих дружков думают про себя то, о чем ты сказал вслух.

Вальтоф взглянул на Лейфа. Сын опустил глаза.

Торкель, не проронив ни слова, принялся за работу.

Ни Эйрик, ни Бьярни не могли бы добиться большего от этих строптивых мальчишек, чем удалось Вальтофу. В любую погоду он шел всегда впереди, спокойный, добродушный, внешне безразличный ко всему, что происходило вокруг. Но стоило тому или другому пареньку вспомнить игры в Эйрарбакки, площадки для борьбы, прибрежные скалы Боргарфьорда, старик оборачивался и говорил:

— Вы теперь чужие в том краю. В Исландии, на старой земле, для вас нет места. Вам первым носить имя гренландцев. История этой земли начинается с вас. У нее еще нет героев, песен, саг. Вы должны дать все это Гренландии.

Лейф, Скъольд и их друзья внимательно слушали Вальтофа и повинивались ему во всем. Поэтому, когда он приступил к первой запашке, юноши весело впряглись в плуги, когда-то привезенные из Норвегии. Самые сильные волокли их, а те, кто послабее, изо всех сил налегали на ясеневые рукоятки.

— Ну, Вальтоф просто подменил наших сыновей! — говорили отцы. — Они работают, улыбаясь, и ложатся спать поздней ночью. Старик просто чародей!

Однако некоторые находили, что бывший хозяин Окадаля слишком требователен к их мальчуганам.

А кое-кто не верил в успешность его нового способа сева.

— Где это видано, чтобы человек в здравом уме в такое время года готовил землю под ячмень! Все зерно, конечно, сгниет.

Площадь в семь тысяч на семь тысяч футов была перепажана в низменной части трех долин. Дожди выпадали все реже. Внезапно налетали ветры и снова улета-

ли, как бы боясь, что их здесь захватит зима. Нельзя было медлить и людям.

Вальтьоф и его юные помощники сеяли ячмень и крапиву на самых высоких участках, а овес, который называли его старинным именем «гестакорн», — в наиболее защищенных от ветра и влаги уголках.

Как-то вечером, когда они досевали последний клочок земли, Вальтьоф привлек к себе Лейфа. Старик держал на заскорузлой ладони горсточку овсяных семян.

— Вот первые семена, сынок, которые люди доверяют этой земле. И я чувствую, что она не останется неблагодарной. Быть может, вам, молодым, я порой казался грубым, но нужно было добиться, чтобы именно вы подняли в Гренландии целину. Со временем вы этим будете гордиться.

Лейф поднес к губам узловатую от работы руку отца. В этом порыве лучше, чем на словах, выразились его восхищение и признательность. Никогда еще отец и сын не были так близки друг другу. Вальтьоф улыбался, и в блеске его глаз Лейф уловил веселый огонек, который придавал такую живость взгляду дяди Бьярни.

На следующий день в Гренландию пришла зима. Снег падал не переставая, ночи стали прозрачны, как кристалл. Вскоре воздух словно загустел и застыл. Ледяные языки поползли по фьорду, захватывая в плен стоящие на причале суда. Все снасти на них мужчины предусмотрительно смазали жиром. Оледеневшие склоны долин покрылись несметными стаями гаг, тупиков и полярных сов. Они прилетели из более холодных мест.

Морозы были менее люты, чем в Исландии, но исключительная чистота воздуха, казалось, усиливала колючие порывы ветра, метавшегося по долинам.

В домах с плотно закрытыми дверьми ровное тепло поддерживалось очагами, в которых горели торф и сухой навоз.

У огня объединялись близкие по родству семьи. Съестные припасы были общими, и по утрам глава каждой семьи получал для себя и для своих близких положенное количество рыбы, крупы, капусты или бобов.

По всем приметам охота обещала быть обильной. Белые медведи в поисках рыбы бродили по берегу моря. Ловкие охотники окружали страшных зверей и нападали на них с пиками и рогатинами. За один день Эйрик Рыжий, Бьярни Турлусон и Бьорн Кальфсон забили шестерых медведей: четырех самцов и двух самок. Моржи легко подпускали к себе людей, и нередко удавалось в одно утро добыть несколько штук.

Как правило, в новолуние снежные бураны нарушали покой фьорда. Разбушевавшиеся на просторе ветры завывали вокруг жилищ, и, пока не стихала вьюга, нечего было и думать об охоте и рыбной ловле.

Лейф и Скьольд подружились с Бьорном Кальфсоном. Бьорн принадлежал к старинному роду кузнецов, выходцев из Дании. Шести футов ростом, широкоплечий, рыжеволосый и рыжебородый, с мохнатой, как у медведя, грудью и мрачным, испещренным мельчайшими ожогами лицом, кузнец был страшен на вид. Как и Вальтьоф, Бьорн по природе был молчалив, он мог за целый день не проронить ни слова. Тогда казалось, что вся его сила сосредоточивалась на квадратной, высотой в фут наковальне, на которой он без усталости ковал косы и топоры, ножи и гарпуны, замысловатые крючки для ловли палтуса, всевозможные орудия и железные части для судов.

Кальфсон устроил свою кузницу в пристройке за домом Вальтьофа. Пока он бил молотом, наслаждаясь жаром у наковальни, Лейф или Скьольд раздували мехи над торфяным очагом.

— Давай живее, тролль! Посмотри на мои руки: мой отец, Бьорн Рыжая Голова, заставлял меня с пяти лет раздувать мехи. — У кузнеца были огромные, с набухшими жилами руки. — Самый первый викинг был кузнецом, малыш! В давние времена, собираясь в поход, викинг ковал себе меч, а когда возвращался в Норвегию, ковал себе лемех для плуга. А я, я чую железо в земле, как лиса чует зайца. И я буду искать железо везде, даже подо льдом, и, когда найду его, выкую для каждого мужчины меч, который не разъест ржавчина.

Он громко хохотал, и смех придавал его лицу еще более свирепое выражение. Порой Бьорн своей медвежьей лапой брал Лейфа за подбородок.

— Из тебя вышел бы неплохой кузнец, но тебя ждет иная судьба... на море. Что ж, добрый моряк стоит хорошего кузнеца!

В тесном общении с огнем и металлом Бьорн Кальфсон обрел дар предвидения, недоступного простым смертным. Он предсказывал будущее, и не раз его проникновение в тайны грядущего поражало окружающих его людей, но Бьорн упорно отказывался делиться с викингами своими знаниями. Только для Лейфа, сына своего друга, кузнец делал исключение.

Когда Бьорн пел, кузница гудела тысячей отголосков. Могучий бас Кальфсона будил душу, вложенную кузнецом в ножи, железные котлы и косы. Бьорн знал только одну песню, песню Грима, непревзойденного кузнеца:

Кузнец подняться должен до зари,
Коль ждет награды за упорный труд.
Мехами буйный ветер порожден.
Железо докрасна раскалено.
Тяжелый молот мой кует его
Под мерное гудение мехов.

И он наносил удар за ударом. Наковальня разбрасывала кругом венки искр, а молот с ураганным грохотом обрушивался на раскаленный металл.

Лейф с уважением поглядывал на Бьорна. После Эйрика Рыжего, дяди Бьярни и его отца, Вальтьофа, кузнец Кальфсон был наиболее почитаемым человеком на острове. И разве не предсказывал он славное будущее тем, кто уходит в море?

Эйрик и Бьярни часто заходили в кузницу. Они делились с Бьорном своими планами на весну, советовались об ограждении полей, о постройке новых домов и верфи, которую можно было возвести прямо на песчаном берегу.

Бьорн поглядывал на обоих моряков, хмурая почерневшие от угля брови.

— Таким, как вы, долго не усидеть на одном месте. Ваши глаза уже обращены к морю.

Эйрик и Бьярни возражали ему, но кузнец в ответ лишь медленно покачивал головой.

— Вы не лукавите, когда обещаете поселиться здесь навсегда, но беспокойство уже охватило и гложет вас, хотя вы этого еще не замечаете. Так соль разь-

едает парусину, разрушая ее понемногу. Парус на вид совсем крепкий, но в один прекрасный день расплывется у вас в руках. Придет час, когда тяга к дальним странам окажется сильнее всех привязанностей, которые удерживают вас здесь.

Лейф жадно прислушивался. Разве Эйрик Рыжий не говорил ему во время бури, что Гренландия для них только временная остановка? Речи викинга запечатлелись в памяти юноши. Он мог повторить их от слова до слова: «Море — наш давний враг. Вместе мы победим его. И мы будем всё дальше на запад отодвигать наши рубежи».

Казалось, Бьорн Кальфсон сам был свидетелем этих смелых слов. Разговор на этом прервался. Бьярни и Эйрик только посмеялись в ответ на речь кузнеца.

— Пойдемте с нами, ребята, — сказал дядя Бьярни. — Этого вещуна-кузнеца нужно оставить одного в его логове.

Лейф и Скъольд проводили Эйрика и Бьярни до большого дома, где женщины мололи меж двух каменных кругов зерно и красили отваром мха, вереска и морских водорослей привезенные из Исландии полотна.

Бьорн и Вальтьоф остались одни. В этот вечер, вопреки привычке, они долго беседовали. Бьорн предложил другу поставить на косогоре ближней долины ферму и кузницу на общем участке.

— Морозы не так уж суровы, чтобы помешать нам работать и зимой. Камни лежат под снегом. Стоит только разгрести сугробы, чтобы их достать. Может быть, ты находишь, что я нетерпелив, Вальтьоф? Согласен. Но должен же кто-нибудь показать пример. Нужно, чтобы люди привыкли считать эту землю своей родиной. Нужно, чтобы они здесь закрепились. А для этого пусть застраивают ее. Эйрик Рыжий и твой брат по нраву своему морские бродяги, море необходимо им, как дельфинам. Они снова уйдут скитаться по морям в погоне за сказкой.

— Понимаю тебя, Бьорн, понимаю! Если мы станем строить теперь, остальные поступят так же весной. Человек не покинет дома, который он воздвиг своими руками. Поселок должен уцелеть. Мы больше не норвежцы, не исландцы, не жители Гебрид. Мы теперь

гренландцы. Я готов хоть завтра заложить фундамент большого дома. Ты будешь ковать, а я — разводить лошадей среди ячменных и овсяных полей. Мне бы лучше жить поодаль от селения, Бьорн.

Кузнец задумчиво посмотрел на Вальтьофа.

— Ты иного склада, чем твои сыновья, Вальтьоф. Я долго присматривался к Лейфу и Скъольду: оба они близки по породе Бьярни Турлусону, которому никогда не сидится на месте.

— Когда сыновья возвратятся, Бьорн, они найдут приют под отцовской кровлей. Но я строю для иной цели — я строю для того, чтобы те, кто сегодня живет в общих домах, последовали нашему примеру.

— Ты мудрец, Вальтьоф, а я до последнего времени плохо знал тебя.

— Завтра я поднимусь на рассвете, кузнец, и мы возьмемся за дело.

Ночь была ясная, и полная луна ровным светом заливала гладкую поверхность фьорда.

* * *

Зима, как хилый больной, еще цеплялась за Восточный поселок. На крышах снег лежал таким твердым пластом, что нередко приходилось пробивать в нем дыру для выхода дыма. Но под снегом жизнь продолжалась, возрождаясь и развиваясь. Жизнь текла подземной рекой, с бесчисленными ответвлениями, от очага к очагу, от жилья к жилью. Одни колонисты обрабатывали дерево, другие — звериные шкуры, третьи ткали полотно. В еде не было недостатка. Исландия уже казалась далекой землей.

Жители без конца толковали о длинном доме Вальтьофа и Бьорна, который строился на склоне ближней долины, и о посеянных осенью семенах.

Удастся ли к весне подвести дом под крышу?

Когда сойдут снега, окажутся ли под ними зеленые всходы — залог будущего урожая?

Никто не вспоминал об Эгиле и Йорме, ушедших на поиски иной доли. Да и к чему? Ведь их жизнь пошла по другому руслу, и все были уверены, что никогда их не увидят.

В эту зиму, первую гренландскую зиму, у Лейфа Турлусона стала пробиваться борода.

— Ты опередил остальных молодцов, — шутил дядя Бьярни. — У Бьорнов, Тормольдов, Ульфов подбородок еще гладкий!

— Он сильнее всех этих мальчишек, — убежденно произнес Скъольд, окинув старшего брата восхищенным взглядом. — Лейф мечет копые дальше Ивара, сына Одуна, и он бросил на землю Арнора Торольфсона, который на две весны старше его. И знай, дядя Бьярни, твой племянник мечтает о великих подвигах. Кузнец Бьорн Кальфсон видел в отблесках кузнечного пламени, что Лейфу суждено прославиться на море.

Смущенный Лейф переминался с ноги на ногу, поглядывая в сторону дяди Бьярни. Скальд положил руку на голову Лейфа, он больше не смеялся.

— Великие дела вершатся в море, Лейф, а мы еще не достигли его границ.

И на этот раз Лейф понял, что Бьярни скоро уедет.

Глава V

КОГО ВИДЕЛ ТЮРКЕР

Теплый ветер дул над плоскогорьем и разносил по долинам свежие весенние ароматы. Снег больше не скрипел под лыжами. Вода, выступая повсюду на поверхность, с шумом размывала толстый снежный покров. Бесчисленные ручейки пробивали белую броню и упорно прокладывали себе путь в твердых пластах, образовавшихся еще во время осенних снегопадов. Во многих местах забили ключи талой воды. Они сбегали по склонам, вливаясь в стремительные горные потоки. Лед во фьорде ломался с треском, как сухое дерево. Огромные ледяные глыбы внезапно срывались с места и ползли по откосам до самого моря. Но в глубине долины зима еще отстаивала свои права. Твердый, как камень, снег цеплялся за почву. Однако вся природа уже пришла в движение, и было ясно, что на этот раз весна не отступит.

В Восточном поселке с первыми признаками весны из световых отверстий в домах вытащили лукошки, на-

битые соломой и глиной, сняли со стен звериные шкуры. Жилища, долгие месяцы лишённые света, жадно дышали, выпуская наружу запахи скученных человеческих тел и животных и едкий дым, густой пеленой повисший между глиняным полом и торфяной крышей.

Лейф и его сверстники, несмотря на увещевания старших, голышом ныряли в ледяные воды фьорда. Следуя древнему, завезённому из Норвегии, обычаю, они приветствовали весну и её таинственные силы омоложением своих тел. Это был своеобразный дар солнцу, знак благодарности первоисточнику жизни.

Деятельность колонии оживилась. Рыболовные суда подняли полосатые желто-синие паруса и начали бороздить гладь фьорда. Вдали, увлекаемые невидимым течением, медленно скользили айсберги. Груды льда, оторвавшиеся от берегов и подгоняемые весенним ветром, плыли на юг, постепенно тая. Ледоход делал опасной ловлю рыбы и охоту на тюленей. Но поселку не грозил голод. Скоро во фьорд должна была войти долгожданная рыба, и прежде всего — обещанный Эйриком драгоценный лосось.

В этих фьордах, где лососям никогда не приходилось остерегаться человека, они ловились тысячами. День за днем жирные и сильные рыбыны поднимались к истокам рек, верные инстинкту, который заставляет рыбу нереститься в тех местах, где она появилась на свет.

Лосося ждали с нетерпением, видя в нем обеспеченное будущее. Ход лосося привлекал сотни тюленей, моржей и прожорливые стаи больших синих дельфинов. Жадные до рыбы белые медведи располагались у речных мелей. Новая жизнь начиналась при наилучших предзнаменованиях.

Как только сошли снега, Лейф и Скъольд привели в порядок большой дом, который Вальтьоф и Бьорн построили в полумиле от поселка, на солнечном косогоре ближней долины. Вокруг вымощенного плоскими плитами двора разместились обширная конюшня, хлев, кузница Бьорна и сам дом, состоявший из трех просторных помещений с глиняным полом. Дом, в котором, по норвежскому обычаю, было два входа — южный и западный, — окружала дорожка, усыпанная галь-

кой. Бьорн выковал из железных брусков две медвежьи головы, которые он прибил над притолокой.

Очаг находился посредине самой большой комнаты. Это был круг, выдолбленный в полу на глубину в полфута и обложенный плоскими черными камнями, которые, быстро накаляясь, вбирали в себя весь жар от огня. Широкие скамьи вдоль стен; покрытые медвежьими шкурами, служили ложем. В углу, в глиняной чаше, под теплой золой сохраняли тлеющие угли, с помощью которых наутро разводили огонь.

Лейф и Скъольд разместили здесь лари с одеждой, котлы, горшки и все домашние пожитки, взятые Вальтьофом с собой из Исландии. Бьярни, у которого ничего не было за душой, сложил под крышей брата свои воинские доспехи: кожаный щит и оружие, выкованное в стране франков. Потом с большой торжественностью Вальтьоф и Бьорн вбили перед очагом привезенные из Исландии столбы, которые стояли там у почетного сиденья. Бьорн при переезде потерял резные столбы, украшавшие прежний очаг, но, так как отныне он вошел в семью Вальтьофа, родовые знаки Окадала стали и его родовыми знаками. Вальтьоф и Бьорн подвесили только к одному из столбов, как выражение дружбы, голову и лапу медведя, вырезанные из клыка моржа: на норвежском языке слово «бьорн» означает «медведь».

Кони вскоре привыкли к склонам нового пастбища, а козы и овцы были выпущены на луг, где росли карликовый можжевельник, ароматный вереск и дикий ягель. Через месяц после переезда на новое место сыновья Вальтьофа пошли из дома в дом, приглашая глав семейств принять участие в жертвенных возлияниях по случаю новоселья. При этом они произносили предписанные обычаем слова:

— Вальтьоф и Бьорн Кальфсон просят вас вымыть ваш пиршественный рог и прибыть к порогу их жилища.

Гостей пришло много, все ели скир¹ и пили крепкую брагу и мясу — хмельной напиток, приготовленный из кислого молока.

¹ С к и р — исландское молочное кушанье.

Эйрик Рыжий с пониманием дела похвалил работу новых хозяев, а Бьярни Турлусон спел песню, сложенную им в честь первой фермы в Гренландии. Когда рога были осушены до дна, главы семейств поклялись Тором и Фрейей, что каждый из них к будущей зиме выстроит себе дом. Пример Вальтьофа и Бьорна принес желаемые плоды.

Таяли последние залежи снега, и большие стаи гаг и диких уток возвращались на прибрежные скалы.

Каждое утро Лейф бежал на засеянное прошлой осенью поле и с тревогой вглядывался в обнажившуюся землю.

— Отец, всходов ячменя все не видать!

— Дай им время проложить себе дорогу к свету, сынок. Но я понимаю, что тебе невтерпех.

— А разве уже не пора?

— Земля не обманет, Лейф. Если ячмень и овес не всходят, она неповинна. Пойдем-ка работать!

Спокойствие Вальтьофа не развеивало опасений Лейфа.

Однако принести добрую весть удалось не ему, а Скъольду. Вальтьоф, Лейф и Бьорн сидели за столом, подкрепляясь овсянкой и обжаренными катышками из рыбы, как вдруг мальчик вихрем ворвался в горницу. Он раскраснелся, и на лице его отражалось волнение.

— Ячмень взошел! — закричал он. — Взошел, взошел, взошел!

Лейф и двое взрослых, забыв о еде, бросились глядеть на чудо прорастания семян. Земляной покров под напором тысяч молодых, острых, как шило, ростков покрылся трещинами. Лейф, у которого судорожно забилось сердце, опустился на колени, чтобы лучше видеть. Нежно-зеленые листки еще скрывали стебли, наполненные живительным соком.

— Земля не предала нас, — сказал Вальтьоф. — Добрый будет урожай!

По всему вспаханному полю зеленели ровные и густые всходы.

Лейф никогда особенно не задумывался над полевыми работами. Пахота, жатва, молотба в Исландии сменялись со временем года, но там это были явления привычной жизни, простые, как дыхание и еда. Здесь

же, в Гренландии, все вдруг приобрело особое значение.

— Первый ячмень в Гренландии! — прошептал юноша.

— Первый ячмень! — повторил Бьорн Кальфсон. — Отец моего отца был еще малым ребенком, когда ячмень, привезенный из Норвегии, впервые вырос в Исландии. Отец вспоминал об этом до самой смерти.

— Лейф, — приказал Вальтьоф, — беги к Эйрику и дяде Бьярни и обрадуй их. Вот теперь земля Гренландии нас окончательно усыновила!

До самого вечера люди толпились у поля: Взрослым и детям не надоедало любоваться неисчислимыми ростками, ощетинившимися подобно остриям крохотных пик.

В честь нового ячменя Эйрик велел раскупорить последнюю бочку пива, привезенную из Исландии. Раз будет новый ячмень, дело не станет и за ячменным пивом!

Вскоре после этого события покой на ферме Окадаля — длинный дом Турлусонов и Бьорна получил название ближней долины — был внезапно нарушен.

Охотник по имени Тюркер, задыхаясь, вбежал во двор. Вальтьоф, который занимался домашними делами, заметив его смятение, подошел к нему.

Тюркер тяжело опустился на камень и с трудом переводил дух.

— Я тебе нужен, Тюркер?

— Погоди, погоди, Вальтьоф. Я так бежал, что сердце вот-вот выскочит у меня из груди.

В Исландии Тюркер принадлежал к дому Эйрика Рыжего. Старый Торвальд ребенком привез его из похода в страну франков, и молодой раб рос вместе с Эйриком, деля с ним пищу и игры. Тюркер был смуглолицый, стройный и проворный. Замечательный бегун, он оставлял позади самых закаленных охотников-викингов и не имел себе равных, когда требовалось выследить зверя. Тюркер слыл ловким и хитрым. Эйрик охотно прислушивался к его советам. Хотя франк давно был отпущен на свободу, он не решался покинуть дом своего бывшего хозяина и взять себе жену.

Когда Тюркер обрел обычное хладнокровие и у него прошла поразившая Вальтьофа сильная дрожь, он согласился войти в дом Вальтьофа и залпом осушил рог с мясой, который подал ему Лейф. Хозяин не торопил охотника.

— Я был в одном дне ходьбы отсюда, за высокими холмами. Медвежий след увел меня вглубь от берега. Зверь меня почуял и скрылся среди скал. Тор свидетель, что я был трезв! (Тюркер был равнодушен к крепкой браге.) Я выслеживал медведя, карабкаясь по этим проклятым скалам. Вдруг я заметил трех мужчин. Они шли со стороны моря. Они были далеко, и я не мог как следует разглядеть их. Я бросился плашмя на камни. На всех троих были тюленьи куртки, а на голове меховые шапки. Каждый нес лук и нож.

Вальтьоф и Лейф не услышали, как в горницу вошел Бьорн Кальфсон.

— А Йорма ты не узнал среди этих людей, Тюркер? — спросил тот.

Лейф вздрогнул. Минувшие месяцы стерли в его памяти воспоминания об Эгиле, Йорме и прочих изгнанных. Юноша почувствовал смутную тревогу. Может быть, кузнец, более дальновидный, чем кто-либо другой, и способный угадывать будущее, что-либо знает? Вот почему Лейф облегченно вздохнул, когда Тюркер отрицательно замотал головой.

— Я узнал бы Йорма среди тысяч других людей, кузнец. Но Йорма там не было. Я даже не уверен, что это были викинги. Наконечники их стрел сделаны из рыбьих и моржовых костей.

Бьорна Кальфсона это несколько не убедило.

— Йорм, Эгиль и другие пережили тяжелую зиму. Им не хватало теплой одежды, и они должны были охотиться за тюленями и моржами, чтобы из их шкур выкроить себе куртки и штаны.

— Но костяные наконечники... — перебил его Лейф. — Наши никогда их не употребляют.

— Я знаю тех, кто последовал за Йормом. Стрелы с железными наконечниками они истратили без толку, а когда оказались с пустыми руками, им волей-неволей пришлось что-то придумывать.

Беспокойство Бьорна передалось его друзьям.

Вальтьоф почесал щеку.

— А ты не подобрался к ним ближе, Тюркер?

— Я обогнул скалистую гряду, чтобы зайти к ним в тыл, но это отняло у меня много времени. Я сбился с дороги, а разъяренная медведица заставила меня поворачивать то туда, то сюда. Когда я вышел с другой стороны горы, люди исчезли.

— А в какую сторону они шли?

— Было еще рано, и они двигались навстречу солнцу.

— Они пробирались на восток — в глубь острова или к другому берегу. Следует предупредить Эйрика Рыжего.

Тюркер беспомощно развел руками:

— Я бежал оттуда не останавливаясь, но Эйрик мне не поверит. Он посмеется и скажет, что я хлебнул лишнего. А может, это духи сыграли со мной злую шутку, кузнец? Не думаю, чтобы кто-нибудь из наших забрался так далеко от Восточного поселка.

— Духи тут ни при чем. Эйрик был слишком добр к этим людям, — проворчал Бьорн. — Если собака кусается, ей вышибают зубы. Я вижу пламя и кровь. Сейчас я еще не могу назвать по именам тени, которые копошатся во мраке. Огонь, как зловещее солнце, озарит небо, и прольется кровь, кровь невинного. Я вижу... да, да, я вижу Йорма и Эгиля по-прежнему во власти старой вражды.

Несмотря на вечернюю прохладу, Бьорн Кальфсон был весь в поту. Он говорил с трудом. Можно было подумать, что каждое слово причиняет ему страдание.

— О, ночь будет багрова!

Вальтьоф, Тюркер и Лейф никогда не видели кузнеца в таком возбуждении. Они испуганно поглядывали на дверь. Какое неизвестное божество овладело душой Бьорна Кальфсона, самого разумного из людей?

Кузнец задрожал и устремил на Лейфа блуждающий взгляд. Затем тыльной стороной руки вытер испарину на лбу.

— Нужно как можно скорее повидать Эйрика. Может быть, еще не поздно что-либо предпринять.

Лейф заметил, что по телу Бьорна пробегала дрожь, а руки тряслись, как у человека, опьяненного старым медом.

* * *

Эйрик Рыжий и Бьярни внимательно выслушали рассказ Тюркера, но, несмотря на предостережения кузнеца, не проявили особого беспокойства.

— Клянусь Фрейей, — весело воскликнул глава викингов, — голод погнал их на охоту далеко от лагеря. Сейчас Йорм, Эгиль и другие слабы, как новорожденные младенцы. Зима, словно хорек, перекусила им хребет. Негодяи не осмелятся напасть на нас. Мы достаточно сильны, чтобы встретить их должным образом, и они это понимают.

— Плохо же ты знаешь Йорма, Эйрик Рыжий! Это коварный зверь. Он не нападет на тебя, как любой честный викинг, который открыто, при дневном свете, вызывает своего врага. Йорм воспользуется темнотой. Он хитер.

— Даже в темноте Йорм не уйдет от меня. Одной рукой я сверну ему шею. А ты, Бьорн, ударом кулака вобьешь ему голову в плечи.

Бьярни расхохотался:

— А может быть, эти трое только померещились Тюркеру? У франков воображение богаче нашего. Вдобавок хмель быстро ударяет Тюркеру в голову. Скажи-ка, приятель, ты, наверно, немало выпил перед дорогой?

— Не помню, шесть или семь раз я осушил рог, как подобает доброму охотнику. Но эти трое не были духами ячменного пива.

Эйрик так заразительно рассмеялся, что его веселость передалась Бьярни, Вальтофу и Лейфу.

Бьорн Кальфсон, нахмурившись, шагнул через порог. Врата будущего на миг приоткрылись пред ним грозным предвестием. В Восточном поселке прольется кровь. Надвигался неотвратимый рок.

КРОВАВАЯ НОЧЬ

Ячмень высоко выкинул колос, и склоны трех долин украсились золотистой гривой. Лейф целыми днями работал на «Большом змее» Эйрика Рыжего. Судно вытащили на песчаный берег по настилу из смазанных салом бревен, уложенному на дне выемки, шириной в шестьдесят футов. Целых пять дней ее рыли пятьдесят человек. Одно за другим все суда викингов должны были пройти через этот сухой док для необходимого ремонта. Гроздь ракушек, клубки морских водорослей прилипли к бортам под ватерлинией, и приходилось терпеливо очищать от них корабли, выскивать древооточцев, конопатить щели в обшивке кузова при помощи сплетенных из волокон крапивы жгутов, пропитанных моржовым жиром.

Солнце заходило над Восточным поселком, окрашивая багрянцем зеркальную поверхность фьорда и верфь на берегу, где мачта «Большого змея», похожая на полированный сосновый ствол, вздымалась среди песков.

Около трех десятков домов, отстроенных весной, растянулись по склонам долин. Созданные по одному образцу, они поднимались среди впервые вспаханных земель. Глядя на них, можно было заключить, что хозяева не решаются слишком отдаляться от поселка. Поэтому двор Бьорна и Вальтьофа по-прежнему оставался одиноким на косогоре, в полумиле от ближайшего жилища.

Лейф шел напрямик через поля. Усики колосьев щекотали ему голые ноги. Когда он добрался до дома, уже наступила ночь. У входа и в большой горнице горели площадки с ворванью.

Скьольд сварил похлебку их крупы и голов свежей трески.

— Ты поздно возвращаешься, брат: отец и Бьорн ждут тебя.

Все быстро поужинали. На лицах отражалась усталость после трудового дня. Бьорн и Вальтьоф мало разговаривали друг с другом, их дружба не нуждалась в словах. Бьорн больше не упоминал о своих мрачных предчувствиях, но Лейф заметил, что с того дня кузнец

запирал обе двери изнутри на засов и поставил в угол комнаты длинный норманский меч и тяжелый кузнечный молот.

Впрочем, и сам Лейф тайком от отца и Скульда сложил в клеть, где он спал, меч, копьё, лук и щит, которые дядя Бьярни оставил в Окадале.

Вальтьоф первым поднялся из-за стола:

— Доброй ночи всем! Завтра я огорожу пастбище для коней.

— Да хранит тебя Тор, Вальтьоф!

Старик пристально посмотрел на друга и погладил Скульда по голове.

Бьорн спал в кузнице, но Лейф был убежден, что Кальфсон еще долго бодрствует, после того как совершит обход дома, хлева, конюшни и заткнет охапкой боярышника лаз, проделанный в изгороди из можжевельника, которая окружала усадьбу. Лейф спокойно заснул. В соседней камерке что-то во сне бормотал Скульд.

— Вставай, Вальтьоф!

Мощный голос кузнеца громом прокатился по всему дому. Лейф первый был на ногах. Скульд спросонок звал отца. Фитиль в плошке с жиром излучал скудный свет... Бьорн Кальфсон, вооруженный железным брусом, ворвался в горницу в тот миг, когда Лейф соскочил со своего ложа, сжимая в руке копьё дяди Бьярни.

Ярость перекосила мрачное лицо Бьорна.

— Во дворе Йорм и его свора, они хотели перерезать нас спящими.

Кузнец протянул железный брус Вальтьофу, а сам схватился за тяжелый молот.

— Ты говоришь, Йорм...

— Йорм, Эгиль и два десятка других. Я уверен, что Йорм и Эгиль...

Бьорн не закончил фразу.

Двор наполнили дикие крики. Мечи, дротики и копьё громко лязгали о каменные плиты.

— Негодяи приставили к ограде лестницу и прыгают прямо во двор, — проворчал Бьорн. — Сейчас они накинута на дверь.

Гнев удесятерил его силы. Кузнец придвинул к выходной двери огромный сундук и велел Лейфу и Скульду наложить в него крупные камни от очага.

Затем без заметного усилия Бьорн преградил выход в другую комнату и сени, закрыв его широким столом, вытесанным из цельной каменной глыбы. Таким образом, горница превратилась в крепость, где им предстояло выдержать приступ. Медлить было некогда. Люди Йорма устремились к двери.

Вальтьоф посмотрел на сыновей. Лейф, вооружившись копьем, стоял рядом с Бьорном. Лицо юноши пылало. Такого не уведешь с поля боя. Скъольд окаменел в своем углу.

— Бьорн, — сказал Вальтьоф, — Скъольду здесь не место.

— Выход через заднюю дверь еще свободен, — прошептал кузнец, опасаясь, чтобы его не услышали враги, ломившиеся в горницу. — Они еще не успели обойти дом.

— Скъольд может помочь нам: он поднимет тревогу в Восточном поселке и прежде всего предупредит Эйрика и Бьярни.

Заднюю дверь заменяло отверстие всего в два фута вышиной, закрытое широкой доской. Оно выходило в заросли можжевельника и колючих кустарников.

— Беги, Скъольд! Ты все понял? Скажи дяде, что на нас напали Йорм и Эгиль, а с ними не менее двух десятков бездельников, перепившихся брагой и медом. Погоди, я проверю выход. — Вальтьоф приподнял доску.

Струя свежего воздуха ворвалась в сени. Минуту спустя старик возвратился:

— Путь свободен. Они все еще возятся во дворе. Мрак поглотил Скъольда.

Дверь трещала под ударами мечей и натиском плеч.

Крики стихли, но беспрерывно скрипели засовы в хлеву и конюшне.

— Они ищут бревно, чтобы высадить дверь, — пробормотал Бьорн.

Его пальцы на рукояти молота побелели от напряжения.

Кузнец заметил присутствие Лейфа.

— Ты храбр, Лейф Турлусон. В эту минуту передо мной открыта твоя судьба, она величественна, как море. В твоей жизни будут корабли, много кораблей и молодая девушка из чужих земель, какой до сих пор

никто у нас не видал. Но крепись, Лейф, твой отец Вальтьоф не увидит новой зари над фьордом.

Зрачки Бьорна потускнели, и взор затуманился, словно он заглянул в недоступный мир, в головокружительную бездну.

Вошел Вальтьоф. Он был спокоен, как всегда. Слышал ли старик предсказание Бьорна? Лейф в этом не сомневался, увидев ободряющую улыбку, с которой к нему обратился отец.

— Скъольд уже по ту сторону изгороди. Он еще не достиг ратного возраста. Если я умру, мне хотелось бы, чтобы ты, Лейф, убил одного из этих псов, что носят человеческие имена Эгиля и Йорма.

— Они совсем ошалели, — прервал его Бьорн. — Разбойники немало выпили, чтобы взбодрить себя, и теперь сопят и зацепляют друг друга оружием. — Бьорн тихо рассмеялся. — Хмель улетучится, как дым. А когда он спадет, у них останется лишь тяжесть в желудке... Ого, они волокут по двору что-то тяжелое. Прислушайся, Вальтьоф!

— Это дышло от большого плуга. Оно послужит им тараном.

Раздался пронзительный голос:

— Я знаю, ты здесь, Вальтьоф Турлусон! Ты и двое твоих лисят. Клянусь Тором, что утренний свет озарит три трупа!

Первый же удар тарана сверху донизу расколол дверь, и сундук с камнями зашатался под ударом.

Бьорн, Лейф и Вальтьоф изо всех сил уперлись в него. Угроза Йорма пробудила бурю воплей, ругательств и проклятий.

— Я узнал Грима и Скиди Норвежца, отец!

— А я — Эгиля Павлина. Я слышал, как он уговаривал других замолчать. Он боится, как бы крики не разбудили наших братьев в поселке.

Дверь стонала под градом ударов.

Вновь послышался голос Йорма:

— Сейчас ты нам дорого заплатишь, Вальтьоф, за все муки, которые из-за тебя мы перенесли на Западном побережье. Мы ютились в пещерах, как звери. Всей твоей крови и крови твоих сыновей не хватит, чтобы вознаградить нас за эти беды!

В пробитой тараном двери блеснуло острие пика, прощупывая путь. Бьорн ухватился за железный нако-

нечник и сильно дернул его на себя. Послышался глухой удар о дверь и вслед за этим отчаянный вопль. Владелец копыя, должно быть, разбил себе нос о створку двери.

— Все они пьяны, — сказал Бьорн, — и едва держатся на ногах. Мне надоело ждать и торчать колом перед этой дверью, которая вот-вот разлетится на куски.

Внезапно во дворе заржала лошадь.

— Отец, они уводят Грома и других коней!

В полумраке Лейф увидел, как болезненно скривилось лицо отца.

— Никто не посмеет сказать, что Вальтьоф Турлусон прятался в доме, пока эта мразь угоняла его лошадей. Выпусти меня, Бьорн.

— Ну что ж, Вальтьоф!

Они вдвоем отодвинули сундук, и Бьорн сорвал дверь с петель. В горницу хлынул ночной ветер и вместе с ним ворвались нападавшие.

Узкий серп луны слабо освещал мощный двор. Лейф нанес кому-то удар. Юноша орудовал копьем, как дубиной. Раненный им человек пошатнулся.

Головорезы Йорма поспешно выбегали из хлева и конюшни, гоня перед собой перепуганных коров и лошадей. Таран умолк. В наступившей тишине они впервые почувствовали опасность. Йорм и Эгиль рисовали им эту ночную вылазку как простой набег за добычей, и они поверили этому.

«Я отдаю вам на разгром усадьбу Вальтьофа. Если вам и придется обнажить меч, то лишь для того, чтобы принести быка в жертву Тору. У Эгиля, Грима, Скиди Норвежца и у меня счета с Вальтьофом, но это наше дело».

Казалось, Йорм все предусмотрел. Грим, Скиди и Сын Лосося предварительно ходили на разведку. Они-то и были теми тремя незнакомцами, с которыми повстречался Тюркер. Дом Вальтьофа стоял далеко от поселка. Это также было благоприятно. Боги покровительствовали их замыслам. Если б не бдительность кузнеца, планы Йорма осуществились бы полностью.

Неожиданное появление трех осажденных вызвало у врагов крайнее замешательство. Особенно испугало их присутствие Бьорна. Кузнец, нанося страшные удары, вдохновенно пел:

Мехами буйный ветер порожден.
Железо докрасна раскалено.
Тяжелый молот мой кует его.
Под мерное гудение мехов,
И некогда мне дух перевести.

С каждой строкой на землю падал человек, и это был грозный счет. Скиди Норвежец и Сын Лосося валялись в агонии, а Грим с раздробленным плечом выл, как волк на луну.

Йорм незаметно пробрался к Эгилю за изгородь и из-за этого прикрытия подстрекал своих людей к продолжению борьбы.

— Их всего только трое! Во имя Тора, покажите же, что вы мужчины!

Тьма мешала точнее определить место, где скрывался Йорм. Лейф и Бьорн продвинулись до конюшни и хлева, в котором, протяжно мыча, метались коровы. Кузнец и сын Вальтьофа как одержимые наносили удары, и гнев отгонял усталость, от которой уже немели руки и плечи.

— Сбивайте их с ног, ведь их всего трое! — надсаживался Йорм.

Однако грабители не проявляли воинственного пыла. Пьяный угар рассеялся, и они испытывали тошноту и слабость. Йорм их обманул. Рукопашный бой не входил в условия договора. Их осыпали ударами, а добыча от них ускользала. Сделка оказалась невыгодной. Многие из громил, побросав оружие, пролезали под оградой и убегали. Четверо, истекая кровью, лежали, уткнувшись лицом в землю.

Вальтьоф загонял коров и быков в хлев, успокаивал лошадей, называя их по именам, и свистом призывал двух или трех коней, захваченных людьми Йорма.

— Фью-фью, Гром! Буря! Смелый!

Вражеское копьё задело ему бедро, но он не чувствовал боли от раны. Старый викинг слышал пророчество Бьорна и не пытался уйти от судьбы. Единственной его заботой было собрать разбежавшуюся скотину. Гордость переполняла сердце отца: Лейф бился храбро. Честь Турлусонов не померкнет с его, Вальтьофа, смертью.

Старик погнался за молодой кобылкой, которая бежала вдоль изгороди, как вдруг перед ним словно

из-под земли выросли две тени. При тусклом свете луны он узнал Йорма и Эгиля Павлина. Подстерегали они его или он сам выгнал их из убежища, где они затаились, ожидая случая бежать?

Вальтьоф все еще держал в руке железный брус, которым его вооружил Бьорн. Эгиль сжимал в руке рукоятку острого норманского меча, а Йорм размахивал копьём. Вальтьоф первым нанес удар, выбив копьё из рук Йорма.

— Вы, как воры, забрались сюда ночью! — В голосе старика звучал скорее упрек, чем злоба или презрение. — Бьорн Кальфсон и мой сын Лейф прогнали ваших людей. Ты опоил их брагой, Эгиль!

Вальтьоф отразил боковой выпад Эгиля, пригнувшись, чтобы меч скользнул мимо. На долю секунды он упустил из виду Бьорна.

Тогда хозяин «Гуся», перегнувшись через изгородь, дважды всадил Вальтьофу между лопаток нож.

Взор Вальтьофа померк. В помутневших зрачках застыло безграничное удивление. Когда острая боль пронизала все тело, раненый испустил предсмертный крик. Он хотел позвать сына, но его крик прозвучал протяжной жалобой, которая пронеслась над равниной и оборвалась, как крик птицы, сбитой в вершине полета.

Одним прыжком Лейф очутился у тела отца. Склонившись над умирающим, юноша услышал стук по камням поспешно удаляющихся шагов. Это убегали убийцы Вальтьофа.

Лейф не колебался ни секунды. Жажда мести обуяла его. Темный зов крови предписывал сыну уничтожить тех, кто убил его отца.

Он подтянул кожаный ремешок на запястье, на котором висело копьё, и, увлекаемый безудержным порывом, перескочил через изгородь. Шум щебня, осыпавшегося по склону под ногами беглецов, свидетельствовал об их стремлении добраться до лабиринта холмов.

Кровь стучала у Лейфа в висках, в ушах звенело, но он подчинил все силы одной цели: преследованию врагов. Юноша не смотрел, куда он ступает, хотя минутно рисковал свернуть себе шею. Горькое удовлетворение при мысли, что каждый шаг сокращает рассто-

яние, которое отделяет его от врагов, бодрило Лейфа, как крепкий напиток.

• Он увидел преследуемых в ту минуту, когда они достигли горного хребта. Их было двое: один опережал другого на тридцать или сорок шагов.

— Во имя Тора, покажите свои лица!

Но они не обернулись. Тот, кто бежал вторым, споткнулся, упал и снова поднялся. Его спутник резко свернул вправо, туда, где на протяжении доброй мили в хаотическом беспорядке были разбросаны валуны, оставленные ледниками. Он покинул своего товарища и пожертвовал им, чтобы выгадать время.

Лейф выкрикнул проклятие. Вначале он тешил себя надеждой, что быстро покончит с отставшим беглецом, а затем погонится за другим. Теперь он должен будет удовлетвориться мстостью лишь одному врагу.

Человек, которого догонял Лейф, одной рукой вцепился в корни вереска, а другой сжимал меч. Лейф ясно видел, как мгновенным блеском вспыхивало лезвие.

Юноше оставалось пробежать каких-нибудь двадцать шагов. Преследуемый обернулся. Как раз в это мгновение взошла луна, до сих пор скрытая плотной завесой облаков, и осветила растерянное лицо Эгиля Павлина.

Эгиль тоже узнал Лейфа. Его отвислые, дряблые щеки затряслись от хриплого смеха.

— Так это ты так шумел, жалкий хорек?

У Эгиля была более выгодная позиция.

Сын Вальтёфа не мог обойти его ни справа, ни слева: этому препятствовали крутые склоны с обеих сторон.

— Возвращайся-ка домой, Турлусон, ведь еще не остыл труп твоего отца!

Лейф, прислонившись к выступу скалы, наблюдал за Эгилем.

— Убирайся! Клянусь Фрейей, я не дерусь с мальчишками!

Лейф запустил в Павлина камнем и угодил ему в живот.

— Ты трусишь, Эгиль! Ты раздуваешь ноздри, как кузнечные мехи, а ноги подгибаются под тобой, словно прогнившие жерди.

— При мне мой меч, и я заставлю тебя подавиться своей бранью!

Лейф презрительно захохотал. И от этого хохота, повторенного раскатистым эхом, у Эгиля заледенела кровь в жилах.

— Ты сейчас умрешь, Эгиль Павлин! Мое копьё пригвоздит тебя к скале, и ты подохнешь здесь в одиночестве, как ворон.

— Не подходи ко мне, Лейф Турлусон, не подходи!

— А мне и незачём подходить к тебе, Эгиль! Мое копьё отлично достанет тебя.

Обезумевший взгляд Эгиля задержался на остром наконечнике копья.

— Ведь не я убил твоего отца, Лейф Турлусон, не я, а Йорм. Ты слышишь, это сделал Йорм, Йорм!

Эгиль Павлин вопил истошным голосом.

— Боги займутся Йормом, а ты, Эгиль, в моей власти.

Лейф сдернул с кисти ремень, на котором висело оружие, и медленно, не сводя глаз с Эгиля, поднял копьё до уровня плеча.

Юноша повторял священные слова, которыми сопровождается смертельный удар и провозглашается справедливость такой кары:

— Фрейя взрастила для меня колосья мести.

Эгиль, вытаращив от ужаса глаза, бросился вперед. Несмотря на утреннюю прохладу, по его лицу от висков к подбородку стекали струйки пота.

В тот же миг его пронзило копьё. Эгиль судорожно глотнул и повалился на бок.

— Ты умрешь, как я сказал, Эгиль Павлин! Ты будешь умирать медленно и одиноко. И не знать тебе покоя, потому что жил ты, как трус, и принял смерть, как раб.

Лейф спустился с холма. Настало время отдать последние почести телу Вальтьофа.

От поцелуев утренней зари серое небо над морем покрылось багрянцем. Занялась заря, которую Вальтьофу уже не дано было увидеть. Теперь Лейф заплакал. Вальтьоф унес с собой частицу его души. И он плакал,

потому что был один: слезы викинга не должны иметь свидетелей.

* * *

Все розыски следов Йорма окончились ничем. Никто из нападавших на Окадаль, кого изувечил молот Бьорна или пронзило копье Лейфа, не выжил, и поэтому не удалось установить, где на Западном побережье был разбит пещерный лагерь изгнанников. Жители поселка опознали трупы Грима, Скиди Норвежца и Хравна — Сына Лосося. Оставшиеся в живых участники набега скрылись кто куда.

Похороны Вальтьофа были просты и величественны. Тело возложили на костер, который развели Эйрик Рыжий, Бьярни Турлусон и кузнец Бьорн. Бьярни — новый глава семьи — поджег вереск, покрывавший деревянный настил. Яркий огонь поднялся к небу... И тогда скальд Бьярни спел не простую вису¹, но суровую строфу из песни об Инглингах, которую обычно посвящали победителям, вождям и воинам, прославившимся верностью долгу:

Изранен тяжело был король Хаки
И понял, что дни жизни сочтены.
Тогда велел он боевой корабль
Для плаванья морского снарядить,
Руль закрепить, все паруса поднять,
Сложить из дров на палубе костер
И факелом просмоленным поджечь.
Дул ровный, сильный ветер от земли.
Лежал Хаки, простёртый на костре.
Меж островов пройдя, его корабль,
Пылая, устремился в океан.

В Гренландии слишком драгоценны были корабли, чтобы можно было хоть один из них отдать для последнего приюта мертвецу. Поэтому прах Вальтьофа, несмотря на общую любовь к нему, был развеян по земле ветром.

После погребального обряда Бьорн Кальфсон подошел к Бьярни и сыновьям Вальтьофа.

— Бьярни Турлусон, дом Вальтьофа отныне дом его сыновей и твой. А я выстрою подальше новую кузницу.

¹ В и с а — строфа в поэзии скальдов.

— Бьорн, кров моего брата отныне твой кров. Я попрошу тебя взять к себе и растить Скъольда, пока ему не минет пятнадцать лет. О Лейфе позабочусь я сам.

— Почему я должен расстаться с братом Скъольдом, дядя Бьярни?

— Потому что обычай не допускает, чтобы два брата плавали на одном корабле.

И тогда Лейф понял, что великая мечта Бьярни скоро станет явью. Смутная радость захлестнула его сердце. Корабль, захватив и его, уйдет покорять Западное море.

— Скъольд останется со мной до твоего возвращения, Бьярни Турлусон, — сказал кузнец, — и я воспитаю его так, как воспитал бы родного сына. Когда же ты думаешь выйти в море?

Бьорн говорил так спокойно, словно подобное плавание было самым обычным на свете делом.

— Когда Эйрик все наладит в поселке и когда задует попутный ветер. Ну, а пока пусть этот разговор останется между нами.

Скъольд, насупившись, ковырял носком землю. Бьярни угадал, какие чувства волнуют мальчика.

— Настанет и твой черед, Скъольд!

Бьорн заскорузлой рукой приподнял за подбородок голову младшего из братьев.

— Раз ты теперь мой сын, я открою тебе тайны металла и огня. Твоя участь будет не хуже, чем у брата. Я помогу тебе отыскать четыре вида терновника, три вида мха и семь видов водорослей на скале, которые наделяют даром провидения и мудростью.

Скъольд поднес к губам громадную руку Бьорна.

Лейф знал, что Эйрик Рыжий и Бьярни отплывут после уборки урожая. Ячмень поднялся высоко, и колосья его созрели для жатвы.

— Одно не дает мне покоя, дядя Бьярни: Йорм избежал мщения.

Бьорн начертил на земле круг:

— Йорм никогда не вырвется из круга крови. Он будет метаться в нем, как запертый в загоне зверь.

Ему не пришлось пояснить свою мысль. Эйрик Рыжий широким шагом пересек площадь, на которой ранее был разведен костер.

— Ты мне нужен, Бьорн Кальфсон. Я снова уйду на «Большом змее» в долгое плавание. Бьярни говорил те-

бе об этом. Восточному поселку нужен будет глава. Я думаю, что это отличие — твое по праву.

— Мне легче приказывать молоту, чем людям, Эйрик!

— Клянусь Тором, у тебя крепкая рука, кузнец, и доброе сердце. Ты сумеешь ковать и закалять в людях мужество не хуже, чем куешь и закаляешь сталь.

* * *

Йорм плыл в Исландию.

Однажды ночью, в глубокой тайне, он погрузил на борт «Гуся» около двух десятков верных дружинников и снялся с якоря, оставив в пещерах десять мужчин, двадцать женщин и двенадцать душ детей.

После убийства Вальгьофа Йорм не чувствовал себя в безопасности на гренландской земле. Смерть Эгиля послужила ему предостережением.

Ненависть, которую он питал к Эйрику Рыжему, Бьярни Турлусону, Бьорну Кальфсону и сыновьям Вальгьофа, осталась неутоленной. Хозяин «Гуся» знал, что она будет гореть в его сердце всю жизнь. В Исландии он найдет союзников. Торстейн, несомненно, погиб, но род Торфинсонов по-прежнему силен. Он, Йорм, пробудит у этих людей дремлющие в их душах страсти. Он заманит их богатствами Гренландии, процветающим хозяйством Восточного поселка. Он знает к кому обратиться. Альфид — Ледяной Глаз, вдова Торстейна, конечно, поможет ему, он ее хорошо знает. Йорм не сомневался, что, выйдя замуж за Торстейна, Альфид разделит ненависть мужа к его врагам и что она готова выцарапать глаза Эйрику Рыжему.

Через несколько месяцев, быть может, уже через несколько недель могучий флот выйдет из Эйрарбакки и возьмет курс на Восточный поселок, флот, во главе которого станет он, Йорм.

Ключи к мщению будут тогда в его руках.

Ветер надувал парус. Белые гребешки волн разбивались впереди, указывая путь в Исландию.

Часть третья

Глава I

НА ПУТИ В НЕВЕДОМОЕ

Лейф стоял на корме «Большого змея». Плавание началось при счастливых приметах. Тучи постепенно растаяли в бескрайнем голубом просторе. Уже много месяцев юноша не дышал таким чистым воздухом. Было раннее утро, но солнце успело очертить в небе немалую дугу.

Дядя Бьярни стоял возле Лейфа, и казалось, что все его внимание сосредоточено на отвесных прибрежных скалах фьорда Восточного поселка, стиснутых, как рыба в верше.

— Сегодня, племянник, самый длинный день в году. Солнце совершит долгий путь над морем. Но и через тысячу лет люди скажут: в самый длинный день девятьсот девяносто девятого года викинги Восточного поселка на корабле Эйрика Рыжего «Большой змей» ушли в неведомые западные моря.

Лейф подумал, что из такого путешествия можно и не вернуться и тогда люди будущего никогда не узнают, что же нашли викинги по ту сторону моря, но он отогнал эти мысли и приветливо улыбнулся дяде Бьярни. Юноша не испытывал и тени тревоги, но восторженные речи его спутников порой надоедали ему. Все, что с ним происходило, Лейф считал в порядке вещей. Здесь свершалась его судьба. Каждым мускулом своего тела, каждой каплей крови Лейф ощущал, что прожитые им шестнадцать лет были только подготовкой к этому великому подвигу. Гренландия — вторая Ислан-

дия. Ее открыл Эйрик Рыжий, а он, Лейф, приехал туда позднее. Теперь же он сам плывет по неизведанному морю, которое не бороздил еще ни один корабль.

Грозная неизвестность, таившаяся за этим морем, будила в Лейфе жгучее любопытство.

Гренландия оказалась безлюдным островом, но юноша предчувствовал, что в этом плавании они встретят новых, никем еще не виданных людей.

Он и не пытался их себе представить. Саги о героической старине повествовали о славянах, германцах, кельтах, франках, с которыми норвежские викинги сталкивались в чужих странах. Правда, эти племена мало чем отличались от самих викингов. Франк Тюркер, который тридцать лет плывал с Эйриком на «Большом змее», стал таким же, как они. Но что из этого следует?

Дядя Бьярни будто прочел мысли племянника.

— Лейф, этот поход прежде всего твой поход: из всех нас ты самый молодой, и твоим надеждам не должно быть преград.— Скальд беззвучно рассмеялся, и в его глазах сверкнули веселые искорки.— Разве Бьорн Кальфсон не говорил, что на море тебя ждет славное будущее, и не сулил тебе встречу с молодой девушкой-чужеземкой, какой еще никогда не видели в наших краях?

Лейф покраснел под густым загаром. Не раз думал он об этом пророчестве. Оно слишком совпадало с его заветными мечтами, чтобы можно было о нем забыть.

— Ты уже взрослый мужчина, Лейф, у тебя широкие плечи и крепкие мышцы. Год, проведенный в Гренландии, превратил тебя в настоящего викинга. Ты носишь за поясом нож и меч, и даже среди взрослых мало найдется таких, кто попытался бы оспаривать у тебя место, которое ты себе облюбовал.— Бьярни говорил внушительно, как глава семьи, сознающий свою ответственность.— Эйрик Рыжий очень рассчитывает на тебя, Лейф, и сам тебе об этом скажет, когда найдет нужным. Ты с честью отомстил за отца и в ту кровавую ночь сражался, как подобает мужчине. Бьорн Кальфсон это подтвердил.

Бьярни ткнул крепким кулаком в широкую грудь Лейфа, которая загудела под его ударом.

— Мы держим курс на новые земли, Лейф, ибо у моря тоже свои границы. И неизвестно, что мы там найдем. Выйдя из фьорда Восточного поселка, мы будем идти на юго-запад, пока боги не поставят перед нами новую сушу.

«Большой змей» входил в один из извилистых проходов. В последний раз Лейф старался запечатлеть в памяти вид Восточного поселка. Строения норвежского образца сгрудились в глубине фьорда вокруг трех длинных домов Эйрика, как бы приплюснутых к земле складчатыми разветвлениями трех долин, где площадками со стерней недавно сжатого ячменя и участки, засеянные кормовыми травами, чередовались, как темные и светлые квадраты на шашечной доске. Дом Окадаля, его родной дом, чернел на самом высоком из ближних склонов. Начал ли Бьорн обучать юного Скъольда тайной премудрости прорицателей и хранителей рун?

Постепенно привычный пейзаж скрылся из глаз, и, когда Лейф повернулся, перед ним раскрылся выход в открытое море. До самого горизонта оно было покрыто барашками, и в брызгах пены играли солнечные блики.

Берега фьорда расступились, и бескрайнее море погнало свои стремительные волны навстречу бесстрашному кораблю, которому северное солнце указывало путь.

Как только серая полоса берега расплылась далеко позади туманной дымкой, все двадцать восемь человек на борту запели победную песню, которую три века назад сложил Иван Лодбrog, когда впервые ступил на английский землю.

Эйрик и Бьярни тщательно подобрали своих людей. Многие из них, как и в первом походе, принадлежали к роду Эйрика и происходили от рабов, захваченных на острове Эйрин¹. Рослые и рыжеволосые, беспечные, суеверные и смелые, они, как и норвежцы, были искусными моряками и любили опасные приключения. Их настоящую цену можно было узнать только в разгаре бури, когда они запросто обращались к духам, которые, уверяли они, по своей прихоти спускают с цепи свирепые волны.

¹ Остров Эйрин — древнее название Ирландии.

Они забыли родной язык и говорили только по-норвежски, но ирландские предания, передаваемые из поколения в поколение, продолжали населять их внутренний мир.

«Большой змей» был хорошо снаряжен. Помимо съестных припасов и воды, необходимых для долгого морского перехода, на корабле везли пять коров и десяток коз, которые должны были восполнять нехватку в мясе. Бык и козел, стреноженные в трюме, будут принесены в жертву Тору, лишь только на горизонте появится суша.

Добрую половину дня Эйрик Рыжий стоял за рулем, ведя судно на юго-запад.

Лейф участвовал в развлечениях, которые устраивал моряк, по имени Сигвал, умевший искусно жонглировать ножами. Юноше быстро наскучило причудливое сверкание лезвий, и он согласился на предложение франка Тюркера сыграть с ним в кости.

— Клянусь Тором, мы сейчас назначим такие ставки, которые по плечу только самым богатым хозяевам Исландии! — шутил франк.

— В таком случае, я не могу играть, Тюркер: все мое богатство — одежда, которую я ношу, и нож за поясом. Да еще лук и меч, они лежат у подножия матчы.

Тюркер расхохотался.

— Да разве это богатство, Лейф Турлусон! Ну-ка, брось кости, увидишь, какая это занятная игра.

Лейф встряхнул в руке маленькие кубики из амбры, на гранях которых было выбито от одного до шести кружочков.

— Три, три и еще раз три, — сказал Лейф, когда кости улеглись на его ладони.

— Три — волшебное число. Ты король, Лейф Турлусон! И ты выиграл целую долину в той стране, которую мы откроем. Отдаю ее тебе. — Тюркер громко прыснул. — Видишь, какие у меня крупные ставки? Я отдаю тебе целую долину. Ну, а теперь мой черед. Пожалуй, с меня хватит и клочка земли, лишь бы он был на солнечной стороне.

Тюркер выбросил на двух кубиках по четыре очка, на одном два очка.

— Тролли лишили меня своего покровительства!

Что же ты мне дашь, Лейф? Ты раздаешь богатства; будь щедр со своим слугой.

— Что ж, я могу отдать тебе половину моей долины, ведь она мне ничего не стоила.

— Ты великодушен, Лейф. А знаешь, что я посажу на той половине долины, которую ты мне даришь?

— Наверное, ячмень?

— И не подумаю! Ячмень хорош для бедных крестьян севера. Ячмень — грубый детина, заросший бородой, которая защищает его от мороза. А я мечтаю о счастливой долине, где допоздна не заходит солнце.

Тюркер отодвинул кости и задумчиво глядел вдаль. Быть может, в его памяти вдруг ожили забытые с детства картины природы его родины — страны франков. Разве не приходилось ему слышать, что там, на плодородной земле, все произрастало в изобилии?

— А ты мне так и не ответил, Тюркер, что ты посеешь или посадишь на своем косяге.

— Я посажу виноград, Лейф Турлусон. Виноград, из которого делают вино. Ах, да ты ведь ни разу в жизни не пил вина, которое равняет людей с богами, вина, Лейф, перед которым любой напиток просто бурда! — Предвкушение блаженства преобразило лицо Тюркера. Глаза у него заблестели, и он причмокивал, словно уже прикладывался к краю незримой чаши. — Да будет благословенна земля, на которой мы высадимся, если на ней созревает виноград.

Все мужчины, оставив игры, подошли к ним.

Сигвал, жонглер, был недоволен тем, что Тюркер завладел вниманием моряков, и злобно возразил франку:

— Чтобы найти край виноградников, нужно плыть много дней на юг, в страну франков или иберов. А теперь у нас впереди только море да враждебные земли, населенные духами. Гренландия — последняя суша на западном пути.

Трое или четверо мужчин одобрительно заворчали, но Тюркер не обратил на них внимания.

— Не так давно мы думали, что Исландия — край земли, и любопытство не влекло нас дальше шхер Гунбьерна. Как знать, плывя на запад, не увидим ли мы вдруг берега Норвегии?

— Но ведь Норвегия на востоке, позади тебя, Тюркер!

Лукавые глаза франка так сощурились, что остались лишь две смеющиеся щелки.

— А если земля круглая и мы обогнем ее, разве мои слова окажутся глупыми?

Оглушительный взрыв смеха приветствовал эту шутку.

— Земля, по-твоему, круглая, как шлем? Да наш Тюркер самый удивительный врун, какого я когда-либо знал! — воскликнул Сигвал.

Лейф смеялся вместе со всеми:

— Если земля круглая, мы в один прекрасный день окажемся вниз головой.

— А из моря хлынет дождь, как с неба! — давился от хохота Гаральд Толстяк.

Тюркер потряхивал зажатыми в руке костями.

— Не смейся, Лейф, под солнцем много такого, чего смертным не понять.

До самого вечера шутка Тюркера служила пищей для разговоров, и все единодушно признали, что давно человеческие уста не произносили такой чудовищной нелепости.

В середине второго дня небо покрылось тучами, море заволновалось, но ветер по-прежнему нес «Большого змея» в нужном направлении. Холодные ливни сменяли друг друга, как будто тучи выливались одна за другой.

Однако приятный образ жизни на борту не изменился. Дядя Бьярни часами пел саги, которые все викинги и без того знали наизусть. Одаренный скальд вкладывал в них всю страсть своей души.

Днем и ночью моряки по двое несли вахту на носу корабля, сменяясь каждые два часа. Лейф всегда радовался, когда его товарищем оказывался Тюркер. Франк был неистощимым рассказчиком. Он сопровождал Эйрика Рыжего во всех его смелых походах и хранил в своей памяти воспоминания о любой вылазке или сражении. Лейф подозревал, что Тюркер приукрашивает события и толкует их на свой лад. Тем не менее, стоя на вахте и окидывая море рассеянным взглядом, юноша невольно поддавался чарам этого красноречия.

Ночи были ясные. Их бледный, молочный свет облегчал путь морякам, а над головой сквозь эту белизну успокоительно сияла самая яркая звезда из колесницы Одина, похожая на шляпку золотого гвоздя.

На четвертый день восход солнца разогнал легкий туман, висевший ночью над морем.

Тюркер, полузакрыв глаза, дремал, опершись на свернувшегося в кольца дракона. Он говорил ровным голосом, время от времени приподнимая веки, чтобы посмотреть, слушает ли его Лейф.

— Что значит плыть три дня по морю? Пустяк! Ничтожная пылинка времени. На западе, как и на востоке, можно открыть еще много земель, но мы, люди, хотим завладеть всем сразу. Ты не знал Торвальда Рыжего, отца Эйрика, которого убил Торстейн Торфинсон? Торвальд был одним из последних настоящих морских ярлов. Он-то знал, что стоит лишь отойти от берегов Норвегии, как перед тобой откроются новые миры. Я был еще совсем мальчишкой, но Торвальд взял меня к себе на борт. Мы отправились из Нидароса на восток и шли так четыре дня, а потом, когда подул северный ветер, повернули на юг и в середине пятого дня увидели устье широкой реки, где оказалось множество китов мелкой породы. Мы плыли один день вверх по этой реке. И, хотя земля там замерзла и дули свирепые ветры, мы нашли людей, которые ютились в жилищах, сложенных из глыб льда. Они низкорослые, широкоскулые, а кожа на их лицах коричневая, как некоторые водоросли. Они смазывают волосы каким-то вонючим жиром и называют себя бьярмами¹. Я никогда не встречал более ловких стрелков из лука. Мы потребовали с них выкуп, и они доставили нам моржовые шкуры, китовый жир, ремни и птичьи перья. Самые богатые из них должны были каждый за себя уплатить особую дань: десять шкур выдры, две шкуры медведя, трех живых оленей, полный мешок пера и канаты, плетенные из тюленьих шкур, длиной в тройную длину нашего корабля. Торвальд Рыжий оставался там, пока все не было выплачено, а на это потребовался почти год. Ах, Лейф, Лейф, поверь мне,

¹ Бьярмы — финское племя (древнерусское — пермь), жившее на побережье Белого моря.

земные сокровища разнообразны и неисчерпаемы! — Тюркер открыл правый глаз и глубоко вздохнул. — Но ни одно сокровище нельзя сравнить с виноградной лозой, отягченной гроздьями ягод!

Лейф снова перевел взгляд на море. Этот Тюркер и впрямь был удивительный человек.

— Тюркер! Эй, Тюркер! — вдруг закричал Лейф. Волнение сдавило ему горло.

— Неужели уже земля? — спросил франк, даже не повернув головы.

Лейф чуть не бросился на него с кулаками. Как мог Тюркер в подобную минуту так владеть собой!

— Нет, это не земля, это... Да посмотри же, посмотри! — Он круто повернул франка, который показался ему легким, как пушинка. — Глаза меня не обманывают? Скажи же, Тюркер, ты видишь?

— Да, вижу. Я поражен, Лейф, право, поражен!

Глава II

ПОХОД ЙОРМА

Через четыре дня после того, как Йорм покинул Гренландию, его корабль бросил якорь во фьорде Эйрарбакки. Возвращение «Гуся» стало известно в селении. Дозорные, прятавшиеся в расщелинах скал, уже более часа как подали сигнал о приближении торгового судна.

Исландцы, стора от любопытства, толпились на молу. Всем хотелось узнать, как живется в Гренландии и почему так внезапно явился Йорм.

— Ни одного слова о том, что там произошло! — предупредил Йорм, отдав распоряжение спустить на воду ялик. — Нам несдобровать, если мы не будем держать язык за зубами. Неплохо было бы разведать, чей род сейчас забрал власть на острове.

Не успел Йорм сойти на берег, как был окружен толпой и засыпан вопросами. Ведь у каждого из этих людей был родственник, свойственник или друг на новой земле.

— Я дам объяснения перед альтингом, — осторож-

но сказал Йорм. — А кто сменил старого Рюне Торфинсона?

— А тебе что за дело? Ведь ты приехал от Эйрика Рыжего?

Вопрос прозвучал грубо. Йорм узнал голос Глума Косоглазого и облегченно вздохнул. Если Глум осмеливается так дерзко говорить, значит, род Торфинсонов по-прежнему занимает в Эйрарбакки первое место.

— Мне сейчас недосуг толковать с тобой, Глум. Мне надо скорее повидать твою хозяйку, Альфид, вдову Торстейна Торфинсона.

Это был хитрый ответ, и Йорм знал, что им он закроет рот каждому, кто попытался бы затеять ссору. Поэтому хозяин «Гуся» несколько растерялся, когда в толпе то там, то здесь послышался ехидный смех. Глум просто заржал от удовольствия. Встревоженный неожиданным оборотом, который принял разговор, Йорм решил подождать, пока Глум или кто-нибудь другой нарушит молчание.

В первые ряды насмешников, гримасничая, пробрался Льот Криворотый.

— Значит, ты приехал посвататься к Альфид? У тебя, Йорм, будет сильный соперник.

Так вот чем объяснялось общее веселье! Очевидно, у Альфид завелся друг, прочно обосновавшийся в Длинном Доме Торстейна.

— Я ни у кого не собираюсь оспаривать сердце Альфид, Льот. Меня привело сюда иное.

Смех усилился.

Йорм решил изобразить гнев:

— Не для того я пересек Западное море, чтоб надо мной потешалась кучка бездельников! Коли так, я, пожалуй, вернусь на борт и подниму парус.

Этот ловкий ход вызвал желаемый ответ. Даже Глум заговорил примирительно:

— Не сердись, Йорм. Мы не хотели тебя обидеть. Но, понимаешь, Альфид не ищет мужа. Понятно, где тебе знать, что...

— Мне совершенно все равно, кто женился на Альфид. Я хочу поговорить с ней о деле.

— Ну, если тебе надо поговорить о деле, так уж говори с самим Торстейном Торфинсоном.

Йорм так опешил, что даже отступил на шаг, чтобы лучше взглядеться в лицо Глума.

— Я думал, что Торстейн мертв и что его унесло море, после того как его сразил Эйрик Рыжий.

— Тор сохранил ему жизнь. Море выбросило Торстейна на песчаную отмель Хеймгиль, где его подобрал и выходил пастух из его рода. Одна Альфид знала, что Торстейн жив, но весть об этом разнеслась по острову лишь после того, как флот рыжего дьявола Эйрика обогнул мыс Боргар. Сейчас Торстейн совсем поправился.

Йорм не мог скрыть радость. Торстейн жив! Это превосходило все его надежды. Йорм был близок с сыном Рюне и знал, что муж Альфид не из тех, кто забывает о мести.

— Глум, беги скорее к Длинному Дому Торфинсона и сообщи о моем приезде. Хозяин не пожалеет, если примет меня под своей крышей.

Глум Косоглазый больше не колебался. Уверенные слова Йорма произвели на него впечатление. Он помчался стрелой, расталкивая по пути людей, которые не успели посторониться.

Толпа, тоже покоренная речами Йорма, расступилась перед ним, и он в сопровождении Льота Криворотого и Ньорда направился по мощеной улице к дому Торфинсона.

— Йорм прыжнется, как лягушка, — громко сказал кто-то. — Видно, что море отделяет его от Эйрика Рыжего.

Толпа заколебалась, а потом на почтительном расстоянии последовала за Йормом, который выступал с важностью иноземного посла.

Торстейн ждал Йорма на пороге. Его высокая фигура несколько не согнулась после болезни, и рана, нанесенная мечом Эйрика, казалось, не уменьшила его медвежьей силы. Но Йорм уловил в его глазах какую-то растерянность.

— Ты удивлен, что нашел меня в живых, Йорм? — Торстейн ухмыльнулся, и его хищные, как у волка, ноздри раздулись.

— Моя радость не менее сильна, чем мое удивление, Торстейн.

— Ты вернулся с новой земли? Расскажи мне об Эйрике Рыжем.

— Я расскажу тебе об Эйрике Рыжем да и о других, но прежде всего знай, что Эйрик стал моим заклятым врагом. Ненависть угаснет только с его или моей смертью. Я пришел к тебе как друг, Торстейн! Вот этой рукой я убил Вальтьофа Турлусона, но потерял своих самых верных друзей: Грима — Сына Лосося и кое-кого еще. Лейф Турлусон предательски умертвил Эгиля.

— Эгиль Павлин никогда не был настоящим воином.

— Но он был умным человеком, которому осточертела власть Эйрика. Гренландия богатая страна, Торстейн, и Эйрик хочет один распорядиться ею. Того, кто победит его в поединке, ждет великая награда.

Не прерывая рассказа, Йорм пристально смотрел на Торстейна и с удовольствием убедился, что его слова попадают в цель.

— Продолжай, Йорм, я хочу все знать.

Йорм на свой лад изложил события, которые привели к расколу среди поселенцев. Упомянул о соперничестве между ними и о смерти Вальтьофа. Он изобразил Восточный поселок местом раздоров, где произвол и всякие дразги значительно подорвали власть Эйрика Рыжего.

У Торстейна затуманился взор, и он внимательно слушал.

— А что ты думаешь делать теперь, Йорм, после высадки в Исландии?

— Я считал тебя мертвым, Торстейн, и собирался предложить союз против Эйрика Рыжего твоей жене Альфид или какому-нибудь отважному воину твоего рода.

— Ты хочешь, чтобы я сопутствовал тебе на новую землю?

— Да, Торстейн. Я выйду в море, как только корабль будет готов к отплытию.

— Я заключу с тобой союз, Йорм. Каждую ночь во сне я вижу, как Эйрик Рыжий насмехается надо мной и осыпает бранью. Мне нужно избавиться от этого навяздания. Я хочу, чтоб голова скатилась с его плеч, а улыбка скривила его лицо в предсмертной муке. Мне

не нужен целый флот, Йорм, хватит моего корабля и двадцати или тридцати смелых викингов. Если считать и твоих людей, нас будет шестьдесят доблестных воинов. Дело не в числе, Йорм.— Шалые огоньки вспыхивали в глазах Торстейна.

— Но у Эйрика Рыжего все еще большая дружина, Торстейн!

Резким взмахом руки Торстейн отвел это возражение:

— Я должен поведать тебе кое-что, Йорм. Избежав смерти, я остался берсерком.

Йорм побледнел и отпрянул на шаг. Так вот чем объяснялись исступление во взоре Торстейна и нездоровый блеск его глаз! Считалось, что берсерк — это человек, одержимый злым духом и не похожий на других людей. Рассказывали, что берсерк может по своей воле сменить свою кожу на шкуру медведя. А на самом деле берсерк был помешанный и страдал падучей. Когда больной впадал в неистовство, тяжкий недуг придавал ему необычайную силу. В такие минуты берсерк не отвечал за свои поступки. Сдирал с деревьев кору, кусал свой щит, брызжа слюной, долго топал ногами и наконец молнией обрушивался на врага. Буйный приступ сменялся изнеможением, но в бою берсерк мог одолеть двадцать человек, и редко кто осмеливался вступать с ним в схватку.

Йорм попятился к двери, но тут в комнату вошла Альфид. Никогда еще к ней так не подходила кличка Альфид — Ледяной Глаз. Она положила костлявую руку на лоб Торстейна, и он понемногу успокоился.

— Я все слышала, Йорм. Ты хорошо сделал, что приехал. Если бы Торстейн умер, я сама обручилась бы с его мезью. Тору было угодно вселить мощь берсерка в тело Торстейна. Эйрик Рыжий должен умереть, чтобы на роду Торфинсонов не лежало позорное пятно. Мы поплывем в Гренландию и, если не найдем этого дьявола на новой земле, погонимся за ним хоть на край света.

Йорм на миг задал себе вопрос, не смиряется ли дух берсерка перед этой неумолимой женщиной с желтым и гладким, как полированная кость, лицом?

— Так что же ты решил, Йорм? — спросила Альфид.

— Я отвезу тебя и Торстейна к Восточному поселку в Гренландии. Эйрику Рыжему не устоять перед яростью берсерка.

Торстейн тяжело вздохнул.

— Смех Эйрика преследует меня в глубокой ночи, от него у меня трещит в ушах. Давно пора снести этому дьяволу голову с плеч.

Иорм повернулся к Альфид:

— Ты знаешь, где меня найти, Альфид. Я к твоим услугам.

Иорм вышел. Громкий стук захлопнувшейся двери не заглушил вой Торстейна, на которого опять накинудись его призраки.

Глава III

ЛАДЬЯ ПОСЛЕДНЕГО ПУТИ

— Эйрик Рыжий! Эйрик Рыжий!

— Дядя Бьярни! Дядя Бьярни!

Тюркер и Лейф всполошили всех на «Большом змее». Внутри корабля слышался топот бегущих ног. Ни за что на свете викинг и франк не оставили бы сейчас своего поста: они боялись, что возникшее перед ними видение исчезнет. Бьярни Турлусон первый вынырнул из люка:

— Что случилось, Лейф? Кит или земля? — Он пытался скрыть волнение под маской веселья.

— Не кит и не земля, дядя Бьярни. Вон там, на западе, лодка в море.

— И на ней люди?

— Это лодка, — еще раз повторил Тюркер. — Но, если на ней люди, они прячутся за ее бортами.

Эйрик и многие викинги также поднялись наверх. Почти все вооружились, опасаясь нападения.

— Смотрите вон туда! — кричал Тюркер.

Солнце разорвало завесу тумана, и утлое суденышко выступило яснее.

В призрачной белизне зари длинная и узкая лодка со странно приподнятым носом покачивалась на волнах. Она находилась в трехстах или четырехстах футах по правому борту от «Большого змея». На ней не видно было ни души.

— Это, может быть, западня! — сказал Тюркер. — Лодки служат для того, чтобы перевозить людей.

— Наверно, это попросту марево, — заметил моряк, по имени Олаф. — Когда подойдем ближе, оно рассеется, как дым.

— Богиня Фрейя и тролли любят морочить людей, — проворчал Сигвал Ловкач. — Не лучше ли нам повернуть в другую сторону?

Все вдруг вспомнили северные предания о блуждающих кораблях. Разве не шла в них речь о безумцах, которые дерзали гнаться за этими призраками? Смелчаков неизменно затягивало в огромную воронку, где они были обречены вечно носиться по кругу.

— Именем Тора, Эйрик Рыжий, скажи, кто плывет на нашем корабле, — викинги или бабы? — Лейф сам удивился своей дерзости, но отступать было поздно. — Быть может, эта лодка сорвалась с причала у незнакомых берегов, а люди на ней могли погибнуть в бурю. Вели, Эйрик, спустить на воду ялик. Я поеду сам к этой лодке и попытаюсь подцепить ее багром за борт.

Просьба Лейфа была встречена оглушительным хохотом. Эйрик согнулся от смеха так, что слезы текли у него из глаз.

— Лейф Турлусон, ты не уступишь в храбрости самому великому ярлу Гудбранду. Ну и нахал мальчишка! Сравнивать моих моряков с бабами! Я знал времена, Лейф, когда за такую наглость тебя выбросили бы за борт. Но ты мне по душе, викинг. Черт побери! Спустим немного парус и все вместе подойдем к этой лодке.

Длинную лодку медленно несло течением в ту же сторону, куда плыл «Большой змей».

Эйрик отдал несколько распоряжений, и корабль осторожно повернул. По мере приближения «Большого змея» к лодке, викинги могли лучше рассмотреть ее.

Деревянный остов был как бы обтянут чехлом, сшитым из шкур морских животных. Швы между шкурами тянулись вдоль и поперек бортов и были окаймлены по всей длине красными, черными и оранжевыми полосами.

Почти все моряки «Большого змея» бороздили океан у норвежских берегов, ходили от датских островов до Исландии, побывали вблизи Гебридских островов и Эйрина; Бьярни и Эйрик Рыжий проплыли вдоль побережья страны франков до большого Иберийского за-

лива, а Тюркеру с Торвальдом Рыжим удалось даже достичь северных морей, омывающих земли бьярмов, но никто из них не мог похвастать, что когда-либо встречал лодку такого вида.

На ней по-прежнему не заметно было следов жизни, и тишина, окружавшая хрупкий челн, затерянный в океане, как-то особенно соответствовала загадочности этой встречи.

Высокая волна поднесла лодку к правому борту «Большого змея». В то же мгновение несколько багров мелькнуло в воздухе.

Полоса парусины, испещренная разноцветными рисунками из кружков, ломаных линий, «елочек», треугольников, была протянута от носа к корме и закрывала всю лодку. Нетрудно было догадаться, что человеческие руки немало потрудились, чтобы добиться полной водонепроницаемости швов. Узкий кожаный ремень, пропущенный сквозь деревянные дужки вдоль всей обшивки, крепил узорчатое покрывало к краям лодки.

Перегнувшись через борт, викинги боязливо разглядывали эту старательно закрытую лодку. Ее подтянули баграми к борту «Большого змея». Таинственные знаки, которыми была расписана парусина, возбуждали во всех жгучее любопытство. В подборе и размещении различных частей узора чувствовалось стремление к какой-то гармонии.

Оранжевые и черные кружки сосредоточивались на середине и по четырем углам покрывала, в то время как из конца в конец шли ломаные линии, переплетаясь с полосами из красных треугольников. «Елочки» размещались по двум диагоналям и были попеременно черного и красного цвета.

Викинги не сомневались в волшебных свойствах этих странных знаков, и невозможность раскрыть их смысл приводила всех в замешательство.

Море оберегает тайны затерянных в нем судов.

Лейф обратился к Бьярни Турлусону:

— Лодка весит не много. Мы легко подыдем ее баграми.

— Пусть море само и хранит свои загадки, — резко прервал его Сигвал Ловкач. — Я уберу багор.

Но Эйрик Рыжий могучей рукой схватился за багор, который держал Сигвал.

— Клянусь Ванами и Азами, если и есть в этом море загадки, мы имеем право их разгадать, ибо мы первые северные люди, которые проникли в такую даль. Сыны моря, тяните по моему приказу. Раз, два, три! И пусть Тор обрушит свой гнев на меня одного, если я поступаю дурно.

— Я принимаю на себя половину гнева Тора! — воскликнул Лейф.

Этой торжественной клятвой, приносимой лишь в исключительных обстоятельствах, Эйрик Рыжий и Лейф снимали с плеч своих спутников тяжкую кару, которой могли предать их разгневанные боги Валгаллы.

Лодку подняли на палубу. Вне своей стихии она казалась еще более хрупкой. Лейф рассчитал, что от кормы до носа у нее восемнадцать футов, а расстояние между бортами равно всего лишь двум. По-видимому, лодка была спущена на воду недавно, так как краски на обшивке ниже ватерлинии не потускнели.

Эйрик Рыжий быстро перерезал ремень, прикреплявший парусину к лодке.

— Тяни покрепче, Лейф!

Кожаный ремень выскользнул из дужек. Эйрик Рыжий сдернул диковинное покрывало.

Потрясенный Лейф отпрянул.

На дне лодки лежал на спине человек. Его руки были вытянуты вдоль туловища. На тонком, с резкими чертами лице застыло выражение вечного покоя. Рот был полуоткрыт, веки сомкнуты. Человек казался спящим.

На его обнаженную грудь были положены палица, украшенная белыми перьями, очень длинный лук и две стрелы. Вся его одежда состояла из широких штанов, сшитых из мягкой светлой кожи, и мокасин, расшитых черными и красными геометрическими фигурками.

Кожаный ремень стягивал черные волосы с воткнутыми в них двумя перьями морского орла. Когда первое смятение немного улеглось, викинги приблизились к похоронной ладье. Торжественный и спокойный вид покойника не произвел на них особого впечатления. Такие похоронные обряды были им знакомы. Их норвежские предки, подобно этому мертвецу, сверщали последний путь на борту своих надежных кораблей, увозя с собой свое боевое оружие в царство смерти.

Не лицо умершего, не его оружие, не тайна, навеки скрытая за крепко сомкнутыми веками, привлекали внимание Эйрика и его спутников. Ошеломленные, они пристально всматривались в цвет кожи этого человека — ровный красно-коричневый цвет меди и порыхлых листьев.

От изумления долго никто не произносил ни слова. Наконец Лейф отважился сделать то, на что не решались другие. Он провел концом указательного пальца по широкой груди покойника, как бы желая снять с нее красноватую чешую. Но цвет был неотделим от самой кожи.

Юноша посмотрел в глаза Эйрику, потом не спеша перевел взгляд на дядю Бьярни. Оба викинга с задумчивым видом неподвижно стояли рядом.

— Дядя Бьярни! — Лицо скальда утратило напряженное выражение, но Лейф тщетно искал в его глазах так часто вспыхивавшие огоньки. — Я никогда не слышал о людях с красной кожей. О них не упоминается даже в самых древних сагах.

— Это значит... — медленно произнес Эйрик.

— Это значит, — подхватил Бьярни, — что мы вышли за рубежи наших земель. Вот как я думаю, Эйрик! Мы идем навстречу новому миру, где люди, вероятно, похожи на этого человека. Гренландия — остров, который никому до нас не принадлежал. Здесь же начинается мир скрелингов, мир краснокожих людей.

Лейф молчал. Мысленно он уже был в этом другом мире, лежащем где-то на западе. Разве не там должна свершиться его судьба? Разве не там, по предсказанию Бьорна Кальфсона, должен он встретить необыкновенную девушку, какой еще никто не видал?

Внезапно он почувствовал безграничную благодарность к этому мертвецу, безучастно покоившемуся в плавучем гробу.

Дядя Бьярни положил руку на плечо племянника:

— Пусть мертвец идет за другими мертвецами, Лейф. Помоги мне закрыть лодку.

Плотник гвоздями прибил узорчатое покрывало к бортам, и с помощью багров лодка вновь была спущена на воду.

Эйрик оттолкнул веслом плавучий гроб, волны подхватили его и понесли.

Лейф и викинги не покидали палубы, пока лодка не слилась с серым небом на горизонте. Все испытывали странное чувство пустоты, словно краснокожий человек, отправившийся на свидание с богами, унес частицу живого тепла «Большого змея».

Эйрик поставил парус по ветру и, повернувшись к своим спутникам, просто сказал:

— Теперь более чем когда-либо нам следует плыть на запад!

Глава IV

ПРЕКРАСНЫЕ БЕРЕГА

Лейф не покидал своего наблюдательного поста на носу корабля. Ранним утром на горизонте показалась выпуклая, как щит, земля. Тюркер первый заметил ее на заре следующего после встречи с краснокожим человеком дня. С северо-востока на юго-запад на много миль тянулась дугой береговая полоса. Несметное множество птиц кружило над пустынными отмелями, усеянными плоскими камнями. Такие же камни в большом количестве покрывали холмистые склоны.

Викинги назвали этот край «Хеллуланд» — «Страна плоских камней» и ограничились тем, что довольно долго шли вдоль ее побережья. Какая-то неутолимая жажда открытий побуждала их плыть вперед и вперед. Хеллуланд оказалась самой обширной из земель, которые до сих пор им попадались на пути.

К концу дня они обогнули мыс, замеченный вдали еще с утра, и замерли в восхищении.

Насколько хватал взор, вдоль моря тянулся пляж из белоснежного песка шириной в четверть мили.

Морские волны бесшумно плескались о подножия мирных дюн. Над всей местностью царил такой безмятежный покой, что моряки охотно стали бы здесь на якорь. Но отсутствие растительности — плоские камни по-прежнему устилали почву — и опасение, что у этого ровного берега не найдется подходящей для стоянки бухты, побудили викингов плыть дальше до наступления ночи.

Полная луна освещала похожую на море песчаную гладь. Никто на корабле не думал о сне. Лихорадочное волнение и возбуждение были лучшим противоядием от усталости.

Опершись на планшир, жители севера любовались непривычным для них живописным зрелищем.

Бьярни Турлусон назвал эту местность «Фурдустрандир» — «Прекрасные берега». В голове скальда уже мелькали поэтические сравнения и образы. Он создавал великую сагу о западных землях. Бьярни вполголоса напевал спутникам сложенные им строфы, и сердца викингов восторженно замирали от новых созвучий.

Может быть, потому, что он был здесь самым юным, Лейф казался особенно восприимчивым к этому плавному ритму, к этому героическому и возвышенному лиризму, рождаемому величием этих бескрайних земель. Пение Бьярни выражало самые затаенные чаяния юноши.

Позднее морякам будет предоставлена возможность осмотреть и обследовать вглубь эту чудесную страну, но сегодня самое главное для них — выиграть время, опередить ненастные дни, которые заставят «Большого змея» искать убежища в какой-нибудь бухте. Все жаждали раскрыть тайну краснокожих людей.

Тщетно викинги вглядывались в берега. Людей по-прежнему не было видно. Маловероятно, чтобы парус «Большого змея» остался не замеченным ими. Никогда чужеземное судно, плывущее так близко от берега, не ускользнуло бы от неусыпного ока исландских и гренландских дозорных. Может быть, краснокожие жили в глубине страны или покинули побережье, таинственным образом предупрежденные о приближении «Большого змея»? Скрывались ли они от чужеземцев или готовились вступить с ними в бой?

Лейф очень хотел, чтобы Эйрик приказал высаживаться на сушу. Возможно, что ответ на все вопросы, волновавшие юношу, таился за этими холмами с плоскими камнями и белоснежными пляжами.

Но великий викинг, казалось, искал чего-то иного на юго-западной стороне. Он не давал команды стать на якорь. Корабль плыл вперед круглые сутки.

Люди на борту дивились.

Лейф расспрашивал дядю Бьярни.

— Терпение, мой мальчик, терпение! Эйрик чего-то ждет. Но не спрашивай меня, я и сам этого не знаю. Да и он, наверно, знает не больше меня. Эйрик просит совета у волн, у неба и морских течений.

Викинг и впрямь проводил долгие часы на носу, отрешенный от всего, что его окружало.

Два дня «Большой змей» шел вдоль прекрасных берегов.

На закате второго дня Лейф, занятый плетением какой-то снасти, вдруг увидел, как Эйрик Рыжий, необычайно взволнованный, бросился с бака на палубу.

Лейф мгновенно вскочил на ноги. Эйрик так крепко обнял его, что у юноши захватило дух.

— Тор привел нас во вторую Норвегию! Сейчас же принесем в жертву предназначенного ему козла.

Лейф пытался понять смысл этих слов. Почему Эйрик говорит о второй Норвегии?

— Смотри вон туда, сын мой! На ту полосу на краю неба.

Заходящее солнце утонуло в багряных облаках, и его косые лучи скользили по темной массе, покрывавшей отроги дальних холмов на юге.

— Деревья, Лейф! Деревья, густые, как колосья на ячменном поле!

Викинги кричали, пели, выражали радость, стуча мечами по бортам «Большого змея» и по своим щитам.

— Маркланд! Маркланд!

— Лесная страна! Лесная страна!

Они не могли сделать более ценное открытие.

Для этих викингов, рожденных и выросших в Исландии, на земле, лишенной деревьев, лес представлял величайшее сокровище. Его ценили на вес золота. Владение большими лесными угодьями открывало неограниченный простор для их потребности созидания. Перед их мысленным взором уже возникали будущие селения, корабельные верфи, флотилии боевых и торговых судов. Все становилось доступным — здесь был лес.

Козла принесли в жертву, а ведро с его кровью вылили в море, выполняя обряд очищения.

— Завтра, — объявил Эйрик, — в час, когда солнце будет прямо стоять над палубой, я брошу в море резной столб из моего родного дома, и мы высадимся там,

где Тор и волны выбросят его на берег. С этой минуты мы во всем повинемся судьбе.

И в эту ночь на «Большом змее» никто не сомкнул глаз.

Вчерашнее шумное возбуждение сменилось задумчивостью. Каждый смутно предчувствовал, что близится осуществление мечты, так долго владевшей поколениями бесстрашных викингов в их пути на запад.

Какое-то время корабль плыл невдалеке от выступавшего в море берега. В лунном свете резко выделялись темные пятна лесов, таких сплошных, что, казалось, море плещется у подножия высоких стен. Потом снова моряки видели перед собой только стремительный бег волн.

Когда обогнули мыс, береговая полоса заметно отошла на запад.

— Возможно, что нас сносит сильным течением, — сказал Эйрик.

— Мне тоже так кажется, — подтвердил Лейф.

Кто-то предложил развести костер на железном щите, положенном на палубу.

Пламя медленно поднималось ввысь. Забытый за много дней пути едкий дым от горящего сухого навоза пощипывал горло.

— Этот запах напоминает мне запах дома, — проговорил Тюркер, шумно втягивая носом воздух.

— А какого дома — в Исландии, в Гренландии или, может быть, в стране франков? — пошутил дядя Бьярни.

— Всех домов, где я жил. Тьфу, не знаю более противной вони, чем этот навозный дым, который улаждает ваши северные ноздри! Запахом дома, о котором я мечтаю, могло бы стать благоухание выжимаемого в давяльне винограда.

Викинги очень потешались над Тюркером и называли его пьянчужкой.

— Смотрите, люди, смотрите!

Впоследствии Лейф не мог вспомнить, кричал ли он сам или кто-нибудь другой, но смех мгновенно умолк.

Лейф и его друзья увидели, как на берегу в глубокой тьме вспыхнул огонек.

Вначале он слабо мигал, потом стал похож на искорку светлячка и наконец взвился и заплясал красным языком.

Это не мог быть пожар от удара молнии. Ночь стояла ясная, а днем грозовые тучи не заволакивали небосвода. Да и сейчас небо по-прежнему было чисто. Нет, это был огонь, зажженный людьми, очаг, похожий на их собственный.

Заметили ли те, кто бодрствовал у костра, пламя на «Большом змее»? Были ли то краснокожие люди? Передавал ли этот огонь какой-либо сигнал? Означал ли он угрозу или, напротив, его следовало толковать как обещание дружбы?

Лейф ломал себе голову и выходил из себя, оттого что не мог найти на все эти вопросы немедленный ответ. Не задумываясь, он выхватил из костра пылающий обломок доски и несколько раз взмахнул им над головой. Он был уверен, что на берегу неизвестные люди следят за его движением.

— Ты обожжешь себе пальцы, — сказал дядя Бьярни.

— Смотри! Да смотри же! Смотрите все: они мне отвечают!

Над костром кто-то размахивал факелом. При каждом взмахе сноп искр разлетался во мраке. Незнакомый человек без устали подавал знаки ярко горящей головней.

Тогда охваченные радостью викинги подожгли старые просмоленные канаты и испещрили тьму пятнами огня. А там, на берегу, тотчас вспыхнули двадцать факелов, вычерчивая на высоте человеческого роста причудливые узоры.

Темнота мешала определить расстояние, но над ночной равниной был переброшен мост, правда еще очень ненадежный и непрочный, пролеты которого терялись в колеблющемся мраке. И все же возникала уверенность, что устоям этого моста можно будет дать крепость.

Нужно было только дожждаться, чтобы в ночи прозвучал человеческий голос в ответ на призыв Лейфа.

Когда канаты догорели, викинги еще долго стояли у борта и смотрели, как на берегу один за другим гасли факелы. Вскоре небольшой холм или выступ скалы

скрыл от них и сам костер. Но викинги по-прежнему не расходились.

Поток беспорядочных мыслей захлестнул их души. Дружинники Эйрика не унаследовали от предков страсти к грабежам и войнам. Уединенная жизнь далеко на севере не доставляла им случая принять участие в воинственных набегах их норвежских и датских двоюродных братьев. Уделом северян было заселять необитаемые острова и в трудных условиях, на неплодородных почвах, добывать пропитание для себя и для своих стад. В этой непрерывной борьбе с природой у них развилась потребность в мирной жизни и прочном порядке.

Эйрик догадывался, что теперь его друзья надеялись завершить свое удивительное путешествие. Они находились у порога неведомого мира, и через этот порог подобало переступить с большой осторожностью и предусмотрительностью.

Вождь викингов нарушил молчание:

— Завтра Лейф Турлусон бросит в море священные столбы моего очага. Они приведут нас туда, где мы должны будем сойти на берег, где мы построим наши первые дома. Ты меня хорошо понял, Лейф?

— Но ведь я не принадлежу к твоему дому, Эйрик Рыжий. Только сын имел бы право бросить в море столбы от твоего очага.

— Именно так и должно быть, Лейф. И я говорю об этом сейчас для того, чтобы все меня поняли. С этого дня я считаю тебя своим сыном и опорой того дома, который я выстрою на новой земле. Ты согласен?

— Это великая честь для меня, Эйрик Рыжий! Но я не могу навек расстаться с моим братом Скульдом, живущим в Гренландии.

— Скульд станет моим вторым сыном, когда придет к нам.

— В таком случае, я согласен, Эйрик Рыжий, и я буду с честью служить твоему дому.

Он обвел взглядом темные берега, где двигались неясные тени.

— Ты по-прежнему останешься моим дядей, Бьярни Турлусон?

— Клянусь Тором, разве в нас течет не единая кровь! А двойное наследие Эйрика Рыжего и Вальтьо-

фа Турлусона, которое отныне будет сочетаться в тебе, только укрепит наше родство. Здесь мы начнем новую жизнь. Вдохни полной грудью благовонный воздух лесистых берегов, он говорит о молодости этой девственной земли. Я думаю, что в краю краснокожих людей найдется место и для нас, но песнь о новой земле громко прозвучит, лишь когда смешается их и наша кровь: кровь скрелингов и кровь викингов. Почему бы здесь не народиться новому племени?

Бьярни продолжал говорить, но речь его была обращена не к Лейфу, не к морякам «Большого змея», не к нему самому. Скальд слагал сагу, которая предназначалась для будущего. Он воспевал в ней труд людей, их верность и надежды в таких же красочных и богатых образах, как красочна и богата сама земля. Певец викингов выражал словами зов бескрайних просторов и многоликое великолепие жизни.

Лейф и дружинники слушали его, и вдохновенный голос скальда выражал их заветные думы.

Моряки забыли о времени. Незаметно летели часы. А между тем из ночной тьмы медленно выступал только что открытый ими материк, всю необъятность и богатства которого они не могли себе представить в самых безудержных мечтах.

Так для викингов начался первый день седьмого месяца девяносто девятого года.

* * *

В эту самую ночь над морем вблизи Исландии пронеслась буря. Она выбросила на шхеры Гунбьерна большое судно, на борту которого находились шестьдесят три мужчины и одна женщина. Двумя днями раньше этот корабль гордо обогнул длинную косу Боргарфьорда.

Огромные бурлящие валы снесли мачту и реи. Острые зубья подводных рифов прорвали днище. Налетев на скалистый выступ, судно расколосось.

Так в разъяренной пучине прервался поход мести Йорма и Торстейна возле проклятых островов, которые, по преданию, север воздвиг преградой на пути викингов к Западному морю.

Йорм одним из первых был сметен волной с палубы. Большая мачта, упав, в тот же миг придавила Глума Косоглазого и единственную женщину на борту, Альфид — Ледяной Глаз.

Берсерк Торстейн Торфинсон, внезапно охваченный приступом бешенства, опоясался мечом, прикрылся тяжелым щитом и бросился в морскую бездну, проклиная коварных богов, которые его предали.

Ньорд, Льот Криворотый и самые верные дружинники из рода Торфинсона бесславно погибли в этой грозной буре.

Много лет они сеяли ненависть среди исландцев. Проклятие поразило мстителей именно тогда, когда прилив жгучей злобы повлек их в Гренландию.

Когда буря утихла, волны выбросили на берег тело Йорма. Чайки с ближайших скал долго кружили над трупом, а потом обрушились на него стремительным градом.

Начался раздел добычи.

По берегу, усыпанному серой галькой, море разбросало обломки весел, куски судовой обшивки и запутавшиеся в водорослях кожаные щиты.

Глава V

БЕРЕГ СКРЕЛИНГОВ

Прилив нес священные столбы в устье большой реки. Она была шириной не менее одной мили. «Большой змей» плыл меж отлогих берегов, поросших густым лесом. Кудрявое море листвы тянулось до синеватых холмов на горизонте. Повинуясь воле Тора, чей дух направлял движение священных столбов, корабль плыл, держась на расстоянии одной восьмой мили от правого берега. Время от времени случайный водоворот швырял деревянных «проводников» вправо и влево, но было ясно, что течение выбросит их на один из береговых выступов, вклинившихся в реку.

С тех пор как Лейф столкнул столбы в море, он, сидя верхом на туловище дракона-покровителя, не покидал этого наблюдательного поста на носу корабля. Юноша пристально всматривался в берега. Тщетно мо-

лодой викинг окидывал взором лесные лужайки и поляны, тщетно вглядывался он в зеленоватые пещерные сумерки под сводами деревьев и внимательно изучал песчаные мели, врезавшиеся в озера зелени. Нигде ни малейшего признака человека. Какой можно было сделать из этого вывод? Что скрелинги передвигались только ночью или что страх заставлял их держаться вдали от реки?

Отсутствие людей омрачало беспрестанно меняющуюся панораму берегов. Гигантские стволы стремительно возносились более чем на сто двадцать футов, держа в плену своих нижних ветвей молодую поросль и высокие, как мачты, папоротники. Звериные ходы пробивали многочисленные бреши в этих живых зеленых стенах, теряясь в дремучей чаще.

И, насколько хватал глаз, этот бесконечный лес взбирался по крутым склонам, беря штурмом вершины округлых холмов. Прежде Лейф даже представить себе не мог такое богатство растительности. Все, что мореплаватели привозили из норвежских лесов, не могло с этим сравниться.

Эйрик Бьярни и даже Тюркер, онемев, любовались пестротой листвы деревьев различных пород, тесно переплетенных между собой гибкими лианами, которые тянулись по всем направлениям от вершин стволов до корней, раскачиваясь, словно гигантские канаты, или перебрасываясь со ствола на ствол, как мосты над бездной.

Все оттенки зеленого и рыжего чередовались, сочетались друг с другом; порой они казались еще ярче от контраста с ослепительным пурпуром или тусклой позолотой невиданных листьев.

Дикие гуси, утки, цапли во множестве гнездились в камышовых плавнях, а стаи каких-то мохнатых животных величиной с собаку, круглоголовых и широкохвостых, сидя в плетеном из веток подобии шалашей; бесстрашно смотрели на проплывающий мимо корабль.

Жизнь изобиловала разнообразием форм. Тысячи диких голубей летали над лесом, и крылья их, рассекая воздух, производили глухой, похожий на всплески весел шум.

Выше по течению в реку бросилось стадо оленей. Под водительством крупного самца они поплыли к длинному острову, удаленному от берега на расстояние десяти полетов стрелы.

— Тор привел нас в охотничий рай! — пробасил Тюркер. — Здесь мы не будем голодать!

— Тебя, Тюркер, не будет мучить и жажда: в реке хватит воды.

Дядя Бьярни рассмеялся. Он был в хорошем настроении и чувствовал, что сага о Маркланде ему удастся.

Но Тюркера трудно было захватить врасплох.

— Неужели ты думаешь, Бьярни Турлусон, что среди стольких деревьев, кустов и папоротников Тор позабыл вырастить виноградную лозу?!

В эту минуту Эйрик Рыжий подошел и опустил широкую ладонь на плечо Лейфа:

— Священные столбы нашего дома ведут нас в реку, сын?

— Течение несет нас вон к тому мысу, Эйрик Рыжий.

Лейф указал на громадный выпуклый, как панцирь черепахи, выступ напротив юго-западной оконечности острова, нависший на сто футов над рекой. Близ его вершины сквозь редкие стволы серебристых берез виднелись громоздящиеся друг на друга серые каменные глыбы.

Это хаотическое нагромождение камней естественным барьером отделяло от леса треугольник мыса, облегчая его защиту.

В самом узком месте перешейка викинги заметили бухточку среди соснового бора. Она могла служить надежной стоянкой для «Большого змея».

Белоснежная песчаная отмель полого поднималась от воды к соснам.

— Мы вытянем на песок наши два баркаса. Эта отмель станет воротами в наши владения. Мы проложим дорогу до каменного барьера, который прикрывает подступы к мысу. Этот мыс будет нашей крепостью. Мы построим на нем дома и склады, большие склады, Лейф. Леса здесь хватит. Часть наших людей будет охранять лагерь, другая — снабжать его пищей, а третья пойдет в глубь страны исследовать ее.

Скупыми словами бывалый викинг перечислил предстоявшие в новом поселке работы: нужно было построить верфь, начать рыбную ловлю и огородить поля.

— Эта земля воздаст сторицей за все вложенное в нее. В Исландии и Гренландии нам приходилось сеять на камнях.

Священные столбы, связанные между собой, медленно несли к песчаному пляжу у основания мыса. Эйрик обратился к людям, столпившимся на носу «Большого змея»:

— Викинги, бог Тор привел нас туда, куда нам суждено было приплыть. Здесь мы построим дома. Это будут деревянные дома, похожие на жилища наших предков в Норвегии.

Моряки всячески выражали свою радость. После длительного плавания им не терпелось ступить на сушу, побродить по песку, где останутся следы их морских сапог, напиться пресной воды, зачерпнув ее горстью из родника, вдохнуть запах поджариваемого над костром мяса убитых животных. Они знали, что, как и все моряки, долгое время прикованные к палубе корабля, они не скоро избавятся от походки вразвалку. Громко смеясь, викинги уже бились между собой об заклад, кто из них первым освободится от «утиноного шага» и будет ступать твердо, как полагается человеку на твердой земле.

Лейф не участвовал в общем веселье. Он сидел на спине дракона и настороженно смотрел вдаль, словно ожидая появления какого-то призрака. Эйрик подошел к нему и крепко обнял за плечи. Юноша вздрогнул от неожиданности.

— Ты недоволен, Лейф? Ты мечтал о чем-то другом?

— Почему не видно людей, отец?

Впервые Лейф произнес слово «отец», и теплая волна крови прилила к щекам Эйрика Рыжего.

— Они придут, сынок, непременно придут, если только те, кто подавал нам ночью сигналы, того же племени, что и скрелинг в кожаной лодке. Наша белая кожа пугает их не меньше, чем нас поразил его красный цвет. Но почему это все так тревожит тебя, Лейф? У нас еще будет время встретиться с ними.

Юноша грустно улыбнулся:

— Сам не знаю, отец. Еще два года назад, в Исландии, я был совсем мальчишкой и мечтал, как подобает славному викингу, только о добрых драках. Но вот после смерти моего отца Вальтёфа что-то изменилось во мне. О, не бойся, Эйрик Рыжий, я не стал трусом, опасность манит меня по-прежнему!

— В тебе течет хорошая кровь, и ты смел, Лейф. Говори еще, тебе станет легче.

— Что я чувствую, того не передать словами. Этой ночью под пение дяди Бьярни все казалось мне ясным. Он выразил как раз то, в чем мне самому трудно было разобраться. Как бы я хотел, Эйрик, чтобы люди, которые живут на этой земле, встретили нас дружелюбно! Мне так хотелось бы не скрещивать с ними оружия! Ты понимаешь меня, отец? Или я неправ, что так думаю? Порой мне кажется, что я говорю на чужом языке.

— Не тревожься, мой мальчик. Со своей стороны я сделаю все, чтобы нас приняли как друзей. Не должно все кончаться войной и грабежами, и я думаю, что в этом краю нам многому надо будет поучиться.

Лейф молчал. Он так неумело раскрыл свое сердце! Ему казалось необходимым объяснить отцу, какими крепкими нитями он оказался внезапно связанным с этой страной. Это было что-то иное, чем вопросы мира, порядка и пользы, что-то глубокое, неосознанное, как сама жажда жизни.

«Большой змей» остановился у берега на расстоянии полета стрелы.

Олень протяжно протрубил в чаще, и ему ответило стадо, доплывшее до острова.

Викинги хлопотали вокруг двух лодок, закрепленных на корме корабля.

Эйрик ласково похлопал юношу по плечу:

— Запах листвы, травы и земли дурманит людям головы. Мне больше не удержать их на корабле. Идем же, Лейф, сын мой, охладим немного их пыл.

Лейф повернулся. Сидя на спине резного деревянного дракона, он возвышался над палубой.

«Эйрик, они здесь, они пришли!» Эйрик не услышал его, так как эти слова вовсе не сорвались с уст

Лейфа. «Они здесь! Они здесь!» Слова застревали у него во рту, как непрожеванные зерна.

На корме «Большого змея» викинги, готовя спуск лодки, не замечали ничего кругом.

Лейф спрыгнул на палубу и бросился вслед за Эйриком Рыжим, который спешил по левому проходу на корму. Юноша схватил его за руку. Говорить он не мог. От удивления и волнения у Лейфа перехватило горло. Викинг озадаченно смотрел на него, ничего не понимая.

— Что с тобой, Лейф? Да говори же!

Лейф молча протянул руку в сторону реки.

Моряк удивился не меньше, чем Лейф, но у Эйрика изумление вылилось громким возгласом, который тотчас собрал всех вокруг вождя.

Скрелинги были перед ними.

Они заполнили реку, и число их было весьма внушительно. Двойной ряд длинных пирог — в каждой сидело по семи или восьми человек — преграждал проход между мысом и южной оконечностью Оленьего острова. В то же время другие лодки, отчалив от правого берега — Лейф насчитал их около пятидесяти, — спешили занять свое место между лесом в низовье реки и песчаной косой острова на северо-востоке.

Скрелинги гребли молча. Их весла широким и размеренным взмахом как бы отталкивались от воды, и эти упругие толчки быстро гнали лодки вперед. Под ударами весел зеркальную гладь реки почти не рябило. Чувствовалось, что все движения выполняются с точным расчетом и усилия каждого отдельного гребца гармонично сливаются с усилиями всех.

Наблюдая за маневрами пирога в низовье реки, Лейф понял, как им удалось обогнуть мыс и дойти, не привлекая к себе внимания, до самого острова. Весла с закругленными концами поднимались и опускались без шума, напоминая обернутые тряпьем копыта лошадей, цокот которых не слышен на обледенелых дорогах.

Когда первая пирога флотилии в устье реки подошла на расстояние полета стрелы к острову, она остановилась, и все остальные, плывшие за ней с промежутками в десять футов, последовали ее примеру.

От мыса вверх по реке до лесной опушки в ее низовье триста пирогов образовали правильный полукруг, в центре которого оказался Олений остров. Таким образом, «Большой змей» попал в мешок, имея с тыла песчаный берег и лес.

Ближайшие пироги находились в двухстах футах от корабля. Лейф с первого взгляда убедился, что сидевшие в них люди были одного племени со встреченным в море скрелингом. Они расположились довольно далеко, и трудно было отчетливо разглядеть их. Однако резко очерченные лица медного цвета, темные волосы, перехваченные кожаными ремнями с заткнутыми в них одним, двумя или тремя цветными перьями, длинные конечности, куртки из дубленых шкур, широкие штаны, украшенные полосками кожи, не оставляли никакого сомнения в их родстве с мертвецом.

Краснокожие люди сидели неподвижно на скамьях, сжимая в руках поставленные прямо перед собой и опирающиеся о дно пироги большие луки в пять футов длиной. У некоторых скрелингов на щеках и на лбу были нарисованы черные и оранжевые знаки, и Лейф заметил, что такие люди размещались на носу пирога и были освобождены от гребли.

Внезапно прозвучал звук сделанного из раковины рога, и тотчас же со стороны острова послышалось протяжное пение, время от времени прерываемое глухим гулом. В одно мгновение береговая полоса покрылась сотнями мужчин и женщин. Они выскакивали из-за высоких папоротников и колосьев дикого маиса, окаймлявших опушку леса.

Теперь на расстоянии полумили на воде и на суше линия фронта сомкнулась. Для прорыва окружения пришлось бы вступить в бой.

Придя немного в себя от неожиданного потрясения, викинги стали поспешно поднимать из трюмов луки, стрелы, тяжелые копья, связки пик, тонкие дротики и гарпуны с острыми зубцами.

Эйрик Рыжий и Бьярни следили, чтобы каждый занял свое место для боя. О высадке на берег сейчас не приходилось и думать. К тому же скрелинги в любую минуту могли появиться на песчаной отмели и таким образом отрезать морякам последний путь к отступлению. Эйрик не терял спокойствия.

— Стань рядом со мной, Лейф. Я не знаю, чем кончится этот день, но мы все равно понадобится друг другу.

Лейф повиновался. Никогда еще меч не казался ему таким тяжелым.

Эйрик откинул со лба две рыжие косы. Товарищи не спускали с него глаз. Они считали, что сражения не избежать, а его счастливый исход вызывал в них большое сомнение.

— Викинги! — Голос Эйрика звенел, как наковальня под молотом. — Наденьте кожаные куртки, но пусть ни одна стрела не слетит с тетивы, пока мы не узнаем, чего хотят от нас эти люди. Я предпочел бы мирно поселиться на этом мысе, но не знаю, как распорядится нами судьба.

— Мы повинемся тебе во всем, Эйрик! Ты наш вождь!

Обычно этот исконный клич громко раздавался над морем, но на этот раз люди давали клятву тихо, как бы подражая поведению чужеземцев, застывших в своих пирогах подобно каменным изваяниям.

Викинги натягивали плотные кожаные куртки, спереди для защиты от ударов сплошь покрытые броней из железных чешуек.

— Сынок, я охотно отдал бы жизнь за то, чтобы сегодня не пролилась кровь ни викингов, ни скрелингов, — проговорил Эйрик, шнуруя на спине Лейфа броню.

Юноша не ответил ему. От вражеской флотилии отделилась лодка и поплыла прямо к «Большому змею». Семь гребцов в лад окунали весла, и узкая пирога легко скользила по реке. На носу, закутанный от груди до пят в многоцветную ткань, стоял человек, придерживая правой рукой щит. Он казался очень высоким, а драпировавшая его шерстяная ткань подчеркивала ширину плеч. Пышный головной убор из белых перьев ниспадал на затылок. При нем не было никакого оружия.

Чем ближе пирога подходила к судну, тем яснее обрисовывалась благородная осанка скрелинга, в которой не было ничего принужденного. Во всем его облике ощущались врожденная свобода движений и сдержанное достоинство, которые, должно быть, никогда

не изменяли ему. Тонкий орлиный нос, выдающиеся скулы, продолговатый разрез глаз и резко очерченный подбородок придавали исключительную живость его лицу, которая явно противоречила гордому спокойствию всей его позы. Тем не менее легко угадывалось, что это спокойствие чисто внешнее и что под бесстрастной маской все чувства обострены до предела.

— Клянусь Тором, прекрасный воин! — пробормотал Тюркер. — Он гибок, как ива, и тверд, как дуб.

По виду трудно было определить возраст краснокожего. Его лицо казалось одновременно юным и старым, гладким и морщинистым.

Тишина над рекой нарушалась лишь гоготанием диких гусей и пронзительными криками цапель, потревоженных за рыбной ловлей набегами выдр и водяных крыс.

Приблизительно в ста футах от кормы «Большого змея» гребцы остановили пирогу.

Человек в головном уборе из перьев один миг колебался, как бы ища среди моряков вождя, к которому ему подобало обратиться. Потом медленно, не переставая пристально вглядываться в лица викингов, столпившихся у борта корабля, он протянул смотрящим на него чужеземцам выпуклый щит.

Белоснежный мех покрывал этот щит.

— Скрелинг предлагает мир и дружбу, — спокойно пояснил Тюркер.

— Мир и дружбу, — повторил Эйрик. — Они встречают нас как гостей.

Он взглянул на Лейфа. Юноша улыбался, и его лицо раскраснелось от стремительно хлынувшей к щекам крови.

— Лейф, ответь им, что мы тоже несем мир и дружбу.

— Скоро мы окажемся среди замечательных людей, отец!

— Да, скоро. И мы будем пить из их чаш воду, молоко, брагу или какой-либо другой напиток.

— Хорошо бы вино! — прошептал Тюркер.

Скрелинг с величавой медлительностью передал щит одному из гребцов, скрестил руки на груди и ждал.

Лейф достал из-под палубы большой продолговатый щит, покрытый белой глиной, который у многих поколений северных викингов служил знаком мира. Он даже не удивился, что у них и у скрелингов, живущих по ту сторону Западного моря, существовал одинаковый способ для обозначения мира. Он подал щит Эйрику, и тот повернул его лицевой поверхностью к реке.

Скрелинг поднес правую руку к сердцу, и в тот же миг над двойным рядом пирог и над лесной опушкой раздался оглушительный гул, в котором слились резкий звук рога, дробь палочек, бьющих по натянутой коже, и пронзительные возгласы женщин, размахивавших на берегу цветными платками.

Пирога скрелинга причалила к «Большому змею». Вождь легко перескочил через борт и остановился на палубе. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

Эйрик, Бьярни и Лейф подошли к гостю. И все трое сделали тот простой жест, который люди повторяли в течение тысячелетий, когда хотели доказать чистоту своих помыслов.

Викинги показали краснокожему человеку раскрытые руки, повернув их ладонями к солнцу.

Тень улыбки мелькнула на тонких губах скрелинга. Откинув, ткань с груди, он схватил большой нож, висевший на поясе, сплетенном из узких ремней. Потом он вытащил его из ножен и, выражая взглядом, устремленным на Эйрика, всю важность своего поступка, далеко забросил нож в реку.

— Виннета-ка, — проговорил он, приложив руку к сердцу и слегка поклонившись. (Лишь впоследствии викинги узнали, что он произнес свое имя.)

Подойдя к Лейфу, краснокожий положил руки на плечи юноши и долго смотрел ему в глаза. Молодой викинг чувствовал, что сейчас о нем выносит суждение иной и в то же время близкий мир. Он заметил, что непроницаемое, суровое лицо скрелинга смягчилось и в глубине его прищуренных глаз заплясал веселый огонек, похожий на тот, что иной раз вспыхивал в зрачках дяди Бьярни.

Воин ласково оттолкнул от себя Лейфа и, повернувшись к Эйрику, широким движением руки указал ему на остров.

Славный викинг, в свою очередь, поклонился:

— Для нас большая честь быть твоими гостями, о краснокожий вождь!

Вокруг «Большого змея» сновали лодки. От острова женщины и дети изо всех сил гребли к кораблю. Впереди в похужей на полумесяц пироге налегала на весла девушка. Две черные косы окаймляли смуглое лицо, разгоряченное быстрым ходом пироги. Гибкий стан раскачивался взад и вперед, как маятник, в такт движению весел.

Лейф был покорен блеском ее глаз. Он не отводил взора от краснокожей девушки и не мог припомнить, чтобы встречал когда-либо в Исландии такую красавицу. Она затмила даже Мелькорку, дочь Гаральда, которая царила на всех праздниках в Эйрарбакки и о которой говорили, что кожа ее лица белее, чем яблоневого цвет, положенный на снег.

На мгновение их взгляды скрестились. Лейф поднял в знак приветствия руку. Девушка немного замялась, но потом ответила ему взмахом весла.

И тогда Лейф понял, что встретил ту самую необыкновенную девушку, какой еще никогда не видывали и о которой ему говорил кузнец Бьорн Кальфсон в ту трагическую ночь, когда погиб Вальтьоф.

Лейфу в этом году должно было исполниться семнадцать зим.

В этом возрасте сыновья викингов брали себе жен. Лейф почувствовал устремленный на него взгляд вождя скрелингов и не осмелился обернуться.

Виннета-ка, вождь речных манданов, с интересом рассматривал светловолосого юношу, который, в свою очередь, пылко взирал на Иннети-ки, его младшую дочь, на Иннети-ки, самую любимую и резвую, как белочка в ельнике.

Вождь думал о том, что будущее всех людей и всех племен всецело в руках богов.

Быть может, эти приплывшие из-за моря бледнолицые люди, о которых береговые разведчики дали знать уже несколько дней назад, привезли с собой часть не раскрытых до сих пор тайн жизни, ибо во все времена среди племен, живущих у Великих Вод, упорно сохранялось предание, что берег краснокожих людей — только один из берегов огромного мира.

Вторая зимовка викингов в Гренландии выдалась особенно суровой. Снежные вьюги внезапно обрушились на фьорд Восточного поселка. Однако жители не были застигнуты врасплох. После отплытия Эйрика кузнец Бьорн Кальфсон взял на себя заботы о нуждах поселенцев. Были построены десятки новых домов, и теперь каждая семья имела крышу над головой. В огромном складе, длиной в сто пятьдесят и шириной в шестьдесят футов, хранились большие запасы сушеной рыбы, кормов для скота, ячменя и овса.

Летом был снят богатый урожай.

На каждого едока — мужчину, женщину и отнятого от груди ребенка — выдали по сто фунтов ячменя, и Бьорн был уверен, что даже при затяжной зиме колонии не будет грозить голод.

Самые ворчливые и те радовались, что Эйрик Рыжий доверил управление поселком такому мудрому человеку.

Бьорн редко приходил в селение. Он, не покидая своей кузницы, издавал законы, разбирал тяжбы и занимался повседневными делами. Кузнец не стал разговорчивее и общительнее. Тем не менее люди охотно поднимались по склонам долины, чтоб недолго посидеть в Длинном Доме Окадаля. Хозяин принимал их в кузнице или в горнице, которая принадлежала покойному Вальтьофу и его сыновьям.

— Когда Эйрик Рыжий вернется, он будет доволен тобою, кузнец. Ты правишь мудро, — говорили посетители, надеясь польстить ему, задобрить или просто доставить удовольствие.

Бьорн только посмеивался.

— Эйрик знал, что делает. А в том, что я человек верный и честный, заслуги нет.

Если он в эту минуту занимался своим делом, его молот с еще большей силой бил по наковальне.

Скьюльд хорошо себя чувствовал под крылышком у Бьорна. Умудренный опытом муж и доверчивый подросток жили душа в душу. В те дни, когда тьма, стужа

или метель застигали их вдвоем в большом доме, они особенно ощущали взаимную близость.

В такие дни кузнец приобщал младшего сына Вальтофа к той премудрости, которую он сам некогда перенял у одного из властителей рун.

Скьольд с головой уходил в эту таинственную область, подобно тому, как герой стремится к самому трудному поединку, который принесет ему славу. Послушание мальчика и его рвение к науке приводили кузнеца в восторг не менее, чем та исключительная легкость, с которой Скьольд разбирался в рунических письменах.

— Знать и вырезать руны — этого еще мало, — говорил Бьорн. — Только тот овладеет настоящим знанием и проникнет в тайны неведомого мира, кто сумеет извлечь из двадцати четырех знаков их волшебную силу. Я научу тебя закону магических чисел, гармонии знаков, колдовским заклинаниям, которые определяют выбор и сочетание знаков. Тебе, Скьольд, понадобятся годы и годы, чтоб взойти на первый холм знаний, а с этого холма перед тобой откроются другие вершины, и тебе вновь придется взбираться по самым крутым склонам.

Так рассуждая, Бьорн Кальфсон был уже не простым кузнецом в прожженном фартуке, но вдохновенным творцом, наделенным страшной силой, чья мысль способна распахнуть врата невидимого мира.

— Тому, кто владеет рунами, лучше живется на земле, ибо, все зная, он превосходит воина, мореплывателя, ярла и короля. Будь справедлив и упорен, Скьольд, тогда со временем ты станешь властителем рун. Я научу тебя, как их вырезать и толковать, как их испытывать, как к ним взывать и как перед ними приносить жертвы. Я научу тебя также, кому их можно открывать и кому передавать. И, только узнав все это, о Скьольд, ты сможешь властвовать над рунами.

Когда безудержные ветры завывали над Окадалем и от мороза трескались глиняные горшки, а вдали море швыряло на рифы айсберги, Скьольд изучал знаки, вырезанные на дубовых дощечках, оленьих рогах или моржовых клыках. И Бьорн терпеливо объяснял ему слово, от которого пойдет бесконечная цепь других слов.

— От одного слова родится другое, а потом еще и еще, и так же от одного поступка родится другой, а потом еще и еще.

Бледный рассвет нередко заставлял их перед каменным столом, и у обоих — учителя и ученика — лихорадочно блёстели глаза и пылали лица, но они мужественно побеждали усталость.

Однажды утром Бьорн, пошатываясь, поднялся со скамьи. Мускулы его лица напряглись от внутреннего волнения. Он запел строфу из саги о Вольсунгах¹, которую Скульд знал наизусть:

В певучих рунах восхвали прибой,
И в море белокрылых скакунов
От беспощадных бурь ты охранишь.
Укрась на судне рунами бушприт
И румпель, чтобы руль послушен был.
На веслах тоже руны выжги ты.

Скульд понял, что незримые врата распахнулись, что властитель рун оседлал время и его дух витает над морем в поисках знакомого паруса.

Бьорн долго оставался в полузабытьи, казалось — он изнемогает. Скульд затаил дыхание, боясь разорвать таинственную нить, которая протянулась от кузнеца к далеким рубежам. Бьорн видел что-то сокровенное, и перед его взволнованным взором возникали образы, недоступные тем, кто не умеет повелевать рунами. Мало-помалу лицо кузнеца стало спокойнее.

— Я забыл о тебе, Скульд. Эйрик Рыжий, Бьярни и твой брат Лейф уже несколько дней, как достигли конца Западного моря.

Скульд вскочил на ноги. Он побледнел. Кровь стучала у него в висках, как тысячи цепов на гуме.

— Ты их видел, Бьорн?

— Да. Там был большой пир на лужайке, окруженной деревьями. Такими большими деревьями, что шесть человек, взявшись за руки, с трудом обхватили бы их стволы. Дым поднимался над костром, на котором жарили мясо оленей и медведей. И перед нашими людьми стояли такие же чаши из древесной коры, как

¹ «Сага о Вольсунгах» (XIII век) — одна из самых известных скандинавских саг, в которой повествуется о трагической судьбе рода Вольсунгов.

перед меднокожими местными жителями с волосами чернее воронова крыла. А женщины в знак радости били по натянутой на барабаны коже. Кого же они приветствовали среди изобилия и согласия? Твоего брата Лейфа и девушку того племени, более прекрасную, чем огонь и лед.

— Такую прекрасную? — переспросил Скъольд. — А какого цвета у нее глаза? Как огонь или как лед? Золотистые, голубые или зеленые?

— Не знаю. В них отражался только Лейф; а у Лейфа было счастливое лицо.

Глава VII

ИННЕТИ-КИ

Прошло восемь месяцев с той поры, как викинги разбили лагерь на высоком мысе над рекой, напротив острова, где Виннета-ка, великий вождь речных манданов, велел поставить хижины своего поселка. Эйрик назвал местность, где поселились викинги, Большим мысом.

Скрелинги помогли бледнолицым людям устроиться. Они свалили и пригнали по воде стволы с твердой сердцевинной, предназначенные на срубы для складов, которые Эйрик хотел построить на правом берегу. Краснокожие поделились с мореплывателями оленьей, медвежатиной, козлятиной и лососями. Лосось водился в окрестных реках и ручьях в таком множестве, что скрелинги чтили его как покровительствующее им божество. Манданы научили моряков делать челны из кожи, натянутой на остов из гибкого дерева. На этих челнах можно было быстро и без утомления передвигаться по воде. Скрелинги отказались взять у викингов что-либо взамен, кроме искусно выкованных топоров и гвоздей, а также барана и овцы, которых они, стреножив, выпустили на лужайку посреди селения. Все взрослые и дети стали считать этих животных тотемами, символами дружбы, связывающей их с белыми людьми.

Виннета-ка и его соплеменники каждый день приезжали на Большой мыс в пирогах, доверху нагружен-

ных дичиной, сочными кореньями и плодами, которые женщины собирали в лесу.

Несколько недель спустя многие жители уже бойко изъяснялись на норвежском языке. С этих пор связи между белыми и краснокожими еще более укрепились. Виннета-ка просил объяснить ему обычаи заморских бледнолицых братьев, рассказать, как они охотятся, ловят рыбу, строят белокрылые корабли и жилища, чтят своих богов. Ничто его не удивляло. Казалось, что для вождя манданов мир был бесконечен и разнообразен, полон множества тайн, раскрытия которых он ожидал в терпеливом спокойствии.

В свою очередь, Эйрик, Бьярни, Лейф и другие викинги дивились всему тому, что скрелинги раскрывали пред ними. Обычно говорил Виннета-ка. Он с трудом подбирал норвежские слова, но Иннети-ки, его дочь, шутя усвоила все тонкости трудной норвежской речи и легко переводила отцу непонятные места. Она повсюду сопровождала вождя, и с каждым днем приязнь, возникавшая с первой встречи между Лейфом и девушкой, становилась все более нежной и сильной. Итак, Иннети-ки переводила, а Лейф упивался каждым ее словом.

— Ты можешь идти два лунных месяца на запад, не останавливаясь от зари до захода солнца, и лишь тогда натолкнешься на преграду из высоких гор, но все равно увидишь лишь десятую часть племен краснокожих людей. Ты встретишь наших ближних братьев — озерных и лесных манданов, микмаков, черноногих, толстопузых, оджибвеев и кри, но с севера до юга и от восхода до заката нашим племенам нет числа. Они живут бок о бок, как листья на одном дереве. А за высокими горами есть еще другие племена, а потом, говорят, лежит огромное море. Я никогда не бывала дальше большого озера, откуда течет эта река. Великий дух, который владеет нашими судьбами, отдал манданам этот край между берегами Великой воды и озерами. Да и к чему нам идти дальше. В лесу много дичи, а наш брат лосось никогда нас не покидает. Ваши боги, белые люди, наверно, пожелали, чтобы вы перебирались с места на место, как чайки или медведи. Значит, ваша земля не может вас прокормить.

Беседа у костров, разведенных на берегу реки, часто длилась до поздней ночи. А Лейф видел только глаза Иннети-ки, глубокие, как озера в краю манданов.

И вот на четвертый месяц после их встречи Лейф и дочь Виннета-ка решили соединить свои жизни.

Лейф поведал об этом своему приемному отцу Эйрику и ближайшему родственнику — дяде Бьярни, потому что обычаи в стране скрелингов, несомненно, были иные, чем в Исландии.

Эйрик и дядя Бьярни очень обрадовались. Они видели в этом браке союз двух племен и залог счастливого будущего. Торжественно явились они в хижину Виннета-ка на длинном острове и, слегка смущаясь, попросили руки его дочери в тех словах, которые были приняты для такого случая в Исландии.

Вождь беседовал с несколькими охотниками. На его губах мелькнула усмешка.

— Воины, я ничего не могу вам ответить. Только сама Иннети-ки может дать согласие на брак.

Он позвал дочь и тихо заговорил с ней на языке скрелингов.

Эйрику и дяде Бьярни не пришлось повторять свою просьбу. Личико Иннети-ки сияло.

Вождь манданов поднялся и положил руку на плечо Эйрика:

— Скажи своему сыну, что с этого часа он и мой сын, раз этого хочет Иннети-ки. Иннети-ки драгоценна, как свет, но я знал с первого дня, что твой сын заменит меня в ее сердце. Ну что ж, это, наверно, к добру!

Он погладил волосы Иннети-ки и, отведя взор от викингов, сказал:

— Не знаю, не тяжело ли будет моей белочке ужиться на чужой земле даже с тем, кого она избрала.

— Виннета-ка, мой сын Лейф решил жить у Большой реки. Весной наш корабль уйдет, но Лейф останется с теми из моих людей, кто этого пожелает.

— Ну, тогда я счастлив!

— Мы будем возвращаться каждый год за грузом, вождь.

— Возвращайтесь, когда захотите. Вашим кораблям никогда не вывезти всего леса или всей пушнины

с этой земли. Ты и твои земляки всегда найдут хороший прием.

Иннети-ки выскользнула из хижины и побежала к реке...

На длинном острове большим праздником отметили свадьбу сына викингов и дочери скрелингов. Осень одарила леса ослепительным красным, желтым и золотым убранством, а Большая река спокойно текла меж стен из столетних стволов.

На самой высокой точке Большого мыса был построен деревянный дом. В нем и поселилась Иннети-ки. Пробудившись, она могла видеть через открытую дверь реку, остров и противоположный берег, дремавший в густом утреннем тумане.

Все осенние месяцы викинги и их новые друзья посвятили рубке леса и заготовке мехов. Мандамам очень нравились цветные полотна, а у Эйрика на борту было несколько ярко-красных парусов. Краснокожие охотно обменивали тяжелые связки шкур на яркие ткани. Ими манданы украшали свои хижины. Им также нравилось разрезать алые полосы на ленты и вплетать их в волосы.

У берега реки, мило вверх по течению, Лейф нашел рожь, известную в Исландии под именем «мелр». Здесь это был высокий дикорастущий злак. Он рос вдоль высохших рукавов Большой реки, и, насколько хватал глаз, тесно прижатые друг к другу стебли качались на ветру.

Колосья уже полегли, и Иннети-ки, смеясь, сообщила Лейфу, что они созрели уже ко времени появления белых людей. Все же викинги радостно приветствовали находку Лейфа, так как рожь встречалась в Гренландии очень редко. Эйрик решил к предстоящему плаванию взять на корабль побольше зерна.

Вскоре после женитьбы Лейфа исчез франк Тюркер. Он ближе всех сошелся с краснокожими людьми. Его сметливость, пылкое воображение, страстность речей пленяли скрелингов. Если не считать Лейфа, он единственный из северян понимал речь манданов и сам говорил на их языке.

Тюркер часто сопровождал в лесных походах одного из самых старых охотников племени — Омене-ти, доверия которого он добился. Но однажды вечером

Омене-ти причалил в своей пиро́ге к Большому мысу и пожелал говорить с «отцом викингов». Эйрик позвал Лейфа, служившего переводчиком.

Омене-ти сплюнул на сторону, что означало торжественную клятву.

— Круглоголовый белый человек спятил. В двух днях ходьбы отсюда мы с ним напали на след медведя. И вдруг Круглая Голова увидел холм, заросший кустарником с листьями над самой землей. Тогда он стал прыгать, плясать и орать как одержимый. Не иначе, как в его тело вселился злой дух. Круглая Голова сказал мне, громко смеясь, что он отсюда не уйдет и чтоб я его там оставил. Я сделал перед ним двенадцать телодвижений, которые изгоняют безумие, но думаю, что Круглая Голова не поправится.

Охотник ждал, пока Лейф не переведет это странное донесение.

Эйрик очень любил франка.

— Пусть Омене-ти проводит нас к Тюркеру. Если наш друг сошел с ума, ему грозит гибель в когтях какого-нибудь хищника. Предупреди дядю Бьярни, что мы отправляемся на поиски.

Омене-ти понял смысл ответа Эйрика.

— Скажи отцу викингов, что я готов проводить его к холму ползучих листьев.

Эйрик, Лейф и трое викингов полдня поднимались по реке, пока не достигли водопада. Омене-ти указал пальцем на лес.

Они углубились под своды высоких красных кленов, которые викинги считали самым ценным деревом Нового Света.

Едва путники прошли с милю, как впереди послышались раскаты смеха.

— Вот и Тюркер, — сказал Лейф. — Он направляется к реке.

Франк их шумно приветствовал. Он казался очень возбужденным и размахивал руками.

— Эйрик, брат мой, я никогда не вернусь ни в Исландию, ни в Гренландию и ни в иную северную землю.

— Успокойся, Тюркер, успокойся!

— Клянусь Тором, Эйрик Рыжий, ты думаешь, что я свихнулся! Раскрой пошире уши и выслушай меня!

Я нашел самое ценное растение в этом краю: я нашел виноград и виноградные лозы. Холмы, покрытые виноградниками, тянутся на мили. Виноград уже созрел для давитья.

Друзья не поверили ему. Может быть, это слова безумия, помутившего его разум?

— Ах, вы не верите? Ну, так идемте со мной. Моя одежда еще пахнет раздавленным виноградом.

И они пошли за Тюркером. До самого горизонта кудрявились едва пожелтевшие виноградные лозы, а на них висели такие огромные гроздья, что ими можно было бы загрузить несколько кораблей.

Лейф и самые молодые из викингов впоследствии до отвала наедались сладкой ягодой.

— Ну как, Желторотый? — торжествовал Тюркер. — А ведь виноград еще ничто по сравнению с вином. До конца дней своих я останусь на этой земле властителем вин. Эйрик, эта земля заслуживает лучшего названия, чем Маркланд. Назовем ее Винеланд — Виноградная страна.

Вождь викингов Эйрик стиснул в сильных ладонях золотистую гроздь.

— Винеланд? Что ж, такое название подходит этой земле, Тюркер! Винеланд — край винограда и всевозможных чудес!

Чуть поодаль Омене-ти удивленно смотрел, как белые люди лакомились ягодами, которые были пригодны разве что в пищу медведям.

ЭПИЛОГ

Зима покрыла снегом берега реки и притихший лес, но жизнь на Большом мысе и на острове манданов не заглохла. Охотники ставили капканы на пушного зверя, а викинги в глубине бухты строили два корабля, которые должны были увезти в трюмах лес, меха и бурдюки с молодым виноградным вином.

Река замерзла, и ледяная дорога соединила берег с островом.

Виннета-ка и его сородичи топили в глиняных горшках медвежий жир и коптили мясо диких гусей и уток, которых тысячами ловили в сети, натянутые в засохших тростниках.

В зимние вечера вождь манданов, Эйрик и дядя Бьярни часто встречались под кровом Лейфа и в теплом деревянном доме вели бесконечные беседы о будущих поселениях, о торговле между Гренландией и Винеландом, о дружеских союзах, которые определяют судьбы двух племен.

Тем временем Иннети-ки кипятила на каменном очаге красный кленовый сок, который мужчины затем пили из берестовых чаш.

Лейф радовался дружескому согласию, царившему в его доме. Только отсутствие Скъольда омрачало его счастье.

Прошло время, и бесчисленные ручейки прорыли ходы в снежных пластах, прогрызли ледяной покров и растеклись по всем направлениям. На реке с громовыми раскатами ломался лед, и вода бурлила в полыньях. Куропатки сменили свое белое зимнее оперение

на летнее. Их пронзительные крики нарушали окружающее безмолвие. «Кар, кар, кар!» — звучал призыв над прогалинами среди беспредельных березовых и сосновых лесов, и этот призыв пробуждал к жизни все усыпленные зимой шумы.

В низинах уже лопнули почки вербы и ивняка. Могучие жизненные соки блуждали в стволах и ветвях.

На реке бобры спешно чинили повреждения, причиненные их сооружениям весенним паводком. Весь день их хлопотливые отряды валили кустарник на береговых откосах, строили запруды, затыкали бреши в жилищах.

Скрелинги вытащили на песчаные отмели кожаные пироги и в честь весны развели огромные костры из душистых растений.

Тюркер и шестеро викингов поселились на Большом мысе, навдалеке от Лейфа.

Наступил день, когда на «Большом змее» и двух построенных зимой кораблях были подняты паруса.

Толпы скрелингов пришли попрощаться с белыми людьми. Их пироги громадным треугольником выстроились перед носом «Большого змея». В миг отплытия пироги у вершины треугольника разойдутся в стороны, и три корабля пройдут меж рядами почета.

Лейф пришел на белый песчаный берег вместе с остающимися викингами, Иннети-ки и вождем Виннета-ка. Он не испытывал сожаления. С Исландией и Гренландией были связаны дорогие воспоминания, но отныне его родина была здесь.

Лейф взял за руку Иннети-ки, и они вдвоем приблизились к Эйрику Рыжему и дяде Бьярни, которые следили за последними приготовлениями к отплытию.

— Мы вернемся к концу лета, Лейф, и привезем твоего брата Скъольда, — ласково сказал Бьярни. — Теперь наши моряки повезут к берегам Гренландии и Исландии, а может быть, Норвегии и Ирландии великую сагу о Винеланде. И ты, здесь оставаясь, станешь героем новой земли.

Лейф весело подмигнул Иннети-ки.

— Нет, дядя Бьярни, героем саги о Новом Свете станет тот, кто родится от меня и Иннети-ки. Когда к концу лета вы вернетесь со Скъольдом, уже родится это дитя двух племен..

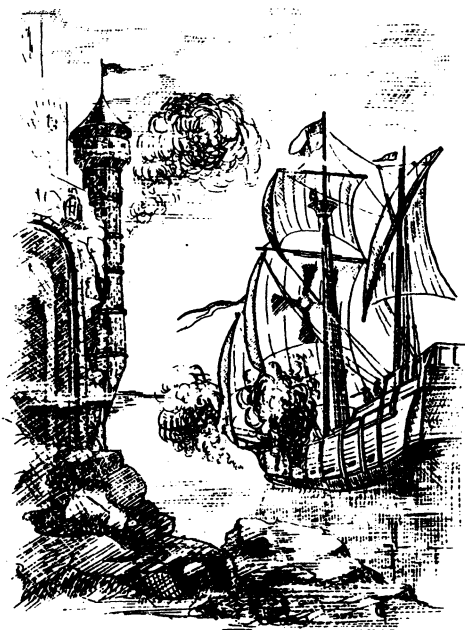
Эйрик Рыжий обнял Иннети-ки и крепко прижал к груди.

— Если это будет мальчик, мы назовем его Эйриком, не так ли? Я привезу из моего дома в Восточном поселке резную колыбель с вороном и белой совой над изголовьем. В ней спали в детстве все мои предки, а теперь, в свою очередь, будет спать твой сын. На другом конце колыбели Виннета-ка вырежет ножом изображение бога скрелингов — лосося, и все будет очень хорошо. Мальчик вырастет викингом и скрелингом, сыном моря и сыном лесов. Он будет сильным и честным.

Морской ветерок, пропитанный запахами молодой листвы и талого снега, повеял над рекой и принес с собой птичьи голоса, далекий трубный клич оленей и ланей. Он наполнил издававшие виды паруса «Большого змея».

Со стороны Большого мыса доносился голос кукушки, скрытой в папоротниках, которые, как волны, бились о порог дома Лейфа. И в утренней тишине это повторяемое «ку-ку, ку-ку, ку-ку» звучало обещанием счастья.

А.Алтаев, Арт.Феличе
Меч Али-Атора



ЗВЕЗДА И ПОЛУМЕСЯЦ

1

У городских ворот алебарды преградили путникам дорогу.

— Куда идете?.. Зачем?..

— Мы идем в Эльче, ваши милости, помолитесь святой деве—заступнице страждущих.

Солдаты недоверчиво переглянулись.

— Проклятые мориски¹!.. За последние годы их частенько видят на пути к бегству...

— Они бегут, как крысы от огня...

— От огня аутодафе²... Проклятые еретики!..

Лица путников побледнели.

— Да помилует вас Сант-Яго³, добрые христиане...— прошептал мужчина и протянул кошелек,— пусть мой скудный дар облегчит немного вашу жизнь и поможет мне вымолить у пречистой здоровья для больной дочери... Поддержи же сестру, Пепита.

Деньги разом смягчили сердца солдат, и алебарды посторонились.

— Да это и не наша забота наказывать еретиков,— прости, господь, их прегрешения на том и на этом свете... Для этого поставлена святая инквизиция⁴. Ступайте с миром.

¹ Крещенные мавры.

² Дело веры — всенародный суд над еретиками, людьми, отступившими от общепринятой религии.

³ Популярный святой католиков-испанцев.

(Здесь и далее прим. авт.)

⁴ Религиозное судилище, установленное священством для нахождения и истребления еретиков.

— Да наследуете вы царствие божие, добрые христиане...

Путникам пришлось отступить. В ворота въезжала тартана¹, запряженная быками.

— Добрый день, ваши милости...

— Добрый день... Откуда едет ваша милость?

— Из Хаэна.

— Хорошая была бы земля, если не лежала бы так близко к Кастилии!.. — шуточно поддразнили солдаты.

Проезжий остановил быков и слез с телеги, чтобы прикурить у них трубку.

— А куда идут ваши милости? — спросил он у путников.

— В Эльче, ваша милость, в Эльче, к стопам чудотворной мадонны, — да ниспошлет она благодать на вашу милость...

Проезжий вздохнул и сокрушенно махнул рукой.

— Много чудес, говорят, сотворила святая эльчская дева, но только одного ей никак не сотворить...

— Какого? — заинтересовались солдаты.

— А того чуда, ваши милости, чтобы нас, ремесленников, пахарей и купцов, перестали грабить все, кому не лень.

Он прикурил, затянулся, свистнул быкам, и тартана медленно потащила дальше.

Один из солдат посмотрел ему вслед и сказал серьезно:

— А ведь парень прав, клянусь честью. Мой брат — ткач; он говорил, что опять объявили новый налог.

— И куда это только все уходит?..

— Деньги-то?.. Да мало ли у короля расходов: корабли строить для новой Испании, войска снаряжать... Попробуй-ка, уторми хоть ту же Фландрию без денег!.. А потом на дела святой инквизиции разве мало уходит?..

Другой подтолкнул его локтем и, показывая на прохожих, шепнул:

— Молчи! Ведь не знаешь, кто они, — еще донесут кому следует... Ступайте, ступайте с богом, ваши мило-

¹ Двухколесная телега.

сти... Здесь не базарная площадь, чтобы останавливаться.

Путники двинулись вперед. Белая раскаленная пыль дороги окутала их густым облаком...

Город остался позади.

2

— Я устала, Айше...

Мужчина строго взглянул на девочку.

— Пока — не Айше, а все еще Ангелес... Ангелес — дочь Фаусто, бедного поселянина из Сеговии... Фаусто, а не Абенамара, твердо помни это, если не хочешь погубить нас всех... И ты — не Фатьма, как мы зовем тебя наедине, а Пепита... верная христианка Пепита.

— Мне все равно...

В черных глазах девочки блеснули слезы.

— Для чего мы уходим с родины?.. Для чего лжем и скрываем наши настоящие имена?.. Зачем бежим куда-то, как воры?..

Лицо мужчины передернулось.

— Да, как воры... — сказал он дрогнувшим голосом. — У нас украли все: землю, свободу, покой, бывшее могущество, даже имена, нас задушили штрафами, налогами, пошлинами, непосильным трудом, нас запугали кострами инквизиции, ее пытками, тюрьмами, изгнанием, и все же — это мы, как воры, должны лгать, прятаться и бежать из страны, где жили когда-то наши отцы и деды... О аллах, доколе ты будешь терпеть страдания твоего измученного народа?..

— Тише, отец, тише, — испугалась Айше, — здесь и аллах не поможет. Ведь мы еще на земле Испании...

— Да, на земле Испании, политой кровью мавров...

3

Жаркое андалузское солнце стояло высоко над голыми утесами Сиерры Альхамы. Дорога вилась по выжженным зноем полям, мимо разоренных и заброшенных мавританских селений...

Пепита, бойкая плясунья Пепита, которую знал чуть ли не весь торговый Вальядолид, вспоминала о веселых

праздниках за городской заставой, вспоминала бряцанье гитары, звуки ребенка¹ и пандеро², и громкие крики продавцов воды и прохладительных напитков.

— Бебида³... Всякая бебида, какой душе угодно!.. Ничто не утоляет так жажды, как сервеса⁴ — райское питье!.. Шуфа⁵!.. Спума⁶!.. Пожалуйте, попробуйте, кавалеры и дамы!..

Девочка отдала бы сейчас все за один только глоток простой воды; ей мучительно хотелось пить... Солнце жгло ей голову и плечи, пыль забиралась в горло и затрудняла дыхание...

— Бебида!.. Спума!.. Сервеса!.. Холодная вода только что из фонтана!..

Пепита вздохнула, глотая слезы.

Айше шла, опустив голову. Два месяца назад она потеряла людей, которых любила больше отца и сестры. Ее мужа признали еретиком за то, что он лечил людей не по правилам христианства, а как учила его наука, и сожгли. Его сожгли на глазах у Айше, на глазах у многотысячной толпы..

Она хорошо помнила этот день. Вальядолидское поле гудело, как улей. Амфитеатр инквизиторов-судей пестрел яркими красками; королевское место сверкало золотом; парча, шелк, кружева и бархат были на знати, словно вся родовитая Испания съехалась на свой праздник. Горожане и пришедшие издалека сельские люди вытягивали головы, чтобы лучше видеть.

Айше казалось, что весь мир собрался посмотреть на жалкое, истерзанное, поруганное тело ее мужа.

Она стояла вместе со всеми в толпе и, не отрывая глаз, глядела в лицо того, кто уходил от нее навсегда. И когда священник поднес к лицу осужденного высокий шест с крестом на конце, и когда осужденный плюнул на этот крест, она поняла, что ничто уже не спасет ей мужа.

Тогда она до боли сжала зубы, чтобы не закричать от ужаса, тоски и бессилия, подняла над головой годо-

¹ Род скрипки.

² Бубен.

³ Прохладительное питье.

⁴ Пиво.

⁵ Питье из миндаля.

⁶ Взбитая и замороженная пена.

валого сына и поклялась его жизнью отомстить мучителям.

— Клянусь жизнью моей плоти от плоти, клянусь за себя и за него, что кровью заплатят они за смерть Аахета!..

Так сказала она себе в сотый раз, когда стража прикладами мушкетов разогнала толпу, глазевшую на потухавшие угли костра.

Но сыну не пришлось отомстить за отца. Слезы, пролитые Айше, и голод, заглянувший в их разоренное гнездо, напоили желчью молоко в груди матери, и свет ее жизни, ее надежда и гордость угасла... Маленький Азис, нежный, как цветок жасмина, хрупкий, как крыло бабочки, умер. Айше осталась одна на улице с пустыми руками, с пустым сердцем... Своей семьи, своего дома у нее не стало, и она пошла назад в дом отца.

— Вот я пришла к тебе, — сказала она Абенамару, — я пришла к тебе нищая, ибо они сто крат ограбили меня. Они похитили у жены опору-мужа, они оторвали от груди матери первенца, они разорили у хозяйки дом и имущество. Горе тебе, отец, ибо берешь к себе не прежнюю дочь, а коршуна гнева и отчаяния!

И с тех пор мир стал для Айше мертвым, словно угли и пепел догоревшего костра задернули черной завесой солнце, и оно перестало светить. И из-под этого пепла в душу Айше вползла темная злоба, жажда мести, жажда гибели мучителей...

Она с радостью согласилась сопровождать отца, когда Абенамар, в конец разоренный властями, решил бросить дом, лавку и имущество и искать защиты у единоверцев-турок.

4

Солнце красным шаром спустилось за обнаженные утесы.

Путники свернули в сторону. Зеленая, молчаливая чаща кустарника разом охватила их; цепкая ежевика, сплетаясь с опунцией и кактусами, словно сетью, подкрывала каменистую почву; внизу, в овраге бежал горный ручей; голубоватые эвкалипты разливали над ним свой пряный запах.

Абенамар опасно огляделся, потом вынул из дорожного мешка баранью шкуру и маленькие перламутровые четки с серебряным мусульманским узлом и сел, закрыв лицо ладонями.

— «Алла... аллау экбер...

Эшедю эн ляилля э иллала¹»...

Мавр молился богу своих предков.

Айше со страхом смотрела в лесную чащу. За каждым кустом ей мерещился притаившийся монах святой инквизиции с крестом и факелом в руках.

— «Эшедю энне Мугамедёр»...

Фатъма собирала в стороне красноватые плоды опунций, сдирала с них колючую кожу и жадно высасывала сок.

— «Алла... аллау экбер

Эшедю эн ляилля э иллала...»

Мавр молил аллаха — бога своих предков — помочь угнетенным братьям вернуть похищенную у них свободу.

5

— Малага!..

Глаза Фатъмы горели от восторга.

— Малага!.. Город!.. Большой город, такой же, как Вальядолид!

Ресницы Айше были опущены. Она не хотела смотреть на все эти церкви, соборы, часовни, где служители христианского бога учили пытать, жечь и колесовать невинных людей, учили доводить до нищеты их жен, убивать их детей...

— Малага, отец, — не унималась Фатъма, — больше Вальядолида?..

— Не кричи так, Пепита, — строго остановила ее Айше, — на нас смотрят.

На набережной кипела жизнь; лес мачт прорезал синеву неба; люди бегали по мосткам и палубам; визжали цепи: стучали молотки, лязгало и грохотало железо; негры-рабы, мокрые и лоснящиеся от пота, сгибались под тяжестью мешков, ящиков и бочек... Запах моря мешался с запахом винограда, миндаля, тропиче-

¹ Слова магометанской молитвы.

ских пряностей и гниющей на солнце рыбы... А вдали сверкали и искрились широкие и бесконечные морские волны.

— Идем же, Пепита!

Девочка, не отрываясь, смотрела на незнакомую ей жизнь богатого портового города.

— Мы будем здесь жить, отец?..

Абенамар молчал, сурово сдвинув брови.

Они прошли людную часть набережной.

Фатьма вздохнула.

— Значит, мы опять уйдем из города?..

Айше схватила ее за руку.

— Мы же идем к своим, глупая!

— Мне все равно, только бы там было весело...

Черные глаза Айше вспыхнули.

— Стыдись, теперь не время веселиться!

— Мне все равно.

— Верно, иссоп¹, которым насильно окрестили тебя, подменил тебе сердце на камень...

— Мне все равно.

— А-а!.. Ты упряма, как ослица, дочь собаки!..

— Перестаньте ссориться;— строго сказал Абенамар,— мы пришли...

Они стояли перед рыбацьей хижинкой.

— Да хранит святой Ельм — покровитель моряков — хозяина этого дома... — раздельно произнес мавр и постучал три раза.

Из окна выглянуло загорелое лицо рыбака.

— Слуга вашей милости... Что прикажет ваша милость?..

Рыбак зорко всматривался в лицо путника. Оба молчали. В эти страшные годы нельзя было доверяться без разбора. Святая инквизиция обещала деньги и отпущение грехов всякому, кто донесет ей на кого-нибудь, — и нередко дети доносили на родителей, сестра на брата, брат на сестру...

— Ты никого не ждешь? — спросил, наконец, путник.

— Жду...

Они снова замолчали, не решаясь выдать себя.

¹ «Святая вода», которой наскоро окропляли, в знак крещения, принимавших христианство мавров.

Тогда Айше, словно невзначай, выронила спрятанную на груди плоскую круглую дощечку.

Рыбак метнул быстрый взгляд — на доске был вырезан полумесяц и звезда.

Рыбак всплеснул руками и бросился открывать дверь.

— Да будет благословен час, в который ты пришел, эффенди¹...

— Тише.

— Войди в мой дом, Абенамар, сын Абенамара, озари его светом твоего присутствия, — шептал рыбак, кланяясь по-мусульмански, — да не осудит эффенди смиренного Могарема — слугу пророка... Я ждал тебя... Я ждал тебя много времени, и, хвала аллаху, мои глаза видят, наконец, сына друга моего отца, внука друга моего деда, потомка друзей моих предков...

Фатьма смотрела равнодушно в окно; ей было скучно от этих приветствий, от всей бедной, грязной обстановки хижины. Неужели они останутся жить здесь, вдали от шумного, веселого города?..

Айше слушала рыбака, благоговейно сложив руки.

— Велик аллах!.. Велик аллах, и неизъяснимы пути его... Почти семьдесят лет назад чалма склонилась перед шляпой гидальго². Мечети были разрушены... Не желавшие покориться кресту ограблены, а потом сожжены или изгнаны... Слабые должны были забыть, что они мослемы³, и стать слугами там, где еще недавно были хозяевами... И померкло солнце в цветущей земле пророка, ибо дым костров инквизиции скрыл его от глаз правоверных... О аллах!...

Он закрыл лицо руками и заплакал.

— Меня крестили с другими детьми — сиротами погибших мавров, — и я стал хуже собаки для победителей-христиан... Но с малых лет поклялся я служить моим братьям до последнего часа... И вот, эффенди, через эту лачугу переправился уже не один десяток мослемов к берегам Африки, где сверкает полумесяц и звезда пророка... А нынче я буду служить тебе, эффенди, долгожданный Абенамар!

¹ Господин.

² Испанский дворянин.

³ Магометане.

— Да пошлет тебе аллах увидеть торжество твоих братьев, верный Могарем, — обнимая рыбака, ответил мавр, — ибо лучшего пожелания не знает язык Абенамара...

— Истинно так, — лучшего пожелания не знает и слух Могарема.

Рыбак наскоро накрыл на стол, и во время ужина они долго шепотом обсуждали план бегства. Айше слушала их, затаив дыхание, а Фатьма уснула, положив усталую голову около миски с вареной рыбой.

До нее смутно донесся таинственный шепот:

— Сегодня же ночью...

— Сегодня же ночью, эффенди, — и да будет легок нам путь!..

6

— Вставай, Фатьма, пора!

Девочка протерла глаза. За окном была уже ночь; на небе горели звезды, а море чернело широкое и жуткое, как страна смерти в старой мавританской сказке.

Могарем и Абенамар возились у порога, вытаскивая из подвала что-то большое и тяжелое.

Айше с презрением одернула платье Фатьмы.

— Нам недолго уже придется рядиться в тряпки проклятых гяуров¹!.. Смотри, Могарем сохранил для нас одежды мослемок.

Мужчины вытащили из тайного подвала тяжелый, окованный серебром, ларец в узорных арабесках и поставили его на стол.

— Этот ларец принадлежал самому Али-Атору — доблестному воину мавров, эффенди, — говорил Могарем, — и один только аллах ведает, сколько трудов мне стоило достать его и сколько трудов сохранить до твоего приезда...

Осторожно, с благоговением начал он доставать местами полуистлевшие ткани, достал зеленую чалму-тюрбан, тонкий альборнос², вышитый затейливым рисунком, еще чалму, парадную, всю раззолоченную,

¹ «Неверных», не исповедующих магометанство.

² Длинная широкая одежда восточного покроя.

достал боевые доспехи, уже успевшие потемнеть, и короткий прямой меч с иеменским клинком.

— Этот меч защищал когда-то «Сады пророка» — прекрасную Андалузию, — со вздохом сказал Могарем, — ему не пристало лежать зарытым под порогом рыбацкой хижины, — он ищет руки воина.

Рыбак благоговейно поцеловал рукоять, украшенную золотой насечкой, и протянул меч Абенамару.

— Возьми его, эффенди, и да поможет он тебе отвоевать свободу братьев.

— И да поможет он мне отвоевать свободу братьев, — как эхо, повторил Абенамар.

Могарем отобрал полные три арабские одежды для Абенамара и его дочерей. Золотистая прозрачная ткань женских покрывал казалась звездным небом в смуглых руках рыбака.

Фатьма была в восторге.

— Смотри, Айше, как они переливаются и горят!.. А шаровары! Неужели мы будем ходить в шароварах?..

Айше строго взглянула на нее.

— Так одевалась мать нашей матери и умерла в тюрьме за то, что не хотела одеть испанской баскины!..

— Не все ли равно?

Айше больно ударила ее по щеке.

— У, подлая собака!

Фатьма заплакала.

— Довольно! — прикрикнул на них Абенамар, — пора в путь.

Они молча собрали одежды в три небольших узла и вышли, крадучись, из хижины.

Тучи заволакивали небо; надвигавшийся мрак благоприятствовал бегству.

Город давно уже спал; лишь из ближней венты² слабо доносились звуки тамбурина и кастаньет да пьяный хохот подгулявших моряков; лес мачт тонул в темноте неба; корабли качались неподвижные, безмолвные, словно огромные скелеты...

Фатьме было жутко, и она цеплялась за платье сестры.

¹ Юбка.

² Кабачок, трактир, постоянный двор.

— Стойте!.. Кажется, патруль...

Они разом остановились и прислушались.

— Нет, никого.

Абенамар первый вскочил в лодку. Могарем прикрыл узлы сетями, распутал цепь и оттолкнулся от берега.

— «Алла... аллау экбер...

Эшедю эн ляилля э иллала...»

Лодка неслышно скользнула в черную бездну моря, звякнула подтянутая цепь — Малага осталась позади.

7

Они долго молчали, боясь нарушить тишину ночи.

— Кругом рыскают лодки для поимки контрабандистов, — предупредил их еще раньше Могарем, — я скажу, когда мы будем в безопасности.

Фатьму быстро укачало, и она прикорнула на тюках с одеждой. Айше смотрела в темневшую даль, где за неведомой гранью жили люди, исповедующие ее веру, не знающие костров и тюрем инквизиции, и улыбалась. Абенамар перебирал зерна четок и молился.

Вода плескалась о борта лодки, сбегала, журча, с лопастей весел, шумела за кормой. Берег давно уже потонул в темноте; кое-где лишь сияли далекие огни сторожевых постов.

— Выплыли! — с облегчением сказал Могарем. — Хвала аллаху, ночь за нас — луну скрывала туча.

Он кивнул головой на покинутый берег и улыбнулся.

— Скоро ты вернешься, эффенди, не печалься... Есть ли что лучше Гренады и Андалузии?..

И они начали вспоминать о красавице Гренаде, прозванной маврами «Светлой звездой неба», о былом величии своего народа и о печальной гибели его могущества.

— Ни один мослем не устает рассказывать о скорбном дне мавров, когда Абу-Абдиллели бежал из Альгамбры, и ни один мослем не устает его слушать...

— Расскажи, расскажи, отец, — просила Айше.

Абенамар вздохнул, опустил голову и начал протяжно и певуче:

— Нет равного Гренаде города от востока до заката!.. Нет равного Альгамбре дворца по всей земле аллаха!.. Нет прекраснее «Садов пророка» — Андалузии!.. Нет прекраснее садов Хенералифе!.. Рука мослемов выстроила Альгамбру, рука мослемов насадила сады Хенералифе!.. Но рука неверных осквернила сады, разрушила стены и башни!.. Горе, горе «Садам пророка»!.. Два месяца длилась осада, два месяца обливалась кровью «Светлая звезда неба» Гренада, два месяца лилась кровь по ступеням Альгамбры, по подножиям кипарисов и мирт, по листьям и цветам олеандров... Горе, горе «Садам пророка»!.. Воды Хениля переполнились от слез, трава стала красной от крови... Два месяца длилась осада, изнемогли от ран и голода мослема и решились, наконец, сдаться. И поверили сыны пророка словам гяуров, что свободен будет путь каждого, кто пожелает покинуть красавицу Гренаду, и не принудят преклониться кресту желавшего остаться... Но обманули собаки-гяуры правоверных!.. Стон и рыданье ограбленных поднялись над «Светлой звездой неба»... «Ах, прости, моя Гренада!.. Ты прощай, моя Альгамбра», — то бежал из гренадского дворца Абу-Абдиллели и прощался с садами Хенералифе... И запер он дверь дворца ключом и бросил тот ключ в воды Хениля, ибо не было у него больше надежды вернуться назад..

Абенамар замолчал, поникнув головой.

— Айше плакала.

— Дверь стоит замурованная и до сих пор... — прошептал Могарем тихо, — но аллах велик!.. Придет время, и замурованная дверь откроется, развалины станут вновь домами, и правоверные войдут в священную Альгамбру... Это будет!..

— Это будет! — убежденно повторил Могарем. — Это будет, когда придет сильный и станет во главе своего народа. И, кто знает, быть может, этот сильный — ты!..

Абенамар покачал головой.

— Нет, вождь мавров должен быть молод — в его руке не дрогнет меч Али-Атора... А я — стар, и не меня избрал аллах для великого дела...

Стало светать. Первый золотисто-розовый луч еще невидимого солнца зажег далекую черную громаду

скал Гибралтара — крайней точки Европы — грозного великана, стерегущего ворота в океан...

Могарем показал в сторону Африки.

— Там — ваши братья. Там Танжер... Скоро вы будете в полной безопасности... вон за тою чертою... Почти каждую ночь туда выезжают лодки мослемов...

Он не ошибся — вдали качалась на волнах большая лодка с треугольным парусом турок.

— Храни вас аллах!.. Может быть, еще увидимся...

8

В гареме алькайда¹ Шерефа-Эддин-эффенди в Танжере было шумно.

Фатьма хохотала, как сумасшедшая, над ужимками невольницы-негритянки, рассказывавшей смешные истории.

Жены алькайда степенно улыбались — они давно уже знали все до одного рассказы рабыни. Только Заидэ — самая молоденькая из них — вторила смеху Фатьмы и просила:

— Ну, еще, еще, Кобура, позабавь нас еще!..

— Довольно, наконец, — остановила ее Ханум-Аха, старшая жена алькайда. — Кудрет приходил сказать, что скоро к нам зайдет господин. Нехорошо, если он застанет здесь шум и крики.

— Нехорошо! — передразнила ее Заидэ, — нехорошо только для твоих старых ушей...

Фатьма фыркнула.

Ханум-Аха побагровела.

— У, жаба! Жабина дочь! Шайтан² тебя возьми!.. — закричала она. — Посмотришь лучше в зеркало: ты худа, как дервиш³, и желта, как старый чубук!.. Каким зельем ты околдовала господина?..

— Тем, которое ты пролила двадцать лет назад! — взвизгнула бойкая Заидэ, отскакивая от готовой ее ударить Ханум-Ахи.

Фатьма каталась по ковру, захлебываясь от смеха.

¹ Правитель.

² Дух злобы и тьмы в поверьях магометан.

³ Мусульманский монах.

— Она уморит меня, эта рапуха-жаба! Эта высохшая трость!.. Эта пустая скорлупа! Этот финик без мякоти!..

— Смотри, не затопи нас своим жиром, мушмулла без косточек!..— не унималась Заидэ.

— Ах! Ах!— металась старуха, швыряя в нее подушками с диванов.— Я покажу тебе, змеиное отродье мавров!..

— Свой жирный зад ты нам покажешь, больше ничего! — хохотала Заидэ.

— Умираю! Умираю! — кричала Ханум-Аха, падая на край бассейна.— Облейте меня скорее водой, или у меня лопнет сердце...

В дверях показался евнух Кудрет.

— Тише! Господин идет.

В гареме разом стало тихо. Кобура бесшумно выскользнула из покоя.

Женщины уселись чинно в кружок, приняв обольстительные позы; Ханум-Аха поджала обиженно губы. Заидэ сделала вид, что уснула, купая жемчужную нитку в воде бассейна; одна только Фатьма пряталась в подушки, стараясь сдержать хохот.

Вошел толстый, важный алькайд.

Лицо его расплылось в довольную улыбку.

— Как поживают розы моего гарема? — спросил он громко.

Ханум-Аха собиралась было раскрыть рот, чтобы пожаловаться на Заидэ, но та уже проскользнула мимо нее и, ласкаясь к алькайду, как кошка, протянула капризно:

— Твоя бедная Заидэ не знает, чем ей смягчить сердце Ханум-Ахи... Твоя бедная Заидэ отдала ей свое лучшее покрывало из дамасского шелка и скоро будет ходить, как жена нищего с рыночной площади, только бы угодить старшей жене своего господина.

Алькайд потрепал ее любовно по щеке и приказал Кудрету:

— Выдай Заидэ две дамасские шали, вместо той, что она подарила Ахе.

И, обернувшись к старшей жене, добавил недовольно:

— Пора бы перестать наряжаться в твои годы.

Старуха онемела от удивления и злости.

— Вот лживая змея,— прошептала она бессильно,— теперь у нее будет три дамасские шали, вместо одной...

Заметив Фатьму, алькайд подозвал ее знаком руки.

— Аллах тебя храни, маленькая плясунья из «Садов пророка»,— сказал он милостиво,— я упрошу Абенамара, чтобы он отдал тебя в жены моему старшему сыну. Будешь женой турка, а не какого-нибудь мавра.

Фатьма вспыхнула.

— Нет, я хочу вернуться в Испанию.

— Почему?

— Мне не нравится в ваших гаремах.

— Вот истинно дочь своего отца,— засмеялся алькайд,— Абенамар тоже все толкует мне об Испании.

Шереф-Эддин недоумевал: что стало твориться в Танжере с тех пор, как год назад приехал из Испании этот мавр, Абенамар?.. Все только и говорят о восстановлении погибшего мавританского государства. Да и сам он не прочь бы занять в Гренаде пост позавиднее, чем в Танжере... Танжер ненадежен для Шерефа, которого недолюбливает сам султан Солиман и, того гляди, может согнать с насиженного места... Но восстание очень опасно и требует не малых затрат и сил, а алькайд ленив, ах как ленив...

— Спляши нам, Фатьма,— сказал он, усаживаясь в круг своих жен,— сядь поближе ко мне, жемчужина из жемчужин, прекрасная Заидэ... Да, кстати, сегодня в Танжер приехал твой брат Абдалла и желает видеть свою сестру...

Лица женщин вспыхнули. Все знали красавца Абдаллу, мудрого и ученого мавра, потомка знаменитого воина Али-Атора.

— А зачем приехал мой брат?..— спросила с любопытством Заидэ.

— Он приехал по приказу самого султана, жасмин моего сердца, и привез тебе подарки.

Заидэ взглянула на окончательно побежденную Ханум-Аху, и на капризном лице ее застыла улыбка торжества.

Алькайд протянул руку к кальяну.

— Ну, что же, плясунья из «Садов пророка»,— мы ждем твоей пляски!..

Фатьма соскочила с дивана, схватила бубен, ударила им по пяткам и, легкая и стройная, закружилась по ковру под одобрительный шепот жен алькайда.

Уже целый год Абенамар торговал шелками. Торговый человек был в почете в Танжере, не так, как в Испании, где купцы, ремесленники и пахари одинаково должны были гнуть спину перед благородными гидальго. Торговому человеку приходится всюду бывать, много слышать, со многими знакомиться, а Абенамару надо было узнать о настроении братьев африканского берега.

Каждый вечер он обходил рыночную площадь и слушал, не говорят ли где о Гренаде, о «Садах пророка», о восстановлении погибшего государства мавров.

Каждый вечер он расспрашивал приказчика своей лавки — веселого, бойкого негра Уалу.

— Храни тебя аллах, — хорошо ли идет торговля?

— Аллах велик, эффенди, — деньги льются в твой кошель, как песок из пустыни.

— Не о деньгах я спрашиваю... Деньги для меня — пыль под ногами. Что говорят люди?..

— Люди болтают много, на то им и дан язык...

— Язык есть и у моего верблюда... О чем говорят люди?..

— Приходила Ханум-Альмэ из верхнего города, говорила, что скоро вздорожает оливковое масло...

— Какое мне дело до масла?.. Женская болтовня!.. Что говорили правоверные сыны пророка?

— Урдубек Ахмет говорил, что прошлой ночью шакал заел двух овец...

— Что мне за дело до овец и до шакала, — шайтан тебя задуши!.. Мне не до смеха, Уалу!

Негр наклонился к самому лицу Абенамара.

— Приходили два эффенди...

— Ну?

— Мавры, как и ты, господин...

— Кто они?.. Богатые, бедные, старые, молодые?..

— Видно, богатые: у одного был ятаган с рукоятью из золота...

— Хорошо, хорошо. Что же говорили они?

Негр усмехнулся.

— Они говорили, должно быть, то, что тебе нужно, господин.

— Лев тебя разорви! — закричал в бешенстве Абенамар, — будешь ли ты мне говорить без ужимок?..

Негр присел на корточки у ног Абенамара и зашептал:

— Они велели принести кофе из соседней кофейни и, пока его пили, разговаривали между собой. Один сказал: «Султан узнал, что гяуры с острова Мелиты взяли в плен его два корабля с товарами, и поклялся наказать проклятых обидчиков. Он готовит целое войско против Мелиты»... Другой ответил: «Аллах велик, он пошлет повелителю правоверных победу и выгонит гяуров с Мелиты, как выгнал когда-то из «Земли роз»... Другой вздохнул и чуть не подавился кофе. «А какая польза оттого нам, маврам? Все равно мы не у себя дома, а в гостях у турок. Только ислам и спасает нас, а то султан давно посчитал бы наши головы, как считает их у пленных гяуров»...

— Кто были эти эффенди?..

— Из их речей я догадался, что они состоят при алжирском бее Гассеме и по приказу из Стамбула начали уже тайно готовить войско против Мелиты.

— А не говорили ли они чего-нибудь об Испании?..

— Говорили. Они проклинали испанцев, погубивших мавров. Говорили, что, ограбив мавров, испанцы принялись теперь за людей с новых земель, что за океаном. Один сказал, что за Мелитой очередь Испании; что близко то время, когда на месте развалин бывших мавританских городов и селений вырастут новые; они вспоминали Гренаду, откуда сами бежали когда-то детьми. У одного из них хранится даже ключ от дома его родителей в Гренаде. Сохрани их аллах — они купили у меня много, а торговались мало! Да вон и они, господин!

— Где?.. Вон те, что стоят у лавки благовоний?

— Да, да, эффенди, твои глаза зорки, как у горного орла.

С другого конца площади раздались неожиданно звуки дудок и барабанов... Там, расталкивая продавцов с их туфлями, фесками, шаями, оружием, медом и овощами, поднимая ударами ног лежавших в пыли верблюдов, шли музыканты. Под их жидкую, однообразную музыку вереницей тащилась толпа мальчиков лет по семи; их сопровождал человек, одетый в длин-

ный бурнус, с перьями на тюрбане и с ятаганом у пояса; негры-невольники ровняли колонну детей палками.

— Гляди, эффенди, вон ведут детей гяуров, — крикнул, улыбаясь во весь рот, Уалу.

Абенамар поморщился.

— Часто проводят через Танжер христианских мальчиков? — спросил он глухо.

— Часто. Их собирают по городам правоверных, пытают их ум и силу и отправляют в Стамбул. Мудрые и сильные нужны при дворе султана — про то ведает аллах... Мудрые становятся верными закону корана советниками повелителя; а сильные готовятся в войска янычар — телохранителей султана.

— Должно быть, страшно это войско янычар, когда свои идут на своих... — прошептал Абенамар с болью, а потом добавил: — Но пока ведь это только дети — наши будущие братья — мослемы... Да хранит аллах их юные сердца!..

Он быстро направился через раскаленную полуденным солнцем, пыльную площадь к стоявшим у лавки благовоений двум маврам в богатой восточной одежде.

Громкий детский плач заставил Абенамара еще раз оглянуться на будущее грозное войско султана.

Негр бил упавшего от усталости мальчика; ребенок лежал ничком в грязных лохмотьях на худеньком иссиня-бледном теле; белокурые растрепанные волосы его мешались с навозом и пылью дороги...

Человек с ятаганом подошел к упавшему и, толкнув его ногой в живот, злобно крикнул:

— Вставай, собачий сын!..

Ребенок застонал долгим, пронзительным стоном...

Черная рука негра подняла его за волосы на воздух и поставила обратно в ряды сбившихся в страхе мальчиков.

Абенамар опустил голову. Он вспомнил далекое детство, когда христианские воины вот так же били его и других детей мавров...

— Истинно, в сердцах наших друзей и наших врагов течет звериная кровь, — подумал он с тоскою.

Турецкая армада бросила якорь у юго-восточного берега Мальты.

Разгневанный султан Солиман собрал тридцать больших кораблей, пятьдесят меньших, собрал множество судов, нагруженных пушками, военными и съестными припасами, лодок и шлюпов, которым не было числа.

Начальство над войсками Солиман разделил между Пиали — полководцем всех морских сил турок и «Непобедимым» Мустафой, под командой которого было шесть тысяч страшных янычар и тридцать тысяч простых воинов.

Султан заранее праздновал победу.

Через три дня после прибытия к берегам Мальты, на большом корабле Пиали, под наметом из восточных ковров собрался весь военный совет турок.

Пиали с выкрашенной шафраном бородой бросал злобные взгляды на ненавистного ему Мустафу. Разделение начальства Пиали считал для себя кровным оскорблением. Он посасывал янтарный чубук кальяна и, насмешливо щурясь, возражал на каждое слово «Непобедимого».

Шереф-Эддин тонул среди подушек и клевал носом, убаюканный волнами. В дыму кальяна Пиали ему рисовались пленительные образы его жен, а среди них лучшая роза танжерского гарема, красавица Заидэ.

Мустафа горячился:

— Если мы не будем действовать согласно, гяуры разобьют нас, как скорлупу от грецкого ореха!..

Пиали выпустил изо рта чубук и процедил презрительно:

— Слава аллаху, — мои орехи не по зубам собакам — гяурам!.. Повелитель, слава его мудрости, не ошибся, надеясь на мои корабли больше, чем на орехи «Непобедимого».

Мустафа побледнел от обиды, но сдержался.

— Ну, а что скажет нам доблестный Шереф-Эддин-эффенди? — спросил он после молчания, — или голос мой затеряется, как эхо в пустыне, и не найдет ответа?..

Шереф-Эддин блаженно улыбался среди своих грез.

— Алькайд Танжера утомлен непривычным путем

по морю и не слышит слов своего начальника... — заметил насмешливо Пиали.

Сосед толкнул Шерефа-Эддина в плечо.

— Эффенди, с тобой говорят!.. Ты не слышишь, эффенди?..

— Не слышу?.. Я все слышу!.. — встрепенулся алькайд. — Хвала аллаху — таракан не залез мне ночью в ухо... Что ты сказал, мудрый Мустафа-эффенди?..

«Непобедимый» уже не глядел на него. Он повернулся к Гассему — алжирскому бею и ждал его ответа.

На фоне белого персидского ковра особенно резко выделялся орлиный профиль бронзового лица Гассема с иссиня-черной бородой. Он вскочил с подушек и, показывая рукой в сторону Мальты, крикнул хриплым от злобы голосом:

— Мы должны или умереть, или сровнять с землей все укрепления этих собак!.. Пленных не брать!.. Смерть всем гяурам!.. Никому никакой пощады: ни женщинам, ни детям!..

Шереф-Эддин поморщился. Уезжая из Танжера, он меньше всего думал о смерти. Он мечтал лишь о богатстве, которое принесут ему выкупы пленных.

— Ну, для того, чтобы считаться с умным человеком, мало иметь бороду, ибо и петух ее тоже имеет, а слывет глупой птицей, — шепнул он недовольно соседу.

На небе стали потухать далекие облака; море подернулось лиловою дымкой.

Военачальники долго еще спорили, ссорились, высмеивали друг друга, но, наконец, согласились помириться во славу аллаха и величия трона султана и действовать единодушно. Было решено начать на следующее же утро осаду гавани Сент-Эльмо.

Эмины — секретари точно записали все, что говорилось на совете, чтобы этой же ночью отправить донесение в Стамбул.

— «Мудростью твоих военачальников, чаша славы, великий властитель сынов пророка, решено начать осаду Сент-Эльмо, стены коего не прочны, а воины твои рвутся в бой! И не пройдет и дня, как к стопам твоим, источник силы, склонится вражеская гавань, необходимая для твоих кораблей. И воссияет слава твоя на ней, око мудрости, и придавишь ты ее стопую свою, как давишь пыль на пути своих побед»... — гласили последние строки донесения.

Брат Заидэ, Абдалла, полулежал на свернутых канатах и вдыхал всей грудью ночной воздух. Он, как мавр по крови, не был допущен к участию в военном совете.

Море молчало, чернея за бортом, словно растопленный агат; звезды дрожали большими пламенными каплями над самыми мачтами и отражались в воде золотыми отсветами; вдали тревожно вспыхивали сторожевые огни Мальты.

— Ты спишь, сын мой?.. — спросил, подходя, Абенамар.

— Нет, эффенди... Совет уже кончился?..

— Да. Завтра начнем осаду.

— Слава мудрости военачальников султана, — сказал Абдалла равнодушно.

Абенамар пристально взглянул на него.

— Я думал, ты рвешься в бой, эффенди, как молодой орел в драку... Или дух Али-Атора, твоего славного предка, испарился в тебе, как туман от лучей ленивого полдня?..

Абдалла вспыхнул.

— Дух Али-Атора клокочет во мне, как огонь в груди каждого мавра. Но место каждого мавра не здесь, не на берегах Мелиты...

Абенамар внимательно заглянул ему в глаза.

— А где же, эффенди? — спросил он, затаив дыхание.

— Гренада, Севилья, Кордова — вот жемчужины сердца каждого мавра, — сказал с тоскою Абдалла и протянул руки в сторону далекой, невидимой Испании.

— Не бреди ран, эффенди, — стоном вырвалось у Абенамара, — придется ли еще увидеть их...

Абдалла не слушал. Облокотившись на борт, он говорил:

— Я часто вижу во сне страну моих отцов. Меня увезли оттуда еще ребенком. Но я помню говор струй благословенного Гвад-Эль-Кебира¹ и сладкие вздохи Хениля... Я помню рокот фонтанов Гренады и шелест оле-

¹ Гвадалквивир.

андровых чащ Хенералифе... Я помню шепот кипарисов Альгамбры...

Он закинул голову и, глядя в бездну звездного неба, стал припоминать слова мавританской скорби по утерянным «Садам пророка»:

— «Фонтаны Хенералифе, наполняющие его рощи и сады, если смешаются с вашими слезами слезы, мной проливаемые, примите их с любовью, ибо они самая чистая дань любви»...

«Свежие ветры, охлаждающие то, что раскаляет небо, когда долетите до Гренады, — да сохранит и поддержит вас алла, чтобы вы передали Гренаде вздохи, которые я посылаю с вами, и чтоб они говорили ей, как страдают отсутствующие...»

Он замолчал, потом, схватив Абенамара за руку, повторил с тоскою:

— Я часто вижу во сне Андалузию... Но сны хороши для женщин и детей. Воину не утолить жажды снами. И призрачный город, что видим мы нередко в песках пустыни, не даст отдыха больному сердцу...

Он снова замолчал, а после проговорил тихо и отчетливо:

— Но я верю, что увижу наяву благословенную землю отцов.

— Храни тебя аллах, эффенди... — прошептал со слезами. Абенамар.

По небу прокатилась сверкающей искрой падучая звезда. Абдалла долго смотрел туда, где потух след ее пламенного пути.

— Быть может, завтра меня убьют, — начал он снова, — пусть, я не боюсь смерти... И потому я хочу сказать тебе, эффенди, все, что живет в моей душе, ибо ты — мавр и я — мавр, и оба мы чужие среди турок. Слушай. Я — сирота. Мать моя ослепла от слез и умерла, когда отец мой и дед, изгнанные из родной страны, решили еще раз повидать родную Севилью. Они тайно пробрались в город, взошли на башню Херальду, равной которой нет на свете, и плакали от счастья, целуя камни ее вершины. И чтобы не возвращаться больше в страну изгнания, они решили умереть. Долго смотрели они на город, спавший в лунном сиянии... Но едва первый луч солнца упал на площадку Херальды, они взялись за руки и бросились вниз... А я остался с мате-

рю и сестрой в маленьком селении возле Алжира. Вместе с рассказами о смерти отца и деда я сохранил в душе неутолимую тоску по далекой прекрасной земле моих предков...

Он тяжело вздохнул, словно морской воздух душил его, потом продолжал дрожащим от гнева голосом:

— Мать рассказывала мне подлые сказки гяуров — им они учили своих детей. Мавр — собака, — говорили они; мавр — поганое животное; прикосновение к нему оскверняет христианина... Мавр — раб, и место его только в темнице, в оковах или в хлеву, на навозе, рядом с ослом и свиньями... У мавра — собачья кровь; он должен вечно служить испанцу. И лишь испанцу одному открыты все пути, его одного лишь должно почитать... А ведь недавно еще, эффенди, эти самые мавры — «рабы и собаки» — были мудрыми учеными, купцами, художниками и правителями, и те же испанцы черпали у них познания и опыт... Мать рассказывала мне, как унижали наших братьев, как изгоняли их с родных полей, отрывали от станка, от молота, от лопаты и мотыги, как заковывали в цепи, как жгли на кострах инквизиции, как силою заставляли принимать христианскую веру и испанские обычаи...

Он вскочил и долго ходил по палубе большими широкими шагами, потом снова подсел к Абенамару.

— Коран велит нам жениться, и мне дали жен; есть у меня сестра Заидэ — ты слышал, верно, о ее красоте... Но и жены мои, и сестра — глупые женщины, а матери давно уже нет у меня; но зато там, в селении возле Алжира, живет Эль-Рахман-Гиелани, старый ученый; он происходит от знаменитого кордовского врача Аль-бэк-Азиса. Аль-бэк-Азис оставил Эль-Рахману свои книги, и хранит их старик, как лучшее сокровище. Из книг этих я узнал много, я узнал, как лечить тяжелые болезни людей и животных, я узнал о звездах, о течении ветров и вод морских, я узнал о редких породах камней и деревьев; я узнал о жизни великих ученых... О, сколько их было среди нашего народа!.. Про лучшую пору нашего государства рассказывал мне мудрый Эль-Рахман. Тогда в Кордову и Севилью стекались из многих христианских земель поучиться наукам, искусствам и ремеслам у мавров. Ах, эффенди, как прекрасна была тогда свободная земля — по ней ходили

наши свободные предки, и не были мы тогда «собаками»...

— То было давно...— прошептал Абенамар.

— То было давно...— повторил Абдалла.— Светло было тогда на наших улицах даже ночью, не так, как теперь, говорят, в Гренаде и даже в Мадриде; наши предки любили жить хорошо и улицы свои освещали фонарями; прекраснее наших построек не создавал ни один народ; по всему государству, подобно песне, раздавался тогда стук челнока и молота мастерских; в селениях звенели, как птицы, косы и лопаты; у нас были каналы, водопроводы, тысячи фонтанов и бассейнов... А наши поля... Где наши цветущие поля, эффенди?.. Мы работали на них в то время, когда гяуры-испанцы, подобно диким зверям, жили, как попало, не меняя даже одежды, пока она не сгнивала на них. Красотой непомерной сияли наши бани, в то время как испанцы боялись воды, словно бешеные собаки... Примером для других было когда-то государство мавров, а ныне... О, эффенди!.. Бедна ныне земля отцов и дедов наших, бедна, как опустошенное орлиное гнездо...

Абенамар плакал.

Абдалла встал, и голос его зазвучал торжественно:

— И сказал мне однажды Эль-Рахман: «На тебе, Абдалла, лежит долг поднять упавшее знамя мавров. Ты — потомок великого воина». И я поклялся отдать за это жизнь. Вот почему я с тоскою смотрю на этот остров, окруженный грозной силой турок. Зачем мы станем разорять его? Зачем нанесем ненужный вред чужой земле? Зачем напрасно потратим свою кровь и силы? Не здесь должны сражаться мы, эффенди, не здесь, а там, у горных высот Гренады, место воинам мавров...

Абенамар схватил Абдаллу за руку.

— Молчи... Нас могут услышать: у турок за каждой мачтой шпион.

Они разошлись, не сказав больше ни слова.

А на заре следующего дня Абдалла нашел у своего изголовья иеменский меч с рукоятью в чеканном золоте — знаменитый меч Али-Атора.

Абенамар благословлял Абдаллу на великий подвиг и видел в нем вождя угнетенного народа.

Виновники гнева султана Солимана спешно готовились к атаке турок.

Магистр ордена мальтийских рыцарей, Ла-Валетт, призывал защитников острова к твердой обороне.

— Смерть или победа,— говорил он на собрании незадолго до первых выстрелов врага,— для нас нет иного выбора: смерть или победа.

Антонио Занагуэрра, племяннику Ла-Валетта, были поручены укрепления в Ла-Сангле. Он работал там и днем и ночью — семья почти не видела его.

Десятилетний Пеппо Занагуэрра пользовался каждой удобной минутой, чтобы приставать к брату.

— Антонио, возьми меня с собою на крепостные работы... Я не хочу сидеть дома, как старуха или грудной ребенок... Антонио, возьми меня с собою...

Антонио только отмахивался и кричал на ходу:

— Строй лучше заборы из палочек да воюй с лягушками... В Ла-Сангле не до детских игр...

Пеппо в слезах возвращался к матери, ища утешения на ее груди.

Донья Хуана гладила его черную кудрявую голову и шептала:

— Молчи, молчи, глухой!... Будь счастлив, что ты еще не понимаешь, что такое война...

Мануэль, старший сын доньи Хуаны, ее любимец и баловень, мечтавший попасть в число придворных испанского короля Филиппа, к ужасу своему был назначен в гарнизон самой опасной крепости — Сент-Эльмо.

Даже воспитанница доньи Хуаны, Долорес, молочная сестра Антонио, работала вместе с женами простых солдат в крепостном госпитале, в ожидании привоза первых раненых.

На четвертый день после прибытия турецких кораблей осажденные увидели на скалистой косе, защищенной замком Сент-Эльмо, торопливые земляные работы неприятеля. Не имея возможности рыть траншеи в камне, воины Солимана строили дощатые заборы, а промежутки между ними наполняли землей и скрепляли тростником и соломой.

В полдень прозвучали первые выстрелы. Страшные мраморные и железные ядра турок, по сто двадцати

фунтов весом, могли разрушить стены и более сильно-го укрепления, чем Сент-Эльмо.

Донья Хуана целые дни проводила в своей домашней часовне, у подножия статуи мадонны, вымаливая у нее пощады для старшего сына.

— Мой Мануэль слаб духом... — говорила она Долорес, — ему не вынести осады... Он умрет от лишений раньше, чем руки врага коснутся его... Ах, если бы у него было мужество Антонио...

— Не плачьте, сеньора, — говорила девушка серьезно, — разве вы одни послали в Сент-Эльмо сына? Много есть матерей, которые дни и ночи смотрят в сторону осажденной крепости. Будьте сильнее...

Долорес слыхала, что гарнизон Сент-Эльмо просил уже у Ла-Валетта помощи, и магистр смог послать ему всего лишь пятьдесят членов ордена с тремястами солдат — жалкую помощь против могучего войска турок.

Выстрелы со стороны Сент-Эльмо не прекращались ни днем, ни ночью.

Однажды утром гонец донес Ла-Валетту:

— Вчера несчастный случай предал в руки врагов одно из укреплений осажденных. Измученный солдат заснул на часах, и янычары без сопротивления забрались по лестницам на вал. Замок лишился самой важной части окопов и стоит теперь, как голый пень, открытый со всех сторон неприятелю.

Ла-Валетт побледнел.

— Дальше что?..

— Лазутчики сообщают о новых подкреплениях турок: из Триполи прибыло еще тридцать малых кораблей под начальством паши Драгута.

— Несчастные защитники Сент-Эльмо!..

Осада продолжалась. Никакие укрепления не в силах были выдержать гигантских ядер турок; стены Сент-Эльмо рассыпались в куски; гарнизон, и без того немногочисленный, уменьшался с каждым днем; оставшиеся в живых были до крайности изнурены и умоляли Ла-Валетта о новой помощи. Младшие рыцари жаловались, что их, как баранов, заперли в крепости, и грозили, что бросят Сент-Эльмо и будут искать смерти в открытом бою.

Долорес узнала, что письмо с угрозами в первую голову было подписано Мануэлем.

Магистр отвечал просьбой держаться в стенах Сент-Эльмо до последнего часа — он ждал со дня на день помощи из Сицилии.

Гибель осажденной крепости приближалась. Каждый день лодки привозили оттуда раненых и убитых.

Донья Хуана и Долорес всякий раз искали среди них знакомой фигуры Мануэля, но смерть щадила его.

— Он жив еще, Долорес, он жив!.. — шептала старая донья, улыбаясь сквозь слезы.

— Он жив... Но многие из них уже мертвы, — отвечала Долорес глухо, — и кто знает, кому еще суждено...

Она не договаривала и принималась за перевязку раненых.

Турки решили ускорить взятие Сент-Эльмо, уничтожив всякое сообщение осажденной крепости с соседним Иль-Борго. Они принялись рыть траншеи до самого берега Большого порта, чтобы построить там батарею и обстреливать пристань.

Каждую ночь Ла-Валетт смотрел с башни в сторону Сент-Эльмо на агонию умиравшего форта.

Среди ночного мрака и грохота пушек видно было, как летали зажигательные снаряды и обручи; они описывали в воздухе широкие дуги, освещая на мгновение воды залива и полуразрушенные стены крепости.

Ночные атаки окончательно изнурили гарнизон Сент-Эльмо, и его охватило отчаяние.

Стоя на башне, Ла-Валетт услышал, наконец, радостный салют неприятельских батарей — работа турок была закончена, и путь в осажденную крепость из Иль-Борго отрезан.

— Кончено... — прошептал магистр глухо, — теперь часы Сент-Эльмо сочтены.

13

В низкой сводчатой палате крепостного госпиталя бесшумно двигалась фигура сиделки. В жуткой тишине звучали стоны, бред, мольбы о помощи...

Долорес склонилась над постелью одного из смертельно раненых солдат. При слабом свете масляной лампы особенно резко чернели тени на его исхудалом, обросшем бородой, лице.

— Не уходи...— услышала Долорес прерывистый шепот.— Не уходи... Мне страшно... Она тут... близко уже... смерть... Крепче держи меня... мне страшно умирать...

Долорес взяла солдата за руку. Ее тихий, ровный голос действовал успокаивающе.

— Лежи смирно и ничего не бойся. Смерть не придет к тебе. Ведь я обмыла твои раны и перевязала их. Теперь все будет хорошо, и ты поправишься.

— Да... мне легче... когда ты здесь...

— Постарайся уснуть,— тебе приснится хороший сон.

Долорес говорила с умирающим, как с ребенком, а он, как ребенок, слушал ее.

— Меня зовут... Энрико...

— Молчи, Энрико. Нельзя так много говорить — у тебя может снова открыться рана. погоди, я прикрою тебе получше ноги.

— Нет... нет... дай мне сказать... Я сам виноват... Я послушался начальника... Это было... на последней осаде... в Сент-Эльмо... Они лезли на бастион... пробили брешь... Я защищал укрепления... и вдруг один... молоденький... турок... совсем мальчик еще... упал передо мной... я направил на него мушкет... а он заплакал и... стал что-то лопотать... непонятно так... У него... грудь была... вся... в крови... я не смог его... пристрелить... я упустил турка... а меня... в это время... в бок... и...

Он захрипел и опрокинулся на подушку.

Послышались торопливые шаги.

Долорес обернулась.

Перед ней стоял обходивший крепость Ла-Валетт.

— Я слышал... Бедняга провинился против дисциплины излишним милосердием, а враги между тем прислали нам вчера трофей своей победы — тела обезглавленных, изуродованных мальтийцев. Взамен я выстрелил головами пленных турок.

Долорес опустила голову.

— Солдат Энрико был милосерднее великого магистра христианского ордена,— сказала она тихо.

Ла-Валетт нахмурился.

— Ты глупа...— бросил он резко.— Ты рассуждаешь, как истая простолюдинка. Война — жестокость,—

тебе не понять этого. Ступай домой. Я пришлю сюда женщин из Иль-Борго. Иди к донье Хуане, — она только что узнала, что Сент-Эльмо пал, и сходит с ума от горя.

Лицо Долорес побледнело.

— Сент-Эльмо пал?

— Да. Очередь за нами. Ступай к донье Хуане.

Долорес с мольбой протянула к нему руки.

— Нет, позвольте мне остаться здесь, — здесь я нужнее.

— Как хочешь.

Ла-Валетт ушел мрачный, но решительный, готовый лучше умереть, чем сдать. Он все еще не сомневался, что Сицилия пришлет обещанную помощь.

Долорес закрыла лицо умершего простыней и пошла на зов с соседней койки.

Далекие выстрелы с турецких батарей глухо отдавались в сводах госпиталя.

— Сент-Эльмо пал... очередь за нами... — звучало в ушах Долорес.

— Антонио?.. Что будет теперь с Антонио?..

14

Осада продолжалась. Иль-Борго и Ла-Сангле были окружены со всех сторон. На возвышенных пунктах кольцом стояли батареи турок. Неприятель обложил мальтийцев и с суши и с моря и открыл канонаду одновременно по всей линии. Как только появились первые бреши, «Непобедимый» решил штурмовать форт св. Михаила. Для этого он приказал пленным христианам, перетащить несколько судов через высокую каменистую косу, разделявшую оба залива.

Дезертир-перебежчик сообщил Ла-Валетту о плане турок. Он рассказал также, как мальтийцы-пленники падали и умирали на непосильной работе, как они стояли под плетью солдат-надсмотрщиков, как, обессиленные, они скатывались вниз и тонули в заливе...

— О, мадонна!.. Среди них мой Мануэль!.. — рыдала в отчаянии донья Хуана.

После этих сообщений Ла-Валетт стал укреплять вход в Порт-Галер, вбивая сваи и делая незаметные подводные барьеры. Ночью «Непобедимый» пробовал

уничтожить эти укрепления, и турецкие пловцы с пловцами-христианами боролись среди моря, подкрадываясь друг к другу с мечами в зубах.

Занималась заря. Турки начали атаку. Мальтийцы гигантской щеткой облепили все бастионы.

Флот неприятеля подошел к подводному барьеру. Громадная фигура Гассема, алжирского бея, поднялась во весь рост над корабельным бортом. Он первый бросился в воду.

С бастионов Ла-Сангле посыпался огненный дождь.

Антонио Занагуэрра, черный от порохового дыма, командовал батареей.

В дыму и огне уже не видно было ни моря, ни неба. Воины Гассема двигались по горло в воде; сквозь тягучие призывы имамов¹ прорывались непонятные боевые крики янычар:

— Аллах-у-Керим!.. Аллах-у-Рахим!..

И опять клубы черного беспросветного дыма.

В дыму слабо вырисовывались силуэты турок; они старались вскарабкаться на укрепления по приставным лестницам...

Мальтийцы бросали в них глыбы камней и зажженные смоляные факелы. В черном дыму звучали дикие крики, стоны, рев, проклятия. Турки карабкались вверх сквозь сплошной каменный дождь, встречая пики, мечи и секиры...

Антонио увидел на валу зеленое турецкое знамя с полумесяцем.

Он бросился вперед.

— Смерть врагам!.. Не сдавай укреплений!..

Он сорвал знамя и в бешенстве бросил его себе под ноги.

— Смерть врагам!.. Смерть...

Антонио не закончил; его слова замерли в оглушительном реве пушек; странный свет ослепил глаза; что-то огромное, страшное неслось с турецких батарей и врзалось в землю, крутясь и обдавая передние ряды бастиона камнями; что-то ударило в серебряную кирасу Антонио и обожгло ему спину; он покачнулся и схватился за сердце... В глазах его разом потемнело: люди, пушки, мушкеты — все закружилось в огненной пля-

¹ Духовенство.

ске... Потом стало вдруг необыкновенно легко, как будто у него выросли крылья, и Антонио упал на зеленый шелк турецкого знамени, широко раскинув руки.

На бастионе Спур шла жаркая канонада. Командир одной из батарей выждал, когда сильный турецкий отряд на десяти кораблях приблизился, и открыл внезапный огонь. От неожиданности янычары смешались и бежали; раненные и убитые вперемежку падали в воду и тонули на глазах у отступавших товарищей.

Ла-Валетт с высоты замка св. Ангела ответил на победу бастиона ликующим колокольным звоном.

15

Долорес обходила ряды принесенных во двор госпиталя убитых и заглядывала им в лица.

Вот безусый мальчик... Зачем магистр взял на эту бойню почти ребенка?.. Вот тщедушная, сухопарая фигура рыцаря ордена в монашеской рясе рядом с серебряными латами...

Долорес отшатнулась.

— Неужели?..

Глаза ее широко и испуганно раскрылись.

— Антонио!.. Это Антонио!..

Она со стоном опустилась на землю.

— Антонио...

Изуродованная, вдавленная кираса была залита темной, почти черной кровью; спутанные, влажные волосы открывали высокий лоб, перерезанный кровавой полосой; веки были закрыты, а губы судорожно сжаты.

— Антонио!.. Мой брат!.. Мой новый!¹..

Долорес вдруг ясно вспомнила недавний праздник Вербены св. Иоанна — праздник весны, жизни и всепрощения. В этот день обычай позволял юноше подать любой девушке пальмовую ветвь, в знак преданности и любви.

И Антонио с утра подал ей такую ветвь, а она, в знак ответа, оторвала от нее зеленую верхушку и приколола ее к своим волосам. И с той минуты они были неразлучны весь день...

¹ «Милый», «жених», избираемый в день Вербены св. Иоанна.

А когда пришла ночь, полная шепотов, затаенного смеха, пения и поцелуев в садах и рощах, она призналась, что любит его с детства, что давно избрала его своим новием на всю жизнь.

Она хорошо помнила, как он вдруг отстранился и с удивлением оглядел ее. Потом по губам его, еще недавно шептавшим чудесные, нежные, как песни, слова, пробежала усмешка.

— Милая Долорес, — сказал он сухо, — сегодня праздник Вербены св. Иоанна, праздник веселья и шуток... Ты — красивая девушка, ты красивее любой дочери гидальго, и всякий рад быть в этот день твоим новием, но...

Он помолчал, а потом добавил резко:

— Но ты — не та, которая будет моей новией на всю жизнь.

— Почему?..

Глупая, она была так счастлива в этот веселый день Вербены, что посмела спросить:

— Почему?..

Антонио досадливо пожал плечами и ответил:

— Потому что род Занагуэрра достоин лучшей руки, чем рука простой крестьянки, дочери кормилицы. Святая мадонна послала тебе счастье вырасти в нашем доме, тебя воспитала знатная дама, но твои покойные родители даже и на том свете не сделаются никогда гидальго...

Так сказал ей он, ее брат, ее новий, гордый рыцарь мальтийского ордена в светлый день веселой Вербены...

Долорес, как и в тот день, закрыла лицо руками и застонала. Ей показалось, что посиневшие губы мертвеца все еще кривятся презрительной усмешкой.

Антонио Занагуэрра и на том свете остался истым гидальго.

Она встала и, шатаясь, пошла по рядам убитых.

— Вот еще один, такой же знатный, Фернандо-де-Толедо... А вот простой солдат... вот еще... еще... еще... О, как их много здесь... этих простых детей народа!

Долорес заломила над головой руки.

С улицы вбежал Пеппо, веселый, покрасневшийся, возбужденный.

— Я был на бастионах, Долорес! — кричал он, размахивая обломком мусульманской сабли, — турки бежали, а магистр-дядя...

— Не кричи так, — прошептала Долорес устало, — здесь мертвецы.

16

Донья Хуана сначала бурно приняла известие о смерти сына, но потом как будто примирилась и хотела только одного: увидеть когда-нибудь Мануэля и сохранить жизнь Пеппо.

А турки, взбешенные неудачей с бастионом Спур, удвоили свои силы. Мустафа отдал приказ идти общим приступом на Иль-Борго и форт св. Михаила. Он начал проводить линию траншей вдоль подошвы горы до морского берега, чтобы пресечь сообщение между Иль-Борго и противоположным берегом, откуда осажденные не переставали ждать сицилианцев.

На Иль-Борго полился дождь мраморных ядер. Он летел вдоль улиц, превращая дома в груды развалин.

Магистр приказал пленным туркам заградить улицы крепкими каменными стенами.

Со смерти Антонио Занагуэрра, Ла-Валетт перевез семью сестры в Иль-Борго, и маленький Пеппо, к ужасу матери, с утра убегал смотреть на укрепление улиц.

— Неужели пленным придется работать против своих? — со страхом спрашивал он Долорес.

Она молчала. Что могла она ответить, когда в душе ее было холодно и мертво, как в их опустевшем доме? Война исковеркала все ее прежние понятия о добре, о зле, о правде, чести, человеколюбии... Людей, казалось, не стало, — кругом были лишь звери, и целью их жизни было сеять вокруг себя гибель и смерть. Куда девались заветы рыцарей ордена о милосердии, всепрощении, кротости, в которые ее приучали верить с детства?.. Где прославленное христианство?.. Чем знаменитые мальтийские рыцари лучше и выше «презренных» врагов креста?.. Крест и полумесяц одинаково потонули в крови...

— Оставь меня, Пеппо, — говорила она мальчику, — у меня слишком много дела в госпитале.

Сидя на выступе стены, Пеппо часами следил за работой пленных.

Жалкие, скованные попарно, они проходили перед ним вереницей и под градом турецких ядер возводили через улицу поперечную стену. Глухие стоны, лязг цепей и злобные окрики часовых гулом стояли над этим покорным, измученным стадом людей.

— Говорят, и Мануэль работал так же, как они, — пронеслось в голове мальчика, — вон как тот старик с согнутой спиной...

Старик-турок едва волочил ноги; веревка, которой он был связан с соседом, до костей перетерла ему щиколотки; кровь, просачиваясь сквозь запекшийся струп, капала большими темными пятнами на дорогу.

Пеппо соскочил с выступа и ползком, чтоб не видели часовые, приблизился к старику.

— Слушай, турок... — шепнул мальчик. — У тебя, верно, очень болят ноги?

Пленный молчал, не понимая испанского языка.

Пеппо начал объяснять ему знаками, что веревку следует спустить ниже на здоровое место, а раны перевязать.

— Тогда не так больно будет... На вот, возьми...

Он выдернул полу своей рубашки и оторвал от нее длинную полосу.

Старик с удивлением следил за ребенком.

— Какой ты! — рассердился Пеппо. — Надо скорей это делать, а то увидят часовые и будут ругаться. Давай, я тебе перевяжу. Долорес всегда сама перевязывает раненых. Сколько их в госпитале, — ужас! А мой брат Антонио убит. Он был самый храбрый рыцарь, почти такой же храбрый, как дядя-магистр. Когда я вырасту, я тоже буду храбрым.

Нагнувшись к ногам пленного, мальчик старательно перевязывал сочащиеся кровью раны и болтал без умолку.

— Ну что?.. Ведь так гораздо лучше, не правда ли?.. А ты...

Вдруг что-то резко рвануло его в сторону, ударило по голове, и он упал навзничь.

Старик-турок протянул вперед руки и упал рядом с мальчиком, увлекая за собой соседа-пленного... Грохот каменной гранаты заглушил их общий стон. Ядро врезалось в стену соседнего дома, обдав толпу работавших дождем осколков.

В этот день на улицах Иль-Борго осталось лежать около пятисот убитых пленных. Оставшихся в живых тою же ночью послали спешно убирать трупы.

Какой-то турок поднял Пеппо. Мальтийцы могли обвинить в смерти христианского ребенка кого-нибудь из мусульман, и он, не раздумывая, перебросил мальчика через стену разрушенного дома. Там, среди обломков камней, досок, балок и кирпичей, нелегко будет найти маленький детский труп.

17

Стрельба продолжалась.

Донья Хуана и Долорес хватились Пеппо еще вечером. Они искали его всюду, выбегали на улицу, звали, спрашивали о нем солдат.

Но о Пеппо никто ничего не знал. Даже специальный патруль, посланный магистром на поиски ребенка, вернулся ни с чем.

Прошло два дня, — о Пеппо не было никаких известий. Донья Хуана плакала день и ночь в своей комнате на башне замка св. Ангела.

Долорес было невыносимо тяжело видеть ее отчаяние.

— Сеньора, — сказала она наконец, — в тот день, когда пропал Пеппо, была вылазка. Решитесь ли вы искать его за валом?..

Донья Хуана побледнела.

— За валом?.. Но ведь там турки... Я боюсь...

Долорес опустила голову.

— Успокойтесь, сеньора, — сказала она, помолчав, — я постараюсь одна найти Пеппо.

Донья Хуана разрыдалась.

— О, Долорес, у меня нет больше сил. Иди, и да хранит тебя мадонна. Так не поступила бы и родная дочь.

Долорес поцеловала ее дрожащие руки и вышла.

На замковом дворе было темно. В кузнице, под башней, горел, как всегда в эти дни осады, огонь. Там чинили поломанное оружие, слышен был лязг стали и пыхтенье мехов, звучал громкий повелительный голос магистра...

— Когда этот человек спит? — пронеслось в голове Долорес.

Она подошла к воротам; часовые, знавшие девушку в лицо, беспрепятственно пропустили ее.

Долорес бежала по улицам, прижимаясь к стенам полуразрушенных зданий... Стрельба не прекращалась.

У крепостного вала стояла цепь солдат. На укреплениях одного из бастионов часовой преградил ей дорогу.

— Куда?.. Не велено никого пропускать.

— Пропустите. Мне необходимо выйти за вал. Я ищу племянника магистра, маленького Пеппо.

— Не велено никого пропускать.

Долорес растерялась.

— Послушайте, мне необходимо...

Она вдруг вспомнила о чем-то и, схватив часового за руку, сказала тихо и уверенно:

— Друг мой, я столько видела крови за дни осады, столько смертей, что не боюсь ни того, ни другого. Мне уже не страшно умирать, — мне страшно жить... А ребенок, которого я ищу, еще не жил... Его надо найти во что бы то ни стало. Пропустите же меня!.. А в знак моей благодарности вот возьмите...

Она сняла с шеи массивный золотой крест — подарок доньи Хуаны — и протянула его солдату.

Червонное золото зловеще блеснуло в темноте. Долорес показалось, что крест сплошь залит кровью.

— Пропустите же меня, мой друг.

Часовой колебался одно мгновение, — но голос девушки был такой тихий и ласковый, а крест и золотая цепочка — соблазнительно тяжелы. Он посторонился.

Что ж?.. Какое ему дело, — пусть идет на верную смерть, если хочет!..

За валом была тьма; ноги скользили по скалистым уступам. Долорес наткнулась на труп лошади...

— Я ничего не увижу в этом мраке...— подумала она в отчаянии.

Вдруг девушка разом остановилась и прислушалась. Рядом с ней кто-то шептался, злобно переругиваясь. Она ясно различала непонятные слова незнакомой речи...

— Турки!..

Долорес бросилась бежать, спотыкаясь о комья земли, о камни, об обломки щитов и копий, о трупы людей...

Чьи-то грубые руки схватили ее за горло, связали и потащили прочь от вала.

Ужас черными кругами всплыл перед глазами девушки, закружился в бешеной пляске и затопил ее сознание сплошной пеленой мрака.

Долорес очнулась от яркого света костров; кругом были незнакомые, смуглые лица; звучала незнакомая, гортанная речь.

Долорес закрыла глаза.

— Скорей бы смерть!..

18

Шереф-Эддин был недоволен. Раб, посланный им на поиски золота и дорогого оружия у убитых мальтийцев, принес слишком мало ценного. Алькайд взглянул равнодушно на девушку и крикнул:

— Послушай, Абдалла-эффенди, мы бились с тобой об заклад, что гяуры увидят сегодня подкрепление из Сицилии. Я проиграл,— твое счастье!.. Возьми в залог эту христианку,— пусть она будет твоей невольницей.

Абдалла склонился к самому лицу Долорес.

19

Среди пестрых узоров ковра в шатре Абдаллы Долорес рисовались страшные картины; алая подушка казалась ей залитой кровью; девушка в ужасе металась и бредила.

Много раз Шереф-Эддин советовал Абдалле бросить ее.

— В нашем лагере и без нее довольно больных, эффенди,— говорил он.— Чем околдовала тебя эта невольница, что ты забыл о своем гареме в Африке?..

Абдалла упрямо качал головой.

— Нет, нет, эффенди... Никто не знает, что на душе у каждого, но я не брошу ее.

Он чувствовал какую-то необъяснимую, неясную связь между пленной испанкой и своей мечтой возродить померкшую славу мавританского народа.

— Словно гурия из «Садов пророка» тоскует и плачет она,— думал он, глядя на воспаленное лицо Долорес, заглядывая в ее потемневшие расширенные зрачки, приглаживая спутанные в беспорядке косы,— я не могу бросить ее умирать, как бездомную собаку...

Войне между тем приходил конец. Она оказалась неудачной для турок. На помощь к мальтийцам явилось все-таки обещанное подкрепление из Сицилии.

Первый же общий штурм форта св. Михаила окончился полным поражением мусульман; турецкая колонна была опрокинута и обращена в беспорядочную толпу.

Мустафа стал спешно готовиться к отплытию. Пиали все еще не хотел сдаваться и кружил с остатками своих кораблей вокруг острова. Среди его солдат свирепствовали болезни, порожденные жарой, недостатком питьевой воды, провианта и другими лишениями долгого похода.

Шереф-Эддин вернулся в Танжер недовольный и злой. На войне он понес одни только убытки. Никаких отличий не дала ему эта проклятая война. Он утешался лишь тем, что и Мустафа, и Гассем, и даже все-таки Пиали — все они подпали под гнев султана; алькайду передавали, что Солиман скрежетал зубами и велел отрезать язык гонцу, привезшему известие о гибели тридцати тысяч отборного турецкого войска под Мальтой.

Долорес поместили в Танжере во дворце алькайда. Абдалла был тоже болен; на войне он получил серьезную рану и носил руку на перевязи.

По приезде в Танжер, он спешно вызвал из Алжира

своего старого учителя Эль-Рахман-Гиелани и поручил ему лечение больной невольницы.

Эль-Рахман варил для нее густой липкий сок особой породы кактуса, охлаждал ей лоб соком финиковой пальмы и растирал тело горячими мазями. И девушка начала постепенно поправляться.

20

Долорес прислушалась.

В гареме алькайда было, как всегда, шумно. Из нижнего города пришли навестить подруг дочери Абенамара, и звонкий голос Фатьмы ясно долетал до больной.

— Мне жалко испанку! Она тоскует по родной земле!

— А мне не жалко,—фыркнула сердито Заидэ.— Она глупая, как ишак, твоя испанка! Брат дарит ей лучшие подарки, а она даже не глядит на него!.. Другой, на его месте, давно приказал бы утопить такую непокорную невольницу!

Заидэ сердилась на Долорес, вытеснившую ее из сердца Абдаллы.

— Глупая, как ишак! Злая, как змея! — ворчала жена алькайда, — если бы моя воля, я избивала бы ее!

— Я тоже ненавижу эту мушрикинку¹, — перебил ее низкий голос Айше.

Мавританка нарочно говорила по-испански, чтобы Долорес могла понять ее.

— Не всем невольницам достается такое счастье! Ее лечат мудрые люди, аллах посылает ей выздоровление, а она и не думает переходить в нашу веру. Она, как все гяуры, считает мослемов собаками!.. Она с радостью послала бы всех на костер, как это делают ее братья-мушрикины!.. Проклятая испанка!..

Долорес откинулась на подушки.

Любовь и ненависть, — она окружена ими, как неприступной стеной, в этом чуждом ей мире магометан... Что толкует эта озлобленная женщина о костре?..

¹ Мушрик — верящий в несколько богов; так магометане называли христиан, признающих троичность в божестве.

С какой радостью пошла бы Долорес хоть на костер, чем жить той жизнью, которая ее ждет. Костер?.. Она никогда не бывала на знаменитых аутодафе, но много слышала о них, и костер всегда пугал ее. Она никак не могла понять, за что приговаривают к нему столько людей... Какой проступок должны они были сделать, чтобы их подвергли такой ужасной, мучительной казни?.. На ее вопросы донья Хуана не умела хорошо ответить, — верно, и она не отдавала себе отчета, зачем существуют костры.

— Молчи, и не спрашивай об этом, — говорила она всегда, — разве можно обсуждать веления церкви? Папа, король и слуги святой инквизиции знают истину лучше нас, а мы должны лишь свято подчиняться им. Сохрани тебя пречистая дева вникать в дела церкви грешным разумом, — тебя смогут счесть за еретичку!

«Еретичка», «ересь» — страшные смертельные слова, ведущие на суд инквизиции, в тюрьму, на пытку, на костер.

— Нет, мне ее жаль, — доносилось из гарема, — она добрая.

— Добрая! Добрая! — вспыхнула Айше, — я видела этих добрых там, в Вальядолиде, когда сжигали...

Голос Айше дрогнул. Она помолчала, точно стараясь скрыть слезы, и вдруг закричала исступленно:

— Они хохотали, эти добрые христианки, когда мой Аахет корчился среди пламени и дыма! Они подбрасывали в костер хворост, чтобы отличиться друг перед другом в любви к своему богу!.. Они молили этого бога о продлении мук «проклятого мориска»! Они обмахивались веерами и пили сладкую спуму в то время, как тело Аахета горело и обугливалось!.. Они смеялись, видя мои слезы и слезы годовалого Азиса... Они хохотали, слыша мои крики, они радовались моим стонам и стонам моего ребенка, эти верные дочери Христа!

Долорес слушала, широко раскрыв глаза.

— Их бог! Их папа! Их король! Их церковь и инквизиция! Все они — хуже разбойников с дороги, ибо грабят, как разбойники, но прикрываются законом!.. Кто раз попал к ним в руки, тому уже никогда не вы-

рваться от них. Собаки-гяуры шпионят даже друг за другом: брат предает сестру, невеста — жениха, сын — отца, отец — сына. За шпионство, донес и предательство их награждают, их почитают, их возносят... Проклятые гяуры ставят деньги превыше всего: превыше чести и разума. За деньги у них можно купить прощение за любой грех вперед. Они торгуют отпущением грехов, эти священники и монахи мушрикинов, как воры краденными сокровищами! Я ненавижу христиан и покаялась мстить им, мстить, мстить!

Айше задыхалась.

Долорес закрыла глаза. Ей хотелось умереть, только умереть. Впереди у нее был сплошной мрак и ужас, плен, насильственный брак с врагом ее народа, чуждая жизнь среди чуждых людей; но и там, позади, на родине, в кругу ее единоплеменников-христиан был тот же ужас: войны, костры, грабеж, насилие, обман, слепое подчинение церкви. Ведь все, что говорила эта мусульманка, — правда! Она слышала об этом не раз и прожила среди этого мрака всю жизнь, ни разу не заглянув в его глубину. Смерть!.. Смерть избавит ее от прошлого и будущего, только смерть!

Она сползла с постели, ища глазами шнурка, цепочки, шарфа, чего-нибудь, чем можно было бы задушить себя.

Вот крепкая серебряная цепочка с подвесками из агатов, — она выдержит любое тело!.. Долорес схватила цепочку...

Ковер у входа заколыхался, и на фоне пестрых восточных узоров показалась высокая фигура Абдаллы.

— Христианская девушка любит подвесками? — спросил он мягко, — значит, христианская девушка начинает привыкать к своей новой жизни?..

Долорес выронила цепочку и закрыла лицо руками. Она плакала.

По лицу Абдаллы прошла тень страдания. Он опустился на резной табурет и долго молча смотрел на нее.

— Хорошо, — сказал он наконец, и голос его прозвучал устало и глухо, — я отпущу тебя на родину, но только не сейчас.

Долорес стояла перед ним, не двигаясь.

— Я отпущу тебя, быть может, скоро. На мне лежит великий долг освобождения моего народа. Я избран уже многими братьями и должен помочь им вернуть отнятую у них землю отцов — прекрасную Андалузию... Я должен вернуть жизнь опустошенной войнами стране. Я не стану держать тебя насильно, ибо сам иду на борьбу с насилием. И в тот день, когда знамя мавров взвьется вновь на стенах Альгамбры, дверь ее пропустит тебя к свободе. А до тех пор...

Он помолчал и добавил:

— А до тех пор терпи, как терпели мои братья. Ты не хочешь видеть меня, хорошо, я не буду больше с тобою. Завтра я уеду. Когда мы увидимся, не знаю. Завтра же я отправлю тебя в Алжир. Там ты будешь жить, как захочешь. Мудрый Эль-Рахман станет служить тебе по-прежнему опорой, как служил здесь. Доверься ему без страха. Таких людей мало на земле... Я знаю, ты оценишь его, если ты умная девушка... Возле тебя с завтрашнего дня не будет больше ненавистного Абдаллы, — он уедет завоевывать счастье и свободу своему несчастному народу.

Он вышел, не сказав больше ни слова.

Долорес смотрела ему вслед широко раскрытыми глазами, словно видела его впервые.

В САДАХ ПРОРОКА

1

«Где могучие сыны Иемена, где их былая слава, где их доблесть и сила?..

Неотразимая судьба постигла их...»

Голос был тихий и задушевный, как рокот фонтана за ближними кустами жасмина и роз.

«Неисцелимое бедствие постигло Андалузию, а с нею и всех мослемов...

Города и провинции наши опустели...

Спроси у Валенсии, что случилось с Мурσειей, где Хаэн и Хатива?..

Спроси, где Кордова — жилище знания, что случилось с мудрыми, обитавшими в ней?..

Где теперь Севилья с ее очарованиями, с ее рекой вод, светлых и звонких?..

Дивные города, вы были столпами страны, — как же не разрушиться стране, когда она потеряла столпы свои?..»

Голос помолчал, потом продолжал с болью:

«Вы, носящиеся на быстрых, красивых скакунах, летающие подобно орлам, между сталкивающихся мечей,

Вы, вращающие острые мечи Индии, которые сверкают, как огни между черными облаками пыли,

И вы все, там за морем, живущие мирно и обретающие в своих странах почет и славу, —

Разве не дошли до вас вести об андалузцах?.. А посланные давно уехали известить вас о наших несчастьях...»

— Довольно, Абналь, — ты разрываешь мне сердце!

Смуглые руки обвилились вокруг шеи мальчика, и курчавая, иссиня-черная шапка волос девочки спряталась у него на груди.

— Эту песню, Лейла, сложил мавр, Абуль-бэк-Селех, когда христиане отняли у нас Севилью. Не плачь... Если ты будешь плакать, я никогда тебе не буду ничего читать.

Девочка утерла глаза и покорно сложила руки.

— Откуда ты знаешь столько песен, Абналь?

Он улыбнулся и, наклонившись к ней, таинственно прошептал:

— Там вон, под крышей Малиновой башни, я нашел много старых книг нашего народа. Когда, после покорения Гренады, толедский архиепископ Хименес Циснерос велел сжечь на Виварамбле все до одной книги мавров: коран, сочинения ученых, наши сказания, песни, стихи, — кто-то, да будет благословенно во веки его имя, спрятал в башне целую грудку книг... И их не нашли христиане... В свободные часы я забираться туда, читаю, думаю...

Лейла слушала брата с благоговением.

— А иногда... я придумываю песни сам... Вот, слушай.

Он откинулся на выступ стены и задумался.

Заходящее солнце пылало на белых вершинах Сиерры-Невады; по склонам гор уже ползли лиловые тени; из-за ряда черных в этот час кипарисов мелькали очертания Хенералифе с его затейливыми арками и тонкими колоннами; снизу подымался сладкий запах лимонных и апельсиновых рощ, жасмина, роз и миндаля; вода бесчисленных фонтанов, каналов и бассейнов пела и рокотала, словно стараясь заглушить назойливый хор цикад.

— Слушай.

Абналь закрыл глаза и начал:

Гаснет, гаснет день кровавый,—
Что-то страшное свершилось:
Наш отец с кипучей битвы
Не вернулся, не вернулся.
Бросил, бросил он Гренаду,
Как печальную вдовицу...
И в последний раз взглянул он
На зеленую долину,

На зеленую долину
Нашей Веги в час заката.
И сказал он с башни старой
Ей последнее прощанье.
— В день последний, день несчастный
Ты прощай, моя Гренада!..
Ах, прости, моя Альгамбра, —
Замок старый, замок предков,
Где журчат, не умолкая,
В чаще тихих кипарисов
Сладкозвучные фонтаны,
Где цветут Альгамбры розы...
Ах, прости, моя Альгамбра!..
И прощанье Абдиллели
По ущельям Альпухары
Тихим стоном прозвучало,
Разбудив печаль эхо.
И так горьки были вздохи
И стенанье Абдиллели,
Что в узорчатой Альгамбре
И в волнах Хениля звучных
Отзвались песней томной
Погребальной песней смерти...
И так горьки были вздохи
И стенанье Абдиллели,
Что деревья все поникли,
Листья мертвые роняя;
Лепестки свернули розы;
Олеандр дождем душистым
Осыпал аллеи сада;
Тень сгустилась кипариса
Вечным сторожем молчанья
Слов прощальных Абдиллели...

— Хозе!.. Клара!.. Идите ужинать!.. — слышалось из сада.

— Бабушка Сора нас зовет, слышишь?.. — протянула огорченно Лейла. — Она всегда зовет нас христианскими именами.

— Хозе!.. Клара!..

Вечным сторожем молчанья
Слов прощальных Абдиллели...

— повторил со вздохом Абналь и поднялся.

— Мы идем, идем, бабушка!..

— Что случилось, внучка?..

Девочка бросилась к старухе на шею.

— Я не могу больше... не могу... Сегодня опять я пробежала полдня за их процессиями... Мы ходили, словно стадо баранов, из церкви в церковь, из собора в собор... Я не заработала за сегодняшний день и мараведиса¹, потому что все свои розы я должна была бросать под ноги проклятым монахам; а те, что оставались в корзинке, пришлось положить к подножию их мадонны... Перед каждой статуей святого мушприкинов я должна становиться на колени, чтобы в Гренаде, где меня знает всякий мальчишка, не сказали бы, что я — мослемка...

Старуха погладила ее черные непокорные волосы и прошептала со вздохом:

— Потерпи, внучка, потерпи... Отец твой верит, что когда-нибудь настанет конец нашим обидам...

— Отец!.. Отец сам молится украдкой, прячет чалму и мослемские четки!.. Ты должна носить противную испанскую баскину и мантилью!.. Двери дома ты открываешь всегда с молитвой гяуров, чтобы тебя приняли за богомольную христианку. Абналя заставляют откликаться на ненавистное имя «Хозе»! Меня зовут «Кларой»!.. Я не хочу больше лгать и притворяться! Когда-нибудь я не удержусь и крикну: «Проклятые гяуры, я — мослемка!..»

— И тебя схватят инквизиторы, — со слезами прошептала Сора, — тебя схватят и бросят в тюрьму или сожгут...

В глазах девочки мелькнул ужас. Она закрыла лицо руками и заплакала.

— Я боюсь монахов. Когда они проходят по городу в своих сутанах, мне чудится, что за ними следом всегда идет смерть.

— Полно реветь, — остановил ее отец. — С твоими страхами недолго вконец повредить себе разум. Великое горе, что побросала все розы. В Альгамбре роз, как жемчужин на дне моря. Нарвешь завтра новых. Вытри

¹ Мелкая испанская монета.

глаза и садись есть, — слава аллаху, мы еще не умираем с голоду, как многие из наших братьев.

Они сели в кружок и, верные старому мавританскому обычаю, поджали под себя ноги, принимаясь за похлебку.

Абналь не сводил глаз с отца.

Почему всегдашняя печаль не туманит сегодня его лица?.. Отчего на губах его скользит чуть заметная улыбка? Отчего морщины, словно птицы, слетели с его высокого лба и не бороздят углов рта складками горечи? Что случилось?

— Отец!

Челеби-Зинзан взглянул на сына; в его взгляде Абналь прочел столько любви и ласки, что не выдержал и припал губами к его смуглой руке.

Они словно поняли друг друга, встали и отошли к догоравшему очагу.

Зинзан долго, не отрываясь, смотрел в глаза сыну, потом сказал медленно и отдельно:

— Абналь, ты уже не мальчик, ты — мужчина, и слава аллаху, он вложил разум в твою молодую голову. Я знаю о твоих бреднях там, в Малиновой башне, — недаром я служу сторожем этих крепостных стен. Песни веселят душу, сын мой. Они — сладкий дар аллаха. Своими песнями и доньше гордится наш бедный народ. Но сейчас не время для песен, — забудь о них. Слушай.

Зинзан нагнулся к самому лицу сына и прошептал:

— Слушай! До Гренады дошли великие вести. Там, за морем поднимаются наши родичи. С варварийских берегов готовы примчаться сюда храбрые воины с горячими сердцами и острыми мечами. Здесь, в горах Альпухары, люди уже ждут освободителей, а пока...

Он помолчал, а потом закончил гневно:

— А пока прячьте чалму и четки мослемов, прячьте книги мудрости мавров, падайте ниц перед святынями гяуров, осыпайте дороги палачей-инквизиторов розами Альгамбры, розами, что взросли на могилах наших отцов... Ибо враги еще сильнее нас. Но аллах велик, — идет освободитель.

Абналь стоял ошеломленный.

— Но до времени никому ни слова об этом, если ты — мужчина, — добавил Челеби-Зинзан и отошел.

В Гренаде справляли ежегодный праздник: день взятия города у мавров.

Колокола всех церквей, не переставая, звонили с утра; их торжествующий гул широкой волной разливался над виноградниками и зарослями сахарного тростника зеленой Веги.

От ворот Ельвиры тянулась длинная процессия монахов-доминиканцев; за ними, переливаясь на солнце яркими красками богатых одежд, колыхались ряды гренадской знати; в центре процессии огнем горели бронзовые носилки с золотой парчой; на них несли огромную разукрашенную в шелка, бархат и драгоценные камни статую мадонны; а над всем этим пожаром реяло алое, как кровь, знамя инквизиции с гербом Испании на одной стороне, а на другой — с обнаженной шпагой в лавровом венке и фигурой св. Доминика — патрона священного судилища.

Окна и балконы домов, по приказанию властей, были украшены коврами, шальями, простынями, кусками пестрых материй. Розы, жасмин, розмарин, олеандр и миртовые ветви дождем устилали мостовые.

Абналь и Лейла стояли среди толпы у собора. Сюда должна была направиться процессия, сюда, где покоились тела завоевателей Гренады — испанского короля Фердинанда и его жены и первой помощницы, королевы Изабеллы.

Абналь и Лейла хорошо знали пышную часовню их гробниц внутри собора:

Показались первые ряды доминиканцев.

Лейла схватила брата за руку.

— Мне страшно!

— Молчи.

Они отступили вместе с толпой, давая дорогу процессии. Широкой черно-белой лентой втекали ряды монахов под своды собора. Алое знамя инквизиции слегка склонилось, и край его кровавого языка словно лизнул каменную притолоку. Нищие, поддерживавшие полог входа, упали с причитаниями на колени.

Мадонна заколыхалась на своих бронзовых носилках, и дождь роз из рук благочестивых молельщиц усыпал ее подножие.

Процессия не уместилась в соборе. Толпа нарядных женщин и мужчин осталась на узорчатой мостовой.

Лёгкий гул от многотысячного перешептывания казался пчелиным жужжанием огромного улья.

— Как ты думаешь, Абналь,— шепнула Лейла,— монахи узнают, если я не пойду на Виварамблу?

Брови Абналя сдвинулись.

— Проклятые, они опять назначили аутодафе.

— Меня не схватят сбиры¹, если я не пойду туда?

— Молчи. Нас могут услышать.

Пение молитв и голоса священнослужителей волною вырывались из-под сводов собора. Христиане благодарили своего бога за дарованную победу над презренным племенем мавров и превозносили имена великой четы королей-завоевателей.

Абналь стоял бледный, как полотно его рубахи, и в уме у него проносился старый стих — одно из рыданий мавританского народа:

Племя храбрых, кто истребил тебя?..

Город фонтанов, кто покорил тебя?..

Альгамбра любезная, жилище красоты и знания,

Для чего же жить, если не видеть тебя?

Чуждый стал владеть тобой и Андалузией,—

Верно так уж определено.

Он до боли стиснул зубы, чтобы не застонать от обиды и ненависти.

— Смотри, смотри,— подтолкнула его Лейла,— народ уже двинулся к площади. Ах, нет! Это толпа дает кому-то дорогу.

Среди отгиснутых стражей рядов гренадцев показалась группа нарядных всадников.

— Кто это?

— Разве не знаешь?..— мрачно ответил Абналь.— Это брат испанского короля, дон-Хуан Австрийский, со своей свитой. Он приехал полюбоваться на свой праздник — на наш позор. Ради этого он не пожалел бросить пышный Мадрид и прискакал сюда, как ворон на падаль.

— Какой он красивый!

¹ Полиция.

— Об этом говоришь не одна ты. Все дамы в Испании сходят по нем с ума, по этом выродке в королевской семье... Ведь там все уроды, как и их змеиные сердца. Они до того злы там, при дворе, что сын ненавидит отца, отец отравляет сына...

Он наклонился к самому уху Лейлы и прошептал:

— Говорят, король отравил своего сына, инфанта дон-Карлоса, — оттого тот и болеет все время.

— Отец — родного сына?

Глаза Лейлы испуганно раскрылись.

— Не знаю. Так говорят сами испанцы.

Дон-Хуан проезжал мимо. Голубой плащ его с гербом отца — императора Карла каскадом сбегал на вышитый золотом чепрак лошади.

Поровнявшись с Лейлой и Абналем, он вдруг обернулся к одному из придворных и сказал звонким, еще юношеским голосом:

— Эти мориски чертовски красивый народ... Как вы находите, например, вот этих двоих, любезный дон-Луис?..

Он наклонился к самому лицу Лейлы и милостиво потрепал ее по щеке.

— Как тебя зовут, красotka?..

— Клара...

Абналь резко дернул ее за рукав.

— А все-таки хвала мадонне, что в наших с вами жилах не течет ни капли их поганой крови!..

Дон-Хуан подъехал к ступеням собора и ловко соскочил с лошади. Толпа подобострастно расступилась, давая ему дорогу.

Среди курений фимиама, запаха роз, священных песнопений и восхищенного шепота женщин сын Карла V вошел под своды собора.

4

Целый месяц площадь Виварамбла застраивалась амфитеатрами вокруг помоста, уставленного деревянными клетками.

Еще с вечера, накануне церемонии, угольщики свезли на Виварамблу горы хвороста и дров, укрепив среди них высокие деревянные шесты; городская стража водрузила рядом с ними знамя инквизиции и зеленый

крест, обвитый крепом, — символ веры, надежды, милосердия и скорби...

Амфитеатр для членов инквизиционного трибунала, городских советников и знати пестрел затейливыми орнаментами и коврами; верхнюю ступень — место великого инквизитора — украшал балдахин с золотой бахромой, а великолепнее всего был убран балкон королевского посланника, дон-Хуана.

Колокола зазвонили громче, и толпы народа начали стекаться к площади. Отряд стражи очищал дорогу процессии. Угольщики, вооруженные пиками и мушкетами, чинно шли впереди монашеских орденов; за монахами выступали испанские гранды¹ во главе с начальником города и офицеры инквизиции.

Но глаза всех жадно искали хвоста процессии. Там, подгоняемая стражей, тащилась вереница осужденных. За долгие месяцы и годы, проведенные в тюрьмах, они отвыкли от воздуха и света и шли, шатаясь и поминутно наступая на свои санбенито², грубо разрисованные картинами адских мук. А над ними призраками высились две чудовищные статуи и ящик с костями, вырытыми из земли, тех, кто был осужден инквизицией уже после своей смерти...

Осужденных было тридцать человек; некоторые из них считались «примиренными», и их головы не украшал обычный бумажный колпак — «кароцца» еретиков, — их ждало лишь покаяние, ношение особых крестов на одежде, бичевание, каторга или вечное заточение; те, кто согласился исповедаться перед смертью, награждались более легкой казнью: перед сожжением их душили «гаротой» — железным ошейником; всем остальным предстоял костер...

Лейла дрожала мелкой дрожью и не могла отвести взгляда от «еретиков».

Вот молоденькая дочь торговца кожей, марана³... Что могла сделать эта почти девочка, такая всегда кроткая и приветливая? Лейла хорошо знала ее. Из-под бумажной «кароццы» с намалеванными чертами лихорадочно горели большие черные глаза «еретички»; рот

¹ Высшая знать.

² Особая одежда для осужденных еретиков.

³ Крещеный еврей.

кривился в жалкую гримасу не то улыбки, не то ужаса; лицо было иссиня-бледно...

Абналь наклонился к Лейле:

— Знаешь, за что ее схватили инквизиторы?..

— Нет.

— Она заболела горячкой и в бреду стала путать слова христианской молитвы. Ее подслушал сосед-торговец и донес доминиканцам. Этим ведь он разорял ее отца, барыши которого не давали ему покоя. Монахи схватили девочку, повыманили за ее выкуп все до последнего пезета¹ у ее отца, а теперь сжигают на страх будущим «еретикам».

— Еще бы!.. — подхватила стоявшая рядом старуха, — отец Педро говорил, что она колдовала над святой молитвой, да накажет ее господь на том свете, как наказывает на этом...

— Молчи ты, ослиная кожа, высушенная в аду!.. — перебил ее сердито знакомый красильщик. — Дело не в молитве и не в колдовстве, а в деньгах ее отца.

— Пресвятая мадонна, что только говорит это ведро с краской?

— Закройте рты! — шепнул какой-то человек с смуглым восточным лицом мориска, — кругом шныряют шпионы. Не успеем оглянуться, как сами попадем туда...

— Ну, нас им нет корысти судить. Что с нас сорвешь? Все мои богатства на мне: штаны да куртка, а вот ты, ведьмина бабушка, побереги свои сундуки.

— Пресвятая дева!.. Сант-Яго-заступник! Спасите и помилуйте! — прячась в толпе, крестилась старуха.

— Попридержи и впрямь язык, приятель, — уговаривал красильщика товарищ, — это тебе не коррида, чтобы орать во все горло, что тебе нравится и что не нравится. Это — закон.

— Хорош закон — грабить невинных людей!..

— Уж не из Фландрии ли ты родом?.. Там, говорят, народ бедовый, — не любит, когда его взнуздывают.

— Эх, кабы мы взяли пример с фландрцев! Они

¹ Пезо — золотая монета.

дорого отдают свою свободу! Королю немало приходится с ними возиться!

— Молчи. Вон шныряет чья-то лисья морда. Того и гляди, влетишь с тобой в беду.

— А жаль девчонку — сгорит ни за что!

— Да сотни горят ни за что каждый год.

— Верно! Кто за свои денежки, а кто и так, для острастки таких дураков, как мы с тобой.

— Зато есть кому и обогатиться за их счет.

— Еще бы! Говорят, тот торговец, что донес на девчонку, получил уже от монахов кругленький куш и теперь выдает замуж свою собственную дочь с хорошим приданым...

— Ах, черт его возьми! Легко же иным даются денежки!

— А легче всех монахам, епископам, папе да...

— Кому?

— Королю.

— Полно врать!

— Клянусь спасением своей души, они делят все между собой поровну.

— Ну и врешь!.. Конфискованное имущество и деньги делят на три части по уговору: одну дают инквизитору, другую — королю, а третью — доносчику.

— Ну, после этого всякий станет доносить.

— И доносят, кому охота пачкаться...

— Доносить на еретиков — богоугодное дело, дурак, а ты — «пачкаться».

— А и выгодно же быть инквизитором!..

— Да, риску меньше, чем ездить через океан за золотом новой Испании.

— Да что говорить! Одним словом, всякий лентяй норовит попасть либо в монахи, либо в солдаты.

— Тьфу, дьявол!.. Да замолчите ли вы наконец?..

В-толпе перешептывались, переругивались, в ожидании начала церемонии.

Дон-Хуана все еще не было. Толпа с нетерпением поворачивала головы в сторону дворца архиепископа, где остановился царственный гость.

Гренадские доньи обмахивались веерами, улыбались знакомым мужчинам, слушали городские сплетни.

Агуадоры — продавцы воды и прохладительных напитков, измучились, разнося под палящим солнцем

корзины с плоскими кувшинами. Продавщицы цветов поминутно опрыскивали свой благоухающий товар водой из ближнего фонтана. Веера покупались нарасхват.

«Еретики», столпившись, как стадо животных, на помосте, около своих клеток, покорно ждали, ослепленные синевой неба, оглушенные шумом и смехом, придавленные близким позором и мучительной смертью.

Наконец из-за угла показалась группа всадников с дон-Хуаном во главе. На мгновение толпа забыла об осужденных, восхищенная редкой красотой императорского сына.

Лейла ничего не видела и не слышала. Перед ее глазами словно висела завеса из кровавого тумана, а из него резко выступало бледное, перекощенное ужасом лицо девочки-«еретички».

Как сквозь сон, до ушей Лейлы долетело тягучее пение христианских псалмов; потом наступила тишина.

И вдруг чей-то голос, твердый и отчетливый, крикнул:

— Братья испанцы!

— Кто это?

Вокруг заревели негодующие возгласы.

— Мы — не братья еретикам!

— Как смеет он говорить!

— Сжигайте проклятого еретика!

— Кто это, Абналь?..

— Это ученый и поэт — краса Гренады, Алонзо-Ла-Сиерра. Он учил людей любить науку и искать новых знаний. Он учил людей любить друг друга, не различая, какая кровь течет в их жилах. И вот такого человека они сжигают, Лейла.

На глазах Абналя блестели слезы.

— Братья испанцы! — продолжал, помолчав, Ла-Сиерра, — мне не страшно умирать за истину, ибо истина, что Рим и его слуги — палачи и грабители. Но зачем же вы, как слепцы...

— Зажать ему рот! — приказал великий инквизитор.

— Как слепцы...

«Гаг» — кусок надколотого дерева — зажал рот говорившего.

Наступила снова тишина.

Абналь стоял, опустив голову, и слушал.

— Верные христиане, — раздался знакомый Гренаде голос епископа. — Пусть каждый из вас, придя ныне под кровлю своего жилища, возблагодарит господа бога за дарованную милость, ибо присутствовать на аутодафе еретиков-богоотступников, врагов церкви, есть милость великая...

Он говорил долго о вере, о «святом долге» христианина доносить на всякого, кто отошел делом или словом от католической церкви, и речь его была пересыпана непонятными священными текстами.

После речи епископа присутствующие преклонили колена и тысячеголосым хором произнесли клятву защищать святую инквизицию, хранить чистоту веры и не скрывать еретиков.

Дон-Хуан произнес клятву отдельно от всех и за себя и за своего царственного брата — представителя государственной власти.

Секретарь инквизиционного суда громко и отдельно прочел список осужденных:

— «Дон Педро де-Рохас, племянник дон-Ромона де Медина, наследник его имущества во всех землях, принадлежащих ныне Испании, присуждается к ношению санбенито, к запрещению выезда из королевства и к конфискации всего его имущества.

«Дон Даниэль Висенте де Мантियो, житель Анте-квера, присуждается к ношению санбенито, к пожизненному заключению и конфискации всего имущества.

«Донья Мария де Селья, внучка маркиза де Дения, монахиня св. Екатерины Сиэнской, присуждается к санбенито, к возвращению в монастырь без права голоса, с последним местом в хоре и в трапезной, к лишению права на какие бы то ни было почести и к ежегодному денежному взносу на дела святой инквизиции в размере, установленном особо каждый год.

«Донья Инеса де Мендоза, дочь знатного сеньора, дон-Диэго Уршадо де Мендоза, внучка градоправителя Гренады, бывшая придворная дама королевы, присуждается к санбенито, к ношению креста, пожизненному заключению и конфискации имущества.

«Марио де-ла Куадра, житель Лохи, — санбенито, паломничеству к святому престолу и конфискации всего имущества.

«Хуан Мингес, слуга вышеуказанного дона Педро де-Рохас, — пожизненному заключению, работам на рудниках и конфискации имущества».

Список был длинный, подробный, с перечислением наказаний, кончающихся неизменной конфискацией имущества или ежегодным денежным взносом.

У Лейлы кружилась голова. До слуха ее едва долетали имена осужденных.

Секретарь остановился и взял новый лист, переданный ему помощником.

Рука Абналя крепче сжала плечо сестры.

— Сейчас он будет читать приговоренных к костру.

Лейла закрыла глаза.

— «Дон Франциско Сармиенто, житель Торо, золотых дел мастер.

— Гансало Ваэс, португалец, житель Хельвеса, еврей, принявший христианство.

— Алонзо-Ла-Сиерра, доктор, поэт и вольнодумец, колеблющий основы святой церкви.

— Донья Санча Салай, вдова дон-Педро Манрикес, жительница Толедо.

— Беатриса Роман, служанка вышеуказанной доньи Санчи Салай, сестра священника из Валенсии.

— Статуя и кости умершего два года назад командора Симона Чинчилья, жителя Гренады.

— Кристобал Чинчилья, сын означенного выше командора Чинчилья.

— Донья Катерина де Ортега, сестра вышеуказанного командора Чинчилья.

— Анна Мардохео, дочь кожевника из Гренады»...

Лейла упала на руки Абналю. Жадно слушавшая толпа оттерла их назад.

Секретарь кончил читать. Глаза всех поднялись на верхнюю ступень амфитеатра.

Великий инквизитор медленно поднялся с разукрашенного кресла и, указывая в сторону осужденных, отчетливо произнес:

— Предаю их в руки начальника города с тем, чтобы с ними было поступлено со всей кротостью и милосердием.

Церковь передавала осужденных гражданской власти. Кротостью и милосердием она называла сожжение на костре — казнь «без пролития человеческой крови».

Абналь на руках вынес сестру из толпы. Сотни спин закрыли от них место казни и амфитеатры служителей церкви и служителей короля.

Глава 5

Эль-Загер кончал работу, когда к нему в кузницу на Альбайцин зашел Челеби-Зинзан.

— Добрый вечер, — сказал Зинзан, опускаясь на деревянный обрубок подле горна.

— Добрый вечер. Еще рано, — солнце не село.

Эль-Загер заканчивал ковку лезвия великолепной шпаги с толедским клинком.

— Читай! — протянул он дымившуюся сталь.

На клинке было четко вырезано по-испански:

«Всегда побеждала врагов креста».

Могучая грудь Эль-Загера поднималась под холщевой, намокшей от пота, рубахой. Он с презрением бросил шпагу в чан с водой. Вода зашипела, запенилась и умолкла.

— Вот так же будет и с их победами... Они шипят и жгут, но — аллах велик — придет время, и они потухнут, как эта шпага.

Зинзан молча кивнул головой.

— До поры до времени этот клинок побеждает, — продолжал Эль-Загер, — но придет час, и мы изломаем его в куски... Смешно подумать, что я, мавр, готовлю эту шпагу для своего исконного врага, благородного гидальго и гранда, который когда-то отнял дом у моих предков. Эй, закались хорошенько, клинок, — ты скоро понадобишься кабалеро!..

Он злобно засмеялся. Зинзан покосился на открытую настежь дверь.

Эль-Загер поморщился.

— Когда-то самые храбрые воины — теперь стали трусливее зайцев. Прости, Челеби. И я такой же. Что делать? Нас с детства пригнули к земле, нас, чьи деды носились на длинногривых конях по Биб-Рамбля. А ныне там чернеют угли от костров инквизиции, и во-

роны ищут, не оставило ли им чего-нибудь пламя. О, аллах! Доколе же ты велишь нам терпеть?.. Или вместо крови в наших жилах текут слезы наших женщин и детей? Или дух великих предков исчез в нас, как дым над моей кузницей?

— Пойдем, пора, — перебил его Зинзан.

Эль-Загер залил огонь горна водой, вытащил из чана шпагу и с отвращением бросил ее в уголь на груды поломанных клинков, рукоятей и ножен. Он немного задержался в тени за горном, словно переодеваясь, и наконец вышел оттуда в черной испанской капе¹.

— Пойдем. Нехорошо, если мы придем позже других.

Они вышли из кузницы.

— Смотри...

За ближним поворотом скрылись две высокие фигуры в плащах.

— Это наши... Я узнал по походке.

Они молча двинулись следом.

Кривые, узкие улицы Альбайцина, сплошь застроенные мавританскими домами, уже тонули в черных тенях; развешенное для просушки белье казалось печальными призраками с опущенными в отчаянии руками; издали долетало сухое потрескивание кастаньет, звон гитары и гнусавый припев мужского голоса:

Возьми, красавица, апельсин, —
Я сорвал его в своем саду...
Но не режь его ножом,
Ибо в нем — мое сердце...

6

На краю Альбайцина стоял старый полуразвалившийся дом. Когда-то здесь Зинзан устроил бойню и торговал мясом; но преследование городских властей и соседей-христиан, непосильные налоги и штрафы, а главное, мечта сохранить от полного разрушения древние памятники искусства мавров Алькасабу и Альгамбру, заставили его бросить ремесло и наняться сторожем крепости.

¹ Плащ.

Старый дом стоял унылый и заброшенный, с тяжелым замком на воротах. Окна его, как окна всех мавританских построек, выходили только на обширный внутренний двор.

С первыми тенями ночи к дому стали стекаться молчаливые фигуры. Они прижимались к стенам, таились и прятались, боясь ночных патрулей городской стражи.

Луна обливала голубоватым светом двор, вытоптаный когда-то скотом, заглядывала в маленькие решетчатые окна и колебала на полу внутри дома темные тени решеток...

Замок глухо загремел под руками Зинзана; люди вошли через низкую дверь, плотно прикрыв ее за собой.

— «Аллау-экбер», братья... — первым заговорил хозяин.

— «Ла — иллале иль аллал»... — чуть слышно ответил хор голосов.

— Братья, — продолжал Зинзан, — я вижу здесь многих, кому дорого счастье поверженного во прах народа... Ныне я буду плохим хозяином и забуду исстари прославленный обычай мавров — гостеприимство... Я не зажгу огня, ибо знаю, что никому из нас не сладко отведать огня св. Германдады¹... Огонь горит в глубине наших сердец, и его пламя ярче пламени солнца... Я не предложу вам умыть рук, ибо они давно омыты слезами отчаяния... Я не предложу вам вина, ибо виноградники наши брошены и высохли под руками, отнявшими их у нас... Вино же поработителей горько для сынов пророка, как полынь и желчь нашего гнева... Я не зарежу для вас лучшего барана, ибо стада наши рассеяны, подобно своим хозяевам... Но я предложу вам ныне то, что слаще меда и что пьянит сильнее, чем вина Хереса и Караваки. Слушайте!.. Эль-Загер будет держать речь к своим братьям, правоверным сынам пророка. Слушайте!..

В полосу лунного света вышла могучая фигура кузнеца.

Все отшатнулись. По рядам собравшихся пробежал шепот восторга:

¹ Костер инквизиции.

- Альборнос!.. Сарых¹!..
 - Он обезумел!..
 - Он забыл о черных рясах инквизиции!..
- Эль-Загер засмеялся.

— Нет, я хорошо их помню... Я помню их с тех пор, как во времена моего детства они увели в тюрьму всю мою семью... Я их помню с того дня, как меня взяли на Виварамблу, где моя семья показала, как могут умирать настоящие мослемы... Я помню черные рясы с тех пор, как, наглядевшись на огненные муки моих родных, я плакал от страха и голода на скользких плитках подвала во дворе архиепископа... И когда меня окропили иссопом, вместе с другими детьми ограбленных, замученных, убитых мослемов, я сказал себе: «Нет, я — не христианин, ибо нельзя принудить человека силой верить в их Христа; я — навсегда мослем потому, что семья моя научила меня не бояться ни смерти, ни мук». Но я молчал, ибо я был один. Но ныне нас много, братья, я знаю...

Мавры жадно слушали.

Эль-Загер стоял в лунном свете, в длинном альборносе, с ножами, засунутыми за широкий восточный кушак. Голову его обвил белое полотенце с тусклым старинным шитьем.

Он поднял руки, показывая свою одежду.

— Братья, этот наряд я сохранил, чтобы показать его когда-нибудь, как знамя нашей свободы. Да будет благословен этот час и день, ибо я высоко поднимаю наше знамя...

Ряды собравшихся дрогнули.

- Эль-Загер!
- Брат наш мослем!
- Истинный сын пророка!
- Дай нам дотронуться до складок твоего альборноса, — от него исходит благоухание мираби²!
- Скажи, что нам делать?
- Веди нас.
- Учи нас!

Мавры плакали, целуя широкие складки выцветшего от времени альборноса.

¹ Полотенце в головном уборе магометан.

² «Святая святых» мечети, где хранится коран.

Кузнец протянул к собравшимся руки, призывая к молчанию.

— Братья мои, народ мой, слушай!.. Через меня вам говорят сердца ваши. Мы — рабы, хотя открыто нас и не признают рабами, но жены наши и дети, наше имущество и сами мы — в полной власти врагов. У нас столько же тиранов и мучителей, сколько соседей-христиан. Наш труд презирают и облагают, что ни день, новыми поборами и податями.

— Правда!

— Верно!

— Твоими устами истинно говорят наши сердца!

— Говори! Говори!

— Мы лишены права убежища в священных местах, где спасаются даже совершившие убийство и грабеж. Мы лишены покровительства тех самых церквей, которые под страхом смерти и вечного заточения нас заставляют посещать; мы под властью священников, которые нас грабят. Нам запрещено общение с людьми, ибо мы не смеем говорить на родном языке, а языка кастильского многие из нас не понимают. Как же сноситься с людьми? Как требовать или предлагать необходимое?.. Мы не смеем выехать за пределы города без особого на то разрешения. Как же вести торговые дела? Мы не смеем иметь корабля, чтобы, подобно христианам, покупать и продавать на месте, а не через чужие руки. Мы не смеем учить наших детей, ибо наука ведет их к костру или тюрьмам.

— Проклятие, проклятие гяурам!

— Да испепелит их гнев аллаха!

— Да испепелит он их, как они испепелили страну красоты и знания!..

— Тише, тише, правоверные!..

Эль-Загер говорил, как в бреду:

— Испанцы отдают наших детей насильно в свои монастыри... Мало того, они грозят вырвать детей наших из объятий матерей и отцов и услать в чужие страны, где дети отстанут от наших нравов и обычаев и сделаются врагами тех, кому обязаны жизнью...

В ответ раздались глухие рыдания. Кто-то плакал, уронив голову на колени.

— Ты терзаешь мне сердце, Эль-Загер... Истину говоришь ты: моего сына, опоры моей близкой старости,

мою надежду и гордость, услали к чужеземцам еще прошлой весной, и я похоронил его в глубине моего сердца... О, братья, как тяжело подчиняться врагам...

Зинзан стоял у окна, весь залитый лунным светом, по лицу его блуждала улыбка.

— Не плачьте, сыны пророка, не рвите сердца, — сказал он, — аллах велик. Он дал нам некогда времена сладчайших утех и радостей, времена могущества, знаний, красоты. На холмах Гренады развевались тогда складки наших одежд, журчала, подобно фонтанам, мавританская речь, красовались на головах чалмы и тюрбаны... Наши певцы слагали дивные песни, женщины славили народ свой плясками, мудрые писали книги, строили башни и стены несравненной красоты, проводили воду с горных высот на пустыри и каменистые лощины, пахари растили небывалые хлеба и плоды, и слава о мудрости и силе нашего народа летела тогда по всему миру, как слова молитвы муэдзина¹ в вечерний час с верхушек минаретов: «Ишедю эн ляилияэ иллала!..»

— «Ишедю эн ляилияэ иллала!..» — ответил вдохновенно Эль-Загер.

— Не плачьте, братья, — повторил Зинзан, — аллах велик, он вернет нам счастье...

— Аллах вернет нам счастье, — почти выкрикнул Эль-Загер, — а пока гяуры топчут нас, как копыто мула, топчет навоз на дороге. Нам запрещено строить лучшие, чем у испанцев, дома, нам запрещено строить бани, которыми славилась когда-то города Андалузии. Нам запрещены песни, танцы и все наши бывлые забавы... Даже одежда наша пришлась не по вкусу христианам. Они заставляют заменять наш народный наряд кастильским. А разве сами они не одеваются каждый по-своему: немцы так, французы иначе, — все одеваются по-разному, хотя и все они — христиане? Но мы — мавры, мориски, грязь под ногами победителей... Мы не смеем одеваться, как мавры, как будто веру нашу мы носим не в сердцах своих, а в платье...

— Что же делать, Эль-Загер?

— Научи нас, что делать!

¹ Священнослужитель, призывающий магометан к положенным обрядностью молитвам.

- Ты растравил нам сердца!
- Ты зажег нас, как искра зажигает порох!
- Скажи же, что делать?

Кузнец подался всем телом вперед и прошептал отчетливо и резко:

— Восстаньте!

— Восстанем! — пронеслось по рядам. — Весь Альбайцин восстанет за нами!..

Торговец кинжалами и шпагами выступил вперед с горящими от гнева глазами.

— Эль-Загер, будь нашим вождем... Я дам всем оружие; из Дамаска, из Толедо, из Александрии мои клинки! А сердца наши крепче закаленной стали!..

Эль-Загер остановил его.

— Нет, не я поведу вас. У вас уже есть вождь. Мослеме, что совершают набеги на христиан, не зная ни страха, ни покорности, — там, на землях султана, — избрали уже вождя мавров.

Среди собравшихся поднялся взволнованный гул.

— Что он говорит?

— Где вождь? Кто знает его?

— Молчите!.. Слушайте!.. Зинзан говорит.

Зинзан говорил тихо и торжественно.

— Аллах ведает, что нужно сынам Магомета. Как лавина с гор, покрытых снегами, двинется сила правоверных. Издалека, из благословенной земли мослемов, идет он, наша надежда, наш вождь. И близок час, когда он будет среди нас, братья. Близок час нашего освобождения. Со дня на день ожидайте вождя. Мне дано счастье принять его, а вам — утвердить его избрание.

Радостный гул пробежал по рядам мавров.

— Велик аллах!.. Велик аллах!..

— На высотах Альпухары, — продолжал Зинзан, — вы утвердите знамя своего вождя, сына славных предков, мудрого знаниями Абдаллы, и да будет счастлив и благословенен час его прихода в Гренаду. Все вы, что собрались сегодня сюда, с нынешней ночи собирайте деньги и ищите истинных мослемов, готовых отдать жизнь за свободу; пусть они собираются тихо, без шума в тайниках горных высот, где многие из нас знают каждую тропинку. Пусть туда придут враги, — мы сразимся с ними. И только тогда они возьмут приступом родные горы, когда померкнет солнце, а мы ляжем костью.

— Да будет благословение аллаха над нашим вождем!.. — отозвались мавры.

С улицы слабо долетел звон оружия и гнусавое пение молитвы.

В доме Зинзана разом все стихло.

— Инквизиторы!..

Слова молитвы стали слышнее, оружие прогремело вблизи ворот; на улице кто-то беспомощно плакал и молил о пощаде...

Шаги замерли у входа; казалось, за стенами притаилась сама смерть.

Эль-Загер выпрямился во весь рост.

— Пришло несчастье...

Но шорохи неожиданно замерли, и шаги удалились; голоса стали стихать... Все облегченно вздохнули.

— Прошли мимо!.. Хвала аллаху!..

Он скоро вернулся, бледный и взволнованный.

— В щель калитки я видел развевающийся шарф женщины, — ее тащили в тюрьму. Последний монах говорил другому что-то о квартале Закатина.

— Проклятые! — прошептал в ужасе Зинзан. — Там нынешней ночью совершаются молитвы... Наши братья читают тайно коран. Аллах, защити и спаси их!

7

— Приветствую тебя в сердце Гренады, эффенди, — говорил Зинзан, открывая перед Абдаллою потайную калитку Альгамбры.

Абдалла благоговейно склонил голову и переступил порог.

Он приехал только сегодня, — тайно прибыл с варварийских берегов, переодевшись пилигримом и изучив все обычаи католических богомольцев.

И вот он стоял наконец на земле «Садов Пророка», в самом сердце Андалузии, где каждый камень дышал прошлым великого народа.

Зинзан провел его самой старой частью Альгамбры, минуя двор Мирт или Бассейна, прекрасный, как все в этом прославленном с древности дворце-крепости.

По ослепительно белым мраморным плитам они прошли в «Месуар». Над аркой главного входа уже почти стерлась надпись арабского изречения, задавленная

фасадом неуклюжего Алькасара — дворца императора Карла: «Входи и проси. Не бойся просить суда, ибо найдешь его».

Они повернули налево колоннадою, соединенной воздушными подковообразными арками. Она примыкала к громадной четырехугольной башне.

— «Комарег», — прошептал Зинзан.

Внутренность этой башни когда-то отделявали нарочно выписанные из Персии мастера в затейливом персидском вкусе.

После ослепительного сияющего «Месуара», «Комарег» казался печальным памятником прошлого величия. Среди арабесок и изречений из корана на стенах мелькали целые стихотворения, восхваляющие строителя дворца Бен-Нассера...

Сумрачная «Зала Аудиенций» с потускневшим золотом арабесок резного дубового потолка охватила Абдаллу жуткою тишиной. По описаниям и рассказам, он хорошо знал расположение покоев Альгамбры и искал глазами девиза Бен-Нассера...

Абдалла нашел наконец тончайшие завитки надписи:

«Один бог — победитель».

— Бен Нассер, — прошептал он с тоскою, — Бен Нассер, могучий и мудрый, зачем не написал ты: «Народ-победитель»? Я преклонил бы ныне трижды колена перед такой надписью.

Зинзан поднял на него удивленный взгляд.

— «Один бог — победитель» — такова вера твоих братьев эффенди, такова истина, сохраненная нами от предков.

Абдалла ничего не ответил и пошел дальше.

В простенке между залой и «Месуаром» виднелись небольшие ниши для обуви, которую оставляли при входе. Абдалла хотел разуться, но Зинзан остановил его.

— Ты — избранник своего народа, эффенди; ты — у себя; твой башмак не оскорбит святого места.

Абдалла счастливо улыбнулся.

— Да будет благословен народ, избравший меня на великое дело. Да пошлет мне судьба счастье умереть, защищая его свободу.

В глазах Зинзана блеснули слезы.

— Не оступись, эффенди,— сказал он нежно,— здесь камни и провал. Сохрани аллах твою драгоценную жизнь.

Они повернули назад, обогнули легкий, словно вылепленный из белого воска, портал и остановились.

— Двор львов.

Лицо Абдаллы вспыхнуло. Он протянул вперед руки, словно защищаясь от охватившего его восторга... Неужели люди могли создать эту красоту?..

Перед ним был целый лес тончайших колонок и арок. Сквозь белый мрамор просвечивало солнце, и колонки казались живыми, полными горячей розовой крови... Игра света и тени чередовалась в мельчайших гипсовых украшениях, сохранивших еще следы ярких и нежных красок. Наружная сторона галереи вилась среди зелени сада легким кружевом...

Перед глазами Абдаллы, среди восточных подковообразных арок, мелькали надписи людей, создавших когда-то могущество и культуру, стертую победителями с лица земли.

Он смотрел на большую мраморную чашу, испещренную арабесками, смотрел на двенадцать мраморных львов, столпившихся и подставивших спины под тяжесть чаши. Он слушал немолчный говор фонтана — единственный голос в этом, словно замороженном, царстве прошлого...

Из чаши поменьше была широкая струя воды и выливалась через пасти львов в сверкающий белизной бассейн.

Было что-то таинственное и притягивающее в уродливых зверях, сделанных нарочно безобразными, — коран запрещал изображать живые существа, которые на том свете могут потребовать себе душу у художника.

Абдалла прочел на чаше:

«Да будет благословен давший повелителю Махомеду жилище это, по красоте своей — украшение всем жилищам человеческим».

«Если же ты сомневаешься в этом, то взгляни на все тебя окружающее: ты увидишь такие чудеса, что бог не дозволил, чтобы существовали равные им даже в самых храмах».

«Эта масса прозрачных перлов блестит и сияет в падении своем».

«Посмотри на воду и посмотри на чашу; невозможно отличить, вода ли стоит неподвижно или то струится мрамор».

Стершиеся от времени надписи порою прерывались и снова выступали.

«Может быть, все существующее не более, как этот белый, влажный пар, стоящий надо львами».

«О, ты, смотрящий на этих львов, которым только отсутствие жизни мешает предаться своей злобе».

«О, наследник крови Бен-Нассера... Нет славы и могущества, равных твоим, поставивших тебя выше всех сильных властителей...»

«Да будет непрерывно мир над тобою... Да сохранится твое потомство и да торжествуешь ты над своими врагами».

— Зинзан, брат мой... — сказал Абдалла, и голос его дрогнул, — вот здесь в этих словах, в этих древних надписях таится вся глубина души нашего бедного, великого народа... Я не знаю, поймешь ли ты меня, ибо я чаще говорил с книгами, чем с людьми. Слушай! Как у пчелиной соты много граней, как много граней у отполированного резчиком алмаза, так многогранна и душа нашего народа. В ней все — противоречие, в ней все, как песня, — однозвучно... Важны, и величавы, и медлительны были наши предки в созерцании мудрости и красоты мира. Но не здесь ли, в волнах шелка, среди журчащих фонтанов, среди этих шаловливых арок, в прохладе апельсиновых рощ и золотистых фазаньих опахал, умащенные ароматами востока, отдыхали после кровавых походов храбрейшие из воинов вселенной... Женская нега и мужество сердец сплетались нераздельно в душах нашего народа... Но ныне нам надо забыть о неге и заковать себя в железные латы. Готовы ли братья к этому?.. Или они хотят взять оружие в руки, чтобы выронить его на пух подушек, после первой же неудачи?..

— Ты увидишь это на деле сам, эффенди, — ответил Зинзан спокойно, — язык мой бессилен рассказать тебе о ненависти братьев к гурам.

Абдалла тяжело вздохнул, словно отгоняя мучительную мысль, а потом проговорил тихо и уверенно:

— Зинзан, брат мой, ненависть должна быть лишь ступенью в нашем деле. Через нее я хочу повести на-

род свой к высшему благу: красоте, знанию и справедливости, ибо в этом — истинное величие души человека...

И он отвернулся от огромной чаши фонтана в «Зале Абенсеррахов», увидев на дне ее отвратительное красное пятно крови.

— Я знаю, — перебил он начавшего объяснять Зинзана, — говорят, это кровь казненных родичей Абенсеррахов. Горе, горе моему народу. В собственных раздорах лежит корень его гибели.

Они молча шли дальше, пройдя башню для отдыха женщин с полом, усеянным мелкими дырочками для благовонных курений.

— Джамии¹, — прошептал, останавливаясь на повороте, Зинзан.

Абдалла увидел разрушенную победителями святыню мослемов, хаос стен с разбитой резьбой, с изломанным мираби и с маленькой башней, словно изрешеченной ударами.

Они опустили головы и прошли дальше.

— Усыпальница великих... — сказал таинственно и благоговейно Зинзан.

Дверь вела к груде камней и мусора. Тусклый свет проникал через двенадцать узких окон залы. Здесь, под этим мусором и щебнем, лежал прах «отца наук и мира» — Абналь-Гамара, «великого художника» — Бен-Насера и «справедливого» Юсуфа.

— Гяуры все разрушили...

Абдалла закрыл лицо руками и простонал с тоскою:

— За что они так ненавидели благороднейший из народов?.. За что растоптали его святыни, его красоту, его мудрость?.. Почему не взяли в пример его терпимость к чужим обычаям, к чужой вере, к чужой мудрости?.. Гяуры затопили нашу землю кровью, и в этой крови увяли все посевы труда и знаний наших предков... И лишь новой рекой крови удастся нам вернуть силу и жизнь придавленным во прах росткам...

— Да... рекой крови, эффенди, — повторил Зинзан.

¹ Большая мечеть («место собраний»).

Абдалла не долго оставался в Альгамбре. Надо было начинать дело восстания.

В день отъезда он пошел проститься со святыней мавров. Кто знает, может быть, ему не удастся больше ее увидеть. Зинзан, как всегда, сопровождал его.

Они обошли все залы, все галереи, все проходы и вышли на балкон верхней башни.

Внизу за окном раскинулась зеленая пропасть; оттуда неслышимый рокот бесчисленных ручьев и фонтанов. Среди пышной листвы красной змеей сползала покрытая плющом стена Алькасабы; среди темных буков и лавров распластались синеватые алоэ, а дальше, на горе, над террасами садов виднелись подковообразные воздушные арки Хенералифе. Могучая Сиерра-Невада сияла вдали снеговыми шапками, и они искрились радужными переливами...

На крепостной стене разом точно выросла фигура человека. Длинная белая борода его спускалась почти до колен; он был бос; на плечах его висело выцветшее от времени рубище; на голове торчал «сикич» — высокая войлочная шапка дервишей.

Вскарабкавшись на стену, старик поднял кверху руки и закричал протяжно и пронзительно:

— «Бисмилях»¹!.. Один бог — победитель!..

Абдалла вздрогнул.

— Не бойся, эффенди, — сказал спокойно Зинзан, — это — старый нищий, дервиш Мугтедин-Баба; он увидел тебя, — он предсказывает.

— Откуда он и где живет?

— Откуда он, ведает один аллах, а живет он везде и нигде; чаще всего он прячется в садах Альгамбры, и даже слуги святой инквизиции не знают, где и когда он спит... Христиане на него махнули рукой, а мы чтим его, ибо его устами часто говорит аллах.

И, понизив голос, Зинзан таинственно добавил:

— В нем действует невидимая сила. Смотри и слушай, эффенди.

Дервиш упал на камни, прижимаясь лицом к земле;

¹ Религиозное восклицание магометан.

борода его ручьем заструилась по каменной ограде. Резкий голос снова прорезал тишину:

— Хвала аллаху! Хвала аллаху! Слава нашему повелителю!

Зинзан побледнел и с суеверным благоговением наклонил голову.

— Слышишь, эффенди... Ты будешь великим повелителем, — таков твой «кисмет», твоя судьба, твой жребий.

Странное тоскливое предчувствие сжало сердце Абдаллы, когда он подумал о своем «кисмете».

— Повелитель! Повелитель! — долетело снизу резким криком.

Абдалла отвернулся в сторону сада. Там среди зеленой чащи карабкалась к стене фигура девочки. Она неслась в руках плоскую маисовую лепешку; ее смуглые ноги быстро мелькали между агавами, избегая колючек; черные косы разметались и прыгали при каждом движении. Добравшись до старика, девочка положила лепешку в его чашку из кокосового ореха.

— Твоя дочь добра, Зинзан, — это хорошо. Когда мы кончим войну, нам нужны будут добрые жены и матери. Они воспитают нам мудрых и добрых сыновей, и те возродят нашу былую славу. Возьми отдай нищему и от меня, но скажи, чтобы он перестал кричать всякий вздор... Еще не время открыто говорить на языке предков, а речь его пересыпана словами мослемов. Мы еще не завоевали свободы и должны молчать.

Они вышли из башни и, миновав женскую половину дворца, спустились в сад.

Их обступили кусты жасмина и роз; олеандр и гранаты мелькали яркими пятнами среди темной зелени буков. Говор фонтанов стал звонок и певуч.

На повороте одной из аллей они столкнулись с Абналем.

У мальчика почти не было теперь свободного времени. Отец доверял ему самые секретные поручения, и Абналь целыми днями бегал от одного заговорщика к другому, прятал вместе с ними оружие, собирал сведения, следил за безопасностью «великой тайны».

Увидев Абдаллу, Абналь смущенно остановился. В руках у него было несколько пожелтевших, изъеден-

ных крысами и сыростью рукописей с причудливыми завитками арабских букв.

Лицо Абдаллы вспыхнуло радостью.

— Неужели это наши старые книги? Разве не все они сожжены на Виварамбле Циснеросом? Ты читал их?

— Да, эффенди...

— Мальчишка целыми днями читает, — вмешался Зинзан, — и, слава аллаху, не ослеп до сих пор, хоть и читает нередко при свете звезд... У нас ведь не хватает для него масла... Я не раз бранил его за это пустое занятие, эффенди, но ничто не помогает... Он упрям, как мул, этот сын ослицы...

Абдалла нахмурился.

— Никогда, слышишь ли, никогда не мешай ему читать. Велика мудрость книг, и все, что он прочтет в них, — все ему на пользу. Если тебе будет нужно масло, юноша, приди ко мне. Вот тебе пока дукат, — у меня нет испанских денег; променяй это мослемское золото за золото гяуров. Когда-нибудь ты покажешь мне все свои книги, а пока...

Он не договорил и прошел дальше, в глубь зеленой чащи. Абналь долго еще стоял, смотря ему вслед.

Он очнулся от прикосновения чьей-то руки.

— Лейла?

— Да, это я, — говорила девочка, — я стояла за кипарисами и слышала все, что говорил он... Я видела его среди стен Альгамбры... А Муттедин-Баба прокричал на весь мир о величии и славе его.

9

Дело восстания подвигалось медленно, с величайшей осторожностью; необходимо было поднять не только мавров Гренады, но и всего полуострова. С варварийского берега перевозили лишь мавров, знавших испанский язык; заготавливали оружие, порох.

Переправу оружия взял на себя Абенамар, тайно вернувшийся в родные горы. Могарем по-прежнему перевозил мавров, но теперь уж назад из Африки в Испанию. В Кадиксе, в Сеуте, в Тарифе, в Альмерии, по всему побережью у восставших завелись друзья-перевозчики.

Испанские мавры покидали свои жилища и переселялись с семьями в горы. Там они разбивали шатры и вели давно забытую пастушескую жизнь; стада их паслись, как некогда, на зеленых горных откосах; под палящими лучами солнца, огнем зажигавшими недоступные вершины гор, играли голые дети; женщины готовили у костров, под открытым небом пищу. И так мирно было с виду это горное царство, эти орлиные гнезда, что редким путникам, заходившим случайно в горы, не приходило и мысли о скорой вражде, крови и насилии.

Иногда в горах появлялись таинственные фигуры арриеро¹ с тюками оружия, спрятанного в шелка и полотно; проходили нагруженные тайным товаром мулы; нередко показывался Абенамар; дочери помогали ему.

Они жили, подобно другим, в одном из ущелий Сиерры-Невады, под наскоро раскинутым шатром, готовые при первом сигнале двинуться в путь.

Айше была счастлива в этой глуши, вся отдавшись мысли о скорой мести.

Фатьма же часто плакала и тосковала по шумной городской жизни.

— Я уже не девочка, — говорила она со слезами, — мне хочется, как всем в мои годы, веселья, песен, плясок, подруг. Разве можно меня винить за это?

— Молчи! — отворачивалась от нее сестра, — мне стыдно слушать такие слова! Погоди, аллах накажет тебя!

— Аллах! Аллах! Почему же аллах не накажет раньше испанцев? Если он настоящий бог, почему он позволяет христианам властвовать над маврами? Почему не поборет Христа?

— Ты глупее нашего мула, дочь шайтана! — плевала на нее Айше и отходила.

И Фатьма оставалась одна со своей тоской, со своими сомнениями.

Изо дня в день глядела она на грозные ущелья и скалы Сиерры, на перемену красок среди снеговых вершин, слушала клекот горных орлов и плакала, заламывая над головой смуглые руки.

¹ Погонщик мулов или лошадей.

Порой она ложилась на край утеса, смотрела в далекое небо, протягивала к нему пальцы, словно стараясь задержать редкие облака, и пела:

Лучше променять радость на горе,
Чем жить без любви...
В счастье и умереть сладко...
Жить же в забвеньи — все равно, что не жить...
Лучше томиться, перенося страданья,
Чем жить без любви...

Легкие облака проносились мимо, таяли в бездонной выси, и слова песни замирали сами собой.

— Эо!.. Эо!.. Эо!.. Эо!.. Иниго!.. — аукалась Фатьма с ближним эхо. — Эо!.. Эо!.. Эо!.. Родриго!..

— И-ни-го!.. Ро-дри-го!.. — отвечали горы, и все снова смолкало.

Фатьма сбегала к ручью, умывалась в его холодной воде, ловила руками клочья белой пены, разбрасывала их тысячами сверкающих алмазов на нависшие над ручьем кусты кизилия и смеялась. Но смех замирал скорее песен и эхо.

— Фатьма! Пепита! — говорила с тоскою девушка, глядя на свое дрожащее в воде отражение. — Фатьма! Пепита! Не все ли равно? Не все ли равно, когда лицо твое скоро поблекнет, и станешь ты желта, как зерно маиса? И завянешь ты, как сухой листок кизилия? Фатьма! Пепита! Не все ли равно?

Потом она становилась на колени, складывала на груди руки и молилась:

— Аллах... или Иисус... пошлите мне счастье!

А день умирал. Ночь черным плащом надвигалась на горы. Среди ущелий подымался ветер, и становилось страшно лежать в шатре на циновке и слушать далекий вой шакалов.

10

— Отец! Отец! Коза запуталась в кустах! Иди, помоги нам вытащить ее.

Айше приподняла полог шатра и остановилась как вкопанная.

— Кто это?

Абенамар, мрачный и угрюмый, возился над кем-то, беспомощно лежавшим на черной испанской капе.

— Кто это?

— Не знаю. Какой-то мушрикин. Я подобрал его в горах с переломанной ногой. Верно контрабандист. Он был без памяти, пока я тащил его сюда.

— Мушрикин?..

Глаза Айше разом почернели. Углы рта искривились злобной гримасой.

— Мушрикин, говоришь ты? Так убей его!

Абенамар поднял на нее строгий взгляд.

— Коран учит нас гостеприимству, а не предательству. Придет время, и я убью его, как собаку, но только не теперь, когда он слабее ребенка. Ступай отсюда, — не дело женщин вмешиваться в дела мужчин.

Айше вспыхнула.

— Так было когда-то, а не теперь! А теперь, слава аллаху, женщины, наравне с мужчинами, прячут на груди порох, пробираясь по кручам, наравне с мужчинами они готовятся к восстанию, а придет час, — они, наравне с мужчинами, будут и драться! Дай же мне убить эту собаку, чтобы она не привела за собой десяток других!

Полог шатра распахнулся, и на пороге показалась Фатьма.

— Что же вы не идете оба? Коза переломает так себе ноги...

Она остановилась, увидев распростертое тело.

— Отец, — говорила злобно Айше, — позволь убить этого пса, чтобы он не рассказал гяурам, где скрываются сыны пророка! Дай мне убить его сейчас, чтобы после нам не пришлось рвать на себе одежду и кричать: «Проклятый, он предал нас!»

Лицо Фатьмы стало белым, как полотно. Она рванулась вперед, оттолкнула сестру и прикрыла собой лежавшего.

— Не смей его трогать, змея! — закричала она иступленно. — Не смей!

Айше попятилась вглубь шатра. Абенамар молчал, сдвинув брови. Лежавший застонал и открыл глаза. Фатьма стремительно склонилась к его лицу.

— Тебе больно?

— Да... Где я?..

— В горах... у пастухов... не бойся...

Человек слабо улыбнулся.

— Я никогда... ничего... не боюсь... Но... как я... попал сюда?..

— Не знаю. Верно, отец притащил тебя.

— Да хранит его... за это... Сант-Яго... Ты его дочь?

— Да.

— Ты красивая девушка...

Краска залила щеки Фатьмы.

— Как зовут тебя?..

— Пепита... А тебя?

— Энрико Нигрино. Дай мне пить.

Глаза Фатьмы горели, как звезды, когда она подавала глиняный кувшин с водой.

— Да хранит тебя святая дева, Пепита. Ты красива и добра, как ангел. Но сейчас я хочу спать... только спать... больше ничего... а завтра...

Он разом уснул, упав головой на колени девушки.

Фатьма смотрела ему в лицо и улыбалась странной, блуждающей улыбкой.

11

— Прощай, Пепита! — говорил весело Нигрино, — скоро я совсем поправлюсь и уйду от вас!.. Будешь вспоминать меня?

— Уйдешь? — испуганно переспросила Фатьма.

— Ну, конечно. Не останусь же я в горах!.. Я — не горный козел, чтобы лазить вечно по утесам и скалам. Меня ждет город и веселая жизнь!

Фатьма бессильно опустила на камень.

— Ты — добрая девушка, — продолжал Нигрино, — и красива, как цветок граната. Я долго буду помнить о тебе... Твоя же сестра — злая и скоро состарится... А перед тобой еще много веселых лет. Мой совет тебе: не засиживайся долго в этой трущобе, — здесь тебе не найти жениха. Спускайся лучше вниз, в Гренаду или в другой какой-нибудь город. Будешь первой красавицей. В честь тебя по ночам молодцы будут петь серенады и брэнчать на гитаре... А пойдешь замуж, я привезу тебе хорошенький подарок, — станешь наряднее всех девушек в округе... Только не выходи за купца или ремесленника, их не очень-то почитают в городах.

— Я не пойду замуж...

Нигрино расхохотался.

— Все девушки говорят это, пока не встретят своего милого!

Фатьма закрыла лицо руками и вдруг заплакала.

Нигрино презрительно свистнул.

— Я думал, ты не умеешь плакать! Оттого ты мне и нравилась! В тебе была «соль», удаль!.. Перестань, я не люблю, когда хорошенькие девушки плачут.

Она покорно вытерла рукавом слезы и подняла на него улыбающееся жалкой улыбкой лицо.

— Ну, вот, так гораздо лучше. Когда ты смеешься, кажется, что это рокочет фонтан на площади Севильи, откуда я родом. А пляшешь ты, клянусь честью, лучше всех девушек Испании. В городе тебе чертовски повезло бы с твоим личиком и плясками. Там любят таких «соленых»¹, как ты!

Он лениво зевнул и развалился на горячей от солнца траве. На фоне мрачных серых утесов Сиерры особенно резко выделялась красота его здорового тела.

Он мечтал:

— Я люблю горы, но только летом. Осенью и зимой здесь бушуют ветры,— становится холодно и скучно. Тогда я бросаю контрабанду и остаюсь в городе. Там я делаюсь снова матадором...

— Убиваешь быков?!— восторженно всплеснула руками Фатьма.— Я знаю это! Я видела в Вальядолиде! Это очень красиво!

— Еще бы! Бой быков! Коррида! Скоро я буду первой шпагой Испании²! Выскочка Лагартихо уже начинает здорово надоедать публике, и не сегодня-завтра его освищут. И тогда моя звезда заблестит, как солнце... Я брошу навсегда контрабанду и буду только матадором.

— Счастливый!

— Чертовски счастливый! Говорят, мне с детства ворожит сам сатана, ха-ха-ха!

Фатьма слушала его, затаив дыхание.

— Расскажи мне про матадоров.

— Жизнь матадора,— начал Нигрино небрежно,— вечная опасность и риск. Слава и смерть! Вот он выхо-

¹ Испанское выражение, означающее особую удаль и изящество, соединенные в женщине.

² Звание, присуждаемое лучшим матадорам.

дит на арену. Тысячи глаз глядят на него и ждут, следят за каждым его движением. Вот выпускают быка. Зверь летит на тебя, а ты спокойно перерезаешь ему дорогу и разишь шпагой! Кровь льется рекой на песок, а толпа кричит, словно все сошли с ума, и даже сам король, понимаешь, сам король забрасывает тебя цветами.

— Сам король?

— Ну да! Король очень часто присутствует на бое быков, разве ты не знаешь? А еще жила в Вальядолиде... Вот это, например, кольцо мне бросила на арену сама маркиза Оливарес, придворная дама королевы. Она влюбилась в меня с первого взгляда.

Он вытянул руку и показал золотое кольцо с большим опалом.

Фатьма была подавлена рассказом Нигрино и чувствовала себя перед ним маленькой, ничтожной и никому не нужной.

— Вот это жизнь, а я...

— И ты бы могла жить не хуже, если бы бросила свои дурацкие горы.

— Возьми меня с собой,—прошептала она чуть слышно.

Фатьма сама не сознавала, как могла вырваться у нее эта просьба.

Нигрино расхохотался.

— Да ты с ума сошла, моя милая!

Он отвернулся, показывая, что разговор кончен, и скоро громко захрапел, усыпленный жгучими лучами.

Фатьма осталась сидеть подле него. По лицу ее текли слезы.

12

Через четыре дня Фатьма убежала за Энрико Нигрино.

Сначала он очень рассердился, когда она, догнав его в долине, заявила, что больше не вернется к отцу. Он пробовал уговорить ее и лаской и угрозами, наконец избил ее, как надоевшую собаку, и пошел своей дорогой, не обращая на нее внимания.

Но она по-прежнему поплелась за ним, покорно и жалобно плача:

— Не отгоняй меня, Энрико. Я люблю тебя. Я полюбила тебя сразу, с первого взгляда на твое лицо. Я молилась Иисусу, чтобы он послал мне счастье, и он привел тебя в наши горы. Если ты оттолкнешь меня, я все равно умру. Я не могу жить без тебя. Ты — моя жизнь. У меня нет больше ни отца, ни сестры. Я бросила их ради тебя. Твоя вера будет моей верой. Ведь меня крестили в детстве. Я — христианка. Ты можешь не стыдиться меня... Не отгоняй же меня, Энрико, пожалей.

И он взял ее с собой.

Узнав о бегстве сестры, Айше набросилась на Абенамара:

— Вот видишь, разве я не была права, когда хотела убить собаку-мушрикина? Он околдовал девчонку! Будь проклят отныне этот змееныш, ужаливший сердце родного отца! Пусть вовеки не найдет она покоя и счастья, а красоту ее пусть изъест проказа!.. Будь прокляты все гяуры, — они заставили меня возненавидеть сестру!

13

Абенамар долго искал повсюду Фатьму, расспрашивал о ней каждого встречного...

В Гренаде ему сказали, что девушку видели на дороге с каким-то севилянцем, видели, как он торговался с бродячими комедиантами, устраивая в их труппу Фатьму, видели, как девушка влезала в их колымагу.

Что ж, все это похоже на Фатьму. Пляшет она теперь где-нибудь по ярмаркам на потеху гяурам, на позор родного племени.

И Абенамар повернул мула обратно в горы.

Его поразило, что по пустынной всегда дороге ему все чаще и чаще стали попадаться конные и пешие люди. Они торопливо направлялись за город, шли небольшими группами, чтобы не обращать на себя особого внимания.

Чувствовалось что-то праздничное в настроении путников. Среди них были люди всевозможных заня-

тий, всевозможного положения, но все они были одинаково смуглы, с красивым восточным овалом лица.

Абенамар догнал продавца вина, весело распевавшего андалузскую песенку:

Когда у меня ты, моя красавица,
Да бутылка хереса, мой конь и моя наваха,—
Какого еще счастья желать мне?..
Ах, душа моя, вот так жизнь!..

Его мул, две перекинутые через спину животного бочки и сам он — все было увито виноградом; под самой мордой мула качались спелые кисти, украшенные пестрыми лентами и бубенцами.

Продавец свернул в сторону, на тропинку, ведущую вглубь гор. Абенамар поехал за ним.

Миновав заросли фиговых деревьев, он увидел голый, обожженный солнцем холм, в котором, точно ячейки сот, зияли отверстия пещер. То были жилища хитан — испанских цыган.

Это гонимое инквизицией племя жило в Севилье в особом квартале, в Гренаде же оно ютилось за городом, в горах, не имея права собственности.

Отверженные христианами, хитаны невольно чувствовали симпатию к таким же отверженным маврам и помогали им, свято охраняя их тайну, пряча в своих пещерах оружие, лошадей, порох.

На небольшой поляне, возле горы хитан, Абенамар увидел толпу людей в разнообразных костюмах: здесь были ремесленники, рыбаки, землепашцы, купцы, погонщики мулов, носильщики...

Выше всех, на сложенных в кучу камнях стоял кузнец Эль-Загер.

— Вы придете все, как один человек, — говорил он громко, — все, кому свобода братьев дороже своей собственной жизни, и поклянетесь именем аллаха и Магомета — пророка его, что до последней капли крови будете защищать великое дело. Вы поклянетесь повиноваться избранному уже большинством вождю, мудрому, смелому, светлому, как солнце, Абдалле — потомку Али-Атора, которого посылает нам в нашем несчастье аллах, да будет слава его вовеки... Ныне абдалла, боясь лишних глаз и языка, скрывается в горах, но в день присяги он будет с вами, братья.

Среди глубокой тишины отчетливо прозвучала клятва Эль-Загера.

— Клянусь именем аллаха и Магомета — пророка его, что я буду до последней капли крови защищать дело свободы братьев и охранять жизнь и здоровье вождя моего народа...

Рокотом пробежала за ним тысячеголосая клятва собравшихся.

— Клянемся именем аллаха и Магомета — пророка его.

Абенамар повторил со всеми клятву, и было восторженно в эту минуту его лицо.

— Клянусь именем аллаха и Магомета — пророка его.

Толпа стала расходиться.

Абенамар свернул вглубь гор.

Он решил заехать за Айше и присоединиться к личной охране Абдаллы. Он навсегда бросил свой затерянный в ущельях шатер, где навеки была похоронена память о Фатьме.

Он ехал, низко опустив голову. Мечта его сбылась, — братья восставали. Но какое тяжкое бремя личного горя давило ему плечи!

— О, аллах, за что ты наказал верного раба своего? За что покрыл позором его голову?

Слезы неудержимо текли по его щекам и скатывались на поседевшую за несколько дней бороду.

— О, Фатьма, дитя моего сердца, легкая, как серна родных гор, веселая, как бабочка, что сделала ты с отцом своим?

Он вздохнул тяжело и глубоко, стараясь отогнать терзавшую его мысль, и стал думать о будущем. Ведь теперь не время предаваться слезам о безумной девчонке, изменившей семье, братьям, вере, изменившей великому делу освобождения.

А восстание росло неудержимо, как снежная лавина на склоне горы; скоро солнце возмущения растопит льды, и лавина рухнет всей тяжестью на поработителей. Как опустела за этот его приезд красавица Гренада. На базаре закрылись почти все лавки, мастерские брошены, в кузнице Эль-Загера давно погас огонь, и даже Зинзан с семьей покинул Альгамбру. И, словно

предчувствуя близкую грозу, инквизиция усилила свой сыск и аресты.

Абенамар ехал между гранитными скалами, среди которых резко выступали обнажения мрамора. Мул четко выстукивал копытами каждый шаг. Ночь надвигалась быстро.

«А как не любила ночей в горах Фатъма...»

Абенамар до боли сжал бока мула.

— О, аллах, научи же меня не вспоминать больше о ней!..

14

Сильные андалузские лошади карабкались по горным высотам.

Местность становилась все пустыннее; внизу широкая, зеленая долина тонула в дымке золотистого тумана. Порою из расщелины скалы поднималось дикое фиговое дерево или синие колючки алоэ; голые раскаленные солнцем камни дышали зноем.

Крытая холстом повозка мерно раскачивалась при поворотах и подъемах. Рядом с возницей сидел старик в одежде погонщика мулов, — и ни один испанец не узнал бы в нем Эль-Рахман-Гиелани...

Эль-Рахман вез в лагерь Абдаллы Долорес.

Покидая Алжир, Абдалла спокойно расстался со своим гаремом. Ему надоели сплетни, зависть, ссоры и пересуды, царившие среди женщин, с которыми связал его древний уклад магометанской жизни. Он потребовал только одного: чтобы в Испанию во что бы то ни стало была привезена Долорес, и Эль-Рахман был единственным человеком, которому он доверил девушку. Остальным женщинам он отдал свои алжирские поместья и просил забыть его навсегда. Он навсегда прощался с африканским берегом; он ехал в страну отцов, прекрасную Андалузию, и должен был совершить там подвиг или погибнуть.

Так он сказал Эль-Рахману, так он велел передать и Долорес.

Лошади повернули влево. За голыми пустынными холмами открылся длинный ряд изрытых ям каменоломни. Груды мрамора были забыты еще со времен завоевания Гренады. Разрушив все начинания мавров, ис-

панцы поленились продолжать их дело: каменоломни были заброшены, поля засушены, сады и виноградники погублены...

Эль-Рахман заглянул вглубь повозки.

— Ты спишь, госпожа?..

В голосе его звучала нежность.

Долорес высунула голову.

— Не зови меня госпожой, учитель. Тебе, такому мудрому, не пристало никого величать этим словом. Ведь мудрость есть единый господин в жизни... Я же — лишь ученица твоей мудрости.

— Да будешь ты благословенна, девушка.

Эль-Рахман успел уже привязаться к Долорес. Несколько месяцев прожили они под одной кровлей, знакомясь друг с другом, знакомясь с мыслями, верой и знаниями один другого. И эти месяцы сковали их нежной дружбой, любовью и уважением.

— Видишь вот эти каменоломни, — показал Эль-Рахман в сторону, — когда-то они доставляли мрамор на многие королевства. Сотни рук работали здесь, высекая благородную породу. Смотри, что случилось с каменоломнями ныне... Да разве эти одни каменоломни!.. Их было десятки по всей Андалузии... Хаэн, Кордова, Севилья, Гренада славились богатством своей земли!.. Кто мог в былое время поспорить с ними? Серебро, даже золото таились в недрах Андалузии. Рядом с мрамором добывался прекрасный алебастр, а андалузские солончаки не требовали даже обработки. Да это ли еще! На андалузских пастбищах резвился лучший скот; тучнее андалузских мериносов не знал ни один город полуострова. На все королевства поставляла Кордова кожу и сафьян. А андалузские хлеба? Колос их гнулся к самой земле, отягченный полновесным зерном. А плоды? Вино? Оливковое масло? А сукна Мурсии, а шелк Альмерии и Гренады? А лен, пенька, хлопок, сахарный тростник? Где это ныне? Где? Где?

В голосе Эль-Рахмана дрожали слезы обиды и горечи.

— Богата была земля андалузцев, как полная сокровищница, а ныне...

Он помолчал, а потом продолжал с тоскою:

— Но что богатства земли рядом с богатствами разума? Во времена могущества мавров Андалузия счита-

лась самой просвещенной страной. Кто не слышал тогда о знаменитом собрании книг в Кордове? И таких собраний по всей стране насчитывалось много десятков. Всякий мог войти туда и черпать из источников знаний полной пригоршней... И вот она пустынна, страна мудрости, пустынна, как песчаные равнины Африки. По берегам Гад-Эль-Кебира, словно жемчуг на нитке, красовалось когда-то 12000 деревень и селений, не считая городов. Теперь их не наберешь и половины. Среди садов и полей, среди фонтанов и оросительных построек жило многочисленное племя, а теперь оно утекло, подобно подземному ключу, и не осталось его и десятой доли... Где они, сыны мавританского народа? Где? Они раздавлены, унижены, растоптаны, изгнаны, сожжены.

Долорес дотронулась до руки старика.

— Бог велик, — сказала она тихо, — велик и всемогущ, он вернет былую славу Андалузии.

Эль-Рахман усмехнулся.

— Бог ли, человек ли, — не знаю. Но Андалузия не должна погибнуть во прахе. Постой, вон уже мелькают шатры лагеря. Да хранит судьба Абдаллу.

Долорес вспыхнула и опустила голову.

Возница дернул поводья, — лошади прибавили шаг.

15

— Салям-aleyкум.. — услышала Долорес обычное приветствие магометан. — Салям-aleyкум, звезда гарема, роза сердца великого Абдаллы, Долорес, прозванная своими новыми братьями именем сладким, как горный мед: Эсмене.

Долорес приподняла холст повозки.

— Кто это?..

— Изволила утомиться долгим путем, лилия гор, прекрасная Эсмене?.. Прохладный шатер и ложе из пуха ждет повелительницу сердца великого Абдаллы. Сойди, обопришь о мое плечо, любимая сестра моя..

Долорес отшатнулась.

— Неужели?.. Мануэль Занагуэрра?.. Неужели?..

Перед ней стоял человек в альборносе, в сарыхе, с подстриженной по-магометански бородкой.

— Неужели это вы, Мануэль?..

— Да, жемчужина Магомета, это я, верный сын пророка, Халит. Слава аллаху, я был взят в плен правоверными, а не остался с собаками гяурами Мелиты. И, велик аллах, он вразумил меня, и я стал верным мослемом. Новые братья приняли меня с любовью. На африканском берегу у меня остался свой дом, свой гарем и два сына...

По лицу Долорес пробежала тень. Она отвернулась. Чья-то рука мягко коснулась ее плеча.

— Приветствую христианскую девушку на ее родине. Час ее освобождения близится... Пусть христианская девушка поспешит отдохнуть после долгого тяжелого пути...

Долорес подняла голову и встретила взгляд больших черных глаз Абдаллы.

— Приветствую вождя мавританского народа на его родине, — ответила она тихо.

Рука Абдаллы дрогнула, и камень на его перстне сверкнул под лучами заходящего солнца ярким пурпуровым блеском.

16

В шатре Долорес пахло горными левкоями, принесенными Лейлой.

Девочка у ног испанки, среди охапок трав и цветов отбирала корни лечебных растений.

Мавры готовились к войне, и каждый вносил свою долю труда в общее дело.

Долорес приготавливала длинные полотняные полосы для перевязки раненых. Как напоминала ей эта работа последние дни, проведенные ею на Мальте, — столько общего и столько чуждого.

Эль-Рахман на большом куске холста перетирал порошки из сушеного кактуса.

Абналь рылся в груди старинных книг и свитков.

— Вот карта небесного свода, — говорил он восторженно. — Здесь показано движение звезд, солнца и луны, а здесь — движение ветров — небесного течения. Взгляни сюда, госпожа. Эти маленькие значки — цифры; они показывают движение маятника... Ах, вот она, книга врачеваний, — возьми ее, учитель; в ней запись всех снадобий... А здесь... ах, здесь сладчайшее, что

могли оставить нам наши предки, — источник, питавший мое сердце с тех пор, как я нашел его в башне Альгамбры.

— От них пахнет розами, — сказал он, улыбаясь.

— Да будет благословенно имя писавшего, — отозвался Эль-Рахман. — Скажи нам еще какие-нибудь стихи, Абналь. Пусть Эсмене послушает твои песни.

Абналь закрыл глаза, помолчал одно мгновение и начал:

В час восхода, в час заката
На отрогах Альпухары
Собираются мослемы,
Собираются мослемы —
Племя храбрых, племя мавров, —
Совершить намаз¹ священный,
Помолиться о победе.
Ты пришел к нам в час тяжелый,
О великий, о прекрасный,
Опоясан сталью острой,
Сталью острою Атора,
С сердцем крепче всякой стали,
Чтоб добыть нам гордость нашу,
Нашу светлую Гренаду.
В час вечерний, час полночный,
Как роса с цветов струится,
Так к алле мои молитвы
За тебя, наш вождь, несутся...
И когда на небе звезды
Замигают мне украдкой,
Мнится мне — то знак священный,
Что услышаны молитвы...

Он кончил, сложив, как на молитве, руки.

Долорес слушала, не отрывая глаз от входа шатра, за которым лиловела ломаная линия ближних вершин; она думала о том, в честь кого слагались такие нежные, полные любви и веры, песни.

Что делает он сейчас? Верно, как всегда, в эти тревожные дни, совещается с военачальниками, выслушивает донесения о приготовлениях испанцев, принимает в ряды мавританских войск новых приверженцев восстания, проверяет силы и военную мудрость своих солдат, проверяет оружие, съестные запасы или ночь на-

¹ Молитва магометан, которую совершают по уставу пять раз в сутки.

пролет читает древние книги мудрости. У него так много дела теперь. Она почти не видит его; нередко проходят дни между его посещениями. Обычно он спрашивает ее о здоровье, о том, нет ли у нее каких-нибудь желаний, довольна ли она своим столом, шатром, окружающими ее людьми, не мешает ли ей шум лагерной жизни, и уходит...

Он уходит, а она остается с мыслями о нем, с мыслями о своей странной жизни в горах, напоминавшей ей сказку, слышанную когда-то в детстве.

Она стала уже почти забывать окружавшую ее прежде жизнь, искусственную, изысканную, с массой условностей и противоречий, введенных церковью, королевским двором, привычками родовитых фамилий. Разве здесь, среди этих чуждых людей, ей не легче дышится, чем там, в замке Мальты, под мрачными сводами домашней часовни Занагуэрров? Здесь она среди природы, среди сынов этой природы. И почему ей, не помнящей родной семьи, должна быть ближе семья знатных испанцев, чем семья Абналя, Лейлы или мудрого Эль-Рахмана?

Долорес задумалась, уронив руки на колени.

— Ты печальна, госпожа?..— услышала она ласковый голос Лейлы.— Ты тоскуешь о родине, о родных?.. Мне так жаль тебя. Но ведь эффенди обещал скоро отпустить тебя. Не тоскуй!

Долорес улыбнулась жалкой, виноватой улыбкой.

— Мне некуда идти, Лейла. У меня нет родины... Нет родных...

Глаза девочки испуганно заглянули в глаза Долорес, но она не посмела ее расспрашивать.

— Абналь,— попросила она брата,— расскажи нам что-нибудь. Госпожа сегодня печальна, позабавь ее.

— Правда, Абналь, расскажи нам какую-нибудь старинную сказку,— ты так много знаешь их.

Долорес приготовилась слушать.

— Расскажи об Антаре, мальчик,— сказал Эль-Рахман,— это любимая сказка эффенди, прекрасная сказка, прекрасная, как и душа эффенди.

Абналь обхватил колени руками и начал рассказывать:

— Я расскажу тебе об Антаре, госпожа, об Антаре — воине арабов. Велика ныне слава Антара, велика

молва о его подвигах, уме, доброте и справедливости. Все земли, где ступают ноги правоверных, знают о могучем Антаре, все страны, где звучат призывы муэдзина, знают о мудром Антаре... А было время, когда одна лишь мать-рабыня знала о нем, лишь ее уста шептали с любовью его имя... Был беден и некрасив Антар — сын рабыни. И людские глаза отворачивались от него, ибо цвет кожи его был темный, как у слона; нос сплюснут; он родился с жесткими волосами и грубыми чертами лица; окраины рта его были отвислые, как у разъяренного тигра; глаза опухшие, кости широкие, уши огромные, но из глаз Антара... ах, из глаз Антара сверкали звезды!.. Велик аллах, — он послал Антару могучий разум и душу льва, и из раба и пастуха стал Антар отцом арабского народа, мужем прекрасной Иблы, дочери главы племени; он удостоился великой чести подвесить стихи свои в храме Мекки... А знаешь ли, госпожа, как любил Иблу и чем покори́л он ее, безобразный, как шайтан?.. Ибла увидела под некрасивым телом прекрасную душу... В честь Иблы совершал он великие подвиги храбрости; к ней взывал он, защищая обиженных, в честь ее любви претерпевал немало испытаний... И Ибла полюбила дурного лицом, но сильного духом Антара. И когда умерла мать-рабыня, прекрасные уста Иблы стали с любовью шептать слова утешения... Так покори́л ее Антар, мудрый Антар, сын рабыни...

Абналь замолчал, глядя мечтательно на синеву дальних гор.

Эль-Рахман взял Долорес за руку и прошептал тихо и внятно, словно оканчивая старинную сказку:

— Велика слава Антара, но не меньше и слава прекрасной девушки, ибо сумела она оценить душу великого.

Долорес опустила глаза, — она поняла, что хотел ей сказать мудрый Эль-Рахман.

Кровавый закат предвещал в горах бурю.

Пять человек в чалмах и альборносах, притаившись в одной из пещер за Гехаром, совещались.

В полутьме, под низкими сводами глухо звучали их взволнованные голоса. Лучи заходящего солнца ложились кровавыми пятнами на возбужденные лица.

Эль-Загер кончал речь; он обвинял вождя мавров в медлительности, в излишней мягкости к врагам-христианам и требовал жестокой расправы с угнетателями.

— Они жгут наших отцов, наших жен и детей на кострах инквизиции, они пытаются их в застенках, они грабят их и гноят в темницах, а что делаем мы? Мы, верно, ждем, когда в Андалузии не останется ни одного мориска? Чего мы медлим? Почему до сих пор не отвечаем кровью на кровь, огнем на огонь, плетью на плеть?.. Мы выбрали себе вождя и поклялись быть верными ему до могилы. Но что делает он? Почему он до сих пор не посылает нас на врага? Нас уже много, очень много. Мы сильны оружием и храбростью. Нам нельзя больше медлить, ибо христиане тоже не спят и готовятся к бою. Халит не раз спускался в Гренаду, — он говорит, что время открытой борьбы давно настало. Скажи свое слово, Халит.

Мануэль Занагуэрра смиренно выступил вперед.

— Вчера я доносил эффенди, что Гренада стонет под ярмом испанцев и со слезами зовет избавителей. Я рассказал ему о кровавых пирах Дон-Хуана — начальника неверных; я говорил ему, что время нанести удар врагам настало, но эффенди не пожелал внять моим советам. Когда я показал ему лист, который я тайно прибил к воротам Альгамбры, лист, где я предлагал Дон-Хуану награду и почет, если он перейдет на нашу сторону, эффенди разгневался на верного мослема Халита. Он сказал: «Я не поручал тебе этого». «Но там, среди испанцев Гренады один сброд, — сказал я эффенди, — его нетрудно будет склонить к измене». Но эффенди велел мне уйти из его шатра, сказав: «На того, кто изменяет раз, нельзя положиться во второй». Эффенди оскорбил этими словами верного исламу Халита. Разве я не доказал противного?.. Разве я не служил братьям-мослемам верой и правдой?

На глазах Мануэля явно блеснули слезы, а голос дрогнул и порвался.

— Верно, верно, — окружили его мавры, — ты — истинный мослем! Мы верим тебе! Абдалла оскорбил Халита своими словами!

— Братья, — торопливо подхватил Мануэль, — я знаю, как цепки христиане, а сестра моя прекрасна. Если я переменяю веру, пусть переменит и она. К чему эффенди сам отступает от веры мослемов и читает книги христиан?..

— Верно! Верно! — загудело под сводами пещеры. Эль-Загер остановил крики.

— Братья, он говорит истину, хоть и был прежде мушрикином, да простит ему это аллах. Я сам вас звал когда-то принять с ликованием вождя нашего, Абдаллу, спасителя родины, а теперь... А теперь я говорю: Долой его, пока не поздно!.. Разве нет других достойных среди нас?.. Вот хоть ты, Юсуф-Мулей... В твоих жилах течет знаменитая кровь могучего Мулея-Бен-Гассана... Ты бесстрашен и ненавидишь гяуров. И еще есть другой, которого нет сейчас здесь; как слепой, твердит он славу Абдалле... Но его собственное право на первое место меж нами не меньше, чем у Абдаллы...

— Нет, — покачал головою Зинзан, — тот, о ком ты говоришь, никогда не подымет руки против Абдаллы. Абенамар, как Магомет перед аллою, стоит перед эффенди, и его не сдвинешь с места, как утес в море. Мне чудится, — недоброе затеяете вы, братья, хотя я и сам думаю, что не таким должен быть вождь наш. Но не время теперь сеять раздоры и выбирать нового. Ведь когда-то из-за междоусобиц и пала «Светлая Звезда Неба» — Гренада. Если бы сын не восстал на отца, а отец на сына, если бы Абу-Абдиллели и Мулей-Бен-Гассан не затеяли войны друг с другом и тем не ослабили бы сил мавров, мы не воевали бы теперь здесь, в горах...

— Молчи, Зинзан! — запальчиво крикнул Эль-Загер. — В твоём голосе звучат слезы, а не гнев! Видно, и ты не лучше Абдаллы!

— Ты прав, — ответил со вздохом Зинзан, — гнев мой омыт слезами. Мы так долго ждали освободителя-вождя, и он наконец пришел. Мы верили в него, и он бесконечной благостью своей приковал к себе наши сердца сильнее, чем железными цепями. Мой Абналь готов отдать по капле кровь за эффенди.

— Твой Абналь — ребенок! — пожал плечами Эль-Загер. — А Абдалла твой — баба! Он готов с маль-

чишкой проливать слезы над песенками и сказками предков и мечтать о будущем мире на земле, забыв о теперешней войне. Наши сердца сжигает жажда мести, и только кровь проклятых собак утолит ее!

— Неприятель близко, — подхватил Юсуф, — надо укрепляться, а не читать старые книги.

— А его любовь к невольнице, — перебил Мануэль, — разве она не достойна смеха и осуждения?.. Женщина растопила его сердце!.. Не вождя мы избрали, а, истинно, бабу!.. Мейдан, что ты знаешь об Абдалле?..

— Вчера Абдалла долго разговаривал с Абналем, — отозвался старый хмурый мавр, — читал какие-то книги; среди них были и книги гяуров.

— Вы слышите, что говорит Мейдан? Абдалла читает христианские книги!..

Глаза Занагуэрры сверкали злобным огнем. Он мстил Абдалле за его презрение к перебежчикам.

Еще недавно он старался выслужиться перед вождем восставших; он мечтал о том времени, когда, одержав победу над испанцами, Абдалла будет, быть может, провозглашен королем возрожденной Гренады; он старался заслужить внимание и Долорес, напоминая ей при всяком случае о своем «родстве» с ней. Но ни Долорес, ни Абдалла не приближали его к себе. Мануэль сознавал, что они ему не верят, не любят его и презирают...

— Он околдован этой христианкой, — говорил он зло, — не он ее, а она его, верно, склонит переменить веру!..

Резкий крик неожиданно прорезал тишину гор.

Юсуф вздрогнул и рванулся к выходу.

— Слушайте, братья!.. Слушайте!.. — протянул он руки, показывая на ближний утес, и упал в молитвенной позе на колени. — Слушайте святого!..

На утесе, над самой пропастью стоял безумный Мугтедин-Баба. Он раскачивался всем телом над бездной и визжал, извиваясь в нервных судорогах.

— Юсуф!.. Юсуф!.. Аллах призывает тебя к народу своему!

В пещере стало тихо, как в могиле.

Юсуф поднял голову и оглядел собравшихся. На лицах у всех был суеверный ужас. Один только Занагу-

элла чуть заметно улыбался, — он был сообщником тайны Юсуфа и вместе с ним целую неделю учил сумасшедшего дервиша пророчествам.

— Юсуф! Юсуф! Аллах призывает тебя!

Эль-Загер выбежал из пещеры.

На утесе уже никого не было; тусклый, лиловатый пар полз по камням, заволакивая склоны гор...

Муттедин-Баба с диким воем убежал в чащу кустарника.

18

— Аллах велик, а человек глуп, — говорил Абенамар Эль-Рахману, — шайтан смущает душу его, отравляет сон и пищу. Тебя, деде¹, любит эффенди; ты считаешься первым мудрецом; ты — словно отец для эффенди. Послушай меня.

Эль-Рахман стоял у входа в шатер Абдаллы, подняв глаза к побледневшему небу, и ждал появления первых звезд. Когда над горами, высоко в темной синеве протянется белая дорога млечного пути, старый Гиелани начнет читать, как в раскрытой книге, судьбу своих братьев, судьбу своего ученика Абдаллы.

Зеленая чалма Эль-Рахмана наклонилась.

— Я слушаю тебя, сын мой... Я слушаю тебя со вниманием, пока не зажглись звезды.

— Я пришел к тебе за мудростью, деде, — начал Абенамар, — я пришел к тебе, ибо меня терзает сомнение и страх. Слушай. Когда-то была у меня семья, ее отняли у меня гяуры. Были у меня дочери; одна из них... Пусть аллах накажет ее за седину, что вплела она в мою бороду... Были у меня свои нужды, свои желания. Теперь у меня ничего нет, кроме одного: дела братьев.

— Хвала тебе, верный Абенамар.

— Постой, деде. Аллах прогневался на меня, допустив измене вырасти под кровлей моего собственного шатра, — и я разбил с тех пор свое сердце, ибо оно сочилось кровью и болело, ах, как долго оно болело, деде. Аллах велик, и раны сердца заживают, подобно ранам тела. И я стал забывать об измене. Но вот уже

¹ Обращение к старшему, уважаемому лицу.

много ночей сердце мое снова истекает кровью, ибо черная змея измены свила гнездо под многими шатрами...

Эль-Рахман поднял голову.

— Говори.

- Абенамар припал к его рукам и зашептал в отчаянии:

— Многие из верных сынов пророка ропщут и совещаются в тайных пещерах... Они недовольны эффенди. Они ругают его и поносят, как болтливую женщину. Они выбирают себе нового вождя... Халит смущает всех донесениями из Гренады. Эль-Загер смеется над любовью эффенди к гяурке. Юсуф-Мудей учит безумного Мугтедин-Бабу пророчествам, и многие верят его вещаниям. О, деде, мне самому предлагали стать во главе братьев; они склоняли меня к измене. И сон отлетел от моего изголовья, и мысли мои закружились в голове, как листья в непогоду. Что будет с делом восстания, если в самом начале его змея предательства жалит сердца и души вернейших? О, деде, мне страшно за эффенди, мне страшно за всех нас...

Лицо Эль-Рахмана было бледно, как свет первой загоревшейся в небе звезды.

— О, деде, мне страшно за всех нас, — повторил Абенамар с тоскою.

— Да будет благословенно твое сердце, верный Абенамар, — сказал после долгого молчания Эль-Рахман. — Ты говоришь истину, — ибо только мир между нами даст нам победу. И тот истинный друг, кто выше всего ставит свой долг и не берет в расчет удовольствие или недовольство того, кого он предупреждает; он говорит ему правду, и неприятную для слуха. Так сказал учитель мой, мудрый Зригаспати... Ступай, сын мой, небо засветилось. Ступай с миром, и будь нем, как эти камни. Я сделаю все, что в силах. Ступай.

Эль-Рахман остался один перед шатром Абдаллы. Трепетный свет звезд лился на его склоненную голову.

Что могли ему сказать ныне звезды, когда измена закралась в сердца сынов пророка?

В шатре Абдаллы всю ночь горел факел, зажигая отблески огня на щитах, панцырях и мечах...

Абдалла лежал на ложе, покрытом коврами, и не сводил глаз с лица Эль-Рахмана.

Эль-Рахман говорил ему о ропоте в мавританском стане, о недовольстве военачальников, о заговоре Юсуфа, о продажности Халита, о словах Абенамара относительно Долорес. Долго говорил Эль-Рахман, убеждал, советовал.

— На время, сын мой, на время ты наполнишь шатер свой лишь звоном оружия и перестанешь мечтать, слушать и говорить о мудрости и красоте. Ты будешь только воином, с сердцем тверже стали и жестче камня... Подумай: разве смеет избранник своего народа подвергнуть неверным случайностям войны друзей, войска, свою жизнь и даже собственную честь? Там, в светлых чертогах Гренады, ты окружишь себя учеными людьми и мудрыми книгами; здесь же нужны только воины. И благословен будет юный Абналь, если вместо свитков с песнями он возьмет в свои руки оружие. Женщины и дети должны забыть о своей слабости и помогать общему делу. Твой старый учитель закроет на время свои книги и станет в ряды молодых воинов. Абдалла, сын мой возлюбленный, огонь и меч должны быть ныне на знамени твоём.

— О, деде! — прошептал Абдалла, и тонкие пальцы его хрустнули, — о, деде, великий учитель мой... Ты приказываешь мне покориться воле народа моего, вернее воле невежд, забывших светлое прошлое отцов своих, и изгнать из шатра моего ученость, ты, учивший меня верить в силу разума?! Хорошо, пусть будет по-твоему, но одного нельзя, — нельзя начать выступление. Еще рано; мы еще не готовы.

Эль-Рахман покачал головой.

— Мы никогда и не будем готовы, подобно испанцам, ибо в деле войны мы плетемся ныне в хвосте других народов; наша сила лишь в огне, что горит в наших сердцах. Не загаси его, смотри, излишней медлительностью.

— Я не могу и еще одного сделать, по воле народа моего: я не могу принудить Эсмене насильно стать мослемкой.

Гиелани вздохнул.

— Как хочешь, — сказал он тихо, — но помни, народ твой ненавидит мушрикинов. И еще помни: он должен верить в тебя, как в бич аллаха. Истину говоришь ты, что не гнев, затемняющий разум, должен руководить тобою, не слепая вражда одного племени к другому, но сознание долга и спокойствие мудреца. Ты призван сбрасывать с пути народа твоего все камни: нищету, невежество, темное, как дым, суеверие, ненужную злобу. И первый камень по окончании войны — гнет поработителей, гнет христиан-инквизиторов... Но не единое личное волнение не должно нарушить покоя души избранника, помни это: ни любовь, ни песня... Ты должен идти по дороге бедствий, как и по тропе счастья, подобно мудрецу. Я ухожу, сын мой, — близится утро. Храни тебя твой разум и счастье правого дела...

Гиелани ушел.

На следующий день Абналь в первый раз не получил пропуска в шатер Абдаллы.

Он стоял, готовый заплакать, и смотрел, как пожелтевшие свитки и книги древней мудрости и красоты переносились из шатра Абдаллы в пещеру Гиелани...

В этот день вождь мавров появился на стенах Гехара, грозный, могучий, непроницаемо-суровый. Таким его не видел еще никто. Он стоял на крепостной стене, выпрямившись во весь рост, и говорил шумевшим на валу воинам:

— Ничто не должно быть невозможным для сынов мавританского народа. Время настало. Завтра мы выступаем. Мужество заменит нам военную сноровку, забытую с годами унижения. Сегодня последний день проверки наших сил. Братья, Гренада и Андалузия — «Сады пророка», — ни больше, ни меньше... Так напишем мы на знамени своем, так напишем мы в сердцах наших.

В ответ ему загремело по горным высотам:

— Салям-алейкум, эффенди...

Юсуф и Мануэль переглянулись.

Восставшие все еще любили своего избранника; недовольство было лишь временной вспышкой заждавшихся в бездействии храбрецов.

Лицо Эль-Загера светилось гордой радостью, когда он кричал вместе со всеми:

— Салям-алейкум, эффенди!..

Абдалла входил в шатер Долорес.

На нем были, как всегда в последнее время, военная кольчуга и шлем; у пояса сверкал золотой насечкой знаменитый меч Али-Атора.

Девушку поразила суровая складка между бровями Абдаллы и резкая бледность его лица.

Она слышала, что он почти не отдыхает и даже ночь проводит на ногах, весь отдавшись последним приготовлениям к войне. Но она не представляла себе его таким измученным, таким исхудавшим.

На бледном заострившемся лице его, казалось, остались только одни глаза, большие, горящие, жутко черные...

«А из глаз Антара... ах, из глаз Антара сверкали звезды...» — пронеслась в памяти Долорес сказка Абналя.

— Я пришел узнать, всем ли довольна христианская девушка, — сказал Абдалла тихо, — нет ли у нее каких-нибудь желаний. Пусть она без страха выскажет их...

— Нет, эффенди, — ответила по-арабски Долорес, — я всем довольна, благодарю тебя...

Она в первый раз говорила с ним на его родном языке.

Глаза Абдаллы вспыхнули радостью.

— Я рад, что христианская девушка не проклинает меня, как когда-то.

Долорес потупилась и молчала.

— Я пришел проститься, — продолжал Абдалла, — с сегодняшнего дня мы будем видеться редко...

Долорес еще ниже опустила голову.

— Вчера мне донесли, что начальник испанских войск, дон-Хуан, посланный королем Филиппом против нас, заранее празднует победу. Гренада похожа сейчас на гнездо птицы, опустошенное лисицей. Альбайцин почти разрушен; тела беззащитных женщин, детей, стариков валяются на улицах; солдаты грабят среди белого дня и убивают всех, у кого смуглые лица. Во дворе монастыря, что у Хенералифе, разведчик видел толпу мирных жителей, загнанных в загородку, как

скот, а вокруг них — черных монахов. Из подвалов неслись крики, и палач вышел во двор весь в крови.

Долорес со стоном опустилась на ковер.

И это делают ее братья-христиане, проповедующие кротость, смирение и милосердие...

— Я пришел проститься, — повторил Абдалла еще раз, и голос его дрогнул, — моя жизнь принадлежит моему народу, и я должен забыть о себе самом, о надеждах моего сердца... Но пусть знает христианская девушка, что для меня она всегда будет светлой мечтой, с которой мне так трудно...

Он не договорил и отвернулся, потом быстрым движением вынул с груди завернутый в шелк сверток и положил его перед Долорес.

— Моим братьям, оторванным силой от веры отцов, был бы отраден такой подарок. Возьми и прости, если можешь, что я все еще держу тебя в плену...

Он повернулся, собираясь уйти, но Долорес преградила ему дорогу.

— Постой... не уходи, эффенди.

Он остановился и ждал.

Долорес низко склонилась перед ним и вдруг припала к его руке губами...

Абдалла отшатнулся, потом поднял ее с колен и сказал с горечью:

— Мои бывшие жены там, в далеком Алжире, целовали не раз, как рабыни, мне руку, но я не любил их, ибо в душе моей жил образ подруги, а не рабыни. Мне не надо знаков покорности, Долорес. Я хотел другого, но только не теперь, теперь я не принадлежу себе. Мой народ ждет меня. Прости.

Он отдернул полог шатра и быстро вышел.

Долорес лежала на пороге и плакала.

Из шелкового свертка, принесенного Абдаллой, выпал крест и евангелие.

21

— Скажи, что мне делать, учитель, — спрашивала Долорес с тоскою, — я, как путник, не знающий верной дороги. Мне некого спросить, кроме тебя.

Эль-Рахман внимательно смотрел на нее своими большими, полными мысли глазами.

— Я — как слепая, — говорила Долорес, — я ловлю руками истину, а она уходит от меня, как расшалившийся мальчик-поводырь. Научи меня, учитель, что мне делать. Я потеряла веру своих братьев, но не могу открыто изменить ей...

— А как же Халит, Эсмене?

Долорес закрыла лицо руками.

— Я не верю ему... Он всегда был слаб духом и искал почестей. Его толкнула на новый путь не истина...

— А расчет, — закончил за нее Эль-Рахман. — Ты права. Абдалла не верит Халиту, хоть и пользуется им порой, как удобным разведчиком. Кто раз изменил, на того опасно положиться. Но ты — женщина. Тебя никто не принуждает ни силой, ни страхом. Ты сделаешь свой выбор добровольно... или...

Он помолчал, потом добавил:

— Или уйдешь из лагеря навсегда, уйдешь против воли Абдаллы.

Долорес смотрела на него с тоской.

— Ибо не должна ты стать источником раздора между восставшими. Абдаллу уже жалят упреки мослемов; есть недовольные в войске, — они жалуются, что вождь их терпит подле себя христианку, дарит ей христианские книги и крест в то время, как кровь мавров льется под плетью инквизиции, а кости их сгорают на кострах.

Долорес заломила в отчаянии руки.

— Я не могу изменить братьям. Я не могу изменить Христу только из-за того, что служители его стали жестоки, как звери.

— А когда они не были ими?.. — спросил Эль-Рахман резко. — Быть может, в далекие времена, которые ушли от нас, как свет от потухшей звезды. Своему богу ты не изменишь, как не изменяет ему и Абдалла, когда приносит тебе крест и евангелие. Прежде чем прислать тебе христианскую книгу, он читает ее сам. Скажи, разве ваш блаженный Августин или другие учителя вашей веры говорят что-нибудь о ненависти к людям, которые верят по-иному? О милосердии и терпении говорят они, как и ваш Иисус. Погоди. Ведь и коран велит нам быть милосердными. Разве не бывали милосердны и мы, Долорес?.. Когда отец Абу-Абдил-лели, Мулей Бен-Гассан разрушил пограничную ис-

панскую крепость Сеару, и несчастных, умиравших от голода пленников, по его повелению, погнали, как стадо баранов, плетьюми в Гренаду, — разве жалость не вызвала тогда ропота среди народа? Разве наш народ не обвинял короля-тирана в излишней жестокости? Народ отказался праздновать победу, и кушанья, приготовленные для солдат-победителей, были отданы несчастным пленникам. Сердцу мавра тяжело быть жестоким и ныне, хоть и требует того война... А тяжелее всех самому Абдалле, ибо сердце его нежнее цветка... Но война жестока и требует жертв.

«Война жестока»... — вспомнила Долорес слова магистра великого христианского ордена.

— Оглянись, — продолжал горячо Эль-Рахман, — оглянись, Долорес, что творится в христианской стране отцов твоих. Идет ли твой король по стопам своего бога? Вместо любви он заставляет трепетать своих подданных от ужаса. Он воздвигнул костры и тюрьмы по всему своему обширному государству, — и разве только мослемов сжигает он на них? Во имя бога монахи ваши казнят людей, томят их в тюрьмах и застенках, пытают их небывалыми муками, ибо с этой жатвы верные христиане-инквизиторы снимают богатый золотой колос.

Долорес слушала, закрыв глаза.

— Золото, грабеж, насилие, а не вера толкает вашу церковь, вашего короля и всякого, кто хочет поживиться на этом пиру мерзости, терзать сотни, тысячи невинных. Вера и любовь к богу — лишь плащи, которыми они прикрывают свой позор, свое бесстыдство, свою жажду власти и денег. У христианского короля нет любви даже к родному сыну. Он отравил ненавистного ему юношу, замучив его раньше глупыми бреднями, издевательством, насмешками. И это он сделал, веря в бога, который, по вашему учению, отдал своего сына, ради спасения людей от греха. Велик ваш бог, если он учит добру и правде. Но носить в душе эту правду и добро лучше, чем поклоняться только имени бога. Иисус и аллах — это лишь имена, Долорес. Так думаю я — старый уже человек, так думает и Абдалла.

Он протянул к девушке руку и погладил ее по голове, как ребенка.

— Ты сделаешь, как подскажет тебе разум и сердце — это лучшие посохи жизни. Помни только одно. Едва наше знамя взвевается на стенах Гренады, объявляя великую весть свободы, Абдалла не позволит мучить христиан, и каждый будет верить, как захочет. Он сделает вновь эту бедную, запустелую страну богатой, цветущей и счастливой, ибо мавры не презирают труд рук своих, как испанцы. Он окружит себя людьми мудрыми, чтобы возродилась былая слава науки, чтобы расцвела она пышным цветком от востока до запада Андалузии... Расправив крылья, полетят через океан торговые корабли, застучит молот, резец и челнок в забытых мастерских; вздохнет иссохшая грудь земли под руками трудолюбивого пахаря... И Абналь и другие певцы громко запоют ликующие песни о счастье...

Глаза Эль-Рахмана светились лучистым огнем.

— И, как тучи саранчи или стаи воронов, полетят с благословенных полей и садов Андалузии черные тени инквизиторов, рухнет власть короля-грабителя!.. Народ изберет себе правителя сам, как избрал его ныне. Но все это впереди, а пока...

Он тяжело вздохнул.

— А пока, в дни борьбы, кровью будут напоены песни певцов; огнем и железом будут добывать мудрецы свободу... И если Абдалла сумел сделать выбор меж сердцем и долгом, смог разбить сосуд своих мечтаний, то и ты должна избрать себе единый путь. Уйди от нас или останься с нами душой и телом, но не будь причиной раздора между защитниками великого дела...

Он встал и медленно пошел к выходу. Отдернув тяжелый полог шатра, он остановился и прислушался.

С ближнего утеса ясно доносился визгливый голос безумного дервиша:

— Положи крест и евангелие, вождь мавров... Положи крест и христианскую голову...

— Слышишь, — сказал Эль-Рахман, — вот чему учат несчастного безумца недовольные... Поторопись же избрать свой путь, Долорес.

Война разгоралась. Войско дон-Хуана было третьим ополчением, которое выслал король Филипп для усмирения морисков.

Почти вся Андалузия была охвачена восстанием; мориски ютились на горных высотах, сбегавших отрогами до самого моря; с каждым днем их становилось все больше и больше. Но дон-Хуан с какой-то страстной стремительностью делал внезапные набеги на горы, и морискам не было от него пощады.

Долорес с содроганием слушала рассказы об испанских жестокостях. Разорив два мавританских селения — Ереликс и Хуэскар, испанцы вернулись в Гренаду с головами убитых врагов, привязанных к лукам седел; при въезде в город они бросали эти головы детям, чтобы воспитать в них ненависть к маврам.

И это делал дон-Хуан, тот, о ком, она знала, испанцы слагали уже песни, как о легендарном принце-герое, чье рыцарское благородство успело войти в поговорку среди христиан.

— Я видела его, — говорила Лейла, — я видела его два раза в Гренаде. В первый раз на площади собора. Он ехал на лошади, весь в золоте и драгоценных камнях... Он был красивее всех; кого я видела, кроме...

Она потупилась и прошептала, вспыхнув, как горные маки, которые она не переставала приносить Долорес.

— Кроме... эффенди... который краше солнца...

Она замолчала и отвернулась.

— А где же ты видела дон-Хуана во второй раз? — спросила холодно Долорес.

Лейла вздрогнула. В больших черных глазах ее мелькнул ужас. Она протянула руку и, словно видя перед собой призрак смерти, проговорила хриплым, прерывающимся голосом:

— Там, на Виварамбле, во время аутодафе, когда сжигали еретиков, когда сжигали Анну Мардохею — дочь кожевника, Алонзо Ла-Сиерра — гренадского ученого и других, когда...

— Молчи!

Долорес прижала голову девочки к своей груди.

— Молчи!..

Издали до них донёсся глухой раскат.

— Что это?..

Лицо Долорес было бледно; губы кривились судорогой страдания.

— Это война, Лейла. Снова война... Опять кровь, насилие, огонь и смерть, смерть, смерть...

Она вскочила и заметалась в тоске.

Раскаты пушечных залпов мерно раздавались в горах глухими подземными ударами.

— Ступай, Лейла, ступай, я не могу никого видеть. Иди, помоги своим братьям, как я помогала когда-то своим. Оставь меня... Я тебе чужая. Я христианка. Я — ваш враг... Я — враг вашему вождю Абдалле. Он должен приказать убить меня! Ведь дон-Хуан убивает пленных мавританских женщин!.. Зачем же вы, враги моего бога, держите меня, как гостью, в своем стане?.. Убейте меня, убейте, убейте!..

Лейла в страхе убежала.

23

В конце года испанцы обложили Гехар. То тут, то там в горах вспыхивали огни; они перебежали с места на место, вспыхивали по два, по три рожка, то появлялись блестящими гирляндами...

Абдалла понял, что это были условные сигналы испанцев.

По словам Халита, испанские военачальники знали в совершенстве все нововведения военного дела.

— Вот в чем враги сильнее нас; деде, — говорил Абдалла учителю. — Если бы можно было мужество поставить лицом к лицу с наукой войны, — мы не знали бы поражений. Мавры храбрее львов пустыни, но оружие их слабеет перед ученым врагом... Будь прокляты годы рабства, — они заставили нас забыть даже старый опыт!

— Ничего, сын мой, ничего... Зато горы за нас.

— Да, горы за нас, деде... С неприступных высот Альпухары раздастся клич победителей: «Гренада и Андалузия — ни больше, ни меньше».

Гиелани смотрел на Абдаллу, и по лицу его пробежала счастливая улыбка. Вождь мавров словно переродился. Последний остаток восточной изнеженности

и созерцательности исчез в нем, казалось, навсегда. Он вел суровую жизнь отшельника и до рассвета еще уходил на укрепления. Он обходил посты часовых, подбадривал уставших, разговаривал с недовольными, сам учил неопытных. Зоркие глаза его видели далеко; он быстро стал понимать немой язык зловещих испанских огней, плясавших кольцом на утесах. И певучий, глубокий голос его будил в горах эхо:

— Живее, мослемы! Живее! Мы должны до ночи укрепить оба северных вала.

Он первый стал в ряды землекопов, когда решено было спешно прорыть тайный ход на случай внезапно-го отступления.

Теперь должны были замолчать все те, кто роптал на медлительность Абдаллы.

Эль-Рахман нанес последний удар измене: он припугнул старого безумца Муггедин-Бабу, и тот убежал, визжа и кривляясь, из лагеря. Когда дервиш снова вернулся, слабый ум его уже не помнил имени Юсуфа. Безумный твердил что-то бессвязное о диких козах, о ветре, о громе в горных ущельях и о снегах высоко, под облаками...

24

Началась пора бурь; раскаты грома гулко раздавались в горах Альпухары, и часто нельзя было различить, слышны ли то залпы далеких испанских пушек или то гремит в облаках гром.

Долорес была снова больна. Гиелани велел перенести ее в особый шатер, в стороне от главных укреплений, где кипела день и ночь суэта лагерной жизни. Мужчинам было некогда теперь возиться с больной, и Лейла привела к Долорес старую Сору.

Старуха сразу определила неожиданную болезнь «мушрикинки».

— В нее вселились злые джины, внучка, — говорила она таинственно, — джины, что по одному живут в теле каждого гяура... В дни осенних бурь они набираются особых сил. Они скликают к себе на помощь горных джинов, что воют шакалами, мяукают кошками, блеют козами, плачут совами вместе с осенними ветрами. Джины собираются кучами и клубками змей вползают

в грудь больного и терзают ему сердце, и хрипят, и свистят у него в горле...

Лейле становилось страшно от этих слов.

— Бабушка, ты знаешь всякие заклинания, — просила она со слезами, — вылечи Эмене...

Сора ворчала под нос ругательства «проклятым мушрикинам», которые столько лет мучили верных сынов пророка, клялась, что совершает великий грех, но все же часами читала над больной странные, непонятные слова, клала под ее подушку «нуска» — изречение из корана.

Но ни заклинания, ни «нуска» не помогли.

Сора сердилась, плевалась в угол и говорила ворчливо Лейле:

— Твоя мушрикинка не верит в аллаха, оттого ничего и не помогает. Я пробовала и «бужусы» — заклинания и «нехес» — дуновение, — все прахом. Аллах не хочет вернуть ей здоровья. Смотри, как она глядит на нас, — словно в руках наших змеи и гады... Она ненавидит нас, твоя гяурка. Она посылает на наши головы проклятия. Смотри, смотри!

Глаза Долорес были широко раскрыты и, не отрываясь, глядели на мавританок, хлопотавших около нее, среди надвигавшегося уже мрака ночи. Факел тускло освещал ее бледное, исхудавшее лицо.

О чем она могла думать в эту минуту, одна среди чужого племени?

По щекам Лейлы текли слезы.

— Не реви, глупая, — сердилась Сора, — чего жалеть ее, когда она не жалеет нас? Пусть умирает, — одной гяуркой будет меньше, слава аллаху.

Долорес закрыла глаза, и из горла ее вырвалось вместе со стоном:

— «Кто сеет на песчаном берегу, пожинает...»

— Госпожа, госпожа, — плакала Лейла, — ты бредишь?

— Нет.

— О чем же ты говоришь, госпожа?

— Я вспомнила старую испанскую поговорку: «Кто сеет на песчаном берегу, пожинает...» Мануэль!.. Мануэль!..

— Она зовет Халита, — догадалась девочка.

— Халит давно уже ходит вокруг шатра, но я не пускала его, — проворчала Сора, — он такой же мушрикин, как и она, даром что усерднее правоверных совершает намаз... Я не верю шакалу, зашедшему в стадо овец. Да и эффенди не верит ему. Вон, он опять стоит у входа. Не пускай его, внучка. Эффенди не любит его.

— Мануэль! Мануэль! — звала Долорес.

За последнее время у Мануэля шла упорная внутренняя борьба. Он часто бывал в Гренаде и ее окрестностях, часто слышал родную речь, видел знакомые пирушки испанских солдат. Все это заставляло больно сжиматься его сердце. Он вспомнил о том, как когда-то ударами палок его заставляли тащить корабли через косу Мальты, и он падал в воду и грязь, как раб. Он сдался тогда мослемам, в надежде, что новые люди, новые обычаи, новая вера дадут ему тот успех в жизни, которого он не успел достичь среди христиан. Но с тех пор, как он потерял надежду сделать карьеру при Абдалле, и после неудачи заговора Юсуфа, мучительная тоска и ненависть стали грызть Мануэля. Иногда ему страстно хотелось бросить мавританский лагерь и убежать навсегда в Гренаду, отдаться в руки дон-Хуана, просить суда, казни христианской церкви, которой он изменил, — только бы уйти от народа, где он был чужим.

А иногда он мечтал о другом: о славе, о блеске придворной жизни Мадрида, куда он, быть может, смог бы попасть, заслужив доверие и дружбу принца-героя...

— Мануэль! Мануэль! — звала со слезами Долорес.

Приподнятый край полога открывал ему внутренность шатра больной.

А она красива, эта девушка, росшая когда-то рядом с ним, эта дочь народа, которую его мать воспитала не хуже, чем любую дворянку. Что если бы ее увидел благородный рыцарь Испании, дон-Хуан, униженной, пленной, но все же стойкой христианкой, не сдавшей-ся до конца? О, она могла бы зажечь его сердце пламенем любви, если скрыть от него, конечно, ее происхождение. И тогда... тогда ее брат Мануэль Занагуэрра может смело...

У Мануэля закружилась голова от вихря новых мыслей и планов.

— Мануэль! Мануэль!

Он грубо оттолкнул Сору, загородившую ему дорогу, и упал перед больной на колени.

— Долорес, я здесь! Я, твой брат!

Долорес приподнялась на локте.

— Уйдите все, кроме него,— сказала она холодно и четко,— я хочу говорить с ним наедине.

Сора и Лейла вышли.

— Мануэль! — со стоном вырвалось у девушки, — ты пришел ко мне и назвал сестрой меня, чужую тебе по крови, но близкую по вере, по обычаям, по мыслям... Да, здесь, в плену у врагов Христа, мы — истинно брат и сестра... Так будь же мне братом до конца. Мануэль, убей меня...

Он отшатнулся.

— Убей меня, убей, и бог христиан простит тебе измену. Мануэль, именем твоей матери, именами твоих погибших братьев молю тебя: убей меня... Мне нечем жить, потому что в душе моей давно уже пусто, как в могиле... Будь мне поистине братом,— убей меня!..

Мануэль опасливо оглянулся на выход и вдруг припал к самому уху Долорес.

— Зачем умирать, когда можно жить, жить спокойно и счастливо, как велит святая церковь. Слушай, я давно придумал. Бежим к испанцам. Дон-Хуан примет нас с радостью. Я буду ему полезен... Я знаю все лазейки мавров, все их тайные укрепления, каждый камень их крепостей. Тебя же, такую красавицу, он примет, как истинный рыцарь. Он встретит тебя, как мученицу древних лет. Тебя повезут в Мадрид, тебя окружают любовью и почестями. Ты будешь среди своих, будешь слышать родную речь... Бежим, Долорес, этой же ночью...

— Бежим, бежим, Мануэль!..

25

— Вот возьми альборнос и чалму,— переоденься; давай я помогу тебе.

Мануэль торопливо одевал шатающуюся от слабости Долорес.

— Сейчас мы погасим огонь, как будто его задул ветер. Ночь темная, нас никто не увидит... Девчонка проспит до утра,— я дал ей выпить снотворного... Не бойся ничего.

Он приподнял край завесы. Во мраке слышалось ржанье лошадей, переключка часовых, глухой лязг мечей в походной кузнице Эль-Загера, слышались чьи-то далекие голоса...

Как все это напоминало Долорес последнюю ночь на Мальте!

— Бежать!.. Бежать!..

Мануэль обернул голову девушки кисеей в форме чалмы, потом загасил факел.

— Клянусь честью, в темноте тебя можно принять за мослема. Идем!..

Они выскользнули, как тени, из шатра, мимо спящей у порога Лейлы.

Долорес шла за Мануэлем, как во сне, путаясь в широких складках непривычной одежды. Голова ее кружилась, ноги подкашивались; она хваталась за грудь, словно удерживая готовое выскочить сердце.

— О, Долорес, мавры жестоко поплатятся за годы моего унижения. Я ведь знаю все их тропинки и здесь и в Галере; я знаю все их планы... Еще вспомнит их проклятый вождь верного мослема Халита!..

Долорес готова была закричать. Из горла ее вырвался только сдавленный шепот:

— Молчи!.. Молчи!..

Они подходили к Утесу Молитвы. Лагерь спал. Кое-где только мелькали еще сторожевые огни, да замирали отдельные выкрики обычной переключки часовых.

Вдруг Мануэль разом остановился, припав всем телом к скале.

Какая-то женщина шла с фонарем по крепостной стене. Тусклое пламя осветило на минуту Утес Молитвы, ближние укрепления, груды каменных ядер и чью-то высокую, белую фигуру на выступе утеса.

Долорес узнала Абдаллу. Вождь мавров и в эту ночь не спал, зорко всматриваясь в даль, где среди сплошного мрака изредка вспыхивали сигнальные костры испанцев.

Женщина поставила фонарь у ног, и огонь, скользнув по ее одежде, лег светлым пятном на камни стены. Кругом стало снова темно.

— Идем же, Долорес! — потянул девушку за рукав Мануэль. — Осторожнее, не оступись, — здесь начало подземного хода... Держись за меня и спускайся.

Долорес никогда потом не могла вспомнить подробно о том, что случилось дальше. Помнилось ей, что она вдруг в ужасе отшатнулась от Мануэля, и ее альборнос остался у него в руках; с подавленным стоном она бросилась бежать от него к мигавшему на стене фонарю; потом у нее потемнело в глазах, и тело, ослабевшее за дни болезни, беспомощно упало под ноги какой-то женщины...

— Проклятая... мушрикинка... собака!.. — услышала она чей-то знакомый, полный ненависти голос, — я давно ждала этой минуты, когда я расплачусь с тобой за братьев, за мужа, за сына, за сестру... за все... за все...

Долорес узнала Айше.

Мавританка схватила ее за горло.

— Будь же ты проклята, как прокляты все гяуры!.. Я задущу...

Последним усилием Долорес отдернула ее руки и прошептала:

— Скажи эффенди, чтобы он... сейчас же завалил подземный ход возле Утеса Молитвы... и рыл его... в другом месте... Мануэль Занагуэрра, которого... вы зовете Халитом... бежал. Он изменник!

Айше опустила на землю и заглянула в лицо Долорес.

— Ты не лжешь?..

— Я говорю правду.

Тусклый свет фонаря бросал желтоватый отсвет на бледное, как у умершей, лицо Долорес с закрытыми веками и на склоненную над ней женщину.

— Велик аллах, велик аллах, — шептали губы Айше, — неужели эта гяурка — не собака?

КРЕСТ

1

— Жара нестерпимая, мой милый дон-Диэго...

— Май месяц, ваше высочество. Гренада, ваше высочество, подобна женщине в час утренней зари, — она пышет зноем и негой...

— О, да вы поэт, любезный Занагуэрра, — ваши сравнения восхитительны...

Дон-Хуану уже наскучили пиры во дворцах Хенералифе и Альгамбры, и он решил перенести разгул своего веселья в «народ».

— Должен же я в конце концов узнать город, в который меня закинула судьба, — говорил он своим друзьям.

— О да, ваше высочество, вы должны узнать город, который уже и теперь боготворит вас, как героя древних лет...

— Тише, тише, вы льстите мне слишком громко...

Полинявшие занавески театральной ложи скрывали от любопытных глаз нескольких знатных гидальго с масками на лицах.

Странствующая труппа комедиантов давала в этот день «небывалое представление». Об этом с утра еще оповестил гренадцев сам Антонио Циснерос — хозяин театра.

— Тише, сеньоры... Тише...

— Слушайте, сеньориты, — начинается...

Рванный занавес заколыхался, пропуская толстую фигуру Циснероса.

Подняв руку к небу и выпятив объемистый живот, он высокопарно продекламировал пролог.

О, прекрасные доньи, сеньоры Гренады,
Здесь перед вами сейчас разыграется пьеса,
Пьеса славная,— память о друге умершем,
Лопе де-Руэде бессмертном, сыне верном Севильи,
О любимце богов, схороненном так пышно
В старом храме прекрасной, волшебной Кордовы...
Снисходительны будьте, прелестные, нежные доньи,
Красота чья затмила красу звезд на небе...
Пьесу славную с вами прославим,
И так громко, чтоб дрогнули стены, земля застонала,
Крикнем автору, с ним комедиантам искусным,
Крикнем долго и звучно: победа!..

Дон-Хуан не слушал. Он смотрел на толпу гренадцев, бешено аплодировавшую своему любимцу, и искал среди черных мантилий хорошеньких женских лиц.

— Его высочество выбирает будущую королеву Гренады?..— услышал он угодливо-шутливый шепот Мануэля Зинагуэрра.

Дон-Хуан вздрогнул.

Откуда мог этот льстец, авантюрист и перебежчик угадать его тайные мысли?..

Честолюбие дон-Хуана давно уже не мирилось с положением просто «принца»—брата короля. Мечты уносили его на самые вершины могущества и власти.

Что, если этот мальтиец прав... Что, если дон-Хуану, рассеяв полчища мавров, удастся вернуться в Мадрид с громкой славой победителя?.. Ведь теперь нет уже в живых хилого и вечно озлобленного инфанта, которого так ненавидел король-отец. Наследник престола, инфант дон-Карлос умер... Что если испанский народ пожелает увидеть на пути к престолу прекрасного, молодого, увенчанного славой героя Гренады, и король последует народному желанию? Тогда среди воздушных арок Альгамбры, под дождем роз и олеандров Хенералифе пройдет он венчанным гренадским королем и, кто знает, быть может даже будущим королем могущественной Испании!..

У дон-Хуана кружилась голова от этих мыслей, от долгих бессонных ночей, от манцанилы¹ и бургосских вин, от смеха сидящих вокруг него придворных и от одуряющего запаха цветов, украшавших ложу.

¹ Особый сорт вина.

— Смотрите, смотрите, ваше высочество, какая красота!

Маски в ложе принца сдвинулись ближе к сцене.

— Клянусь честью, ей может позавидовать сама королева!..

— Bravo, Эстрелла¹, bravo!..

— Bravo, донна Пепита Фаусто...

— Bravo!.. Bravo!..

Дон-Хуан оглянулся на сцену.

Под гром аплодисментов оттуда раскланивалась молоденькая комедиантка. В черных волосах ее, взбитых в пышную прическу, огнем горело фальшивое золото. На левое плечо сбегала гирлянда белого нарда. Ярко накрашенный рот улыбался, а глаза тревожно искали кого-то среди шумевшей в восторге «пехоты»².

— Bravo, Эстрелла, bravo!..

— Красавица!..

— Роза!..

Комедиантка еще раз присела в жеманном поклоне и скрылась за занавесом.

— Действительно, дьявольски хорошенькая девчонка... — бросил небрежно дон-Хуан.

— Клянусь честью, ваше высочество, я где-то ее уже видел!

— Быть может, в мавританском лагере? — поддразнил шутливо принц.

— Ваше высочество, вы жестоки ко мне. Я успел уже забыть свой позор среди подлых врагов креста и тоскую лишь о сестре, прекрасной Долорес, которая в слезах ждет вашей помощи. Я храню в памяти только то, что может быть полезным военному гению вашего высочества...

— И я вполне надеюсь на вас, мой милый друг, — благосклонно улыбнулся дон-Хуан. — Ваша сестра напрасно плачет, — ее освобождение очень близко... Я готов скорее умереть, чем допустить пролить хотя бы одну лишнюю слезу такой прекрасной, благородной даме... И верьте мне, ее страдания вознаградутся сторицей... Однако неужели красота заставит нас долго

¹ Звезда.

² Часть публики, не заплатившая за определенные места в театре и потому стоящая.

ждать? Не будете ли вы любезны, дон-Диэго, вызвать ее еще раз.

— Браво, Эстрелла, браво!..

— Браво, донна Пепита!..

— Ола!.. Ола!..

— Фанданго!..

— Болеро!..

— Хота!..

— Ола!..¹

Публика требовала танца.

Пепита выскочила из-за занавеса и встала в позу.

— Она вызывает партнера из публики, ваше высочество, — услужливо объяснил дон-Фуэнте Оливарес.

Дон-Хуан рассмеялся.

— Клянусь мадонной, в первый раз в жизни я жалею, что рожден принцем!.. Будь я простым гидальго, я с наслаждением проплясал бы с ней олу... Впрочем, не сделаете ли это за меня вы, любезный Занагуэрра?..

По лицу Мануэля пробежала тень. Он чувствовал, что из него не прочь сделать шута ради потехи знатной молодежи.

— Ну, что же вы? — нетерпеливо повел плечами дон-Хуан.

В глубине души принц презирал ловкого мальтийца, так легко меняющего веру и взгляды.

Мануэль колебался одну минуту, потом быстро встал и раскланялся.

— Я рад служить вашему высочеству даже путем танцев.

И одним прыжком он перескочил барьер ложи.

Хозяин театра услужливо протянул ему гитару.

Мануэль взял аккорд, вздохнул, как того требовал обычай, и запел, немного гнусавя:

Неприхотлива, незнатна,

Но как прекрасна милая моя...

Брильянтовой короны нет на голове твоей.

Но наряд душистый всех корон милей!..

Пепита притопнула красным каблуком золоченой туфли и, медленно удаляясь от Мануэля, ответила мелодичным восточным напевом:

¹ Ола, фанданго, болеро, хота — названия танцев.

Храню я белый нард на голове своей
И сердце нежное в груди моей,
Но берегись: тот нард не для тебя,
И никогда не буду я твоя...

— Bravo!.. Bravo!.. — заревела публика.

Пепита нагнулась к самому полу и, разом отпрянув, понеслась вокруг сцены в бешеном танце.

— Bravo! Вот это «лихой удар ножа»!

— Какая «соль»!..

— Удадь!

— Bravo!

Дон-Хуан был очарован.

— Благодарю вас, милый дон-Мануэль, — говорил он вернувшемуся Занагуэрра. — Я искренне завидовал вам. Чудесный обычай — целовать красотку после танцев... В награду за ваше искусство я поручаю вам сорвать нард с ее хорошенькой головки...

Кругом угодливо засмеялись.

— Поторопитесь сделать это скорее, любезный Занагуэрра... А теперь домой... Духота становится невыносимой!..

Маски шумно покидали ложу, отвлекая внимание публики от сцены, где Антонио Циснерос, обливаясь потом, старался изобразить грозного бога Нептуна.

Кошелек, полный мараведисов и нескольких золотых, приятно оттягивал широкие штаны властителя вод, — день для его театра выдался на редкость удачный. Он жалел только о том, что большая часть его прибыли перепадает на долю служителей святой инквизиции; отцы-монахи не пропускали дня и аккуратно обходили «верных христиан», собирая на свои нужды; а нужды отцов-монахов, как известно, не имели пределов. Антонио мысленно высчитывал, сколько чистой прибыли останется в его собственном кармане, незаметно отмечал на пальцах десятки и, не опуская тона, продолжал высокопарно декламировать.

А за вылинявшим одеялом, отделявшим сцену от общей для всех комедиантов уборной, Пепита снимала с лица краски грима.

В глазах ее стояли слезы.

Энрико Нигрино и в этот раз не пришел посмотреть на успех ее танцев.

¹ Лихой прием в танце.

— Есть у нас ужин? — устало спрашивала; Пепита.

— Есть, Эстреллочка, есть...

Старая Милагра, попеременно изображавшая в театре Циснероса то Славу и Справедливость, то Аврору и Медузу, то Ангела или Ведьму, захопотала над ящиком, заменявшим в их совместной жизни стол.

— Есть, Эстреллочка, есть рапузо¹, и бунюэлосы², и апельсины, и яйца, и оливковое масло... С тех пор, как я узнала тебя, мне стало жить куда сытнее. Бог даровал тебе красивое личико, а щедрым людям тугие кошельки. Хе-хе-хе!.. Что с тобой, Эстреллочка?.. Ты бледна, как лунный луч. На глазах у тебя опять слезы. Нехорошо! Слезы портят красоту девушек и убивают привлекательность женщин. Что случилось?..

Пепита заломила руки.

— Его и сегодня не было в театре! Твои корешки и заговорная молитва не помогают, — он по-прежнему не думает обо мне.

— Тьфу! — сплюнула с досадой Милагра. — И когда ты только бросишь этого негодяя Нигрино? Корешки и заговорная молитва хороши только для хороших мужчин, — спроси хоть Анжелику; она тебе расскажет, как ей помогли мои корешки и молитва. Не понимаю, с чего бы я, как собака, привязалась к гордецу, который обирает меня и не хочет даже глядеть на мою красоту. Если бы ты пожелала, сотни таких, как Нигрино, валялись бы у тебя в ногах за один твой поцелуй... А ты сохнешь, как слива без воды... Вон Алонзо Рубио ходит за тобой второй месяц. Он не хуже твоего Энрико, а ты...

— Молчи!.. — закричала сердито Пепита, — ты ничего не понимаешь! Рубио — трус! У него сердце из сливочного масла³. А шея вся в рубцах от навахи! Он простой бандерильеро⁴, — ему никогда не стать матадором!

Она заулыбалась и сложила восторженно на груди руки.

¹ Колбаса с обилием перца.

² Пышки, варенные в растопленном жиру.

³ Презрительное выражение для слабых духом трусов.

⁴ Человек, обязанный дразнить уколами особых стрелок (бандерильи) быка на «бое быков».

— А мой Энрико — первая шпага!

Она вскочила в волнении и стала торопливо убирать разбросанные по углам тряпки, обрывки театральных костюмов, мишуру, увядшие цветы.

— Есть у нас что-нибудь получше, чем рапузо и буюэлосы, дорогая Милагра?.. А вдруг он все-таки зайдет сюда по пути...

— Я охотно накормила бы его скверным гарбанбосом¹, чтобы он сломал себе зубы! Виданное ли это дело, — он не хочет и знать Эстрелочки, за которой не прочь поухаживать даже настоящие гидальго. Какой-то кабалеро в маске только что приходил и спрашивал тебя. Он оставил тебе золотой «на мантилью и гребень».

— Знаю.

— Ты встретила его?

— Да.

— Что же он говорил?

— Всякие глупости о моих глазах, ногах и талии... Надоел, как муха в жаркий день. Я прогнала его и обещала пожаловаться Энрико, если он снова станет приставать.

— Да ты с ума сошла, Эстрелочка! Я уверена, что это кто-нибудь очень знатный... Ай-ай-ай, ты никогда не станешь богатой, если будешь гнать от себя хороших кавалеров.

— Довольно с меня и театра! — вспыхнула Пепита. — Когда мне хочется плакать и кричать от тоски по Энрико, хозяин заставляет меня улыбаться и плясать на потеху тех, кто платит ему свои мараведисы. Могу же я хоть дома плакать, когда хочу?

Она разом замолчала, чутко прислушиваясь. И вдруг вся вострепелась.

— Голос Энрико...

Из-за полога палатки ясно доносились злобно-насмешливые голоса...

— С кем это он?..

Нигрино хохотал:

— Тот, кто плюет в звезду, попадает себе в лицо, запомни это!

— Подожди, я узнаю, так ли длинна твоя шпага, как длинен твой язык...

¹ Горох, поджаренный на сале, сухой, как косточки.

— Спроси у Испании, какой длины ее первая шпага!

— Эту шпагу ты спрячешь в юбках у женщины...

— Клянусь своим спасением, это будут твои последние слова!

Пепита с криком выбежала на улицу.

Нигрино и Рубио стояли друг против друга с обнаженными навахами в руках.

— Энрико!..

Он грубо оттолкнул ее в сторону.

Рука Рубио взмахнулась над самой головой Нигрино.

Не помня себя от ужаса, Пепита метнулась вперед и схватила лезвие навахи. Острая боль обожгла ей пальцы, и брызнувшая фонтаном кровь залила рукав широкой алой полосой.

Рубио отдернул руку.

— О, дьявол... Она готова зарезаться из-за этого негодяя!

Выскочившая Милагра подняла вой.

Из театра выбежали перепуганные комедианты.

Циснерос кричал, оглядываясь по сторонам:

— Ступайте, ступайте, благородные кавалеры. Здесь не место для поединков. Как тебе не стыдно, Пепита! Разве может вести себя так хорошая комедиантка? Ты не уличная гитана, чтобы мужчины резали друг другу из-за тебя горло. Да принесите же скорее воды и обмойте ей руку. Сохрани и помилуй меня мадонна лишиться такой танцовщицы... Да расходитесь же поскорее, благородные кавалеры, — я с минуты на минуту жду святых отцов-инквизиторов.

Комедианты окружили Пепиту.

— Хорошо же, — крикнул, уходя, Рубио, — до другого раза. Легче излечить рану, нанесенную оружием, чем словами, — запомни и ты это. У первой шпаги Испании слишком много защитниц и слишком мало храбрости!

3

Пепита блаженно улыбалась.

Очищая крепкими, выхоленными ногтями апельсин, Нигрино громко рассказывал:

— Вчера все сошли с ума от восторга, когда я вонзил шпагу в шею черного андалузского быка, и он рухнул на песок, как подкошенный... Гранды проталкивались сквозь толпу, чтобы только пожать мне руку. Сам принц удостоил меня милостивой улыбки и кивком головы. Женщины срывали с себя серьги и бросали их к моим ногам. Вся арена была усыпана цветами. Жаль, что ты не была там.

— Хозяин заставил меня учить новую роль.

— Да, это был день, — продолжал Нигрино. — Все уверяют, что только я один во всей Испании наношу такой верный и сильный удар. Клянусь рогами вчерашнего быка, что я готов лучше умереть, чем нарушить «закон корриды» и убить животное не по правилам!.. Недавно в Севилье, говорят, освистали старика Лагартихо за его удар в сторону или снизу вверх, не помню... Публика хохотала, как бешеная, когда он ушел с арены, весь засыпанный апельсиновыми корками. По-моему, лучше тысячу раз смерть, чем такой позор... Бедняга еще недавно считался первой шпагой, а теперь ему, верно, придется взяться за какое-нибудь ремесло или открыть лавочку. Клянусь честью, я лучше удавлюсь, чем смешаюсь с толпой тех, кто день и ночь сгибает спину над прилавком!..

Он презрительно пожал плечами и добавил хвастливо:

— Вчера какая-то донья, верно, герцогиня, просила меня взглянуть на нее. Она сидела рядом с принцем, сняв маску, и была очень хороша собой...

— Уж будто бы лучше нашей Эстрелочки? — не выдержала Милагра.

Матадор серьезно посмотрел на Пепиту, словно оценивая ее, как лошадь или быка.

— Ты... помоложе... — процедил он сквозь зубы, — но ты бедно одета, а главное — в твоих жилах течет подлая кровь.

Пепита опустила голову.

Опять эта проклятая кровь! Ради Нигрино она переменила все: родину, семью, веру, имя, но одного только она не могла сделать: это переменить свою кровь, кровь, которую она пролила из-за него неделю назад...

Глаза ее упали на белую повязку, все еще скрывающую раненую руку.

— Я день и ночь молюсь мадонне, чтобы она смягчила ваше сердце, дон-Энрико, — прошептала Пепита чуть слышно.

— Как это все надоело! — брезгливо поморщился матадор. — Разве я обманул тебя? Разве я звал тебя за собой? Ты сама, по своей воле, убежала от отца. Неужели ты полагаала, что я когда-нибудь женюсь на тебе? Бр... Жениться на тебе — это значит каждый день слышать насмешки, быть на подозрении у святой инквизиции, знать, что моих детей дразнят «крещенными иссопом». Нет, нет, да сохранит меня сарагосская мадонна от этого!

Он сложил пальцы в форме двух рожек — знак, которым суеверные люди отгоняли от себя все дурное, и отвернулся.

Пепита молчала.

Милагра злобно передвигала с места на место горшки и чашки. Она готова была вцепиться ногтями в красивые глаза Нигрино и мысленно посылала на него тысячу проклятий.

— Не понимаю, — вдруг пожал плечами матадор, — почему ты отгоняешь от себя этого дурака Рубио... Клянусь мадонной, я подам ему руку в день вашей свадьбы!

Пепита закрыла глаза, словно ожидая удара.

Он встал, потянулся, выплевывая на пол косточки апельсина, и начал прощаться.

— Сегодня я, верно, увижу Рубио в венте «Золотой сокол». Этот осел опять хвастался пометить меня своей навахой. Хочешь, я лучше пришлю его к тебе, чем пропору ему живот? Ну, не будь душой, жени его на себе... А пока прощай! Ах, черт! Нет ли у тебя золотого? Скверная штука считается первой шпагой, носить расшитую куртку и не иметь мараведиса в кармане.

Пепита стала торопливо доставать деньги.

— Благодарю. Ты — добрая девушка. Мне жаль тебя — пропадешь ни за что! И я пропаду, если не женюсь. Впрочем, я заметил, как на меня пялит глаза Химена, дочь старого Эно, что живет на свой капиталец в хорошеньком домике с патио¹. Прощай, Пепита.

¹ Внутренний, часто выложенный мрамором, украшенный растениями, фонтаном, двор.

К вам кто-то идет. Слуга вашей милости, сеньор кабалеро!

Он взмахнул красной подкладкой капы и, поклонившись входившему не хуже любого гидальго, вышел.

Мануэль Занагуэрра стоял у входа, не снимая маски.

Милагра захлопотала, подставляя гостю табурет.

— Чем можем служить вашей милости? Присядьте, ваша милость. Пусть не изволит побрезговать ваша милость. У нас, правда, не очень чисто, но ваша милость сами знают... бедность...

Мануэль засмеялся.

— Вы сами виноваты в своей бедности, почтенная донья. Если бы ваша дочь не была так сурова с тем, кто восхищается ее красотой...

Милагра кокетливо присела, скрывая заплывший жиром подбородок в складках грязной кофты. Губы ее растянулись в улыбку смущения, обнажая единственный уцелевший во рту зуб.

— Что вы, ваша милость! Эстреллочка мне не дочь.

— О, простите, сеньора, я и не знал!..

Пепита стояла, опустив голову.

В ушах ее все еще звучали слова Энрико:

— Хочешь, я пришлю к тебе Рубио?.. Клянусь мадонной, я подам ему руку в день вашей свадьбы...

Из груди ее вырвался стон.

— Сеньор,— сказала она звенящим от слез голосом,— вот уже несколько дней, как вы преследуете меня. Чего вы хотите? Любви? Я не могу ее дать вам,— это мое единственное богатство, но и оно не принадлежит мне, а тому, кто вышел сейчас отсюда: первой шпаге Испании, Энрико Нигрино, свету моей темной, как ночь, жизни, дыханию моих уст, единой радости моей молодости, биению моего израненного сердца... Ступайте за ним, спросите его: нужна ли ему еще любовь Пепиты?

Она заплакала громко, навзрыд, как ребенок.

— Если же нет... то подберите ее, если хотите, как растоптанный цветок на улице.

Мануэль сконфуженно пятился к выходу.

На башнях Альгамбры горели гигантские факелы. Дон-Хуан справлял последний пир перед серьезным походом.

Подвыпившие гидальго хохотали, шутили, спорили о скорых победах.

— Вот так же, как эти факелы, поджечь бы все гнезда восставших морисков...

— Славно бы вспыхнули их домишки...

— Ничего, скоро мы увидим и не такую еще иллюминацию... Ведь до сих пор мы шутили с ними, — настоящая война впереди...

— Ваше высочество, вы, подобно покойному императору-отцу, завоюете полмира, а Гренаду положите первой к ногам короля...

— Однако мориски, по словам Занагуэрра, сильно укрепляются, — заметил спокойно старик Кихада, воспитатель дон-Хуана, — и взять их голыми руками вряд ли удастся. Придется с ними немало повозиться...

— Еще бы! Неужели этот рай — Андалузию, они отдадут дешево? — отозвался герцог Аркосский, — говорят, они ловко отбили наших в последней схватке...

Принц улыбался и думал вслух:

— Проклятое племя, против которого христиане сражаются уже столько веков! Я не буду щадить ни жен, ни детей! Ведь, враждуя против христиан, мавры наносят тем оскорбление самому богу, и карать их — дело каждого, кому дорога слава креста. Ты говоришь, любезный Кихада, что они укрепляются на недоступных высотах? Эти высоты задрожат, когда падет крепость Гехар, а за нею Галер, или наоборот, или, наконец, обе разом, а над утесами Альпухары, Сиерры-Невады и Сиерры-де-Ронды раздастся наш победный клич: «Испания и Сант-Яго!..» Я молод, я солдат, и я знаю правило: кто не идет вперед, тот идет назад. Я иду всегда вперед, и потому морискам не будет от меня пощады. Но прежде всего я — рыцарь и должен отомстить подлым псам за страдание пленной христианской дамы. Надеюсь, что вы всегда мыслите так же, друзья?

— Да, да, ваше высочество, мы не должны щадить ни жен, ни детей...

— Мы сотрем с лица земли проклятое племя!..

— Итак, друзья, завтра у нас закипит работа, а сегодня мы будем только веселиться! Любезный дон-Диего, распорядитесь, чтобы громкий салют возвестил этим собакам, что мы готовы выпустить им кровь...

Гремели выстрелы, звенели чаши с вином, рассыпался раскатистый смех, грубоватые шутки.

Испанцы хвастались друг перед другом, сколько каждый из них нагребил в своей жизни сокровищ в борьбе с турками, с дикарями новых земель, с маврами и у фландрских купцов, «как у настоящих индюшек», — только стон стоял по всей Фландрии...

— Им дорого обошлась их любовь к ереси...

— Подлый народ, где ремесленников и торговцев больше, чем солдат!

— Будь я проклят, если бы я променял жизнь солдата на какую-нибудь другую...

— Ведь только солдатам и обязана Испания своей славой!

— В Испании скоро не останется, верно, ни одного подмастерья, — все уйдут в войска!..

— Еще бы! Ни одно ремесло не дает такой быстрой прибыли, как война!

— Ну, мориски и мараны думают иначе.

— А почему вы знаете, как они думают, если им не приходится выбирать. Может быть, они и рады были бы погреть руки на золоте Новой Испании? — расхохотался герцог Аркосский. — Благодарение богу, что я не родился мараном или мориском, и мне открыты все пути.

— Смотрите, герцог, как расправляются с проклятыми гнездами наши солдаты!..

Карвахаль показал рукой в сторону Альбайцина, где вспыхивали редкие, тревожные огни домов, наполовину уже покинутых бежавшими в горы морисками. Глухие стоны и крики слабыми отзвуками доносились до пирующих.

Испанцы смеялись; черные невольники приносили новые графины золотисто-янтарного и красного вин.

— Вчера мои солдаты притащили на мою долю порядочно золота, — говорил, захлебываясь вином, Перес де-Хита, — они у меня славные ребята, черт возьми!..

— Такой же сброд, как у всех нас!..

— Нет, не сброд, а прирожденные кастильцы!.. Ни у одного из них не найдешь и капли неверной крови!..

Дон-Хуан почти не слушал.

Он вспомнил свое недавнее, торжественное вступление в Гренаду. Он ехал тогда на белоснежной лошади, в длинной зеленой мантилье; его сопровождал епископ с целой свитой монахов — членов святой инквизиции и воинов св. Германдады; серебряные трубы громко возвещали о приезде героя с его десяти тысячным отрядом.

О, если бы в Мадриде могли видеть триумф дон-Хуана!..

— Я уже присмотрел себе славный домик на Зака-тине, — старался перекричать всех Родриго де-Ман-тия, — и с каким патиио!.. Теперь им владеет мавр-часовщик... Но я сегодня уже донес святейшей инквизиции, что он молился, надев чалму... Черт с ним, что он и в глаза не видел этой чалмы... Все равно; ведь в жи-лах его течет поганая кровь врагов креста, и, чем боль-ше их истреблять, тем лучше...

— Не вашего ли это мавра, дон-Родриго, тащат сей-час в тюрьму? Слышите крики?

— Пускай тащат, во славу бога и моего благополу-чия. Значит, я получу теперь от монахов часть его иму-щества, а может быть и самый дом с патиио...

— Сегодня арестовывали многих.

— Да, да, на Альбайцине теперь немало заколочен-ных домов!

— Святая инквизиция каждую ночь заколачивает какое-нибудь гнездо проклятых отступников...

Вино пьянило головы и мозг, разжигало жажду обогащения; испанцы чокались, толкаясь и расплески-вая кубки, за скорейшее истребление всех, кто проти-вится католической церкви, и поздравляли друг друга с близкой наживой в честь святого дела...

Шуту дон-Хуана надоело долгое молчание принца, и он потянул его за пышный кружевной обшлаг кам-зола.

— А ты что себе возьмешь, дядя? — спросил он, кривляясь. — Я знаю, ты не польстишься на золотые по-брякушки, как благородные «кабалеро в лохмотьях»¹.

¹ «Лохмотники», нищие-рыцари, предпочитающие случайный за-работок — грабеж, бродяжничество — постоянному труду, который они презирали, считая «неблагородным» занятием.

Тебе всего мало!.. Ты хочешь улететь прямо в небо. Ай-ай-ай, смотри, не сломай своей белой шеи!

Дон-Хуан расхохотался и оттолкнул его пинком ноги.

Шут кубарем скатился со ступенек под ноги невольника. Бесчисленные бубенчики на его голубом колпаке рассыпались серебристым звоном.

— Ай-ай-ай, принц свалился с неба!

Кругом громко хохотали.

Принц обернулся.

— Что же вы не смеетесь, дон-Мануэль? Нехорошо, если ваша сестра найдет вас, по своему возвращении из плена, скучным, как проповедь фландрского священника. Неужели эта плутовка из театра не на шутку ранила ваше сердце? Или у вас есть соперник?..

— Кто же этого не знает, ваше высочество, — крикнул заплетающимся языком Родриго де-Мантиа, — девчонка по уши влюблена!

— Ах, черт возьми! Кто этот счастливчик? Я готов надрать его собственные уши, если он завладеет тем, что по праву принадлежит дон-Мануэлю!.. Не правда ли, друзья? Занагуэрра заслужил любовь красотки своим танцем?

— Да, да, он заслужил ее!

— Она ему досталась, как награда за танец!

— Отдать ему девчонку!

— Кто же ваш соперник, дон-Мануэль, скажите?

Мы живо укротим пыл его страсти!

— Какой-то Нигрино, кажется, матадор, а скорее всего уличный драчун. Бывший контрабандист, — небрежно сказал Занагуэрра.

— Матадор Нигрино? Жаль. Довольно ловкий малый и вдобавок красивый. Но вы говорите, он контрабандист? Тем хуже для него. Мы поддержим закон и накажем преступника. Но не стоит самим пачкаться в его крови. Поручите это дело надежным людям, милый дон-Мануэль. Пообещайте им заранее отпущение греха убийства и подарите на память вот эту безделку.

Дон-Хуан снял с пояса парчовый кошелек и бросил его через стол Мануэлю.

— О, ваше высочество, вы слишком щедры к ничтожному слуге.

— Но только торопитесь, мой друг, торопитесь! Скоро начнется жаркое дело, и нам будет уже не до любви черноглазых красоток!

Пять музыкантов Циснероса оглушали публику звуками пандеро, флейты, ребека и двух гитар.

«Пехота» бешено аплодировала, помогая себе трещотками, хлопушками, свистульками и связками ключей.

Пепита танцевала.

Сегодняшнее представление тянулось для нее мучительно долго. Она сыграла уже целых три пьесы. Ей оставалось еще протанцевать несколько танцев, и тогда она будет, наконец, свободна и счастлива, потому что увидит Нигрино. Он обещал непременно зайти к ней. В последнее время это бывало так редко. Ни волшебные корешки Милагры, ни молитва мадонне, ни подарки духовнику падре Бенедикту, ни посты, ни долгие поклоны на каменном полу собора не смягчали сердца Энрико, — он все реже и реже вспоминал о ней. А ведь скоро Циснерос увезет свою труппу в Севилью, в Кордову, в Толедо или еще дальше — в Мадрид, Саламанку, и она волей-неволей должна будет расстаться с Нигрино надолго.

Но сегодня он сам обещал прийти к ней. Счастливый день! О, мадонна, как надоели эти люди там, за подмостками сцены. Неужели им еще не опротивели ее танцы?

Пепита танцевала и улыбалась, и ловила на лету брошенные публикой цветы. Кастаньеты в ее руках выщелкивали звонкую хоту.

— Браво, Эстрелла!..

— Браво, роза!..

— Еще!.. Еще!..

— Болеро!..

— Фанданго!..

— Сегедилью!..

Мучители! Пепита закружилась в болеро, отстукивая такт правой ногой и напевая:

— «От моего милого врага происходит мое страдание, поразившее мне душу.

И еще, к большому моему мучению, это страдание хочет, чтоб его только чувствовали, а не высказывали».

Кто-то из публики ответил ей, бренча гитарой:

Если б во мне было тысяча душ, я бы их все
вместе отдал тебе;
Нет во мне их, — возьми лучше тысячу раз одну.

Пепита закружилась на одном месте; ноги ее мелькали у самых глаз сидевших в первом ряду.

Отныне и навсегда вот какое дам тебе проклятье:
Да будет у тебя богатство,
Но да не будет у тебя вкуса!

- Какая «соль»!
- Bravo, Эстрелла!..
- Bravo, донна Пепита Фаусто!..
- Bravo! Bravo!

Публика топала от восторга ногами, гоготала, забрасывала сцену цветами.

— «Не важничай, сеньора, что ты высокого рода,
Есть лестницы и для высоких башен!»

Пепита замерла. До слуха ее долетел взволнованный голос Циснероса:

— Закон не велит поднимать на улицах мертвецов!
Сохрани и помилуй, мадонна, его душу, но да будет проклят тот, кто убил его у самого входа в мой театр!
Теперь не оберешься хлопот со сбирами!

Лицо Пепиты стало белым, как цветы жасмина, ковром устилавшие сцену. Она все еще продолжала перебирать ногами и прищелкивать кастаньетами. И вдруг она ясно услышала:

— А жаль, он был ловкий матадор, клянусь честью!..

Пепита разом застыла на месте, и из груди ее вырвался ее дикий, надорванный крик:

— Энрико!

Она бросила кастаньеты на пол и, растолкав музыкантов, выбежала на улицу.

Циснерос схватил ее за руку.

— Куда ты? Публика сердится! «Пехота» топчет ногами и свистит. Ты с ума сошла!

— Энрико! Энрико!

Она вырвала руку и остановилась, обводя глазами лужайку, поросшую диким бурьяном.

От забора, окружавшего театр, тянулись широкие следы крови. У самой кулисной загородки, где был вход в уборную комедиантов, раскинулось мужское тело. Кровь алой струей текла из его бока, заливая шитую золотом куртку.

— Энрико!

Пепито припала к телу, стараясь разорвать голубой шелк куртки и удержать кровавую струю, безостановочно вытекавшую из раны.

— Энрико!.. Ты слышишь меня?.. Энрико, мадонна не может тебя отнять у меня! Я слишком много молилась ей. Я буду молиться еще больше. Вот здесь, на глазах у всех, я даю клятву уйти в монастырь, если она дарует тебе жизнь!

Кровь продолжала вытекать широкой густой струей.

— Да помогите же ему! О, святая дева, я схожу с ума.

Тело Нигрино задрожало мелкой дрожью и вытянулось.

— Помогите же!

Подошел врач, случайно бывший в толпе, прислушался к биению его сердца и сказал:

— Не надо кричать — он уже умер.

Умер? Это слово прозвучало для Пепиты без всякого смысла. Она наклонилась к трупу и сама долго слушала, прижимаясь лицом к его груди, заглядывала в остановившиеся потускневшие глаза и что-то шептала ему на ухо; потом, поняв, что она потеряла его навсегда, Пепита застонала, как раненое животное, и, припав к ране губами, стала целовать алое пятно...

Милагра дотронулась до ее плеча.

— Эстреллочка, идут сбиры... Отойди от трупа, Эстреллочка.

Пепита подняла голову. На бледном, запачканном кровью лице ее злобно горели большие, почерневшие глаза; губы кривились и судорожно ловили воздух; руки рвали ворот платья...

Милагра попятилась.

— Эстреллочка!

— Я не Эстрелла и не Пепита, — сказала девушка хрипло, — я — мавританка, Фатъма, дочь Абенамара — друга и советника Абдаллы, вождя восставших

мавров... Я много недель жила с отцом в горах и перевозила с ним и с сестрой оружие против вас, испанцев.

— А-а-а! — ропотом пронеслось по толпе.

— Я бросила сестру и отца, — продолжала отдельно Пепита, — и ушла к вам; я стала молиться мадонне и Иисусу; я молилась прилежнее любой из вас, но ваши боги обманули меня. Они украли у меня счастье, они вырвали мое сердце. Они затопили его слезами и кровью.

— Она порочит мадонну и Иисуса!

— Она богохульствует!

— Задушите эту еретичку!

— Бейте ее! Заткните ей рот!

— Молчите вы, мушрикины! — звенел голос Пепиты, — я ненавижу вас! Я буду день и ночь молить аллаха, чтобы он наслал на вас чуму, огонь и голод, а его... убийцу... Рубио... я... я...

Сбиры не дали ей договорить. Увесистый кулак обрушился на ее голову. Пепита без сознания рухнула вниз, на грудь Нигрино.

Их обоих подняли и унесли.

— Эстреллочка, Эстреллочка! — плакала Милагра.

6

— Твое имя?

— Фатьма...

— Это не имя, а собачья кличка! Как твое христианское имя?

— Пепита...

— Сколько тебе лет?

— Не знаю... Прошлым летом отец говорил: «Вот уж прошла твоя пятнадцатая весна»...

— Почему ты обвиняешь в убийстве Нигрино бандерильеро Рубио? Есть у тебя свидетели?

— Нет... Но Рубио всегда ненавидел Энрико и тысячу раз клялся поместить его своей навахой.

— Берегись обвинять ложно, — закон карает ложные показания.

— Теперь мне все равно, что сделает со мной закон.

Пепита отвернулась и села на скамью.

Лицо судьи побагровело.

— Встань, когда с тобой говорит представитель королевской власти.

Пепита покорно встала.

— Ты подтверждаешь свое обвинение?

— Да. Больше некому было сделать это.

Судья перегнулся к ней через стол.

— Да? Так ты обвинила ложно, потому что девять свидетелей утверждают обратное. Бандерильеро Рубио в час убийства был в венте «Золотой сокол» и играл там в кости, не отлучаясь оттуда ни на одну минуту. И еще...

Судья порылся в ворохе бумаг на столе и прочел:

— «Бандерильеро Рубио носит при себе обычную наваху: удар же, нанесенный убитому, был сделан трехгранным кинжалом, каким пользуются обычно наемные убийцы...»

Лицо Пепиты передернулось судорогой страдания.

— И дальше: «Накануне убийства бандерильеро Рубио опять-таки при свидетелях вел долгий разговор с убитым в той же венте «Золотой сокол», оба они смеялись и шутили; Нигрино что-то дарил или уступал Рубио; после чего они тут же распили вдвоем бутылку вина, поцеловались и громко поклялись в дружбе. Все это подтверждают: хозяин венты «Золотой сокол» Кристобал Пуньо, его служанка Изабелла и трое гостей Пуньо: Родриго Менес, Педро Санхес и Фернандо Саливадор...» Кроме того: «Целый ряд свидетелей указывает, что бандерильеро Рубио никогда не нанес бы удара из-за спины, как это было сделано с убитым Нигрино...»

— Так кто же убил Энрико?

Судья пожал плечами.

— Когда знатные и богатые сеньоры хотят узнать истину, они узнают ее, вывернув наружу кошелек с золотом. Для тебя же истина так и останется на дне твоего пустого кармана.

Пепита молчала. Значит, это не Рубио убил Энрико,— оборвал золотую пряжу ее счастья?..

В первую минуту, когда жажда мести залила ей сердце огненной волной, она хотела растоптать, разорвать на куски, вырвать глаз тому, чья рука нанесла кровавую рану... И первое имя, пришедшее ей в голову, был Рубио... Но когда она поняла, что ни закон лю-

дей, ни ее собственная месть, ни молитва не воскресят убитого, ей стало почти безразлично, кем нанесен смертельный удар...

— Что же ты молчишь? Суд признал твои обвинения ложными.

Пепита опустила голову.

Судья терял терпение.

— Обвинив ложно бандерильеро Рубио, ты совершила преступление, караемое законом, но еще большее преступление совершила ты, позволив себе всенародное богохульство, богопроклятие и богопоношение. Повтори, что ты сказала тогда над трупом убитого...

Из глаз Пепиты текли слезы.

Что сказала она тогда над трупом Энрико? Она не помнила ни слова из того, что прокричало ее обезумевшее от горя сердце. Она помнила только одно: остановившиеся потускневшие глаза Энрико под бахромой длинных, черных ресниц, голубой шелк расшитой золотом куртки с большой темной раной на боку и кровь... много крови... всю лужайку перед театром, залитую его кровью...

Пепита застонала и закрыла лицо руками.

— Повтори, что ты сказала над трупом убитого.

— Не знаю... не помню... оставьте меня...

Судья сердито захлопнул тетрадь с бумагами и, наклонившись к своему помощнику, шепнул:

— С этой рванью одно мучение!.. Клянусь моими очками, легче осла заставить читать по-латыни, чем добиться от нее толку!.. Бьешься, бьешься, а в награду получаешь их грязные старые лохмотья и больше ничего.

Он встал из-за стола и, с шумом отодвигая табурет, заявил:

— Ввиду того, что подсудимая обвиняется в преступлении, содеянном против господ бога и его святой церкви, я беру оное дело из рук гражданской власти и вручаю его в руки духовной. Передать дело подсудимой Пепиты Фаусто, танцовщицы из театра Антонио Циснероса, в ведение суда святейшей инквизиции.

Протирая платком запотевшие стекла очков, он засмеялся и добавил вполголоса:

— Пусть-ка святые отцы-инквизиторы погреют руки на этом выгодном дельце!..

Помощник громко фыркнул и спрятался за грудой судейских книг.

Пепита стояла, низко опустив голову.

— Суд святейшей инквизиции... Не все ли равно теперь...

7

Тусклый свет едва проникал с высоты единственного, узкого, как щель, окна. От сгнившей соломы шел едкий запах тления; тело коченело от сырости и холода.

В цветущей Гренаде, под синим пламенным небом, среди апельсиновых, лимонных и оливковых рощ, было одно темное, сырое, затхлое, как склеп, место — это тюрьма святой инквизиции.

Пепита не помнила, сколько дней и недель провела она уже здесь в ожидании первого допроса.

Тюрьмы были переполнены; не хватало места для новых арестованных, и их бросали в одни камеры с приговоренными к пожизненному заключению.

— Аллах? Магомет? Мадонна? Иисус? — Она не знала, кому ей теперь молиться.

Она день и ночь лежала ничком на соломе в ожидании смерти. Неужели же и смерть обманет ее, как обманула жизнь. Умереть, только умереть, чтобы не слышать этих стонов, этого плача, этого скрежета зубов заключенных с ней женщин и детей.

До слуха ее долетал тоненький жалобный плач. Это плакала десятилетняя девочка-«еретичка», прося у матери есть. Что мог сделать преступного этот ребенок?

В другом углу шамкающий голос старухи бормотал в полубреду:

— Они обвинили меня в ереси. Они говорили всякие глупости, подкупили свидетелей и доносчиков и слушали их жадными волчьими ушами. Я знаю... знаю, чего они добивались. Денег... У меня были проклятые пезеты. Они-то и погубили меня. О, дьявол, ради них разорили мой дом, разграбили мое имущество, выгнали на улицу моих детей и внуков! Ах, мой муж, благородный сеньор и кабалеро, друг самого императора, привез мне когда-то слишком много золота из новых стран. В этом вся моя вина — в моих деньгах, кото-

рые не давали спать по ночам жадным волкам... О, теперь они спят, не просыпаясь, эта свора шакалов, что зарылась в золоте моих детей и внуков! Хотела бы я узнать, как они разделили мои пезеты? Сколько взяли монахи и сколько король? Ха-ха-ха-ха!.. Король и монахи! Король и монахи! Король и монахи!

— О-о-о-о-о! — стонал кто-то рядом с Пепитой, и звон цепей гулом проносился под гулкими сводами. — О-о-о-о-о! Они рвали мое тело на части. Они жгли мне глаза, сдирали кожу. И я сказала им все, что они хотели. Я выдала им сестру, брата, отца, мать. О-о-о-о-о! Я предала им родную мать, которая вскормила меня своим молоком, которая согревала меня своим дыханием, баюкала биением своего сердца. Я нагала на нее! А ведь она была всегда верной католичкой. Ее сожгли на костре, и она прокляла меня! О-о-о! Неужели им мало было нашего богатства? О-о-о!..

Пепита зарылась в солому, но стон проникал ей в мозг и сверлил его, как звенящий бурав сверлит камень.

— О-о-о-о-о! Пусть они вернут мне мою мать на одну только минуту, чтобы я вымолила у нее прощение... Я расскажу ей, что они делали со мной, чтобы заставить меня солгать... Я стану валяться у ее ног... у ее ног, которые стали черными углями там, на площади Виварамблы... О-о-о-о-о!..

Пепита вскочила и, наступая на лежащих, стала искать в полутьме камеры выход. Ведь должен же быть где-нибудь выход из этого каменного мешка?

Чьи-то руки, холодные и липкие, обхватили ее и притянули к себе.

— Дай мне пить!.. Дай мне пить, и я выведу тебя отсюда. Я — колдунья. Я — ведьма. Я знаюсь с самим сатаной — царем мрака. Я посажу тебя на свиное крыло, и ты улетишь в трубу. Дай мне пить!

Цепкие руки сжимали Пепите горло.

— Я — маранка. За это меня и посадили сюда. Я была дочерью купца. Я одевалась только в индийский шелк и бархат. На пальцах, на шее и в ушах у меня было золото. Теперь монахи носят мои шелка и бархат, а папа, святой наместник Христа, сделал себе трон из моего золота. Дай мне пить, и я научу тебя колдовству.

Пепита ударила сумасшедшую в грудь, и та упала навзничь, плача и причитая, как маленький ребенок.

— Не бей меня! Не бей! Меня никогда не бил мой отец. Ах, мой добрый отец! Где он? Я знаю... Мне рассказали про него мыши и крысы... Они подсмотрели и рассказали мне вчера. Монахи раньше срока свели в могилу моего бедного отца; папа выманил у него много денег, но ничего не сделал для спасения. Он обманул само небо. Он продал убийцам отпущение грехов и заставил их вырыть кости отца и сжечь их на автодафе. Они рылись в земле, как кроты, ища прах моего отца и моего деда и всех, кто был с ними в родстве. Они делали страшные чучела и сжигали их вместе с костями. По ночам мне снятся эти кости и эти чудовища из тряпок и палок... Они стонут в темноте... стонут и кричат... кричат...

Пепита, обезумев от ужаса, стала биться головой о стену; густая каша мокриц зашевелилась в стенной плесени и осыпала ей спину и плечи.

— Смерть!.. Смерть!.. Смерть!..

8

— Солнце!..

Пепиту в первый раз вывели на тюремный двор. Над ней было ослепительно синее небо, все пронизанное лучами солнца; шум города рвался из-за высокой каменной стены; в вышине щебетала стая ласточек.

— Свет!.. Воздух!.. Солнце!..

Пепита заплакала от счастья и пошатнулась. Ей пришлось схватиться за одного из сопровождавших ее монахов, чтобы не упасть. Но ноги не слушались ее и подкашивались. Она не удержалась и бессильно скользнула на колени. Ведь она так долго пробыла в темноте и сырости, полуголодная, измученная стонами и бредом заключенных; ее исхудалому телу не выдержать тяжести счастья; она задохнется от этого океана тепло-го, согретого солнцем воздуха...

Пепита очнулась от прикосновения чьих-то грубых рук.

Солнца уже не было. Вокруг темнели голые стены узкой камеры.

— Где я?..

— Перед лицом господа.

Пепита подняла голову. Прямо перед ее глазами высилось огромное, под самый потолок, распятие, а у подножия его черный длинный стол. Какие-то люди с закрытыми черной материей лицами смотрели на нее в глазные прорезы.

— Где я?..

— Перед лицом господа, чтобы сказать истину. Поднимите ее.

Пепиту подняли. Она осмотрелась и вздрогнула.

Камера допросов и пыток! Как много слышала она о ней от тех, кто побывал здесь хоть раз.

— Готова ли ты отвечать, не уклоняясь и не утаивая истины?

— Готова! Только не пытайте меня!

— Мы никогда не пытаем тех, кто не упорствует. Клянись спасением своей души, что покажешь одну лишь правду и сознаешься во всех своих грехах против истинной христианской веры.

— Клянусь своим спасением.

— Ты колеблешься, дочь моя? Твой голос дрожит, как у того, кто хочет солгать.

— Мне холодно.

— Мы спрашиваем тебя не об этом. Истинно ли поклялась ты спасением своей души?

— Истинно.

— Что сумеешь ты под словом истинно?

— Я не знаю...

— Как же ты можешь говорить истинно, если ты не сумеешь смысла в этом слове?

— Я не знаю... Я не ученая... Да простят мне ваши милости...

— Назови нам всех тех, кто, подобно тебе, отступил от учения господа нашего Иисуса Христа!

Пепита протянула к распятию руки.

— Я никогда не отступала от Христа!.. Спросите моего духовника, падре Бенедикта!.. Один только раз, когда... когда... когда убили...

Она заплакала.

— Готова ли ты покаяться в этом?

— О, да, да!.. Я хочу покаяться и уйти в монастырь!..

— Твое покаяние будет ложным, если ты не назовешь всех, кто, подобно тебе, свершил величайший грех измены богу.

— Я никого не знаю...

— Привяжите ее.

Пепита в ужасе оглянулась. Огромный, полуголый человек в красной маске держал в руках веревку, готовясь набросить ее на крюк в стене.

— Не пытайте меня!..

— Назови имена богоотступников.

— Я их... не знаю...

— Привяжите ее.

Человек в красной маске одним взмахом загнул руки девушки назад и скрутил их веревкой.

— Не пытайте меня!..

— Ты упорствуешь, дочь моя, и мы обязаны подвергнуть тебя пытке, ибо таков устав суда святой инквизиции. Прикрутите веревку.

Руки Пепиты взметнулись кверху, вдоль спины, и хрустнули в плечах. Она закричала.

— Ослабьте веревку. Назови имена богоотступников, дочь моя, и господь наш Иисус Христос в милосердии своем простит тебе твой тяжкий грех.

Пепита молчала.

— Прикрутите веревку.

— Не надо!.. Я скажу все, что вы хотите!..

— Секретарь, записывайте показания подсудимой.

Кого же ты знаешь, дочь моя, повинных в одном с тобой грехе?

Пепита молчала.

— Ты добровольно дала обещание сказать истину, а теперь упорствуешь. Сатана овладел твоей душой, и нам должно силой вырвать тебя из его когтей. Прикрутите веревку.

Долгий крик прозвенел в сводах камеры.

— Отвечай.

Пепита молчала.

— Прикрутите веревку.

— Иисус... Иисус... — прохрипела девушка сквозь стиснутые зубы.

Глаза ее, не отрываясь, смотрели в лицо распятого перед ней на кресте. Слезы одна за другой стекали по щекам на обнаженную грудь и колени...

— И-и-сус...

— Спустите ее.

Пепита пластом свалилась на каменный пол.

Палач развязал веревку и подтолкнул тело ногой.

— Потеряла сознание...

Судьи переглянулись.

— Устав святой инквизиции не позволяет нам повторять пытку. Вследствие этого и ввиду бессознательного состояния подсудимой завтра мы лишь продолжим испытание, заменив его огнем и водой.

9

Пепита лежала на ворохе свежей соломы, боясь пошевелиться. Неужели это не сон, что ее не потащили сегодня в камеру пыток, а перенесли сюда, где тишина и покой, где по низким, приземистым колоннам перебегают солнечные пятна.

Как хорошо! Она совсем не чувствует боли в переломанных пытками ногах; в ней осталось одно только сердце, и оно громко бьется, словно большой колокол в соборе Гренады... Как хорошо!..

За решеткой окна край неба и серебристая ветка оливы. Неужели бог мослемов или бог гяуров услышал, наконец, ее молитвы и послал ей смерть?.. Не райские ли это сады ислама или бога христиан там, за окном, где синее небо и колышется зеленая ветка?..

— Ты улыбаешься, дочь моя,— это хороший знак...

Чей это знакомый, вкрадчивый голос?.. Где слышала она его раньше?..

— Видишь, дочь моя, господь бог милостив, он готов простить тебя.

— А-а!.. Падре Бенедикт — мой духовник...

Пепита хотела приподняться, но острая боль в ногах бросила ее снова на солому.

— Мне больно...

— Ничего, дочь моя,— господь бог милосерд; он смягчает всякую боль. Радуйся телесной боли, ибо она спасет от боли духовной. Ведь и господь наш Иисус Христос страдал ради нас на кресте...

Лицо падре Бенедикта наклонилось над самым лицом Пепиты. Редкие седые волосы его, освещенные

солнцем, казались легкой серебряной паутиной; вокруг глаз и рта десятки морщин рисовали сложную сетку; белые мягкие руки священника гладили Пепиту по голове, как больного ребенка.

«Словно святой на паперти церкви в Вальядолиде», — подумала девушка.

— Не бойся ничего, — говорил Бенедикт, и голос его ей казался музыкой или рокотом ручья в зарослях кизила там, в горах Альпухары.

— Не бойся ничего... Господь через служителей своих прощает тебе твой грех... Отныне никто не коснется тебя... Отныне лишь я один буду приходить и лечить твои раны... И с помощью божьей ты будешь опять здорова...

Сладостный голос!.. Почему там, в исповедальне церкви, она не замечала музыки в голосе падре Бенедикта?..

— Не бойся ничего, ибо все уже миновало...

Пепита взяла дрожащими руками руку духовника и стала целовать ее, как целовала когда-то подножие мраморной мадонны в преддверии собора; волна благодарности и любви залила ей сердце, и она громко заплакала.

— О, падре... мне было... так больно... они мучили меня много дней подряд... они выворачивали мне кости и жгли мне кожу раскаленным железом... а вы... вы... как святой...

— Нет, дочь моя, я не святой... Я лишь смиренный служитель господа и твой духовник... Скажи же мне то, что ты не сказала своим судьям...

Пепита подняла на него полные слез глаза.

— Я не знаю, падре, что сказать вам...

— Назови мне богоотступников, коих ты узнала в своей жизни.

— Я их не знаю, падре...

Рука священника нежно гладила черные спутанные в беспорядке волосы Пепиты.

— Ну, хорошо. Скажи тогда, кто дружил с тобой?.. Кто поверял тебе свои тайны?.. Кому ты поверяла свои?.. Кто заботился о тебе?.. Кто тебя любил?..

В памяти Пепиты пронеслось смуглое лицо отца с большой густой бородой, с чалмой на голове и с глазами, полными жгучего огня, пронесся образ сестры с всегда сдвинутыми бровями и упорно сжатыми молчаливыми губами.

— Отец... сестра... Я ушла от них...

Падре Бенедикт громко вздохнул и поднял глаза к небу.

— С отцом твоим и сестрой не нам дано судить тебя, а господу богу на том свете, когда души наши предстанут перед лицом всевышнего судьи... Не с ними, дочь моя, а с кем ты дружила здесь, среди верных христиан?

— С Милагрой... старой комедианткой Циснероса... Она очень любила меня... и учила жизни...

— Учила, говоришь ты?.. Как и чему же она учила тебя?

— Она говорила, что я глупая, если отталкиваю богатых кабалеро ради Нигрино... Говорила, что Рубио не хуже других...

— Рубио? Это тот, кого ты обвиняла в убийстве?.. Он — верный католик?.. Часто ходил он в церковь?.. Исполнял ли он все обряды и посты?..

— Не знаю... Я не любила его. Да простит мне господь, если я ложно обвиняла его...

— Чему же еще учила тебя Милагра?

— Она советовала мне не отгонять от себя кабалеро в маске.

— Он был богатый?

— О да!.. Он мне дарил золотые!

— Как его звали?

— Не знаю...

— Жаль, дочь моя, что ты утаиваешь от меня истину.

— Нет, падре, я ничего не утаиваю от вас. Кабалеро в маске никогда не называл своего имени.

— Ну, а куда же ты дела его золотые?

Краска залила бледные щеки Пепиты.

— Где золото, которое дарил тебе богатый кабалеро? — снова спросил Бенедикт.

— Я отдавала его Энрико, — чуть слышно прошептала Пепита.

— Нехорошо, нехорошо, дочь моя. Тебе следовало бы лучше отдать это золото господу богу через его верных слугителей на дела церкви и святой инквизиции...

Пепита опустила голову.

Священник еще ниже склонился к ней.

— Чему же еще учила тебя старая Милагра? Не учила ли она тебя каким-нибудь тайным заговорам?

По лицу девушки прошла тень страдания.

— Да, падре, она учила меня тайной заговорной молитве и давала мне волшебные корешки.

— Ну? Ну?

Священник насторожился.

— Она говорила, что корешки и молитва привлекут ко мне сердце Энрико, и он полюбит меня наконец. О, падре, но ни корешки, ни молитва, ни посты, ни обеты — ничто уже не воскресит теперь сердца Энрико. Он умер! Он умер, и я никогда не увижу его глаз, его рта, его высокого, белого лба. О, падре, а ведь я готова была умереть за него сама, только бы он жил и радовался жизни...

Она громко плакала, и слезы неудержимо текли по ее щекам на руки священника.

По лицу падре Бенедикта блуждала торжествующая улыбка.

То, чего не могла сделать пытка, сделали его мягкий, вкрадчивый голос и нежная, белая рука... У падре Бенедикта была своя особая манера добиваться нужных показаний.

10

Алонзо Рубио шел навеселе.

Три дня уже вся Гренада была пьяна, праздная первую крупную победу испанского войска. Город украсили в честь возвращения победителей триумфальными арками, гирляндами цветов, коврами, шальями, разноцветными материями...

Алонзо шел и напевал под торжествующий звон колоколов:

Есть у меня жемчуг и брильянты,
Есть серебро, слоновая кость и золотые ткани —
Все есть у меня в изобилии,
Если ты меня любишь, роза души моей!..

Он пел, и ему казалось, что у него и на самом деле не сегодня — завтра будут в руках сокровища мира. Победное возвращение дон-Хуана с его десятитысячным отрядом вскружило голову Алонзо. После загадочной истории с Нигрино, из которой он едва выпутался, ему окончательно перестало везти. Он решил бросить свое ремесло бандерильеро и записаться в войска победителей.

Три дня уже Рубио пил с солдатами вино из Каравакки, херес и манцанилу и в тысячный раз слушал рассказы о взятии мавританской крепости Гехар.

Уставшие от долгой осады горных укреплений врага, испанцы пьянели от одного кубка и с удовольствием болтали с первым встречным.

— Они дрались, как львы, клянусь печенью моей матери, эти собаки-мориски, — рассказывал Алонзо какой-то астуриец из личного отряда дон-Хуана. — А их женщины — сущие ведьмы; они злее диких кошек и дерутся не хуже мужей!.. Клянусь своим трубуко¹, одна чуть не выцарапала мне глаза, а другая обварила моего соседа горячей смолой, да упокоит господь его душу, — здоровый был детина и любил выпить... Чертово племя!.. Зато и досталось же им от нас!.. Хотел бы я увидеть хоть одного из этих собак, защищавших Гехар, живым или не взятым в плен... Многие сами бросались со стен крепости в ущелье и разбивались насмерть, чтобы только не попасть к нам в руки... Ты видел, как гнали по улицам пленных? Не многие же из них дотащились до Гренады! Чуть что — мы глушили их, как рыбу! Ха-ха-ха! Эх друг, бросай все и поступай к нам в войско, — станешь получать жалованье; а если не будешь промахом, то не мало урвешь в свою пользу за время похода... Ну, выпьем за вольную военную жизнь да за хорошее знакомство!

¹ Род мушкетона — огнестрельное оружие.

Рубио пил, целовался с новыми приятелями и клялся им в вечной дружбе.

«К дьяволу оседлую жизнь, к дьяволу быков и арину, все к дьяволу, — думал он, стараясь идти прямо и не шататься, — поступлю в войска и буду жить в свое удовольствие! Ведь не хуже же я этого сброда, который зовет себя солдатами принца? Неужели же я не сумею набить себе карманов, как эти хвастливые ослы? Черт и его бабка-ведьма! Еще посмотрят, какой из меня выйдет солдат!»

Есть у меня жемчуг и брильянты,
Есть серебро, слоновая кость...

Рубио снял шляпу перед проходящими мимо девушками и улыбнулся им широкой пьяной улыбкой.

— Куда идете, мои королевы?

Девушки фыркнули.

— Туда, где бы вас не было видно!..

— Ого! Не нужен ли мужчина в провожатые?..

— Так такие-то все мужчины в этой бедной стране?.. Христос, какой страх!..

Девушки захохотали и убежали, оставляя за собой нежный аромат жасмина, которым были украшены их праздничные прически.

— Какие «соленые» девчонки!.. — восхищенно вздохнул Рубио.

Его окружила группа пьяных солдат.

— Эта «соль» тебе не по губам, приятель! Наваха перестала нравиться женщинам!..

Рубио узнал одного из своих новых друзей.

— К черту наваху! Я решил пристать к вам.

— Вот это по-приятельски. Идем, выпьем!

— Нет... Я должен догнать этих девчонок...

— Пустое! Гренада полным-полна юбками. Не стоит гоняться за одной, когда рядом их целая дюжина!

Они силой тащили его с собой, уговаривая выпить за мудрое решение, но Рубио отбивался от них, как упрямый осел.

— Нет. Я должен сначала догнать этих девчонок...

Солдатам надоела игра, и они с проклятиями отпустили его.

— Ступай ко всем чертям!.. Кто меняет вино на женщин — никогда не будет хорошим солдатом!..

Есть у меня жемчуг и брильянты,
Есть серебро, слоновая кость и золотые ткани...

Рубио опять остановился, столкнувшись лицом к лицу с девушкой в рваных лохмотьях, с нашитым на груди большим желтым крестом — позорным знаком осужденных инквизицией.

Рубио протер глаза.

— Сохрани и помилуй меня святая мадонна, неужели это вы, донна Пепита?..

На исхудалом, словно высохшем лице девушки остались только ее большие, черные, как плоды терновника, глаза. Она шла, тяжело опираясь на палку и едва волооча большие, искалеченные ноги. Багрово-синие рубцы — следы долгих пыток — стягивали ей все тело крепче тугих веревок и мешали свободно двигаться.

— Неужели это вы, донна Пепита?

Он смотрел на нее с сожалением. Так это ради нее-то он дрался когда-то с беднягой Нигрино?.. Ради нее не спал ночи, сочиняя в честь ее красоты и удали нежные песенки и распевая их под звон гитары около ее двери?..

Она стояла перед ним жалкая, почти некрасивая, в своих грязных лохмотьях, с копной спутанных, нечесанных волос, дрожащая и сконфуженная.

— Да сохранит вас мадонна, — я не узнал бы вас издали...

Пепита густо покраснела и стала торопливо поправлять разорванную в клочья кофту.

Потом, сложив умоляюще руки, она чуть слышно прошептала:

— Дон-Алонзо. Я много виновата перед вами, простите меня, если можете.

Он переминался с ноги на ногу, не зная, что ответить.

— Скажите мне, — продолжала все так же Пепита, — не знаете ли вы, где схоронили тело Энрико?.. Я была бы вам благодарна всю жизнь, если бы вы проводили меня на его могилу.

Рубио поморщился. Он всегда не любил кладбищ, покойников — все, что напоминало о смерти, — и был не расположен в этот веселый для гренадцев день бродить среди могильных памятников и крестов.

— Меня только сегодня выпустили из тюрьмы, дон-Алонзо, — говорила Пепита, — приговорив к пожизненному ношению креста, да помилует господь моих судей, — они были слишком милостивы к моим преступлениям.

Рубио с сожалением посмотрел на ее ноги.

— Как же вы будете теперь танцевать, донна Пепита?

Девушка опустила голову.

— Я не могу больше танцевать, дон-Алонзо. Доброму падре Бенедикту не удалось вылечить моих ног... Он говорит, что если я стану усердно молиться и отдавать мадонне через него все, что мне удастся заработать, она пошлет чудо — и мои ноги снова станут легкими и быстрыми, как прежде. Но я плохо верю в это. Его доброе сердце хочет, верно, только утешить меня.

Рубио презрительно свистнул.

— Ваш падре Бенедикт — просто обманщик! Он метит отнять у вас последний грош, а вы его слушаете!

Брови Пепиты нахмурились.

— Неправда! Падре Бенедикт — святой! Вокруг его головы сияние, а голос — как у ангела... Он примирил меня с жизнью. Вы совершаете великий грех, понося святого...

Рубио стала надоедать и пугать эта неожиданная встреча. Разговаривать с осужденной инквизицей не всегда бывает безопасно. Он оглянулся по сторонам, ища предлога, чтобы уйти.

Из соседней улицы до него долетели взрыв веселого женского хохота, звон гитары и нежный припев:

Ах, твой маленький гранатовый рот
Прекрасней и слаще, чем роза...
Можно ли сравнить белизну самой Сьерры
Со свежестью лилий твоей груди?..

— Простите меня, донна Пепита, — решил, наконец, солгать Рубио, — но сейчас я никак не могу помочь вам. Я и сам не знаю, где схоронили беднягу Нигрино.

Сходите-ка лучше к толстяку Циснеросу — вашему бывшему хозяину. Он ведь опять приехал в Гренаду по случаю праздника. Старик, верно, сможет исполнить вашу просьбу.

Пепита удивленно посмотрела на него.

— По случаю праздника, говорите вы?.. Разве в Гренаде сейчас какой-нибудь праздник?..

— Святая мадонна!.. Да об этом знают грудные дети!.. Гренада празднует победу дон-Хуана над морисками под Гехаром.

— Что?!..

— Прощайте, донна Пепита, я тороплюсь по одному очень важному и срочному делу... Да хранит вас Сант-Яго от всяких бед...

Он ушел, весело насвистывая, и затерялся среди прохожих.

Ах, твой маленький гранатовый рот.
Прекрасней и слаще, чем роза...

— Гренада празднует победу дон-Хуана над морисками под Гехаром... — как эхо, прошептала Пепита.

Она стояла одна среди веселой смеющейся толпы гренадцев с широко раскрытыми глазами, и где-то внутри нее, в самой глубине ее сердца, стоном отзывались беспечные слова Рубио:

— Гренада празднует победу дон-Хуана над морисками...

Пепита сжала зубы, чтобы не застонать от тоски и одиночества.

Ах, твой маленький гранатовый рот...

Она крепче оперлась на палку и, пошатываясь на каждом шагу, медленно поплелась к рыночной площади, за которой плясала когда-то на подмостках театра Циснероса.

Прекрасней и слаще, чем роза...

Гул колоколов заглушал веселый напев...

Пепита робко постучала в дверь.

— Кто там? Мне некогда!

У Пепиты защемило сердце от знакомого хрипловатого голоса.

— Ну, кто же там? Входите.

Она открыла дверь и вошла.

Та же сцена, составленная из четырех скамеек, устланных досками, те же скамейки под навесом для более состоятельной публики, та же загородка для «пехоты», те же ложи... На сцене шла репетиция, и Антонио Циснерос, как всегда, сердился и кричал:

— Эй, Анжелика, не думаешь ли ты, что я осел, который даром дает тебе деньги? Если ты будешь строить такие рожи вместо того, чтобы грациозно улыбаться, ни одна собака не заглянет сюда... А чем я тогда заплачу аренду за помещение отцам-монахам? Твоими старыми юбками? Кто там еще?..

Он оглянулся на входившую и закричал, отмахиваясь толстыми руками:

— Ступайте, ступайте!.. Я по горло в долгах, — мне не до нищих!..

— Это я, дон-Антонио.

Циснерос прищурил глаза и присмотрелся.

— Святая мадонна!

Пепита не дала ему договорить.

— Я знаю, дон-Антонио, меня никто не узнает. Это понятно. Я сама, верно, не узнала бы себя, если посмотрелась бы в зеркало. Я пришла к вам, чтобы взглянуть на те места, где я была когда-то счастлива, чтобы увидеть людей, которые были всегда так добры ко мне, и узнать...

Циснерос сердито фыркнул.

— Которые были всегда добры к тебе? А чем ты отплатила им за это?..

Пепита посмотрела на него с удивлением.

— Я не понимаю вас, дон-Антонио.

— Не понимаешь?.. Все вы не понимаете, когда вас припрут к стене и скажут правду в глаза... Чем ты отплатила старухе Милагре за то, что она возилась с тобой, как родная мать? Старая дура ревела, как вол на

ярмарке, когда тебя унесли сбирь, не ела, не пила, похудела, все ноги отбила, бегая по улицам, ища кого-нибудь, кто заступился бы за тебя, а ты... Чем ты отблагодарила старуху?..

Пепита слушала его, не понимая ни слова.

— Мы все узнали от верных людей из инквизиторских тюремщиков. Эх, ты!.. А мы-то еще считали тебя своей в нашей бродячей семье!..

Он резко отвернулся от нее, продолжая репетицию.

— Эй, Анжелика, чего ты глазеешь?.. Мало ли кто зайдет сюда с улицы?.. Повори свои слова, Инниго!..

Столпившиеся около Пепиты комедианты покорно вернулись на свои места. Репетиция пошла своим чередом.

— «Сеньор Фуэнте, что вы так потолстели?»

— «Сеньор, разве вы не видите?.. Это модные панталоны...»

— «А я их было принял за юбку. Чем же вы их подбили, что они так пышно держатся?..»

— «О, безделицей: старой щеткой и поношенным плащом...»

Пепита узнала знакомую пьесу Лопе де-Руэда о модных панталонах.

Смешная пьеса, над которой она так много когда-то смеялась... Но что говорил ей только что Циснерос о Милагре?..

У Пепиты тоскливо сжалось сердце.

— Сеньор Антонио... — позвала она робко.

Циснерос побагровел от негодования и крикнул одному из комедиантов:

— Филипп, закрой дверь и вели уйти из театра посторонним.

Пепита, спотыкаясь, выбежала на улицу.

Она стояла, как оплеванная, как выгнанная за порог бродячая собака. Ее не хотели знать, ее чуждались, ее презирали и гнали от себя единственные близкие ей на свете люди.

Пепита решила дожидаться конца репетиции и спросить кого-нибудь из комедиантов о Милагре.

Милая, добрая старуха, жеманно приседавшая при всяком новом знакомстве с мужчиной, она действительно любила Пепиту всем сердцем, не знаям ответной любви в мужской душе. Где она?.. Почему она не вышла к ней навстречу из-за занавеса уборной?.. Как хотела бы Пепита обнять ее, положить голову ей на колени и уснуть сном, похожим на смерть, чтобы забыть то, что огнем выжгло ей грудь, чтобы не чувствовать пустоты там глубоко в сердце и мозгу...

Пепита сидела прямо на земле, мешая свои лохмотья с пылью и навозом улицы; один только большой желтый крест на ее груди пылал под лучами солнца клеймом позора и отчуждения.

Колокола гулко и немолчно звонили...

Хлопнула дверь, и Анжелика выскочила за порог. Пепита с трудом поднялась ей навстречу.

— Послушай.— В голосе Пепиты звучали слезы.

— Мне некогда. Я бегу к торговке апельсинами...

— Постой... скажи мне...

Анжелика остановилась.

— Скажи мне, где Милагра?

Анжелика недоверчиво посмотрела на бывшую подругу.

— Ты должна знать про нее лучше, чем мы.

— Я ничего не знаю. Меня только сегодня выпустили... Скажи мне, где Милагра?

Анжелика опасливо оглянулась на дверь театра и вдруг затараторила:

— Когда тебя арестовали, мы все очень горевали, особенно бедняжка Милагра убивалась. Но потом Циснерос увез нас в Толедо. Из Толедо в Мадрид. Из Мадрида опять в Толедо, потом в Кордову. И вдруг в Кордове ночью, как гром из голубого неба, к нам в театр приходит стража святой инквизиции — и прямо к Милагре. Кто такая? Как зовут? Чем занимаешься? Ну, и арестовали. Мы туда, мы сюда, — никто ничего не знает; говорят, еретичка, колдунья, увезли в Гренаду. Потом нам пришлось уехать в Севилью, оттуда еще в несколько городов. А как услышали, что в Гренаде празднуют победу принца, — сюда. Как приехали, сразу пошли узнавать, что случилось с тобой и с Милагрой. Ну,

вот нам и рассказал один из знакомых тюремщиков, что монахи тебя не сегодня-завтра выпустят за то, что ты наговорила своему духовнику небылиц про Милагру: про волшебные корешки, про заговорные молитвы, про колдовство, про сатанинские праздники — одним словом, утопила ее с головой... «Будь у девчонки хоть грош за душой, ей не так-то легко было бы выкрутиться, — сказал нам тюремщик, — а так, что с нее взять? Пускай ходит по белу свету на страх другим. В тюрьме ведь тоже что-нибудь стоит ее содержание, да и костер расходов требует: дрова, хворост, столб, веревки». А вот бедняжку Милагру через твои наговоры сочли настоящей ведьмой. И, если бы она не умерла в тюрьме, не выдержав пытки, ее обязательно бы сожгли. Нам так и сказал тюремщик. «Сожгли бы как ведьму...» А ведь она была сущий ангел, такая добрая. Прощай! Мне некогда. Скоро начнется представление, а мы еще не обедали. Я и рада бы с тобой поболтать, да, говорят, с теми, кто носит желтые кресты, лучше не разговаривать. Того и гляди, кто-нибудь донесет инквизиторам, — сохрани и помилуй меня, святая дева заступница!

Она убежала, даже не взглянув на смертельно побледневшее лицо девушки.

— Падре Бенедикт! Падре Бенедикт! — стоном вырвалось из сжатого судорогой горла Пепиты.

«НИ БОЛЬШЕ НИ МЕНЬШЕ»

1

— Стена ненадежна!.. В западной части легко пробить брешь,— собака Халит знает это. Стройте стену вдвое толще и выше, не жалейте трудов, ибо лишь трудом добудем мы свободу!..

Абдалла стоял на крепостной стене; лицо его было сосредоточенно и бледно.

— Стройте двойную стену,— повторял он вдохновенно,— это наша последняя крепость, последняя наша надежда, но она должна дать нам победу!..

Абенамар оглядел его измученную, исхудалую от бессонных ночей фигуру и сказал с участием:

— Ты бы уснул, эффенди.

Абдалла не слушал его. Он говорил:

— Мы держимся уже три года. Сейчас февраль. Все зависит от Галера: свобода, счастье, покой, жизнь... Эй, правоверные!.. Кто здесь есть на стене?.. Ты, Абенамар, мой славный военачальник, смотри, чтобы Эль-Загер не слишком горячился. Прежде всего спокойствие и расчет. Не правда ли, деде, мой мудрый учитель? Этому ты учил меня в те дни, когда еще ни одна капля крови не орошала моего меча. Тебе, деде, я доверяю Юсуфа; его отряд будет защищать северную часть крепости. Юсуф слаб духом — поддержи его. Пусть каждый из вас твердит, не уставая, своим воинам: спокойствие и расчет, спокойствие и расчет!

Он замолчал; по лицу его пробежала тень горечи, а голос дрогнул.

— Как недостает нам здесь Зинзана, верного делу

Зинзана. Он верил в нашу победу, как в солнце... Во что верит он ныне, там, на развалинах Гехара?

Он снова замолчал, опустив голову. Потом, словно отогнав от себя мучительную мысль, быстро спросил:

— Оправился ли от раны его сын?

— Да, эффенди, хвала аллаху — Абналь здоров, как молодой конь.

— Успел ли Мейдан привезти спрятанный запас оружия и пороха?

— В оружии и боевых припасах не будет недостатка, эффенди.

— Хорошо. Жаль только, что съестных припасов в крепости меньше, чем следует. Но ведь не мы одни устали за эти годы. Испанское отребье не сегодня, так завтра будет упрашивать дон-Хуана бросить Галер. Не даром же он присылает ко мне одного за другим послов, уговаривая сдать крепость без боя. Но я отвечаю ему все тем же: «Ни больше ни меньше». Так написал я когда-то на знамени братьев, так когда-то я поклялся братьям: «Ни больше ни меньше!..» Свобода или смерть!..

— Да хранит тебя твоя звезда, сын мой, — перебил его сдержанно Эль-Рахман, — но ты ошибаешься. Дон-Хуан и не думает об отступлении. Еще Халит говорил...

— Халит — подлый изменник, собака...

— Халит — собака, — спокойно повторил Гиелани, — но он хорошо знал, что творится в Гренаде. Тогда он еще не собирался изменить.

— Что же говорила эта собака?..

— Скажи, Абенамар!

— Он говорил, что король Филипп...

— Не король, а гяурский палач, раб монахов! — вспыхнул Абдалла.

— Да накажет его за это аллах, эффенди, — наклонил голову Абенамар, — гяурский палач Филипп чует опасность; он понял, наконец, что восстание мавров — не шутка и дорого ему обойдется.

— Еще бы!..

— Он не пожалеет выслать против нас новое войско на подмогу брату. Дон-Хуан же дерется, как истинный воин; он беспримерной храбрости, и испанцы чтут его, как бога. Ты прав, эффенди, если говоришь, что

армия его полна разного сброда: воров, грабителей, проходимцев, лентяев. Но в короткое время он сумел хорошо обучить весь этот сброд.

Абдалла сдвинул брови.

— Дон-Хуан — рыцарь сильный и бесстрашный, я знаю, а жажда стать великим владыкой в нем превышает всего. Но разве между мусульманами нет еще большей отваги? Дон-Хуану с его сбродом нужно золото, слава, могущество, почести; а что надо им?..

Он указал вниз на тех, кто с утра до ночи и с ночи до утра работал у стен Галера, укрепляя ненадежные места, зарывая старые подземные ходы и роя новые, неизвестные Халиту.

— Что нужно им, этим детям в деле войны? Им нужно жить... А жить — значит, победить. Смею ли я сомневаться в них, деде? Смотри, вон они, эти мужчины и женщины, эти юноши и девушки... Они не спят ночей; они голодают; глаза их красны от пыли камней; руки их жестки и окровавлены, но они творят чудеса, ибо не легко серне бороться с тигром, голубю с коршуном... Смотри, вон и Абналь, мой любимый сын по духу! Его песни смолкли! Его уста заперты кровавым замком, а руки его не знают усталости.

Лицо Абдаллы осветилось нежной, как у женщины, улыбкой.

— Благослови, аллах, юношу, эффенди, — проговорил Абенамар тихо, — юношу и всех, кто не устает нести возложенное бремя, но гяуров слишком много, и их будет еще больше.

Абдалла опустил голову.

— Да, их слишком много, и они знают много. Они хорошие строители; они отличные воины, а мы долгие годы проспали в жарких пустынях Африки, в своих гаремах, на турецких кораблях, у трона Солимана и в рабстве у этих же гяуров... Мы все забыли, что прежде знали и чем гордились. Тяжко, деде!.. О, как тяжело сознавать это!..

В голосе Абдаллы звучало отчаяние.

Снизу до них долетел грустный напев старой мавританской песни:

Ходит, ходит рыцарь мабров
Вдоль по улицам Гренады,

Ходит от ворот Эльвиры
До ворот он Виварамблы...
Ах, моя Альама!..
Получил с гонцом он письма,—
Пишут в них: «Взята Альама».
Он в огонь те письма бросил
И гонца того зарезал.
Ах, моя Альама!..

Голос повторил еще раз протяжно и тоскливо:

Ах, моя Альама!..

И смолк.

— Кто это?

— Это сестра Абналя, эффенди, она все еще плачет об отце.

Абдалла нахмурился.

— Скажи ей, деде, что мавританка должна забыть о слезах, если в ней — не собачье сердце!..

Он круто повернулся и пошел в свой обычный обход укреплений.

2

Орлиным гнездом повис над испанским лагерем Галер. Высоко, в самое небо тянулись его строгие, зубчатые стены. Гордо развевалось на них зеленое знамя Магомета. Испанцам было видно, как на башнях и стенах двигались стройные фигуры мавританских женщин с кувшинами воды, окутанные легкими покрывалами; белели широкие, развевающиеся одежды мужчин...

Была весна; в расщелинах гор распускались цветы; сильнее начинали шуметь горные потоки; орлицы выводили в гнездах орлят, а люди притаились в ожидании смерти.

Абдалла урвал минуту, чтобы повидать Долорес.

Он не видел девушки с самого падения Гехара, когда перевез ее тайной дорогой по горным кручам в Галер. Любимая кобылица Абдаллы Джильда вынесла их обоих на своей спине, далеко обогнав остальных лошадей.

Абдалла хорошо помнил этот день, полный горечи потери важной крепости, гибели сотен братьев, гибели многих надежд и ожиданий. Черной пеленой скорби

был задернут в памяти Абдаллы этот печальный день в жизни восставших. Но, как свет далекой звезды, трепетной и нежной, была для него эта бешеная скачка вдвоем на спине у легкокрылой Джильды.

Долорес молчала всю дорогу, прижавшись к его груди, и это доверчивое, словно детское, объятие чуждой ему по крови и по вере девушки было для него лучшей лаской, лучшим утешением.

Печальный день!.. Счастливый день!..

Абдалла попросил позволения войти.

Долорес широко распахнула полог.

— Входи, эффенди, и будь желанным гостем... Я много недель ждала тебя напрасно.

Милая девушка, светлая, как горный ручей, ясная, как небо над вершинами Альпухар, прекрасная, как цветок...

Абдалла устало опустился на обрубок дерева, наскоро прикрытый обрывком шали. Долорес велела унести от себя все ковры, подушки, дорогие ткани, весь уют восточной неги, которую по-прежнему хотел поддерживать вокруг нее Абдалла. Она приказала отдать все это больным и раненым, лежащим нередко прямо на голой земле.

— Я не видел христианской девушки очень давно,— сказал Абдалла, вдыхая всей грудью аромат весенних цветов, принесенных, как всегда, Лейлой,— много недель прошло с тех пор, как я увез ее из Гехара... Мне донесли, что христианская девушка отказывается от пищи... Зачем это?.. В Галере хватит съестных припасов.

Она обернула к нему бледное, исхудалое, как у всех в крепости, лицо и спросила в свою очередь:

— А зачем вождь мавров сам ест меньше любого из своих воинов?..

Он густо покраснел и опустил глаза.

— Ты не должна терпеть наших лишений, ибо ты не добровольно стала гостьей в мавританском лагере. Мавры же чтут гостеприимство...

— Нет, эффенди, ты, верно, забыл. Я добровольно сделала выбор в тот день, когда Халит бежал из лагеря.

Губы Абдаллы дрогнули. Он посмотрел на нее осветленными глазами.

— Разве я могу есть мясо, хлеб и финики, пить лучшую воду, когда твои братья голодают, эффенди? — сказала мягко Долорес.

Абдалла на мгновение откинулся назад, словно волна счастья залила ему грудь, потом выпрямился и взял ее за руку.

— Долорес, — сказал он твердо, — я солгал. В Галере слишком мало припасов, и, если еще несколько недель продолжится осада, мы не устоим... Я сократил выдачу порций насколько было возможно. Мои братья поистине голодают. Не сегодня-завтра начнется настоящий штурм. Что тогда?.. Подумай хорошенько. Еще есть время. Когда-то я хотел силой удержать тебя подле себя, а ныне я прошу: подумай, чтобы не обвинить потом себя в безрассудстве, а меня в жестокости... Ты свободна, Долорес, как ветер, помни это. Хочешь, я выведу тебя из крепости через новый тайник подземного хода, мне нечего бояться: ведь ты не выдашь его врагам, подобно собаке Халиту? Хочешь, Абналь будет твоим проводником, и ты соединишься с твоими родичами? Они давно уже ждут тебя. Дон-Хуан не раз требовал твоей выдачи. Ты будешь встречена там лучшим испанским рыцарем. Хочешь?

Долорес упрямо сдвинула брови и покачала головой.

— Нет. Мне некуда и незачем идти.

Лицо ее вспыхнуло румянцем, и она добавила почти шепотом:

— Я останусь здесь, подле тебя, пока мои слабые женские руки могут быть полезны моим новым братьям...

— Долорес! Долорес!

Абдалла с рыданием опустился на колени, целуя край ее одежды.

«Велика слава Антара, но не меньше и слава прекрасной девушки, ибо сумела она оценить душу великого...» — пронеслись в памяти Долорес слова Гиелани.

Пророческие слова.

Она положила руку на лоб Абдаллы и заглянула ему в лицо. И он прочел в ее глазах, буква за буквой, весь свиток ее сердца...

На следующее утро один лишь Гиелани понял, почему так бодро, громко и уверенно звучал голос его ученика.

Мануэль был очень недоволен, найдя подземный ход Галера таким же засыпанным, каким он нашел когда-то подземный ход Гехара.

— Лисицы зарыли все свои старые норы!.. Проклятое племя хитрее, чем я думал!..

Мануэль боялся, что это не подорвало доверия дон-Хуана к его знаниям мавританских укреплений.

Зато он хорошо знал все слабые места врагов и мог точно познакомить принца с их военным строем и силами.

— Завтра мы пойдем на приступ, — говорил дон-Хуан Мануэлю и герцогу Аркосскому, — мне порядком надоела эта возня с Галером... Сегодня же, как подобает великодушному рыцарю, я в последний раз пошлю к этим псам парламентаря. Должна же понять, наконец, эта свора грязных собак, что им все же выгоднее сохранить жизнь, чем ждать участи Гехара!..

— Им все равно долго не продержаться, — презрительно кинул Мануэль, — у них и при мне было не слишком много съестных припасов... К тому же на днях они почувствуют недостаток в воде. Ведь мы окружили их сплошным кольцом. Истоки их ручьев в наших руках. Они подохнут, как мыши в брошенном на море корабле!..

— Тем скорее будет конец этой скучной войне, — протянул лениво герцог, — не понимаю, чего мы медлим и не сотрем с лица земли все поганое племя разом «Семью сестрами Хименеса...¹» Ведь не даром же их тащили из Гренады по этим проклятым ущельям?.. Бедняжки давно уже устали ждать, пока им позволят открыть рты!..

Он засмеялся холодным, жестким смехом.

Дон-Хуан пожал плечами, не желая спорить, и приказал немедленно послать в Галер парламентаря. Он заверял Абдаллу своим рыцарским словом, что сохранит ему жизнь, если тот сдаст крепость без боя.

Возле роскошных палаток дон-Хуана и герцога Аркосского играла, как всегда, громкая музыка, лилось вино, слышались хохот и ругань подвыпивших офицеров.

¹ Название знаменитых испанских пушек того времени.

Дон-Хуан был в этот день особенно весел. Он шутил с солдатами, чокался со старыми вояками, расспрашивал новичков... В нем с детства было умение очаровывать людей своей внешней простотой, красивым лицом и мнимой беспечностью. И как когда-то на придворных балах Мадрида он улыбался прекрасным доньям, кружа их головы золотом кудрей, изысканной речью и манерами, так и теперь он обходил ряды ужинавших у костров солдат и чаровал их своим воинственным пылом, веселой отвагой и уверенностью в блестящей победе.

— Друзья! — говорил он обступившим его воинам, — я хочу, смеясь, взять поганое гнездо морисков! Мы не монахи, чтобы бродить по свету с постными лицами. Ну, так веселее, друзья! Скоро мы отпразднуем окончательную победу!

Он шел дальше, а вслед ему неслись восторженные приветствия, крики и залихватские песни:

Наша жизнь, клянусь, приятель,
Ха-ха-ха-ха!..
Дешевле, чем стакан бургосского вина!..
Так будем женщин целовать
и пить вино, —
Ведь смерть придет когда-нибудь —
так суждено!..

Алонзо Рубио был в восторге от своей новой жизни. Он насчитывал теперь не один десяток приятелей и с каждым из них успевал выпить и поболтать. Служба была не трудная. Испанцы, обложив Галер кольцом, словно забавлялись, изредка обстреливая его стены небольшими пушками. Легкие повреждения быстро приводились маврами в порядок, и «игра» начиналась снова.

Алонзо Рубио особенно повезло: ему удалось попасть в отряд Занагуэрра, и благородный гидальго очень скоро приблизил его к себе. К удивлению других солдат, у Рубио оказались даже какие-то секреты со знатным мальтийцем; оба они нередко что-то вспоминали, о чем-то шептались и хохотали до упаду.

Так будем женщин целовать
и пить вино, —

Ведь смерть придет когда-нибудь —
так суждено!..

— орал громче всех Алонзо.

Дон-Хуан вернулся к своей палатке, оглушенный всем этим гоготом, пением, смехом...

К нему подскочил один из солдат его личного отряда.

— Парламентер вернулся, ваше высочество.

— Отлично! Позвать его!

Ответ Абдаллы был все тот же:

— «Ни больше ни меньше».

Дон-Хуан капризно закусил губы и топнул ногой.

— А-а!.. Так они все-таки не хотят сдаваться?.. Прекрасно!.. Мы освободим вашу сестру немного позднее, мой милый дон-Мануэль, вот и все! А вам, — он обратился к герцогу Аркосскому, — вам будет чудесный повод отомстить за смерть вашего родственника дон-Алонзо Ашлара, убитого при взятии Гренады!..

Герцог высоко поднял свой кубок с вином.

— Слава святой деве!.. Наконец-то заработают «Семь сестер»! Они молчали со времени самого Боабдила!..

— А пока пейте и веселитесь, друзья!..

Дон-Хуан налил себе вина и чокнулся с Мануэлем:

— За вашу сестру, любезный Занагуэрра!.. За красавицу Долорес — святую мученицу, плененную врагами креста!..

— Вы терзаете мое сердце, ваше высочество, напоминаниями о моей несчастной сестре, — вздохнул Мануэль и отставил свой опорожненный кубок. — Если бы вы знали ее прекрасную душу, которая может сравниться лишь с ее лицом ангела — да простит мне мадонна это сравнение вы, поняли бы всю глубину моей скорби...

Мануэль старался, как можно чаще наводить разговор на Долорес; он не уставал описывать принцу ее наружность, ее кроткий, полный мужества и терпения характер. И дон-Хуан невольно стал думать о «племяннице знатного мальтийского магистра Ла-Валетта»...

¹ Абу-Абдиллели — последний гренадский король.

«Как только падет Галер, — мечтал дон-Хуан, — прекрасная пленница в слезах склонится к ногам победителя, благословляя его имя. О, вся Испания будет тогда благословлять героя-освободителя!..»

Дон-Хуан смотрел в сторону мавританской крепости, прищурился, и по лицу его пробежала гримаса досады.

— Почему нельзя одним взмахом меча срубить эту многоголовую гидру?.. Не успеешь побить этих псов в одном месте, как они подстерегают в другом... Они метко стреляют — я сам испробовал это недавно. Они скачут по своим утесам, как дикие серны. Они знают каждую щель в горах, каждый камень, каждый выступ скалы, за которым можно спрятаться не одному десятку воинов... Как надоела эта игра в прятки!.. Но завтра игре конец — завтра мы начнем серьезное дело.

И, помолчав, он вдруг добавил беспечно:

— А все-таки эти собаки счастливее нас!.. Их крепость полна женщин!.. И если Галер страдает от недостатка хлеба, мяса и воды, он мог бы без ущерба поделиться своими женщинами, не правда ли, друзья?..

— Лишними ртами было бы меньше! — расхохотался герцог Аркосский.

Дон-Хуан закинул мечтательно голову. Он старался представить себе, какую должна быть Долорес, судя по описаниям Мануэля. Но незнакомый образ испанки расплывался туманом в его воображении, уступая место чьей-то легкой, пляшущей фигуре.

Кто это? В памяти его вдруг ясно пронеслось смуглое лицо девушки с большими, пламенными глазами под пышной, взбитой прической иссиня-черных волос; в волосах этих было фальшивое золото и ветка белого нарда; красные каблуки золоченых туфель девушки выбивали звонкую олу; девушка пела что-то веселое и задорное.

«Ах, да!.. Танцовщица из театра Циснероса», — разом вспомнил дон-Хуан.

— Кстати, о женщинах, дон Мануэль, — спросил он, улыбаясь, — что случилось с этой хорошенькой маленькой ведьмой в Гренаде, которую арестовали инквизиторы?

Мануэль немного смутился.

— Ваше высочество, я — все еще ваш должник, простите!.. Вы во второй раз ссудили меня тогда деньгами ради моих любовных исканий...

— О, забудьте об этом пустяке, любезный Занагуэрра! Я готов помочь каждому гидальго в таких случаях... Любовь женщин — ведь это цветы на пути война!.. Итак, чем же кончились ваши похождения?..

Все приготовились слушать.

— О, это целая история, ваше высочество! Следуя вашему совету, я собирался уже выкупить девчонку у монахов, но, да простят мне святые и мадонна-заступница, в то же утро я проиграл все до последней монеты какому-то проезжему плуту и остался без красоты...

Дон-Хуан был разочарован...

— И это вся история?..

— Нет, нет, ваше высочество, далеко еще не вся! Вы только послушайте! Святая мадонна и на этот раз была милостива ко мне. Оказалось, что красотку, по которой изнывало мое сердце, монахи успели переделать в рваный мешок с изломанными костями... Да сохранит меня Сант-Яго иметь дело с живым скелетом в грязных лохмотьях!.. Один из моих солдат видел ее в первый же день ее выхода из темницы. Святая дева, стоит только послушать, что он рассказывает о ней! Я чуть было не задохнулся от хохота! Солдат тоже когда-то гонялся за девчонкой, а, встретив ее после тюрьмы, убежал, как от гнезда прокаженных. Клянусь честью, я сделал умно, что погасил пыл своей страсти на груди у плутовки Розиты, дочери торговца полотнами.

Дон-Хуан звонко расхохотался.

— Ваша история, дон-Мануэль, достойна попасть на подмостки театра! Мы назовем ее так: «Как знатный гидальго влюбился в молоденькую ведьму и как черт из ревности, приняв образ монаха, подменил ему красоту».

Все хохотали, расплескивая вино на вытопанную лошадиными копытами землю.

Звуки музыки далеко разносились по ущельям и гулким эхо отдавались с горных высот. Взошедшая луна плыла над вершинами, озаряя мертвым печальным светом испанский лагерь, грозный, суровый Галер и мавританские поселки, давно покинутые жителями.

Ночью дон-Луис де Кихада — воспитатель дон-Хуана, не оставивший его ни в одной битве, попросил позволения поговорить с принцем наедине.

Дон-Хуан пригласил его в свою палатку, сверху до низу обитую голубой парчой, полную дорогого оружия, седел и доспехов.

— В чем дело, мой старый, верный друг? — спросил принц, не поднимаясь с груди лошадиных чепраков, покрытых дорогим восточным ковром.

— Я считаю своим долгом, — начал Кихада, — предостеречь ваше высочество от слишком откровенных бесед с Занагуэрра. Я плохо верю человеку, который так долго кривлялся, как комедиант, играя роль мусульманина. Кого-нибудь он да предавал: пожалуй, сначала Христа, а потом Магомета... Я говорю, быть может, как грубый солдат, да не посетует за это на меня ваше высочество... Но интересы вашего высочества мне дороже моих собственных интересов. Вы — звезда Испании!.. Вы — сын моего покойного императора, великого Карла!.. — И, с беспокойством оглядев немного помятое от попойки лицо принца, он мягко сказал: — Вам не годилось бы пить, ваше высочество... простите старика за совет, — ваша недавняя рана может открыться...

Кихада следил за каждым шагом дон-Хуана с преданностью старой няньки. Месяц назад он вынес принца на руках из одной случайной схватки с маврами, когда дон-Хуан выпал из седла, задетый пулей.

— Вы слишком много пьете, мой добрый принц; кроме того, вас окружают многие недостойные люди!.. А этот мальтиец...

— Что ты мне все твердишь о Занагуэрра? — вспыхнул дон-Хуан. — Я не мальчик, чтобы не уметь разбирать людей, — запомни это раз навсегда и молчи!

— Я молчу... я молчу, ваше высочество.

Гнев дон-Хуана мгновенно погас. Он обнял Кихада и заговорил с ним ласково и капризно, как в былые годы, когда ребенком еще влезал к нему на колени:

— Я знаю, что ты — мой единственный друг. Остальные вьются около меня, как звезды возле солнца. Тебе одному я многим обязан: и жизнью, и всем,

что есть во мне лучшего. Мой великий отец сделал умно, что не воспитал меня при дворе, а отдал тебе. Но, дон-Луис, я — рыцарь, я не могу предполагать предательство со стороны племянника знаменитого Ла-Валлетта, магистра почетного ордена, у которого я сам хотел когда-то учиться военному искусству...

Кихада печально покачал головой.

— А потом... — дон-Хуан потянулся, как избалованная кошка, — если его сестра действительно так прекрасна, как он рассказывает, и если она осталась чиста в этом гнезде проклятых морисков, я, быть может, женюсь на ней, если небо не пошлет мне, конечно, какой-нибудь королевы...

Он засмеялся, как расшалившийся мальчишка, и расцеловал дон-Луиса в обе щеки.

Лицо Кихада расплылось в блаженную улыбку.

— Да хранит вас мадонна, мой добрый, прекрасный принц!

Дон-Хуан со смехом вытолкал его вон.

Костры солдат догорали и дымились; лагерь засыпал; кое-где еще замирал смех и звон кубков... Галер высился впереди угрюмой громадой и молчал.

Кихада упал на колени в своей палатке перед походным распятием и начал ежедневную молитву об удачах дон-Хуана во всех его начинаниях...

Звезды еще не успели погаснуть, как лагерь был разбужен одним из солдат, посланных на разведки. Он был весь в крови, в изодранной одежде; задыхаясь и падая от усталости, он рассказал, что отряд мавров, засевший в соседнем ущелье, напал на его товарищей и перебил их всех до одного...

— Они отняли у нас лошадей и оружие, а трупы побросали в горный поток. Мне одному удалось спастись каким-то чудом!

— Большой отряд?

— Нет, человек десять, не больше. Но они злы, как волки. Они хотят пробраться в Галер, чтобы подвезти осажденным муки и мяса.

— Пусть не беспокоятся, — презрительно засмеялся дон-Хуан, — скоро в Галере будет слишком много мяса! Эти собаки, я вижу, не на шутку хотят драться!.. Так покажем им, как звучат разом голоса всех «Семи сестер»... Распорядитесь, любезный Карвахаль, чтобы с

первым лучом солнца дали залп из всех семи больших пушек.

Герцог Аркосский давно уже внимательно глядел в сторону Галера.

— Смотрите, смотрите, ваше высочество, — обратился он к принцу, — эти собаки подают световые сигналы!.. Дон-Мануэль, объясните же скорее, что значат эти огни?

Мануэль сконфуженно сознался, что не понимает сигнальных огней врага.

— По-видимому, они изменили свою сигнализацию, ваше высочество.

Дон-Хуан недовольно пожал плечами.

— Это безразлично! — сказал он сухо и отвернулся.

На востоке начало нежно алеть небо, звезды погасли одна за другой; ветер зашевелил кусты и разбудил птиц...

Солнце медленно вставало, еще невидимое за четкой линией гор. Дальние снеговые вершины вспыхнули розовым пламенем.

Дон-Хуан подал знак.

И в ту же минуту рев «Семи сестер» огласил горные ущелья и прокатился стоголосым эхо до самого моря...

Зубчатые стены Галера скрылись в черном дыму.

5

Первый же залп «Семи сестер» показал маврам разрушительную силу испанских пушек. Стены Галера дрогнули, и несколько зубцов с грохотом рухнуло в пропасть.

— Эль-Загер, — приказал Абдалла спокойно, — надо сейчас же, не ожидая ночи, под огнем исправить стену; пришли людей с западной башни, пусть оставят прежнюю работу и поспешат сюда. Испанцы забавляются, — это еще не настоящий штурм.

— Повинуюсь, эффенди...

Не прошло и получаса, как на стене закипела работа. Женщины и дети приносили снизу глыбы камней; мужчины складывали их и скрепляли глиной.

Гиелани, по указаниям Абдаллы, распоряжался новой установкой пушек. Он смотрел вдаль, где за грядками гор должно было синеть море, и с тоскою думал:

— О, если бы оттуда, с песчаных берегов Африки, пришла обещанная помощь Солимана или варварийских пиратов!..

Нет, трон царя Солимана усыпан золотом и алмазами; у подножия его распростерты многие народы... Что за дело гордому властителю до горсточки свободолюбивых мавров? Пусть они бьются одни, отстаивая свои права; пусть истекают кровью, умирают от голода... Зачем ему рисковать и помогать ограбленной другими и униженной Андалузии? Ведь ныне это не прежняя цветущая страна «Садов пророка», на которую зарились не одни испанцы... За семьдесят с лишком лет владычества испанцев она потеряла все свои богатства. У Солимана свои расчеты; у пиратов — свои... Один лишь ислам связывает их с маврами... И рука повелителя мослемов разве легче руки повелителя христиан?

День и ночь Абдалла жжет огни на зубчатых башнях Галера, и среди ночного мрака далеко вокруг, по утесам Альпухары, вспыхивают ответные огни. Но что могут сделать эти ответные огни?.. Испанцы сплошным кольцом обложили крепость, не подпуская к ней ни одного всадника, ни одного мула, ни одного пешего горца... Чтобы чем-нибудь помочь осажденным, жители окрестных местечек соединяются в вооруженные отряды, занимают горные проходы и тропинки, известные лишь им одним; они подстерегают испанцев на каждом шагу, бьются, как орлы, на кручах родных гор... Здесь они очень сильны, не переставая, наносят ущерб испанским отрядам; они — гроза испанских воинов... Но что могут сделать они против пушек дон-Хуана?..

— Куда ты, Лейла?

Гиелани оглянулся на девочку, ползком пробирающуюся между обломками камней.

— Теперь не время собирать цветы!..

Она подняла голову.

В больших ввалившихся глазах девочки Гиелани прочел безумие. Она схватилась за грудь и с трудом, как тяжелобольная, прошептала хрипло и зло:

— Цветы сгорели!.. Их съели испанцы!.. Нет больше цветов! Нет! Земля не родит больше цветов!..

— Чего же ты ищешь среди камней?

Он погладил ее по жестким спутанным волосам.

— Крыс!..

Она метнулась в сторону и исчезла в груди каменных обломков.

Голод!..

Гиелани до боли сжал руки, сдерживая стон.

Через несколько минут Лейла бегом пробежала назад. В руках ее билась, царапалась и пищала оцетинившаяся от злости и страха крыса. Лицо девочки было жадное и сосредоточенное, как у голодного волчонка...

Голод!..

Гиелани знал, что с каждым днем в крепости оставалось все меньше и меньше лошадей.

Для мавра конь — самое близкое, самое дорогое существо в мире. Он любит коня, как человека, и делит с ним последний кусок. Но в эти страшные дни осады мавры жертвовали своими лошадьми, которые нужны были для пищи.

У самого Абдаллы оставалась всего одна лошадь — красавица Джильда, выносившая его из многих битв. В счастливые дни Абдалла каждое утро заходил в конюшню и говорил с Джильдой, как с человеком, благословлял ее на добрый день и целовал в лоб между пламенных глаз.

Гиелани знал, что на днях Абдалла в последний раз обнял гибкую шею Джильды. Он прощался с той, которая в продолжение многих лет была ему верной слугой и другом.

Гиелани знал, что Абдалла не смог удержать рыдания, когда говорил ей:

— Прощай, Джильда... Было время — я не променял бы тебя ни на какие сокровища. У меня не было счета тогда кобылицам, но теперь я должен расстаться и с последней... Прощай.

Он отдал лошадь Абналю и просил скорее увести ее.

И когда, опустив голову, Абналь повел Джильду на место бойни, Абдалла крикнул ему вслед:

— Отдай ее в умелые руки, чтобы не мучить напрасно!..

Он отвернулся, ибо не должно было никому видеть слез на глазах у вождя мавров.

И с того дня Абдалла перестал есть мясо...

Голод камнем навис над крепостью, давя ослабевшие плечи осажденных...

До Гиелани долетел спокойный, уверенный голос:

— Бодрее, братья, бодрее!.. Галер — единственная наша надежда!.. Испанцы тоже терпят лишения!.. В лагере у них много больных!.. Наши жалят их со стороны!.. И не сегодня завтра, быть может, придет помощь с моря!..

— Да будет благословен тот, кто перед смертью умеет обвеять надеждой павшего духом!.. — прошептал Гиелани.

— Бодрее, дети, бодрее за правое дело!.. У испанцев осталось не много пороху и снарядов!.. Подвезти новые из Гренады не так-то легко!.. Мы выдержим!..

6

Уже много дней продолжался штурм, а Галер все еще держался. Люди питались мышами, крысами, остатками конины и маисовой муки, смешанной с древесной корой. Среди гарнизона появились спутники голода — болезни... Люди умирали нередко семьями; детей почти не осталось в крепости; смерть встречали равнодушно, а чаще ей даже радовались.

От женщин было меньше пользы на войне, и потому они получали пищи меньше, чем мужчины; но женщины не хотели есть хлеб даром и становились на стены, плечо к плечу с воинами. Они давно уже забыли все мусульманские обычаи, побросали ясымак¹ и с открытыми лицами работали у крепостных бойниц, скачивая на врагов громадные каменные глыбы. И были страшны эти разъяренные львицы, охраняющие свои последние берлоги.

А внизу, в солнечном блеске, огнем горели блестящие шлемы и нагрудники испанских копейщиков, развевались на головах перья, сверкали отполированные громады пушек и длинные стволы мушкетов... После каждого залпа все это разом скрывалось в дыму, а стены Галеры вздрагивали до основания, давали трещины и обсыпались.

¹ Чадра — головной шарф мусульманок, закрывающий лицо.

Мавры едва успевали исправлять повреждения, как являлись новые выбоины.

И вот настал, наконец, день, когда в крепости не осталось ни пищи, ни питья. Испанцы, казалось, угадали этот день и пошли на приступ.

В ответ им полетели пушечные ядра и тучи камней.

Но силы мавров ослабевали с каждой минутой. Стены Галера были изрешечены снизу доверху; приходилось защищать десятки провалов и брешей. А испанцы бросались на стены, взбирались по приставным лестницам, крича охрипшими голосами:

— Испания и Сант-Яго!..

— Иисус и святая дева!..

— Смерть собакам!..

Айше стояла рядом с Абенамаром. Едва держась на ногах от истощения, непосильной работы и долгого голода, она, не переставая, скатывала вниз камни. Глаза ее горели, как у разъяренного, затравленного зверя.

— Отец!.. Отец,— кричала она,— вон они, эти гяуры!..

Крича, она не переставала скатывать вниз каменные глыбы; пыль, комья земли и осколки камней подымались вокруг нее дымным столбом. И в этом крутящемся вихре обезумевшая женщина с космами черных развевающихся волос казалась огромной зловещей птицей, бешено защищающей свое гнездо.

Меткий выстрел разом скошил ее со стены, и она, широко разметав черные крылья кос, скатилась на груды мертвых тел.

Долорес пробиралась в дыму и пыли, обходя убитых, приподнимая раненых. Что могла она сделать в эту минуту, когда запас перевязочных средств давно иссяк, когда раненых становилось больше, чем живых?..

— О, мадонна, как несчастны эти люди, платящие жизнью за желание свободно дышать...

Она споткнулась о чью-то руку.

— Еще один раненый...

Долорес нагнулась и приподняла голову Айше.

— Женщина... ранена в грудь... Сколько крови было в этом высохшем, как скелет, теле!..

Айше открыла глаза, мутным взглядом обвела кре-

постные стены, остатки гарнизона, горные вершины, синеву неба и остановилась на лице Долорес.

— Испанка...— сказала она тихо, и в голосе ее уже звучало предсмертное хрипение,— испанка... сестра моя... ты — сестра... а не та... что звалась Фатьмой... та пляшет на трупах братьев... будь она проклята... а ты... ты... с нами... до конца... Аллах благословит тебя... за это... и отца... отца... скажи ему...

Айше захрипела долгим жлокочущим стоном, и из горла ее хлынула струя густой черной крови. Пальцы ее судорожно вцепились в землю, словно она все еще боролась с кем-то, потом они разом разжались, как у ребенка, голова беспомощно откинулась назад, и тело вытянулось...

Оттащив тело в сторону, Долорес пошла дальше.

Кругом слышались призывы, вой, проклятия. Ревели пушки, грохотали падающие камни, колыхалось море голов, шлемов, лат, мечей и щитов.

Высоко, среди зубцов башни, показалась могучая фигура Эль-Загера. Он поднял зеленое священное знамя, выпавшее из рук убитого знаменосца, и крикнул, потрясая им в воздухе:

— Алла! Алла и Магомет!..

И этот мощный вопль и вид куска зеленого шелка со священным полумесяцем охватили изнемогавший гарнизон новым, последним, порывом; измученные люди удвоили силы и, яростно крича, бросились на осаждавших врукопашную.

— Алла и Магомет!..

— Алла и Магомет!..

Абдалла был впереди. Крепко держа свое знамя, он старался не видеть, как падали вокруг него люди; голос его, бодрый и в эту последнюю минуту, звучал уверенно среди грохота, воя и стонов.

— «Ни больше ни меньше!..» Сдержим нашу клятву, правоверные!.. Стены еще могут держаться!.. Смелее!..

Было мгновение, когда ему показалось, что испанцы готовы отступить. Внизу, в море голов, произошло смятение. Послышались испуганные крики:

— Его высочество ранен!.. Его высочество покачнулся в седле!..

Но это была лишь пустая тревога. Зоркие глаза Абдаллы разглядели, как кто-то поднял шлем дон-Хуана, сбитый с головы принца осколком камня, и как, надев его, дон-Хуан поскакал вперед в своих сверкающих доспехах.

И вдруг часть стены с грохотом рухнула вниз. Жуткой раной развернулась перед Абдаллой громадная брешь. И он увидел в ней головы испанцев.

— Вперед, дети, вперед!.. Своими телами закроем вход в Галер!..

Несколько женщин с горящими головнями загородили испанцам дорогу. И среди них Абдалла, как в огненном море, увидел Долорес. На мгновение сердце его сжалось страхом за нее и мучительной тоской по уходящему счастью, которое он познал лишь недавно... А потом опять заревел, застонал хаос звуков, как будто толпа кричала, рычала и выла от ужаса своим тысячеголосым ртом...

Мелькнул Эль-Загер, рядом с ним Абенамар, Юсуф, Абналь... Они ринулись вперед, но новый взрыв «Семи сестер» сделал новый провал, и бывший кузнец исчез в нем, увлекая за собой мавров и испанцев.

После долгой, полной мук и ужаса агонии Галер, наконец, пал. В громадный пролом потоком ринулось испанское войско. Мавры бежали вдоль стен, прячась за заграждения, устроенные внутри крепости, за выступы башен, за обломки каменных глыб, за груды трупов... Испанцам приходилось брать приступом каждый камень.

На стенах, на мощеном дворе, во рвах и внизу, в глубине долины, валялись сотни убитых испанцев и мавров. Камни, утесы и измятая, вытоптанная трава окрасились кровавой росой. Огромные коршуны жадными стаями реяли над этим горным кладбищем...

Алонзо Рубио лежал на спине с широко раскрытыми глазами. Он не мог сдвинуться с места. Большая зияющая рана в животе приковала его крепче железных цепей к краю утеса.

Внизу была пропасть, вверху — синее бездонное небо, полное страшных призрачных птиц, а вокруг — смерть и разрушение...

Алонзо знал, что умирает, но не мог пошевелить рукой, позвать, попросить пить... Он умирал молча,

медленно, как лошадь на корриде, пропоротая рогами быка.

А в багровой, вздувшейся ране его уже зарождалась новая жизнь: сотни синих мух закапывались в разорванные складки живого еще мяса, ползали по гноящимся краям и жужжали звенящим, жутким звуком.

Кроваво-дымный туман застилал порой сознание Алонзо, и он переставал чувствовать нечеловеческую боль и тяжесть, навалившуюся на него каменной глыбой...

Потом туман расплывался, и он снова ощущал боль, тяжесть и видел над собой синее, бездонное небо с черными призрачными птицами.

Ночью в ране Алонзо зашевелились черви, а он все еще лежал с широко раскрытыми глазами и молчал.

Смерть пришла лишь ранним утром, когда два коршуна с криками и хлопаньем крыльев стали рвать его внутренности острыми, крепкими клювами.

7

Несмотря на победу, дон-Хуан был мрачен. Он только что узнал, что в последнем приступе мавры убили дон-Луиса Кихада. На время он забыл даже о своих честолюбивых мечтах, о триумфе, о славе, о троне гренадского короля и думал лишь о жестокой мести за смерть своего единственного друга.

Он въезжал в крепостные ворота рядом с герцогом Аркосским и нервно дергал повод своей великолепной белой кобылицы. Глаза его были презрительно прищурены и, казалось, не видели кровавых следов разгрома крепости.

Только один раз, когда лошадь его споткнулась о чей-то труп, он крикнул повелительно:

— К ночи убрать все это!..

И, повернувшись к следовавшему за ним в отдалении Мануэлю, он сказал несколько сухо:

— Я до сих пор еще не вижу вашей сестры, любезный Занагуэрра.

У Мануэля был смущенный вид. Въезжая в Галер, он думал о том, что ждет его впереди. У самых ворот навстречу ему попала группа избитых, окровавлен-

ных, связанных попарно мавров. Между ними Мануэль разглядел Юсуф-Мулея, своего старого приятеля и сообщника в заговоре против Абдаллы, учившего когда-то вместе с ним сумасшедшего дервиша ложным пророчествам.

Глаза мальтийца встретились с глазами мавра. Мануэль не выдержал упорного, полного ненависти и презрения взгляда и опустил голову.

Юсуф полулежал на земле, истекая кровью; он хотел подняться, чтобы ударить человека, изменившего его делу, но не смог; рука его беспомощно упала вдоль тела; тогда он напряг последние силы и плюнул снизу в лицо изменнику.

— Собака! Предатель! — крикнул он хрипло и опрокинулся навзничь.

Мануэль побледнел, как полотно, и торопливо вытер лицо рукавом. Он дернул повод и проскакал мимо, не осмелившись раздавить человека, который, несмотря ни на что, все же до конца остался верен твердые мавританской свободы.

— Собака... Предатель... — долго еще звоном раздавалось в ушах Мануэля.

На душе у него было тяжело. Разом нахлынули воспоминания о былом доверии к нему мавров, о надеждах на счастье и почет среди них; обступили воспоминания о тихом, полном неги и довольства, гнезде, которое он успел свить под знаменами полумесяца там, на знойных берегах Африки... И стало немного грустно.

А потом вспомнилось другое: палочные удары, унижение, голод, трусливое чувство перед турками у берегов Мальты и лязганье ржавой цепи, когда его вместе с другими пленными мальтийцами заставляли тащить суда через каменистую косу в залив. Товарищи его умерли прежде, чем их сломили, умерли, а он... Мануэль сжал губы, почувствовав боль обиды и ненависти.

Перед ним на груде камней лежала еще одна партия раненых мавров. И, не помня себя от охватившей его злобы, он дал шпоры коню и проскакал по их телам.

Глухой, многоголосый стон вырвался из-под копыт лошади; кровавые брызги разлетелись в разные стороны, дождем обдав круп животного.

Мануэль осадил лошадь и засмеялся злым нервным смехом. Он гасил в себе последние остатки стыда и старался думать лишь о скорой встрече с Долорес.

Долорес — красавица, христианская мученица!.. Отныне она будет ему поистине сестрой. Под защитой рыцарственного дон-Хуана она приедет в Мадрид, как героиня, как святая. Она не станет, конечно, болтать о двойственной роли Мануэля и о своем настоящем происхождении, когда перед нею откроются все дворцы, все сердца знатнейших людей. И, кто знает, быть может, проиграв при Абдалле, Мануэль сумеет выиграть при дон-Хуане. И, не сделавшись шурином мавританского вождя, он сделается шурином испанского принца, перед которым не сегодня завтра заблестит золото короны.

И в душе Мануэля явилась даже нежность к той, в чьих руках, ему мнилось, таится его будущее счастье.

— Долорес — красавица, святая, — шептал он, улыбаясь.

8

В маленькой башне, наверху крепости, заперся раненный насмерть вождь мавров.

Он лежал, тяжело дыша, на каменном полу подле своего меча и знамени, окруженный остатками друзей. Здесь был и мудрый Эль-Рахман, и Абенамар с побелевшей, как у старца, головой; в углу жались друг к другу старуха Сора и Лейла; а у самого изголовья умирающего сидела Долорес.

Лицо девушки было бледно и спокойно. Она поддерживала голову Абдаллы обеими руками и, не сводя с него глаз, шептала:

— Будь покоен, эффенди... мой возлюбленный... будь покоен... Смерть не страшна великим сердцам... Она, словно мать, укроет тебя своим покрывалом, и ты уснешь... Будь покоен в этот последний свой час, ибо с тобой твои друзья... Никто не потревожит твой сон... Никто... С тобой лишь мы да твоё знамя и меч...

По губам Абдаллы пробежала благодарная улыбка. Он сделал движение рукой, и хлынувшая из раны кровь окрасила белый шелк знамени большими алыми пятнами.

— Деде!.. — простонал Абдалла.

Гиелани быстро склонился над ним.

— Испанцы... мавры... это ложь... Люди — вот истина... Я познал это... О, Долорес...

— Он бредит!.. — скорбно прошептал Абенамар.

— Ты ошибаешься, сын мой, — он не бредит, — остановил его Гиелани.

— Песни Абналя...

— Абналь в плену, эффенди...

Сора громко зарыдала, прижимая голову Лейлы к своей высохшей, ввалившейся груди.

— Абналь в плену, эффенди...

— Неправда!.. Песни — птицы... Они улетят из оков... с первым ветром... Долорес, светлая девушка христиан... скажи им... Песни — как любовь... их нельзя удержать... Скажи, ведь нельзя?..

— Нельзя, мой возлюбленный, нельзя, ибо песни, как любовь, — и ничто, и все. Облако в голубом небе...

— Деде, ты слышишь... она дала мне счастье... А я его не сумел дать моим братьям... Я обманул тех, кто так долго меня ждал. Меч Али-Атора попал в недостойные руки!.. О, деде!..

Он со стоном закинул голову, и по лицу его прошла судорога страдания.

— Тебе больно, эффенди?

— Да...

Все замолчали, не смея потревожить его.

Долорес еще ниже склонилась к лицу умирающего, и губы ее стали шептать только ему одному:

— Возлюбленный мой, услышь меня... Пусть ни одна тень не омрачает заката твоей жизни, ибо ты чист перед доверившими тебе свою судьбу, как солнце... «Ни больше ни меньше», — сказал ты братьям и отдал им жизнь... Меч Али-Атора сжимала рука достойного... Будь справедлив к себе, как был справедлив к другим... Абдалла, возлюбленный мой, я хочу еще сказать тебе...

Она замолчала потому, что горло сдавила ей судорога рыдания, а потом прошептала у самого уха умирающего:

— Я хочу сказать тебе в последний раз... Я любила тебя... Сердцем, душой и телом любила я тебя, мой возлюбленный... Твое дело стало моим делом... Твои братья — моими братьями... И счастье мое было без-

брежно, как океан... Но теперь, когда ты уходишь в иной мир, я — как лист среди бурного вихря... У меня нет опоры, нет сил... Научи меня, что я должна сделать, чтобы стать рядом с тобой на суде жизни.

Абдалла открыл глаза. Лицо его светилось трепетным, внутренним светом. Он оперся о колено Долорес и привстал:

— Да будет... обвеян... последний час каждого из вас... крыльями счастья... — сказал он отдельно, — ибо поистине счастлив тот, кто... умирает так... Деде, учитель!.. Научи и поддержи слабых... Долорес... защити побежденных перед своими братьями по крови... В этом почерпнешь ты силы для жизни... Абенамар, дочери народа твоего в слезах и отчаянии. Будь им отцом...

Он не договорил, чутко прислушиваясь.

Снизу слабо донесся гул голосов и лязг оружия.

Абдалла беспокойно заметался, стараясь спрятать куда-нибудь знамя и меч.

Долорес взяла осторожно из рук умирающего окровавленный белый шелк, завернула в него священную сталь меча и прижала их к груди.

Шум снаружи становился все громче. На каменной лестнице слышались шаги и грубые окрики.

— Не бойся, бабушка, не бойся, — шептала побледневшими губами Лейла, — это, верно, сам принц... Он не позволит мучить нас... он...

Кто-то нетерпеливо стучал в дверь мечом.

— Именем принца дон-Хуана Австрийского отворите немедленно!

— Отворите... — спокойно сказала Долорес.

Абенамар открыл.

Башня наполнилась испанцами.

— Долорес!.. Сестра!..

Она обернулась. Глаза ее встретились с синими глазами принца-победителя. Он почтительно снял перед нею шлем.

— Приветствую прекрасную сеньориту и поздравляю ее с освобождением из мучительного плена!.. — сказал он громко и торжественно.

— Тише!.. — перебила его Долорес. — Разве вы не видите: вождь мавров умирает.

И от этого властного, повелительного голоса люди, ломившиеся в башню, невольно смутились и не решились двинуться дальше.

Абдалла не спускал глаз с Долорес. Лицо его было светло и радостно. В эту минуту он, казалось, думал только о ней, о той, которая подарила ему в последние дни его жизни безбрежное, как океан, счастье.

Дон-Хуан нервно передернул плечами.

— Мы здесь, кажется, лишние, дон-Мануэль?

— Тише! — Долорес строго взглянула на принца.

Рука Абдаллы, державшая руку девушки, разжалась, губы шевельнулись чуть заметной улыбкой; он закрыл глаза, и глубокий вздох облегчения поднял в последний раз его окровавленную грудь.

— Он умер, — глухо прошептал Эль-Рахман.

Долорес бережно опустила голову умершего на завернутый в знамя меч, поднялась с колен и пошла навстречу принцу. Она ни разу не взглянула на Мануэля, словно не зная его.

— Ваше высочество, — сказала она спокойно, — я надеюсь, что вы, как истинный рыцарь, не позволите глумиться над телом того, кто был велик и отважен до последнего своего часа?.. Вам, как победителю, я вручаю честь его меча и знамени. Он выполнил то, что обещал: «Ни больше ни меньше...»

Долорес остановилась, переводя дыхание, и продолжала все так же спокойно:

— Умирая, вождь мавров просил меня быть защитницей побежденных. Я в силах защитить их только словом, и потому я обращаюсь, в вашем лице, к цвету испанского рыцарства: будьте милосердны к несчастным, у которых не осталось ничего, кроме жизни, полной слез и отчаяния... Не мстите им за их бессилие.

И, как бы угадывая мысли принца, она добавила:

— Вождь мавров обращался со мной, как не обращался ни один христианин с пленной мусульманкой... Я жила у него, как гостья, пока не стала добровольно его женой. Вчера, перед самым приступом, я так же добровольно приняла ислам. Этого требовал от меня долг перед моими новыми братьями.

Дон-Хуан вспыхнул и оглянулся на Мануэля.

— Что это значит, кабалеро?

Руки Мануэля тряслись, когда он подходил к принцу. Весь блестящий план его карьеры, его счастья и триумфа рушился в это мгновение, как карточный домик.

— Я поражен, ваше высочество. Я не мог предполагать, чтобы моя сестра...

Долорес покачала головой.

— Этот человек обманывает вас, ваше высочество. Я не сестра ему, я — простая девушка, служанка, не больше, дочь кормилицы одного из Занагуэрра. Не понимаю, зачем знатному гидальго понадобилось родниться со мной? Вероятно, он сам уже запутался в своей лжи и изменах. Но я советую вашему высочеству остерегаться таких друзей, ибо худший из мавров не сделал бы того, что сделал племянник магистра знаменитого ордена.

Она презрительно отвернулась и замолчала.

— Что это значит, кабалеро? — снова спросил дон-Хуан, и вопрос его прозвучал, как пощечина.

Мануэль хотел что-то сказать, объяснить, но волна злобы и отчаяния залила ему голову кровавым туманом. Он подскочил к Долорес и одним взмахом меча рассек ей голову.

Дон-Хуан вздрогнул, отшатнулся и быстро вышел из башни.

9

Пламя высокого серебряного канделябра бросало яркие отсветы на склоненную над столом голову дон-Хуана.

Принц вернулся прошлой ночью в Гренаду и торопился закончить все дела перед торжеством завтрашнего дня. Он писал подробное донесение в Мадрид:

«Да возблагодарит ваше величество мадонну, ибо дерзостное восстание неверных подавлено вконец... Святая дева ниспослала нам ныне полную победу над Галером. Крепость подлых собак сметена доблестными воинами вашего величества, как гнездо змей, жаливших так долго сердце любимого нами монарха. Последние остатки вражеских отрядов рассеяны. Пленным нет счета. Завтра они будут введены в верную

вашему величеству Гренаду, где состоится распределение их, согласно вашим приказам. Гренада ликует».

Дон-Хуан остановился и задумался.

Ему не хотелось писать королю о том, что около четырехсот мавританских женщин и детей были уже перебиты опьяневшим от крови войском победителей. Король остался бы недоволен этим сообщением, ведь каждый из побежденных морисков должен был прежде всего расплатиться за свое дерзкое сопротивление, а смерть — слишком дешевая расплата. Пленных ждало насильственное обращение на путь Христа и продажа в рабство. Этой ценой король хотел возместить понесенные на войне убытки. Приморские города, Италия, Франция и далекие заокеанские земли уже ждали притока новых рабов.

Дон-Хуан долго и подробно описывал доблести испанских солдат, перечислил многих из раненых и убитых военачальников.

Рука принца дрогнула, когда он четко вывел на пергаменте единственное близкое ему имя:

«Дон-Луис де Кихада...»

Он отбросил перо и откинулся на спинку кресла. В открытое окно лился аромат роз, апельсинов и лавра. С высоты черного, как агат, неба смотрели далекие, трепещущие звезды. Где-то за садом архиепископского дворца слышались глухие удары молотков — запоздалые плотники спешили достроить к утру триумфальные арки; издали долетало томное бряцание гитары; ей вторил мужской голос... «Кавалеры ночи» в ожидании завтрашних торжеств изливали свои чувства под окнами гренадских красавиц.

Жизнь текла своим чередом, минуя войны, грабежи, насилие и смерть.

Дон-Хуан позвонил и приказал принести себе вина.

Слуга доложил о желании герцога Аркосского видеть принца по личному делу.

Дон-Хуан был рад в эту минуту видеть кого-нибудь из старых друзей. Он чувствовал себя непривычно одиноким и покинутым в этом городе, где мечтал стать всемогущим властителем.

— Передай герцогу, что я прошу его явиться ко мне немедленно...

— Слушаю, ваше высочество...

Запах роз был одуряюще сладок. Гитара то замирала, то рокотала сильнее, а голос «кавалера ночи» будил в душе принца странное, незнакомое чувство тоски:

Твоя ножка — очарованье,
Глаза твои черны, как ночь!..
Кто посмеет, дерзкий, спорить —
Стоит мира моя манола!¹...

— Что же не идет этот герцог?..

Принц захлопнул окно и закончил письмо к королю описанием опустошений, принесенных войной, цветущей, богатой Андалузии...

— «Сердце щемит при этом зрелище!.. Что может быть печальнее, чем обезлюдение целого царства?..»

Он перечел последние строки и усмехнулся.

С каких это пор принц дон-Хуан Австрийский стал сентиментален, как женщина?..

Вошел герцог Аркосский своей всегдашней медлительной походкой и остановился почтительно у входа.

Дон-Хуан пошел ему навстречу.

— Любезный герцог, я счастлив принять вас в любое время дня и ночи!.. Я устал от суеты походной жизни и не прочь отдохнуть под сенью этого дворца в кругу старых друзей. Садитесь и расскажите, что привело вас ко мне в этот поздний час?..

— Я полон благодарности к вашему высочеству за милостивое разрешение...

Дон-Хуан расхохотался.

— С каких это пор вы стали так церемонны, мой друг?..

— Ваше высочество, вы — герой!.. Вы — надежда Испании! — начал было герцог высокопарно.

Дон-Хуан протянул ему кубок.

— Пейте герцог, как бывало под Галером!.. Слава мадонне, мы кончили эту скучную войну!..

— Слава мадонне и гению вашего высочества!..

Дон-Хуан смотрел сквозь венецианское стекло своего бокала на золотистый янтарь вина, и лицо его хмурилось от какой-то мучительной мысли.

— Герцог, — сказал он, наконец, и голос его прозвучал несвойственно ему глухо, — завтра мне предстоит

¹ Девушка-простолоудинка, живущая на свой заработок.

много дела, хлопот и разговоров. Мне некому, кроме вас, поручить одно дело.

— Я весь к вашим услугам, ваше высочество...

Дон-Хуан откинул назад волнистые пряди волос и вздохнул.

— Единственный человек, который любил меня, забывая о моем происхождении, дон-Луис де Кихада...

— Вы несправедливы, ваше высочество, — вас обожает вся страна, вся Европа...

Дон-Хуан капризно повел плечами и продолжал:

— Дон-Луис де Кихада будет погребен завтра с другими павшими под Галером героями... Я хочу возложить на вас всю церемонию обряда... Дон-Луис должен быть погребен с беспримерной пышностью, не забудьте это... Ему я обязан больше, чем жизнью. И далее ни слова об этом, герцог! Я все сказал, и, надеюсь, вы поняли меня!

Он нервным движением сжал ручку кресла, стараясь скрыть дрожь в голосе. По губам его пробежала недобрая усмешка.

— Собаки дорого заплатят за смерть Кихада!..

Свечи оплывали на серебро канделябра, мешая свое желтое пламя с голубыми лучами луны. Пальмы в саду архиепископа застыли на фоне звездного неба широкими, черными веерами...

Дон-Хуан пил вино и молчал.

Герцог переждал немного и решился, наконец, сказать:

— Ваше высочество, я долго откладывал неприятный для меня разговор, но... Ведь мне не пристало кланяться, как какому-нибудь «гидальго в лохмотьях». Мой род редко склонял свою голову и швырял деньгами, как негодным мусором, но... но...

Дон-Хуан улыбнулся.

— Но... перед походом вы наделали кучу карточных долгов и хотели бы расплатиться с ними теперь?..

— Вы угадали, ваше высочество.

— Милый герцог, вы опоздали, — дон-Хуан ленивым движением протянул длинный свиток, испещренный именами и цифрами, — моя благодарность опередила вашу просьбу. Прочтите!

Герцог прочел рядом со своим именем крупную цифру — число пленных, вырученная сумма от продажи которых предназначалась ему как «награда за мно-

гие доблестные подвиги в войне с неверными сверх обычного жалования».

Герцог наклонился и почтительно поцеловал руку принца.

Дон-Хуан отстранился.

— Этот поцелуй, — сказал он, — мне придется вернуть нашему обожаемому монарху. А я лишь исполнитель его королевской воли.

Герцог встал и начал прощаться.

— Ах да, — остановил его на пороге дон-Хуан, — вы возьмите на себя еще одно поручение. Его величество в моем лице желает отблагодарить некоего дон-Мануэля Занагуэрра за оказанные на войне услуги. Этот приказ назначает ему некоторую долю в дележе пленных. Его величество в моем лице был бы благодарен вам, герцог, если бы вы взяли на себя исполнение этого приказа. Дон-Мануэль Занагуэрра не может быть лично представлен его величеству. Его двойственное положение и поступок с этой... безумной женщиной в Галере... ложится позорным пятном на все рыцарство Испании. Передайте ему наш разговор и посоветуйте не добиваться свидания ни с кем из королевского дома...

Герцог Аркосский рассмеялся.

— Я не завидую ему, ваше высочество! Его знаменитый дядя, магистр, узнав о подвигах племянника, вряд ли согласится взять его под свою доблестную защиту!..

— Пусть это вас не тревожит, любезный герцог, — одним странствующим «рыцарем-лохмотником» будет больше, вот и все! Спокойной ночи.

10

Со времени королевы Изабеллы и короля Фердинанда Гренада не знала такого торжества.

В продолжение нескольких дней и ночей город украшался праздничными арками, башнями, перекидными мостками, помостами, палатками и беседками. Власти не жалели средств, чтобы ознаменовать победу христианского войска, тем более что рабочие руки не стоили им ничего. Мориски, взятые в плен еще при Гехаре, должны были считать за счастье, что им даровали жизнь, приставя к работам по украшению города.

Десятки мавританских женщин и детей под прищотром стражи с вичера собирали возы цвтов, чтобы усыпать ими путь победителей, площадь перед собором и подножия всех статуь святых...

Десятки пленных за несколько дней должны были заготовить богатое пиршество для испанских солдат. Город был завален мясными тушами, бочками с вином и оливковым маслом, плодами и сладостями.

Отцы-монахи распоряжались всеми мелочами приготовленияй.

Длинная вереница пленных Галера была, партия за партией, подведена еще накануне торжества и ждала рассвета у городских ворот.

С первым лучом солнца Гренада проснулась под оглушительный гул колоколов и открыла свои ворота бесконечному шествию.

Толпа повалила навстречу пленным.

Они шли попарно и поодинокке, связанные и закованные, шли, едва волоча израенные ноги, шли бледные, изнуренные долгим голодом, тысячами лишений, ранами, побоями... Здесь были и женщины, и дети, и старухи, и глубокие старцы; здесь были и девушки с изможденными, обезображенными лицами; были юноши с впалой грудью и нечеловеческой мукой в черных, потупленных в землю глазах...

Вереница пленных шла молча, шаг за шагом, охраняемая по бокам испанскими солдатами. На руках одной из женщин громко плакал грудной ребенок, нарушая своим одиноким криком могильную тишину шествия. Другой со страхом озирался по сторонам и, держась за платье матери, старался не отставать от взрослых.

Лейла шла одна, среди малознакомых ей мавров, в рваной, запачканной кровью одежде. Она шла, как во сне, не понимая, что с ней происходит. В больном мозгу ее всплывали отрывки воспоминаний: голод, охота за крысами, рев пушек, кровь, стоны, смерть Абдаллы, смерть Долорес, испанские солдаты, побои, крики старой Соры, изуродованное тело старухи, брошенное в общую яму с другими мертвецами мавров, потом долгий, мучительный путь под палками испанцев, под жгучими лучами солнца, по каменистой раскаленной дороге и, наконец, Гренада... Гренада, полная аромата цвтов, полная колокольного звона...

Больной мозг Лейлы не мог ясно уловить: победа или поражение привели ее назад, в родной город.

Впереди нее, недалеко друг от друга, шли две высокие старческие фигуры. Абенамар плелся со связанными на спине руками, с низко опущенной седой головой. Эль-Рахман в эти позорные минуты, казалось, был спокоен. Глаза его, не отрываясь, смотрели в синеву неба, где летали стаи щебечущих птиц.

Лейла не знала, что Эль-Рахман думал в эти минуты об утраченной навеки свободе братьев, о свободе, которой наслаждались над их головами веселые, глупые птицы...

Лейла не знала о том, что в хвосте вереницы пленных шел, шатаясь от незажившей еще раны на голове, ее брат Абналь...

Колокольный звон больно отзывался в ушах девочки. Она закрывала глаза, стараясь отогнать от себя мучительный гул.

Чей-то дикий, надорванный крик прорезал гудящий колокольным звоном воздух.

— Отец!..

Лейла открыла глаза.

Какая-то девушка с большим желтым крестом на груди осужденных инквизицией бросилась под ноги Абенамару.

— Отец!..

Девушка обхватила колени мавра и, целуя их, кричала что-то диким, иступленным криком.

Лицо Абенамара стало мертвенно-белым. Он зашатался, словно раненный насмерть, но железная цепь, которой он был связан с идущим впереди себя, удержала его... Он еще ниже опустил голову и, не глядя на девушку, оттолкнул ее ногой.

Она покорно упала на дорогу, и один за другим пленные переступили через лежащее в пыли тело с большим, нашитым на груди крестом инквизиции...

Но прежде чем солдаты успели оттащить девушку в сторону, Эль-Рахман быстро склонился к ней и поднял ее голову.

На него взглянули большие, залитые слезами глаза Фатьмы.

Эль-Рахман ласково погладил ее по голове, как покинутого всеми ребенка.

— Дитя моего народа, — сказал он тихо и печально, — ты добровольно взвалила себе на плечи крест христиан. Неси же его ныне до конца, и сердца братьев простят тебе измену.

Солдат прикладом мушкета отбросил Фатьму на кучу придорожного щебня.

Вереница пленных прошла дальше.

11

На набережной Малаги было оживленнее, чем всегда в этот ранний час рассвета. Грохот ящиков, лязг железа, скрип уключин, говор, брань и крики — все мешалось в один разноголосый беспорядочный гул спешки.

Могарем стоял за грудой мешков и мучительно вглядывался в толпу загнанных в загородку, как скот, людей. Он искал среди скованных, измученных долгими лишениями, побоями и пытками людей знакомых лиц.

Скольких из них он перевозил когда-то из Испании в Африку и скольких обратно, назад, в родную Андалузию...

Вот тот высокий, не старый еще мавр, закованный в цепи, как преступник, кажется, переправлялся на его лодке года четыре назад... Или вон те двое, что не могут стоять, а сидят, прислонившись друг к другу спинами... Нет!.. Разве их узнаешь теперь?.. Разве можно узнать в этих полумертвецах бывших сынов пророка, смелых и сильных?..

Горло Могарема сжала судорога.

Он знал, что дело восстания братьев рухнуло безвозвратно. Об этом кричала вся Малага. Никто на этот раз не вернулся через его хижину под защиту полумесяца турок. Все они остались там, в ущельях Альпухары, напоенных кровью, все, кроме тех, кого разогнали по портовым городам, чтобы увезти в позорное рабство.

— Аллах!.. Аллах!.. — шептал Могарем, не находя иных слов для молитвы своему богу. — Аллах!.. Аллах!..

Вон поодаль от других стоит юноша, почти мальчик. Как бледно и измучено его лицо! Поперек всего

лба и щеки у него идет глубокий алый шрам — священный след борьбы за свободу.

Юноша стоял поодаль от всех и смотрел большими, немигающими глазами в даль моря, где синела линия далекого горизонта. Что видел он там?.. Рабство, смерть или призрак отлетевшей свободы?..

Могарем не знал, что губы юноши шептали слова новой, еще не слышанной никем, песни о разбитом счастье мавров...

Слова песни были неясны и туманны, как даль морского простора, который юноша видел впервые...

Куда увезут его?.. Кто-то говорил, что всю его партию отправят в далекую заокеанскую страну, где болота дышат лихорадками, где реки и пески таят золотую россыпь и драгоценные камни, где в неведомых, непроходимых лесах живут дикие, как звери, люди...

Сказка это или правда, — юноша не знал. Да и не все ли равно теперь, куда увезут жалкие остатки разбитого войска защитников свободы? Везде их ждет одно и то же: рабство, нечеловеческий, подневольный труд, побои, голод и ни капли надежды на свободу...

Могарем подкрался ближе и дотронулся до плеча юноши.

— «Аллау-экбер», брат... — сказал он шепотом.

Юноша вздрогнул и обернулся. Глаза его встретились с полными слез глазами старика.

— «Аллау-экбер»... — повторил Могарем с тоскою.

Юноша опустил голову. Что мог он ответить ныне на молитву, когда аллах обманул верных сынов своих?..

— Как тебя зовут, брат?.. — спросил Могарем, не дождавшись обычного ответа.

— Абналь... сын Челеби-Зинзана из Гренады...

— Будь благословен в этот тяжкий час, брат мой Абналь, мученик мавров... — шептал Могарем. — Я знал многих из братьев... Я знал Абенамара, сына доблестных предков... Я знал, Юсуф-Мулея, Мейдана, Эль-Сегри-Османа... Многих знал я во времена, когда надежда еще питала наши сердца... А ныне я узнал тебя, брат мой Абналь... ныне, когда жизнь моя опустела, как ладья без хозяина... Ибо не стало ныне для ладьи моей цели... Да будет благословение аллаха на челе твоём, отмеченном печатью доблести... Прощай!..

Он замолчал и отошел в сторону.

Стража начала торопливо сгонять пленных на корабль.

Мостки гнулись и трещали под тяжестью сгрудившегося людского стада. Женщин и больных грубо стали кивали в трюм; более сильных мужчин отбирали для гребли.

Места для гребцов высились тремя рядами один над другим. Гребцов приковывали попарно цепями к деревянным скамьям и давали им в руки тяжелые, окованные железом весла...

— При-кру-чи-вай!.. Тя-ни!.. — неслось с палубы.

Могарем стоял за грудой мешков, следя за последними приготовлениями к отплытию.

— Храни их аллах в чужой, неведомой земле... — шептали беззвучно его губы.

Рядом с ним какой-то моряк, хохоча, рассказывал:

— Всех разлучили! Детей отняли от матерей, жен от мужей и отправили в разные города! Одну партию повезли в Геную, другую, кажется, в Марсель, еще одну партию потопили где-то за Кадиксом! Они бросали их в воду, добывая веслами! И то правда, — стоит ли возиться с этими собаками? Пусть лучше покормят рыб своим вонючим мясом!

— Да ведь за них были заплачены деньги, — возразил другой, — значит, капитан обокрал тех, кто купил их?

— Обокрал!.. А поди узнай: потопил он их или они побросались в воду сами? Гордые псы, — рабство для них страшнее смерти!

— Проклятое племя, — так ему и надо! Рабство или смерть!..

Моряки смеялись, благословляли свою судьбу, спорили и ругали мавров...

— От-да-вай!.. От-ча-ли-вай!..

Корабль начал медленно отходить от пристани.

Могарем следил за ним до тех пор, пока он не потонул в туманной дали нарождающегося дня.

А когда от корабля осталась лишь темная, далекая точка, он пошел на ближний утес и бросился в море.

Рабство братьев и для него было страшнее смерти.

А.Алтаев, Арт.Феличе
В великую бурю



I

КОРОЛЕВА ГЕНРИЕТА-МАРИЯ

Королева Генриета-Мария была не в духе. Ей пришлось всю ночь провозиться с мужем, который плакал, как ребенок, о смерти своего любимца герцога Букингэмского.

Католичка-королева уже выслушала мессу в маленькой капелле, устроенной неподалеку от ее покоев, приложилась к пухлой руке духовника-иезуита и вернулась к себе, чтобы подкрепить силы завтраком и докончить туалет.

Вертлявая француженка-камеристка возилась с туалетом ее величества. Большое зеркало в серебряной оправе с павлинами, вырезанными на стекле, отражало надменно-капризное личико с массой пышных каштановых волос и большими продолговатыми чуть-чуть прищуренными глазами, такими ласковыми и игривыми в минуты веселости и такими жесткими, когда семнадцатилетняя Генриета-Мария бывала чем-нибудь недовольна.

— Что же ты мне ничего не рассказываешь, Жюли?

Камеристка, которую королева привезла с собой из Франции, без усталости затрепала:

— Сегодня весь город говорит, будто брат покойного герцога, сэр Джон Вильерз, до того напился, что всю ночь буянил и проиграл в карты с лакеями более пятисот фунтов стерлингов, а бедная леди Вильерз уехала к своему отцу вся в слезах... Это в такое-то страш-

ное время, когда герцог лежит на катафалке в том же дворце.

Королева прищуренными глазами пристально смотрела в зеркало.

— А да, он ведь большой чудак, этот бедный глупый Джон Вильерз,— протянула она лениво.— Какая сегодня погода, Жюли?

Тонкие пальцы камеристки проворно двигались по складкам платья королевы; она усмехнулась:

— Погода не хуже, чем вчера, ваше британское величество... идет дождик, вернее моросит дождик; на улицах слякоть, и небо такое, какого никогда не увидишь во Франции...

Королева брезгливо выставила вперед нижнюю губу.

— Поправь, милая, вот здесь. Сегодня мне предстоит, вероятно, выехать, помолиться над гробом герцога...

Тон голоса был недовольный. Жюли вздохнула и продолжала щебетать по-французски:

— Леди Букингэм, говорят, неутешна... это по герцогу, который не очень-то ее баловал при жизни и...

— Молчи, нехорошо бранить мертвых,— остановила ее королева.

Жюли сейчас же сделала улыбающееся лицо и начала с веселым смехом:

— Мистер Джермин выкрасил свою обезьяну в голубую краску, а египетских голубей в красную и пустил их летать и прыгать по городу; лондонцы, увидя красных птиц и странное животное, подумали, что началось светопредставление...

Королева улыбнулась:

— Ах, этот мистер Джермин... вот забавник... он всегда что-нибудь выдумает...

— Он обожает королеву, как и все здесь, кого только ее британское величество удостоивает вниманием...

Жюли ловко работала руками и без усталости болтала, сознавая свою силу в этой комнате, наполненной ароматами мускуса, амбры и еще каких-то тонких восточных курений. Говорили они обе всегда по-французски, презирая «этот грубый язык» чужой, ненавистной им обеим страны.

Но королева почти не слушала камеристки. Лицо ее было задумчиво, брови сдвинулись, а мелкие, как у хищного зверька зубы, нервно кусали жемчужную нить ожерелья.

— А его величество? — сказала она, как будто продолжая думать вслух, — ты знаешь, что делает сейчас его величество?

— Его британское величество плачет, — прошептала, опустив глаза, со вздохом камеристка.

— Опять? Откуда ты это знаешь, Жюли?

— От Герберта. Он в отчаянии и говорит, что его величество безутешен; Герберт говорит, что только ваше величество можете утешить короля.

— Камердинер короля — дурак! — топнула ногой Генриета-Мария и потом прибавила уже немного спокойнее: — Я думаю, все пройдет само собою. Плохо только будет, если печаль помешает нашим переговорам о празднике... И надо было умереть герцогу как раз в такое неудачное время...

Она снова задумалась, сдвинув тонкие брови.

— Вот что, Жюли, пойди и скажи Герберту, чтобы он доложил: я сейчас буду у его величества...

Жюли сделала глубокий реверанс и пошла к двери. Взгляд королевы упал на серебряный поднос, на котором стоял в вазе роскошный букет.

— Розы... красные розы... белая гвоздика... постой, милая Жюли, в этом есть какой-то тайный смысл... От кого это?

— От мистера Джермина, — отвечала Жюли и, еще раз поклонившись, пошла с докладом к Герберту.

А королева взяла букет и, вспоминая всегдашние за теи молодого любимца Генриха Джермина, с изумлением прочла французскую надпись из маленьких красных роз по фону белых гвоздик: «Верность до гроба королеве — религия Генриха Джермина».

Королева засмеялась и, с мелодичным шелестом платья, вся гибкая, тонкая, легкой скользящей походкой направилась к покоям короля.

Когда Генриета-Мария появилась на пороге королевского кабинета, Карл еще не успел оправиться. В порыве отчаяния он не заметил, как смял свое богато расшитое шелками и серебром бархатное платье; его красивое царственное лицо все опухло от слез. Он сто-

ял перед восемнадцатилетней женой, смущенный, как провинившийся школьник.

Когда они остались вдвоем, королева остановилась перед мужем, высоко подняв голову. Выглянувшее из-за туч солнце зажгло золотом локоны ее каштановых волос. Было что-то во взгляде ее прищуренных великолепных глаз, в хищной улыбке и в презрительном голосе, что заставляло Карла съеживаться и чувствовать себя перед нею маленьким мальчиком, жалким и ничтожным. Генриета-Мария заговорила с мужем по-французски.

— Ваше величество предавались горести с таким увлечением, что даже забыли о приличиях, известных на моей родине любому мелкому дворянину. Мне кажется, что мой сан должен был бы избавить меня от зрелища неряшливости. Я краснею при виде вас...

Она отвернулась и нервно забарабанила пальцами по высокой спинке кресла.

Карл беспомощно посмотрел в зеркало, вспыхнул, стал неумело оправлять свое платье и видя, что ничего не выходит, протянул дрожащие руки к королеве.

— Генриета... Генриета... будьте не так суровы... ведь вы видите...

— Я вижу, я слишком хорошо все вижу. Там, во Франции, где меня окружал пышный двор просвещенного монарха, я не знала, что такое грубость. Меня воспитали в правилах строжайшего этикета, и вам это было известно, когда вы просили моей руки.

— Но, Генриета...

— Несмотря ни на что, вы или дипломатические расчеты двух государств сделали меня монархиней Англии. Постойте, не возражайте... вы привезли меня в чужую, неприятную мне страну, где все, начиная с суровой природы и кончая языком, нравами и даже людьми, было мне отвратительно, слышите, отвратительно, в страну, где английские неучи не умели даже устроить приятной жизнь своим законным повелителям, своим монархам!

— Но, Генриета, ведь так жила и мать моя, королева Анна; она примирилась же и...

— Королева Анна! Ей нетрудно было променять тесный уголок своей родной Дании на большой кусок земли, покрытый таким же непроглядным туманом! А

я... я, несмотря на тоску и разочарование, кротко подчинилась своей судьбе: я даже устраивала маски¹...

— Я старался вас развлечь масками и другими удовольствиями...

— Развлечь! Я соглашалась участвовать в масках только для того, чтобы доставить *вам* удовольствие, потому что я учила роли на чужом языке и таким образом старалась научиться языку моей новой родины. А вы? Что сделали вы? Отослали во Францию два года тому назад почти весь мой штат, всех моих друзей, следовавших за мною с родины...

Она отвернулась, и Карлу показалось, будто в глазах ее сверкнули слезы. Он пробовал оправдываться.

— Генриета, милая, ведь вы же знаете, я обожаю вас. Но французы постоянно ссорились друг с другом и с моими придворными. Дворец был похож на ад.

Генриета-Мария посмотрела на него враждебным взглядом.

— А если они были *мне* необходимы для *моего* спокойствия, эти ненавистные вам французы, которых не выносят грубые англичане?

Она задыхалась и продолжала, слишком отчетливо выговаривая жестокие унижительные слова:

— Король Британии! Вы... вы... вы не умеете ни любить, ни царствовать...

Королева отвернулась и заплакала тихо и жалобно, и, когда Карл услышал ее рыдания, он почувствовал, что его оставляют последние силы. Он опустил перед нею на колени, робко взял ее маленькую руку и, целуя с нежностью тонкие пальцы, повторял:

— Генриета... Генриета... ну, я виноват, ну, я умоляю вас простить меня, ну, я сделаю все, что вы хотите, только... только не плачьте... я решительно не могу видеть ваших слез...

Он ползал у ее ног на пышном мягком ковре и, если бы кто-нибудь из придворных теперь увидел его, то не поверил бы, что это тот самый король, царственное величие которого вошло в поговорку.

Наконец королева отерла слезы тонким кружевным платком и, склонившись к Карлу, чуть-чуть улыбнулась.

¹ Масками называли в Англии фантастические представления, нечто вроде оперы и балета.

— И как это я мог вас довести до слез, как мог! — повторял Карл, вглядываясь в лицо королевы с восторженным изумлением, потом усадил ее в кресло и, оставаясь все еще у ног ее, повторял:

— Ну, что я должен для вас сделать, как порадовать, приказывайте, приказывайте... И вы ведь простите мне мою смятую прическу и мой скомканный воротник?..

Генриета засмеялась одной ей только свойственным смехом, тихо провела рукою по его высокому красивому лбу и сказала материнским тоном:

— На этот раз я вас прощаю, непослушный мальчик. И слушайте: чтобы все вошло в свою колею, чтобы вы привлекли к предполагаемым маскам кого следует, чтобы обсуждали костюмы, чтобы сами разучивали со мною роли...

— Хорошо, хорошо... ваше приказание для меня закон.

— Чтобы вы не запускали обычных дел и сегодня же пошли взглянуть, как идет работа мастера Рубенса, расписывающего потолок в главной зале Уайтгалья¹.

— Хорошо, дорогая!

— Разве вы не должны благодарить меня за то, что я так забочусь о развитии вкуса вашего народа? Разве, рука об руку со мною, ваше величество не сделались ценителем искусства, знатоком, о котором говорит вся Европа?

— Ну, конечно...

— Слушайте. Сейчас вы позаботитесь о своем туалете, потом позовете сюда секретаря и займетесь *при мне* делами...

— При вас, Генриета?

— При мне...

— Но это невозможно...

Она топнула ногою.

— Вы не должны ничего решать без меня и в делах политики, как в делах искусства.

— Но, Генриета, никогда не видно, чтобы королева... Моя мать...

Она холодно рассмеялась.

¹ Название королевского дворца.

— Ваша мать — королева Анна; ваша жена — королева Генриета. Я не хочу, чтобы у вас были дурные советники и враги. Букингэма нет, — не волнуйтесь так, — он был, правда, веселый собеседник, пышный лорд, но, как говорит молва, плохой министр, а потому эту игрушку можно легко заменить другой. К тому же если вы так обращаете внимание на голос народа, говорящий, что жене короля не пристало вмешиваться в дела государства, то почему вы не обращаете внимание на то, что говорят о Букингэме. В народе ходят слухи, что покойный лорд разорял страну и вел королевство к гибели; его называют палачом, потому что герцог нарушил мир с Францией и, затеяв войну, погубил 2000 англичан из своего семитысячного войска...

— Это правда, это правда... Бедный герцог! — вздохнул король.

— Если вы внимаете голосу народа, вам нечего было жениться на мне, потому что народ не хотел иметь королеву-католичку. Ну, и разведитесь со мною...

Карл сложил умоляюще руки.

— Генриета! — простонал он.

Глаза Генриеты-Марии блеснули.

— Кого вы хотите привлечь к делам правления?

Карл задумался.

— Это трудный вопрос, дорогая. Парламент...

Королева засмеялась.

— Парламент, гроза, которую вы ненавидите, как и я! В сущности, какое вам дело до парламента?

— Мои думы заняты несколькими фигурами, Генриета. Одна из них — Томас Уэнтворт.

Королева широко раскрыла глаза.

— Ваше величество... здоровы ли вы? Молодой Уэнтворт, грубый, неотесанный, друг всех, кто мутит в парламенте... Как это он там говорил, я забыла?

— «Мы должны отстаивать нашу древнюю свободу, — отчетливо сказал король, — мы должны хранить наши законы, изданные нашими предками. Мы должны запечатлеть их, чтобы никто не осмеливался и впредь нападать на них».

— Постойте. И он ненавидел Букингэм?

Карл кивнул головою.

— Я вас совершенно разучилась понимать.

Карл улыбнулся.

— Нет, нет! — сказал он. — Я могу холодно и здраво размышлять. Это будет только выгодно. Я куплю свободолюбивого Уэнтворта, Уэнтворта, который в глубине души жаждет власти; я куплю друга парламента и его буянов, потому что ему необходимо выдвинуться, все равно где и как, лишь бы выдвинуться!

Королева пристально смотрела на Карла.

— А не проиграете? — прошептала она.

— Когда приручают дикого зверя, разве проигрывают?

Королева встала.

— Желаю вам успеха. Во всяком случае, попробуйте. И вот что, если вы думаете говорить с Уэнтвортом, то отложите лучше это до другого раза; сегодня в самом деле вам незачем заниматься делами. Вы плохо провели ночь и вам нужно развлечься. Позовите Герберта, приведите себя в порядок и приходите ко мне. А я распорядюсь, чтобы в сборе был весь кружок, и мы сделаем маленькую репетицию масок.

Она милостиво поцеловала его в лоб и вышла, а Карл опустил в кресло и задумался. Мысли его разбегались. Он думал о том, как хорошо, что королева не сердится на него, что она даже смеялась; он думал о том, как она прекрасна; потом мысли его перешли к Уэнтворту. Перед ним рисовалась массивная фигура с пламенной речью, возбуждающей и могучей, с грубоватыми манерами провинциала. Изредка перед глазами короля мелькал катафалк, черный бархатный покров, и на нем еще молодое, прекрасное лицо, такое неподвижное и бледное... Тогда он со страхом думал, что нехорошо в этот страшный день, когда еще дорогое тело не предано земле, заниматься приготовлениями к веселому празднику. Но так хочет она, так хочет королева...

Карл позвонил в серебряный колокольчик. Вошел Герберт.

— Ты оденешь меня.

— В траурный костюм, ваше величество?

Карл вздрогнул.

— Нет, нет, это потом... я позднее поеду во дворец к герцогу... Теперь ты мне подашь темно-оранжевый костюм и новые брыжи; да не забудь надушить их... Я отправлюсь к ее величеству.

ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ УАЙТГАЛЯ

В гардеробной королевы слышался тихий смех и женские голоса.

— Нет, нет, до прихода его величества я не скажу ни одного слова; нет, нет, не просите меня, ни вы, милая леди Бэдфорд, ни вы, Джермин...

Королева уже начинала сердиться, что Карл так долго не идет, когда тяжелый бархатный занавес, расшитый золотыми французскими лилиями, приподнялся, и в тесной комнате, заставленной сплошь шкапами, появился король, величавый, спокойный, с гордо откинутой назад головою, такой, каким его привык видеть двор. Взгляд королевы с одобрением пробежал по изящной фигуре мужа. Роскошные локоны короля лежали на свежем кружеве тончайшего венецианского воротника; лицо было спокойно; губы милостиво улыбались. Карл медленно наклонял голову, отвечая на поклоны.

Королева рассматривала гору костюмов, которые перед нею развернула Жюли. Тут были длинные и короткие юбки, хитоны, лифы, покрывала, шарфы, плащи, пелерины, головные уборы всевозможных цветов, начиная с огненно-красного и кончая светло-голубым, бледным, как вода, и прозрачным, как крылья стрекозы. Сельден, ученый антикварий, человек с серьезным лицом и глубоким суровым взглядом, внимательно разглядывал эту гору материй, из которой ему нужно было выбрать костюм для королевы, изображавшей «Царицу красоты».

Маленький, юркий, сложенный, как мальчик, с миниатюрными руками и ногами, розовым лицом и необыкновенно пышными локонами, Генрих Джермин то и дело украдкой поглядывал в маленькое зеркальце своей шляпы, лежавшей возле него. Он приглаживал черные закрученные усы, поправлял серьги, болтавшиеся в его ушах, и при каждом движении испускал приторный запах духов.

Несколько молодых и пожилых леди окружали антиквария и тормозили его.

— Что вы выберете, скажите? Что подходит больше королеве: золотая парча или дама?!

— А, может быть, материя гроген?..

Сельден растерялся и с отчаянием смотрел на хорювод шибечущих леди, выбравших его судьбою в этом щекотливом вопросе.

— Цвет для костюма царицы красоты должен быть французский зеленый, не правда ли, ваше величество?

Тоненькая, с гибкой лебединой шеей, огненными глазами и черной мушкой у угла губ, дочь герцога Девонширского кокетливо посмотрела на короля и переглянулась с красавцем лордом Фоклэндом. Обоих их забавляла угодливость Сельдена.

Королева смеялась:

— Ну, ну, милая Кларисса, когда дело касается королевы, то вам кажется, что ни один цвет недостаточно для нее хорош, но его величеству скучно присутствовать при выборе материй, — мы лучше повторим перед ним несколько наших ролей. Мистер Джермин, вы, кажется, придумали для меня хорошенькие стихи? Пойдемте отсюда.

Королева, опираясь на руку короля, первая вошла в свой будуар.

Здесь было уютно; пахло нежно розами и лавандой; со стен смотрели изящно изваянные плоды, листья и гербы; хорошенькие купидоны держали гирлянды цветов на камине; на золоченом потолке распластался громадный круглый щит с гербами Франции и Англии. Над высокими спинками кресел из-под лепных украшений стен, выложенных голландским фаянсом, опускался расшитый разными фантастическими птицами, рельефными цветами и листьями атлас. Было душно, ароматно, таинственно. Шаги заглушались мягкими коврами.

Королева весело говорила:

— Какие же вы придумали для меня стихи, мистер Джермин?

Джермин встал, выставил одну ногу вперед, закрутил ус и начал:

Когда пурпуром залила Аврора
Все небо, а прекрасный Феб¹,
И ослепительный и благостный для взора...

Слушая вирши, изящный лорд Фокленд едва удерживал улыбку. Улыбалась и умная герцогиня Девонширская.

Явился волею судеб...

Джермин высоко поднял руку и продолжал с пафосом:

Тогда царица роз, красы и счастья,
Увенчана короною тройной²,
Приду и я отдать вам дань участия
И озарить ваш край родной.

Он победоносно обвел всех глазами. Королева улыбалась; она плохо знала английский язык, а потому не сознавала всей нелепости виршей Джермина. Король покачал головою и, улыбаясь, крикнул:

— Прекрасно придумано, милый Генрих. Вы на все руки: вчера вы потешали нас гримасами, изображая всех животных, сегодня — стихами.

Джермин опустил в кресло с довольным видом. Все переглянулись.

Королева велела выступить вперед музыканту и под звуки лютни, чуть-чуть картавя и держа в руках бумажку с ролью, повторила стихи Джермина.

Король сделал знак рукою архитектору Иниго Ионесу.

— Мы устроим перламутровые раковины для леди и лордов; среди роскошного освещения будут двигаться они по волнам.

— Нельзя ли на помощь сэру Иниго Ионесу позвать еще кого-нибудь из художников? — спросила королева.

Она распахнула дверь в покой, из которого открывался ход в длинную картинную галерею.

В галерее слышался необычный шум. Королева обернулась к королю:

¹ Аврора — заря; Феб — солнце.

² Намек на соединенное государство Великобритании: Шотландию, Ирландию и Англию.

— Мне кажется, ваше величество слишком добры к живописцам,— сказала она дрожащим голосом.— Я никогда не думала, что услышу в Уайтгале такой неприличный шум рядом со своими покоями.

Король взволнованно направился к двери. Со всех сторон уже бежали пажи, камердинеры, лакеи... Шум доносился с конца галереи, где была маленькая мастерская для реставрации попорченных картин: Там возле носилок столпилось несколько молодых художников.

Карл крикнул:

— Что там еще, Герберт?

Герберт мягкой походкой подошел к королю и шепнул ему что-то на ухо.

Король вздрогнул.

— Только бога ради ни слова королеве...

Но Генриета-Мария уже стояла в дверях, смотря на мужа вопросительно-строгими глазами.

— Кого это там несут, ваше величество? Я хочу знать, слышите?

Носилки остановились. Несколько молодых учеников Рубенса почтительно склонили головы.

— Что случилось? — спросила королева, обращаясь к белокурому юноше, стоявшему ближе всех к ней, — что же вы молчите? Подойдите и отвечайте...

Молоденький Эльмер Повэй, на которого указала королева, краснея, выступил вперед.

— Мы несем тело королевского коллекционера Вандердоорта, ваше величество... — сказал он, запинаясь.

— Тело Вандердоорта? — спросила Генриета-Мария. — Но он вчера еще был жив... Разве в Уайтгаль проникла зараза?

— Он повесился, ваше величество... от испуга...

— Молчи, молчи... — шептали юноше товарищи, но в смущении он ничего не слышал и продолжал:

— Он повесился от страха, потому что у него пропала миниатюра Гибсона Карлика, изображавшая притчу о потерянной овце...

Король сказал:

— Как жаль; прекрасная была миниатюра!

А королева брезгливо заметила:

— Если он вздумал вешаться, то следовало это сделать в другом месте. Надо лучше следить за порядком в дворцовых покаях.

Она ушла, рассерженная, даже не взглянув на носилки. Едва королева переступила порог своих покоев, как услышала яростные крики на площади. Она взволнованно распахнула окно, проклинающая страну, в которой монархи ни одну минуту не могли быть спокойны.

Внизу гудела толпа, и среди гула прорывалось одно только имя, имя убийцы герцога Букингэмского, лейтенанта армии Джона Фельтона. Это имя произносили с восторгом сотни уст. Его вели мимо дворца под стражей.

Фельтон был маленький, худенький молодой ирландец. На ногах его при каждом движении звенели цепи; он страшно устал; лицо его сделалось почти прозрачным; глаза потускнели; ноги были в ссадинах от железа; все тело ныло тупой болью; говорили, что в тюрьме Портсмута его били.

Толпа кричала; сотни рук простирались к Фельтону; стража тесным кольцом сомкнулась вокруг него, боясь, что народ освободит преступника. Фельтон в глазах народа был мучеником, гибнувшим за то, что решился убить «вредоносную гидру» — Букингэма.

Фельтон шел, как во сне, спотыкаясь о камни мостовой; позади него, тоже, как во сне, шла пожилая женщина с ребенком на руках. Ребенок устал и, положив голову на плечо старухи, дремал; иногда он вздрагивал, открывал глаза и смотрел с испугом и удивлением на толпу. В толпе слышалось:

— Это мать и дочь Фельтона.

Старушка говорила ребенку:

— Нелли, дитя мое, твой отец смотрит на тебя.

Ребенок, ничего не понимая, таращил голубые глаза и прислушивался к крику толпы:

— Король, король, пощади Фельтона!

— Он честный солдат!

— Через лейтенанта Фельтона совершилось правосудие господ!

Какая-то женщина, потрясая костлявыми руками, кричала, как безумная:

— Да благословит тебя бог, маленький Давид, да благословит тебя бог!

Годовалая Нелли смотрела на толпу невинными глазами. Она была еще так мала, что не могла понять всего ужаса своего положения. После казни отца она останется круглой сиротою, потому что мать ее умерла от удара в тот же момент, когда узнала, что Джон Фельтон совершил убийство и арестован.

Альдермены лениво разгоняли толпу; многие из них сами сочувствовали преступнику; смерть Букингэма вызвала печаль только во дворце.

И когда Фельтон остановился перед Уайтгалем и поднял глаза, он увидел в окне, сквозь сетку моросившего дождя, царственную чету. Губы его чуть-чуть дрогнули полугрустною, полунасмешливою улыбкою, и лицо сделалось опять вдохновенным, как у мученика. Он верил, что спас Англию.

Глаза Фельтона встретились с глазами короля. Карл вздрогнул, отвернулся и простонал беспомощно:

— Я не могу... я не могу... видеть этого лица...

Королева захлопнула окошко...

Шествие подвигалось к Тоуэру, замку, куда сажали государственных преступников.

Уныло плескалась вода во рве, окружавшем Тоуэр; на валу стоял дозорный, ожидая прибытия нового узника. Фельтон в последний раз окинул глазами лондонские улицы; позади осталась населенная, шумящая торговым людом часть Лондона — Сити; здесь возле Тоуэра старая Темза катила серые мутные воды, билась о камни набережной и рассказывала истории таинственных башен и застенков.

— Кто идет? — раздался оклик часового.

— Привели арестанта, — отвечал начальник стражи и, обратившись к толпе, почти со слезами стал молить:

— Я прошу, расходитесь, расходитесь, граждане Лондона... Ведь я должен вас разгонять!

Послышались рыдания. Плакали женщины; не плакала только мать преступника. Она смотрела на сына сухим горячим взглядом, не отрываясь, и кивала ему головою, повторяя две фразы:

— Смотри, Нелли, в последний раз на отца! Прощай, мой Джон, мой маленький Давид!

Фельтон сделал прощальный жест рукою, и темная пасть Тоуэра поглотила его... Толпа стала редеть...

На следующий день хоронили герцога Букингэмского. На похоронах вместе с королевской четой присутствовал и Уэнтворт. Это вызвало много толков в городе. Многие помнили еще, как Уэнтворт выступал гордым защитником английской свободы; многие помнили, как он ратовал против Букингэма. Но Уэнтворт искал только власти, где бы она ни проявлялась, и потому без раздумья пошел на зов короля.

Карл ласково говорил ему:

— Таким способностям, как у вас, не должно пропадать даром. Разве вы можете смешиваться с толпою жалких крикунов-пуритан, твердящих день и ночь о Страшном Суде?

Умное холодное лицо Уэнтворта с резко очерченными губами не дрогнуло.

Он с достоинством поклонился.

— Благодарю, ваше величество, за столь лестное мнение обо мне и прошу верить, что и сам хорошо знаю о своих способностях. Что будет от меня угодно вашему величеству?

— Я хочу, чтобы вы участвовали в государственном совете. Я хочу опереться твердо на вашу руку, барон Уэнтворт.

Уэнтворт слегка вздрогнул.

Карл называл Уэнтворта бароном; за баронство он покупал члена партии народной свободы. Но то было только началом. Он ясно увидел машину государственного правления в своих руках.

Смотря прямо в глаза королю, Уэнтворт медленно произнес:

— Не угодно ли будет сказать вашему величеству, кто займет место покойного герцога в государстве?

— Лорд Вестон.

Уэнтворт поморщился.

Лорд Вестон был другом Букингэма; но все равно, он не из таких, чтобы мог стать ему поперек дороги.

— Позвольте мне, — заговорил опять Уэнтворт, — позвольте мне начертать вам вкратце молитвы, которые руководят в данный момент вашим величеством. Я буду говорить просто. Корона хочет купить, — простите, я заставил покраснеть ваше величество своим грубым выражением, — корона хочет купить голову сэра Томаса, скромного иоркширского джентльмена,

чтобы убить партию, отнять яд у жалящей змеи. Я это понимаю и согласен служить опорой короне, если только я действительно буду опорой, а не игрушкой.

Карл протянул ему руку.

— Вы мне необходимы, поймите! — почти закричал он.

Уэнтворт поклонился.

— Благодарю, ваше величество, за честь; я постараюсь по мере сил быть полезен в государственном совете Англии. Клянусь отныне отстаивать монархию от всяких ограничений со стороны подданных.

III

НЕЛЛИ

За чертой Лондона, там, где теперь находится многолюдная часть Реджент-Стрит, в 1637 году был пустырь, где охотники стреляли порою вальдшнепов. На севере виднелись бесконечные однообразные изгороди оксфордской дороги, а в полторастах саженьях тянулись уже заборы садов, примыкавших к большим загородным усадьбам; на западе от этих усадеб по прекрасному лугу протекал кристально чистый источник, а на востоке раскинулось большое поле, и это поле было известно под именем «Страшного поля». Его обегали все лондонцы.

Ранним утром в конце июня 1637 года по «Страшному полю» шла оборванная старуха, опираясь на плечо десятилетней такой же оборванной девочки. Здесь было кладбище, где хоронили во время беспрестанно повторявшихся в Англии чумных эпидемий. Так смело, равнодушно идти по проклятому месту могли только ребенок и сумасшедшая.

Старуха брела медленно, ощупывая длинной палкой землю между невысокими грядами могил. Губы ее беспрерывно что-то бормотали.

Поле казалось мертвым; порою только из заросли вылетала спуганная ворона, с унылым криком поднималась и садилась на кое-где торчавший крест или каменную плиту с надписью.

Наконец старуха остановилась.

— Бабушка... — протянула девочка жалобно, — бабушка... я дальше не пойду... я боюсь... я очень боюсь... сюда все боятся ходить... здесь хоронили умерших от черной смерти¹...

Старуха подняла клюку и погрозила ребенку.

— Молчи, Нелли, — закричала она, — молчи, а не то я тебя отколочу. Ну, нечего хныкать: черная смерть! черная смерть! Небось твой отец не боялся, когда его зарывали в одну из этих ям.

— Бабушка, — сквозь слезы протянула девочка, — ведь ты же сама прежде говорила, что моего отца отвели в замок Тоуэр и повесили...

Старуха остановилась, вспоминая. У нее все путалось в голове.

— Постой, глупая; сначала умерла бедная Кэтти, твоя мать. У нее были такие же голубые глаза, как у тебя, и она была такая славная, такая кроткая... Отчего умерла она? Она просто уснула. Прилетели птицы, — я это помню, — и унесли ее на крыльях, на белых крыльях в голубую высь неба. Тогда тебе было около года; теперь десять.

— Но, бабушка, ты мне рассказывала, будто она умерла от испуга, когда схватили моего отца.

— Да, да, у бедной Кэтти разорвалось сердце! — печально закачала головою старуха, — или, может быть, она умерла от черной смерти. Приходила она, черная смерть, много раз за эти годы к нам в Лондон... говорили, около трехсот лет она к нам все ходит, то уйдет, то возвратится... Да, да, дитя мое, я много тогда продавала ароматных трав, — они ведь спасали от заразы²... Ими устилали пол в церквах и домах; их носили на шее в коробочках, во флакончиках... За букетик платили по шести шиллингов.

— Но, бабушка, — робко возразила внучка, — ведь ты же только теперь стала продавать травы, а прежде, когда жив был отец, тебе незачем было этим заниматься...

— Понятно, незачем, — сердито отозвалась старуха, — тогда меня звали лэди... лэди Петронилла... да,

¹ Черная смерть — чума.

² В описываемое время думали, что некоторые ароматические травы предохраняют от заразы.

а теперь просто бабка Петронилла — и все тут, но он рано умер... а мать его забыли люди, которые кричали когда-то: «Благослови тебя бог, маленький Давид...» И мать его голодает... Он умер, но я знаю, что слезы и поцелуи матери оживят его... Давай будем рыть, дитя мое, давай будем рыть...

Нелли отшатнулась.

— Бабушка, — прошептала она, — уйдем отсюда, уйдем, здесь, говорят, вся земля пропитана насквозь страшной смертью... я... я боюсь... я не хочу умирать... я убегу...

Старуха споткнулась, потеряла равновесие и упала на траву. Она поднялась с трудом, рыдая, и повторяла плаксиво:

— Нелли, дитя мое, не уходи... старые кости болят... Мне не дойти одной... дай мне твое плечо, внучка...

Продолжая всхлипывать, Петронилла оперлась на плечо девочки и уже послушно побрела за нею.

После того, как повесили ее сына в Тоуэре, она мало-помалу дошла до нищеты и сумасшествия, брошенная одиноко в чужом городе, слишком гордая, чтобы просить о помощи. Нелли выросла около нее, среди нищеты и безумия, как бледный хилый цветок вырастает в щели каменной стены темницы, без солнца и воздуха. Она не знала ни игр товарищей, не знала ни смеха, ни веселых проказ; она знала только много сказок и песен, которым научила ее старая бабка Петронилла, и распевала их тоненьким голоском, когда случалось продавать ароматические травы и цветы где-нибудь возле церкви или рынка.

И теперь она подняла, как всегда, спрятанную за забором корзинку с цветами и понесла ее, взвалив себе на плечо.

У пределов готического собора св. Павла, где светские люди издавна назначали друг другу свидания и устраивали разные коммерческие сделки, опустилась Петронилла на каменные ступени, рядом с внучкой. Девочка протягивала букетик и говорила проходившим мимо нарядным людям:

— Купите, благородные леди и лорды... купите от маленькой Нелли, дочери бедного Фельтона...

Так учила ее говорить бабушка Петронилла. Прохожие равнодушно спешили мимо; мало кто уже помнил о Фельтоне, о «маленьком Давиде», умершем в Тоуэре. Память людская коротка. Детская рука с букетиком цветов бессильно опускалась, и жалобный голосок тянул печальную мелодию одной старой легенды. Песня нравилась больше, чем просьба; прохожие смотрели с участием на маленькую певицу.

Нелли пела:

Ехал король Эдуард¹ на коне вороном,
С золотою попоною, ехал король Эдуард, торопился он в бой;
Развевались знамена, развевались и перья на шляпах
Рыцарей верных; а навстречу
Бледный нищий тащился в жалких отрепьях,
Ранами весь был покрыт, едва двигал ногами.
Жалобно так он просил подаюня...
Жалобно так... А король в бой кровавый спешил,
И на гордом прекрасном коне
Торопился достигнуть он к ночи
Укреплений врагов... торопился король...

Мимо портика сновали люди. Одни бросали девочке мелкие монеты; другие, спеша, проходили мимо. Старуха сидела с мертвенно-бледным лицом и неподвижным взглядом, прислонившись к каменным ступеням. Ей было особенно нехорошо сегодня; голова ее кружилась; в груди что-то kloкотало; она задыхалась и чувствовала, что ноги стали такими тяжелыми, такими ужасно тяжелыми...

Два джентльмена, весело болтая, проходили мимо собора. Судя по костюмам, простым, небрежным и в то же время живописным, они принадлежали к группе художников, которых так много толпилось около короля Карла. Один был лет около сорока; другой — молодой человек лет двадцати четырех. Глубокие глаза старшего спутника остановились на седой старухе с глазами пророчицы и на бледном ребенке. Молодой человек, казавшийся выше и стройнее от черного бархатного костюма, смотрел в ту же сторону. Тряхнув длинными рыжеватыми кудрями, он весело сказал:

¹ Английский король Эдуард I (царствовавший во второй половине XIII в.) — один из любимых героев англичан, пользовавшийся славой образцового рыцаря. О нем в Англии сложилось немало легенд.

— Сэр Антони, посмотрите! У девочки глаза, не знающие неправды.

— Она очень красива, Эльмер, — отозвался снисходительно сэр Антони, — у нее удивительные глаза.

Эльмер Повэй, один из молодых помощников сэра Антони Ван-Дейка, знаменитого художника Карла I, взглянул пристально на Нелли.

— Это глаза мученицы, сэр Антони; в них столько радостного страдания, которое очищает душу; точно они плачут за весь мир и радуются, что им дано пострадать за весь мир...

— Так, так, милый мальчик! Голова твоя работает, я вижу, и бог тебя не обидел фантазией.

— Как бы я хотел написать эту головку, учитель!

— Ну что ж, переговорим со старухой. А старуха-то, смотри, совсем древняя пророчица...

Они подошли ближе к девочке и спросили:

— Что ты поешь, дитя?

Большие голубые глаза серьезно смотрели на двух джентльменов.

— Я пою старую историю о милосердии, я пою про короля Эдуарда.

И она продолжала нежным серебристым голосом, полным затаенной печали, долгий тягучий напев:

И хотели уж рыцари бедного нищего старца
Заколоть, что посмел преградить им дорогу,
Но король Эдуард руку поднял, и тихо,
Тихо, ласково так прозвучал его голос могучий:
«Никому никогда не отказывал я в подаянии»,
И, склонившись с седла, он учтиво,
Точно даме прекрасной,
Бедняку кошелек, полный золота, подал...
А бедняк в тот же миг, как сквозь землю пропал,
И на небе, безоблачно-ясном,
Вокруг солнца кольцом лучезарным
Появилась радуга вестью о близкой
Королю Эдуарду победе.

Она кончила и с протянутой рукою ждала подаяния.

— Славная песня, — сказал сэр Антони, — протягивая девочке золотой. Славный человек был король Эдуард. Что ты на это скажешь, девочка?

— Я скажу то же, что и вы, милорд, — прошептала Нелли.

— А как тебя зовут, крошка? — спросил Повэй.

— Нелли.

— У тебя есть родные?

Она печально покачала головою.

— У меня осталась только бабушка, вот эта, что сидит возле меня, но она ничего не может делать... и говорит, что скоро умрет... А мой отец, тот, что убил герцога Букингэмского, Джон Фельтон, говорят, повешен...

Старуха сердито отозвалась усталым голосом:

— Говорят тебе, он спит в могиле на «Страшном поле», скверная девчонка!

Нелли безнадежно махнула рукою.

— Его повесили, — тихо, но твердо повторила она.

— Так это дочь Фельтона! — с сожалением повторил Повэй, и ему разом вспомнился день, в который он видел из окна Уайтгалея, как вели Фельтона среди восторженных криков толпы, устроившей триумф из его пути в темницу.

Повэй увидел протянутый к нему крошечный пучок душистого розмарина.

— Теперь в городе опять ходят заразные болезни, — сказала серьезно девочка, — даже такие знатные люди, как леди Карлиль, заражаются... возьмите розмарин, милорд, это предохраняет от заразы...

Повэй взял букетик и сконфуженно порывлся в кармане. Он был беден и незнатен; искусство давало ему немного; он нашел в кармане только какую-то ничтожную монету, да и то еще с дыркой; он робко протянул ее девочке. Уходя, он обернулся и спросил Нелли:

— Где ты живешь, малютка?

Она отвечала ему так спокойно, как будто называла один из лучших дворцов Лондона:

— В Уайтфрайярзе, милорд.

Повэй вздрогнул. Уайтфрайярз был самым ужасным местом Лондона, местом, куда стекались воры, мошенники со всей столицы, куда страшно было ходить даже днем и где проделывались безнаказанно всевозможные преступления.

Прежде там был монастырь кармелитов, пользовавшийся в старину правом неприкосновенного убежища,

вследствие чего внутри него образовался настоящий притон подонков общества.

— Ну, какой ты еще ребенок, — сказал Повэю, смеясь, Ван-Дейк, — увидел красивый образ и забыл дело, а нас ждет в Ламбете архиепископ.

Они торопились во дворец Ламбет, резиденцию архиепископа Кентерберийского, примаса Великобритании Лода.

Лода и Уэнтворта называли первыми людьми в государстве. Летом 1633 года Уэнтворт был назначен наместником Ирландии; в том же году Лод сделался архиепископом Кентерберийским, главою англиканской церкви.

С тех пор, как Уэнтворт дал клятву королю в Уайтгале, он резко изменился; казалось, в нем воплотился самый гений тирании. Служа монархии и подавляя решительно парламент, он знал, на что идет; неограниченная власть в Англии, где издревле привыкли считаться с парламентом, представителем народной воли, — дело новое; он видел единственный путь для прочного установления нового порядка в силе страха, в политике устрашения.

И железными руками Уэнтворт сдавил Англию и подчинил себе короля, слабовольного, не знавшего, на кого опереться после смерти Букингэма.

Но все это было только средством для достижения дальнейшей цели. В 1634 году он созвал своею волею ирландский парламент. Члены обеих палат были до того запуганы, что наместнику блистательно удалось доказать королю, будто они готовы покорно согласиться на назначение какой угодно субсидии. Таким образом он удвоил доходы короны.

Лод шел к той же цели, только другим путем. Он твердо решил дать англиканской церкви то положение, какое, по его мнению, соответствовало ее действительному характеру, как отрасли, хотя и преображенной, но все-таки мировой католической церкви. Сознательно или бессознательно Лод все больше и больше приближался к католицизму.

ДИТЯ СТАРОЙ ОБИТЕЛИ КАРМЕЛИТОВ

Когда портик св. Павла опустел и не осталось надежды получить ни одного пенса, Нелли собралась домой.

Петронилла резким пятном выделялась на широких ступенях храма, неподвижная, страшная в своих лохмотьях, с устремленными в одну точку мутными глазами. Хриплое дыхание вылетало из ее полуоткрытых губ. Нелли тихонько потянула старуху за рукав.

— Бабушка... бабушка!..

Старуха вздрогнула и широко раскрыла глаза.

— Бабушка, — протянула жалобно Нелли, — от Павла все ушли. Пойдем и мы... Пойдем на площадь Линкольнз-Инн-Фильдз... Там хоть и нет знатных джентльменов, но зато достаточно народа, который собирается на гулянье...

Старая Петронилла вдруг заплакала:

— Зачем ты разбудила меня? я видела такой чудесный сон: будто Джон жив, а меня все с почетом называют леди...

Старуха попробовала встать, но ноги ее подкашивались, и она жалобно сказала:

— Нелли, у меня, кажется, отнялись ноги... Посмотри... они распухли, как колоды...

У девочки сжалось сердце.

— Бабушка, — сказала она, — обопрись на мое плечо, может быть, ты тогда как-нибудь дойдешь до дома.

С трудом поднялась старая Петронилла; с трудом повела ее десятилетняя девочка, сгибаясь под отяжелевшей рукой старухи.

Они спустились с холма, на котором стоял собор св. Павла, оставили позади себя книжные лавки и старый колокол в ограде, и рынок, заваленный гниющими рыбными головками, луком и шелухой картофеля, и повернули к Темплю. Неподалеку был таинственный Уайтфрайярз, зловонная яма заброшенного кармелитского монастыря, куда собиралось отребье человечества.

Нелли спокойно остановилась около поросшей мохом темной стены с закрытыми день и ночь наглухо во-

ротами, привычным движением нащупала в живой изгороди из жимолости лазейку — довольно широкую дыру, через которую протасила старуху во двор.

На дворе стоял шум и крик. В одной стороне дрались мальчишки и взрослые, катаясь по примятой траве клубком; в другой лежали растянувшись, в самых блаженных позах, два дюжих парня и, хохоча, любовались дракой; немного поодаль отвратительная старуха что-то варила в котелке над костром; под развесистой липой мелкие воришки делили награбленное добро; а еще дальше плясала, закинув руки за голову, молоденькая бродячая танцовщица; ей наигрывал на дудке лохматый парень, а двое чумазных ребятишек изо всей силы колотили палками в сковороды.

Эта разношерстная компания не обратила на пришедших никакого внимания. Нелли потащила бабушку в одну из заброшенных монашеских келий. Все имущество их составляли поломанная кровать, стол и скамейка, да немного посуды, расставленной на полке.

Из крошечного окошка верхнего этажа показалась голова рыжего растрепанного бродяги, прозванного Кривой ногой за свою хромоту. Он растянул рот в улыбку и крикнул Нелли:

— Что это, миледи, никак ваша бабушка того?

Нелли, привыкшая к грубости Уайтфрайрза, отвечала дрожащим голосом:

— Я ничего не понимаю в этом, Кривая Нога, но право, мне кажется, бабушке никогда не было так плохо.

Кривая Нога одобрительно крикнул:

— Ну, ну, миледи, не надо бояться. Я сейчас приду, и если ваша бабушка окачурится, вы станете помогать Кривой Ноге делать деньги, а Кривая Нога будет вас защищать.

Нелли уложила Петронииллу на тюфяк. Старуха, потеряв сознание, металась и бредила.

Когда Нелли сделалось особенно страшно, она вышла из своей кельи и открыла дверь в келью Кривой Ноги. В клубах удушливого дыма на полу, возле маленькой наковальни, сидел хромоногий, освещенный красным отблеском очага. Он стучал молотком по наковальне и художественно выделывал из олова кроны.

Эти кроны он ловко серебрил, и они сходили за настоящие.

— Кривая Нога, — говорила Нелли, — вы не стучите так громко; бабушка боится: она твердит, что ее заколачивают в гроб живою... Кривая Нога... ступайте и посмотрите... я не знаю, что с нею делать...

С ругательством, вошедшим в привычку, фальшивомонетчик отправился за девочкой.

Кривая Нога остановился на пороге, послушал, покачал головою и ушел снова к себе стучать молотком.

Прошла томительная ночь, настало утро, но Нелли не пошла продавать свои букетики розмарина, и они завяли в корзинке. Днем заходили соседи по кельям, давали Нелли разные советы, предложили привести колдуна. Но и колдун не помог.

— Это — потовая горячка¹, — сказал он, подавая старухе лекарство в церковном колокольчике, — она давно уж больна, только ты не знала, Нелли, потому что она выносила болезнь на ногах.

Колдун смешал шалфей, буквицу, мальву, папоротник и можжевельник и дал выпить больной, ходя вокруг постели и шепча беззубым ртом начальные строки католических молитв.

Но ни настойка, ни церковный колокольчик, ни начальные строки католических молитв не помогли; старая Петронилла слабела с каждой минутой.

Наконец она как будто пришла в себя и попросила слабым обрывающимся голосом:

— Све... Ма... Бо...

Нелли угадала, что бабушке хочется зажечь свечу перед маленьким деревянным изваянием Богоматери. Подобно большинству ирландок, Петронилла была ярой католичкой.

Когда крошечная свечка желтого воска тихо затеплилась, освещая лик деревянной статуи, старуха начала дышать ровнее и закрыла глаза. И вдруг она снова открыла их и, как бы собравшись с силами, сказала твердо:

— Нелли... твой отец... убит королем... королем Карлом... король Карл убийца... ты... ты всегда долж-

¹ Тиф.

на... ненавидеть его... всегда... он тебя... тебя... сделал нищей...

Старуха протянула руку, как будто кого-то проклиная, но рука бессильно упала вдоль тела.

Ее схоронили просто, закопав в углу старого двора, где было уже несколько древних плит и крестов над могилами прежних кармелитов — основателей обители в XIII веке.

— Ну, вот что, миледи, — сказал Кривая Нога, когда Нелли вернулась в свою келью с похорон бабушки, — было бы тебе известно, что все наши присудили мне быть твоим опекуном. А я белоручек не люблю. Изволь-ка бросить из головы эту дворянскую дурь, — далеко теперь не уедешь со своим розмарином, — черная смерть, волею божиею, скончалась, а с нею и спрос на различные душистые травы. Изволь научиться чему-нибудь другому: красть или помогать мне сбывать деньги.

Нелли испуганно смотрела на фальшивомонетчика.

— Нечего пялить буркалы, — грубо продолжал Кривая Нога. — Никто даром не станет кормить здоровую девчонку.

Нелли низко опустила голову, глотая слезы.

Рыжая голова хромоногого просунулась в дверь.

— Фрэнк, — громко крикнул он, — Фрэнк, друг мой, придите сюда скорее!

Когда вертлявый Фрэнк, мелкий воришка, показался у дверей, Кривая Нога сказал ему самым вежливым тоном:

— Фрэнк, вы очень смысленный джентльмен; не поучите ли вы эту молодую леди вашему искусству?

— Ладно, дядя, — закричал звонко мальчишка, — а дадите вы мне за это своих игрушек?

— Я дам тебе несколько вот этих кругляшек, мой друг, с королем Иаковом на придачу¹.

И Кривая Нога показал мальчишке на груды оловянных крон, лежавших в строгом порядке на перевернутом ящике.

В этот день Нелли вышла с Фрэнком обучаться новому ремеслу.

¹ Деньги с изображением на них короля Иакова.

НЕЛЛИ ФЕЛЬТОН ЗАНИМАЕТ СЕРЬЕЗНОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ЭЛЬМЕРА ПОВЭЯ

В одной из верфей Темзы, недалеко от Лондонского моста, качалось восемь кораблей, совершенно оснащенных и привязанных канатами к кольцам старой каменной стены. Мутная вода Темзы казалась внизу черной.

На набережной сновали люди. Они торопливо таскали по узким мосткам тюки, ящики, но странно было видеть, что при всей суматохе между этими простыми, грубыми людьми, одетыми в бедные черные или темно-коричневые костюмы, не было произнесено ни одного бранного слова.

Эльмер Повэй стоял рядом с глазевшим на корабли молодым купчиком, одетым с изысканностью богатых горожан в тонкое великолепно накрахмаленное белье и камзол прекрасного тончайшего сукна. Повэй сделал уморительную гримасу и сказал:

— Терпеть не могу этих проклятых пуритан. Когда небо смеется, они печально гнутят свои похоронные напевы. Без псалмов ничего не делают. Я рад, что понемногу Англия избавляется от ханжей, которые называют наших актеров жрецами сатаны, карты — чертовыми святцами, кости — чертовыми четками, а театры — чертовыми капеллами. Они нападают на веселые охоты, на наши майские березки, на музыку, на рождественское украшение домов елью и на наш милый старый рождественский пирог. Господь дал землю, чтобы на ней было легко и весело жить, а лицемеры-пуритане обращают ее в молельню! Что вы скажете на это?

Купец вежливо улыбнулся.

— Боюсь, что ваша радость преждевременна: ведь вы знаете, уже обнародован приказ о запрещении выселений на новые земли¹, потому что, как говорят, прежние переселенцы увезли с собой немалые богатства и лишили Англию 12 миллионов. Если только эти восемь кораблей снимутся с якоря, совершится побег.

¹ В Америку.

— Ну, так пусть себе бегут! — легкомысленно отозвался Повэй. — Бог с ними и с миллионами! Зато в Англии останутся одни только веселые люди! Посмотрите, как я нарисую вот этого грубого массивного пуританина в потертой черной шляпе даже без ленты! Он разговаривает...

— А вы знаете, кто это такой, — спросил купец, перебивая, — это светило нижней палаты нашего парламента. Вы рисуете Оливера Кромвеля, а разговаривают с ним — Пейм, Гэзльриг, Гэмпден. С тех пор, как Уэнтворт изменил товарищам, им опротивела родина. Говорят, Гэмпден очень богат и давно уже купил себе землю в Наррангасете на случай, если в Англии ему будет тесно.

Повэй пожал плечами.

— По правде сказать, я мало смыслю в политике, но когда в прошлом году весь Лондон кричал о дерзости Гэмпдена, не желавшего платить корабельную подать, называя ее незаконной, я не понимал, как может человек возиться с такими мелочами; ведь дело было всего в каких-нибудь 20 шиллингах, которые он отказался уплатить. Разве теперь ему дешевле обойдется переселение в страну, где, слышно, голодают прежние отцы-пилигримы.

— Им опротивела Англия со своей верой, новой верой, как они говорят, опротивела попраaniem законов; они хотят на новых землях основать царство Христово.

Переселенцы в последний раз осматривали корабли. Сегодня к вечеру в Лондон должны были прибыть их семьи, а завтра чуть свет корабли снимутся с якоря, чтобы навсегда покинуть родину. Резко выделялся у корабельной верфи суровый профиль Кромвеля. Сдвинув брови, следил он за матросами и вдруг крикнул своему родственнику Гэмпдену:

— Джон, смотри, альдермены! Они всегда там, где их не спрашивают, и их никогда нет там, где надо спастись обиженных...

Гэмпден не успел ответить, как услышал голос одного из альдерменов:

— Именем закона, эти корабли не сдвинутся с места.

На набережной произошла суматоха. Отъезд лучших людей Англии, пытавшихся покинуть родину, был остановлен. Повэй направился к площади Говарда, где должно было происходить публичное наказание памфлетистов.

На площади стоял невообразимый гул от собравшейся сотысячной толпы.

Маленький Фрэнк из Уайтфрайярза усердно работал локтями, проталкиваясь вперед. Ему хотелось ближе поглазеть на преступников, выставленных у позорного столба, но любопытство не мешало ему помнить о главной цели прогулки: он собирался очистить как можно больше карманов у зазевавшихся джентльменов.

— Сегодня ты только смотри и учишься, — говорил Фрэнк наставительно Нелли, а Нелли все ниже и ниже опускала голову.

Это был день наказания памфлетистов.

С 1636 года Англию наводняли памфлеты. Темой для них служили привилегии, предоставленные папистам, разращение двора, особенно тирания Лода и епископов, и произвол судов. Из числа судов главнейшими по могуществу и бесчестности были Звездная палата и Верховная комиссия. С помощью их правительство имело возможность штрафовать, заключать в тюрьму, выставлять к позорному столбу, — словом, делать все, что угодно, кроме смертной казни.

Звездная палата решила преследовать знаменитого юриста Прайна, богослова Бёртона и врача Бествика, нападавших на современные нравы и церковь.

Всех трех приговорили к отрезанию ушей, выставлению у позорного столба, уплате пени в 5000 фунтов стерлингов и пожизненному тюремному заключению.

У позорного столба палач крепко прикручивал назад руки Бёртону и кричал любопытной толпе:

— Прочь отсюда! Есть на что глазеть!

Бёртон поднял бледное лицо, окруженное окладистой бородою, и посмотрел на толпу ясными покорными глазами, в которых не было ни злобы, ни страха — одно только сожаление.

— Не гоните их, — сказал он звучным голосом, так хорошо известным всему Лондону, — не гоните их; им надо учиться страдать...

Палач смутился, и видно было, как руки его, поднимавшие Бёртону волосы, дрожали.

Какая-то женщина, упав на колени, тянулась, чтобы хоть одна капля крови осужденного упала ей на платок, и громко кричала:

— Лучше этих слов вы никогда не говорили...

Бёртон тихо улыбнулся.

— Надеюсь, — сказал он спокойно, — и дай бог, чтобы они обратили присутствующих на путь истины.

Раздались звуки пощечин; прежде чем отрезать осужденному уши, его били по щекам. Бёртон смотрел в ясное небо и делал нечеловеческие усилия, чтобы не застонать от боли. Потом, когда полилась кровь, он опустил глаза вниз.

— Сын мой, — сказал он одному юноше, — отчего ты бледнеешь? В моем сердце нет слабости, и если бы мне нужно было более силы, Бог, конечно, даровал бы мне ее.

Товарищи Бёртона Прайн и Бествик были также спокойны; они молча молились.

Повэй не сводил глаз с осужденных и находил в мужестве их своеобразную художественную красоту.

— Смотрите, учитель, — говорил он Ван-Дейку, найдя его среди толпы, — черные и мрачные, они собрали около себя таких же черных и мрачных поклонников. Они что-то мне напоминают...

— Семейю черных воронов, таинственных вестников смерти... — отвечал задумчиво Ван-Дейк.

Толпа заволновалась:

— Послушайте! Бествик заговорил! Сначала мы слышали проповедника; теперь слушаем врача! Смотрите, учитель, цветы!

Странно ярким пятном на фоне черных одежд пуритан выделялся пышный букет роз. Они казались особенно нежными и трогательными у позорного столба. Молодая девушка, вся в слезах, протягивала Бествику цветы.

— На эти цветы села пчела, сэр Антони; какая странная ирония! — обратился Повэй к учителю.

Бествик нежно смотрел на пчелу.

— Взгляните, — сказал он дрожащим от умиления голосом, — взгляните на это бедное насекомое: оно со-

сет мед даже у позорного столба, почему же мне здесь не вкусить меда Христова?

Стоя рядом с Фрэнком в толпе, Нелли смотрела во все глаза, и ужас и глубокая жалость охватили ее. Она не слышала шепота Фрэнка, подталкивающего ее под локоть.

— Гляди, Нелли, хорошенько, во все глаза, чтобы не подошли альдермены; у этой дуры, которая подает букет, мешочек болтается, и, кажется, полный... ничего не стоит обрезать!

Нелли ничего не замечала. Она не слышала даже, как тэр Антони сказал своему молодому спутнику:

— А ты и не узнал дочь Фельтона, Эльмер?..

Повэй ближе протолкался к девочке.

После Бествика заговорил Прайн немного глухим, но грустным и проникновенным голосом:

— Христиане, если бы мы ценили свою собственную свободу, нас бы не было здесь. Мы пожертвовали ею для вашей свободы...

Голос Прайна продолжал звучать убежденно и с каждым словом становился все грознее, все торжественнее.

— Берегите свободу свою, умоляю вас, стойте крепко, будьте верны делу Божьему, делу отечества, иначе вы и дети ваши впадете в вечное рабство!

Толпа колыхнулась:

— Мученики! Мученики!

— Дорогу мученикам!

Окровавленные, но с гордо поднятыми головами, шли преступники, а толпа кричала, хватала их за руки, за платье, как будто хотела освятить себя прикосновением к мученикам, и бежала за ними до тюрьмы, устилая путь цветами...

Фрэнк воспользовался удобным моментом и ловко обрезал кошелек у молоденькой девушки, подносящей Бествику цветы. Когда он хотел повторить эту операцию с какой-то почтенной леди, она подняла неистовый крик.

Фрэнк юркнул и моментально исчез в толпе.

— Вот, вот она, негодница, — кричала леди, — этакая маленькая и уже шарит по чужим карманам... Извольте ее обыскать; да не пяль ты на меня глаз своих, тварь...

Леди схватила Нелли за руку и своим криком обратила, наконец, внимание блюстителей порядка. Она была уверена, что поймала воришку.

Нелли, заливаясь слезами, билась в руках альдермена. Ее обыскали и нашли в башмаке золотой. Девочка оправдывалась:

— Боже мой, да это дал мне добрый лорд у св. Павла... Тогда еще бабушка была жива и мы продавали вместе розмарин.

— Рассказывай там, — смеялся альдермен, — кто это будет тебе давать золотой за букетик розмарина?

— Ах, вот он, — закричала Нелли, увидя вдали сэра Антони, — он дал мне золотой!

Толпа отхлынула вслед за осужденными, и вокруг плачущей девочки осталась лишь небольшая группа любопытных.

Повэй заторопился оправдать девочку.

— Я знаю ее, я уверяю вас, что знаю ее... это Нелли — дочь Фельтона...

— Дочь бунтовщика, заметьте, — сказала старая леди.

— Ну, это к делу не относится, — запальчиво возразил Повэй, — и как бы почтенной леди не хотелось посадить ребенка в каменный мешок, ей это не удастся!

— Сэр Антони, извольте засвидетельствовать, что вы дали девочке золотой за букетик розмарина.

— За букетик розмарина, боже мой! — воскликнула леди, всплеснув руками, — ведь есть же такие нерасчетливые люди!

— И не такие жестокие, как миледи, — проворчал Повэй. — Итак, сэр Антони, вы подтверждаете, что дали ребенку золотой?

— Подтверждаю, конечно...

— А не помните ли вы на нем какой-нибудь заметки?

Ван-Дейк улыбнулся.

— Ты же сам пробовал его перед тем зубами, Эльмер, чтобы показать, как они у тебя крепки. На нем должны быть рубчики от зубов!

На золотом были ясно видны рубчики от укуса. Повэй изысканно-вежливо поклонился альдермену:

— Вот видите вашу ошибку и вашу также, миледи. Проводите отсюда леди, чтобы у нее опять не пропал

золотой, а девочку оставьте в покое; я вам говорю, что она — дочь Фельтона и моя двоюродная сестра. Ну, Нелли!

— Что ты будешь делать с девочкой, Эльмер? — спросил Ван-Дейк.

Повэй развел руками.

— Вот уж чего, право, не знаю. Сначала я думаю ее успокоить и накормить, потому что она, наверно, голодна, а потом, может быть, я сделаю с нее набросок... Слушай, моя маленькая белая мышка, — спросил он весело, — где твоя бабушка?

— Она умерла, — прошептала Нелли.

— Кто-нибудь остался же у тебя, кроме нее?

Девочка с минуту подумала, считать ли для себя «кем-нибудь» Кривую Ногу, и потом решительно отвечала:

— Никого.

— Где же ты живешь?

— В Уайтфрайярзе, у Кривой Ноги.

— У Кривой Ноги? Что делает Кривая Нога?

— Он делает деньги. Я его очень боюсь...

Ван-Дейк сказал возмущенно:

— Фальшивомонетчик! Уайтфрайярз! Хорошее общество! Милый Эльмер, как жаль, что мы отпустили адьдермена; ведь для таких детей есть общественная благотворительность.

В это время джентльмен в черной одежде пуританина, которого Повэй рисовал на верфи, подошел к художникам.

— Я слышал последнюю фразу, — заговорил он, — и не советую отдавать ребенка в приют призрения нищих. Там ужасно. Я — член парламента; имя мое Оливер Кромвель. Сейчас я не могу ничего сделать для девочки, потому что я почти разорил свое гнездо, собираясь переселиться, но если вы приютите ее на короткое время, я приду ей на помощь впоследствии. Ведь нельзя же, чтобы дочь Фельтона, одного из борцов за свободу Англии, умирала на улице или воспитывалась в Уайтфрайярзе.

Молодой художник радостно закричал:

— Чудесно, мистер Кромвель, я ее беру сейчас к себе. Авось, хватит чем прокормиться! а там будет видно... И сэр Антони под боком...

— Конечно, и я могу ее взять... — начал Ван-Дейк, но Повэй перебил его:

— Нет, нет, сначала она будет моей гостьей. Если угодно, мистер Кромвель, вы можете заглянуть в мою лачужку, посмотреть, не обижаю ли я ее. Сэр Антони известен всей Англии; спросите у него, можно ли на меня положиться? Ты хочешь идти со мною, Нелли?

Девочка кивнула головою. Повэй взял ее за руку.

— Пойдем, а вы навестите меня, мистер Кромвель? Я живу возле Уайтгалля, возле сэра Антони; честь имею кланяться, мистер Кромвель... Пойдем, Нелли.

Через полчаса Повэй сидел в своей большой, нескладной мастерской, которую он нанимал на чердаке, и, держа за руки все еще дрожавшую Нелли, говорил:

— Ну, теперь моя маленькая белая мышка перестала бояться? Вот и смеешься... Как же ты пела:

Тихо, ласково так прозвучал его голос могучий:
«Никому никогда не отказывал я в подавнии»...

Теперь кушай... вот тебе яйцо, спеченное в золе, а вот белый хлеб... Молока нет, но есть чистая свежая вода. Кушай и пей на здоровье, а завтра я пойду добывать тебе пищу к сэру Антони, — у меня, не прогневайся, как у птицы небесной, нет запасов: ни денег, ни пищи!

Девочка застенчиво улыбнулась и протянула ему золотой.

— Возьмите, — сказала она простодушно, — на это можно много купить.

Но Повэй засмеялся и зажал монету в ее руке.

— Храни это на черный день, крошка; я ведь надеюсь скоро разбогатеть; стоит только обратить на себя внимание короля... Ну, а теперь давай я тебя уложу. Ты перепугалась и устала.

Повэй метался по комнате, отодвигая мольберты, сооружая из ящиков постель. Он навалил на эту постель все, что у него было мягкого: свою рабочую куртку, белье, а сверху постелил одеяло, снятое со своей кровати, потом задернул занавеску у окна и, наконец, уложил Нелли. Подавая ей свой плащ, Повэй сказал весело:

— Ну, вот и все готово. Ложись, белая мышка, прикурни и спи тихо и сладко, как маленькая высокород-

ная принцесса, и пусть тебе снятся золотые сны. А на простынях не взыщи: дело холостое, — они все в грязном белье. Хорошо ли тебе теперь?

Девочка кивнула головою, улыбнулась и закрыла глаза.

VI

ВО ВРЕМЯ СМУТ ЭЛЬМЕР ПОВЭЙ ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ

Англия волновалась; за ней волновались Ирландия и Шотландия.

Как национальные, так и религиозные чувства шотландцев были оскорблены. Народное недовольство нашло руководителей в дворянстве, и менее чем в шесть недель вся Шотландия стала под знамя ковенанта¹.

В Шотландию прибыл королевский комиссар для прекращения раздоров и угрожал войной, но шотландцы остались непоколебимы.

Не имея ни дисциплинированного войска, ни денег для ведения войны, король выжидал, избегая открытого разрыва с Шотландией.

Легкомысленный, слабый политик и слабый полководец, Карл не мог обходиться без советов Уэнтворта — графа Страффорда.

В феврале 1639 года шотландцы прислали воззвание к английскому народу, называя в нем англичан братьями. При дворе с улыбкой говорили об этом воззвании; король рассчитывал на старинное презрение англичан к шотландцам. Но озлобленные англичане вступили с шотландцами в тайные сношения.

Граф Эссекс, отправленный правительством против шотландцев, продолжал поход; в апреле король сам прибыл в Иорк. Карл думал утратить бунтовщиков своим величием, пышностью своего двора, и скоро походная жизнь Иорка превратилась в сплошной праздник; в королевский лагерь спешили дворяне со всех концов Англии, чтобы приятно пожить щедротами мо-

¹ К о в е н а н т — союз в Шотландии. Партия большинства народа XVII в.

нарха. И в то время, как офицеры веселились вокруг короля или кутили в городе, английские солдаты все более и более дружились с шотландцами.

Военачальник англичан лорд Голланд перешел границу, но при виде войск, которые полководец шотландцев, славный Лесли, умел искусно расположить, испугался и удалился. Среди английского войска не было достаточного одушевления. А шотландцы послали прошение военачальникам: Голланду, Эссексу и Арунделю, прося их ходатайства перед королем. Смиренный и почтительный тон этого прошения удовлетворил гордость Карла, и в июне 1639 года в Бервике был заключен мир, по которому должно было распустить обе армии и созвать синод и шотландский парламент.

Королевский двор в Лондоне был в большом смятении. Между офицерами, бывшими в военном лагере Карла, происходили ссоры; придворные, желая воспользоваться всеобщим замешательством, интриговали друг против друга, и партия королевы направила свои интриги против нового любимца короля Уэнтворта — новоиспеченного графа Страффорда. Королева ненавидела как Уэнтворта, так и Лода, людей, не посвященных в тайны придворного искусства лести и подслуживания; они казались ей резкими, грубыми; к тому же они имели сильное влияние на короля.

Страффорда не испугали неудачи; он и теперь оставался верен себе: по-прежнему настаивал на самых крутых мерах, говорил о шотландцах:

— Этих людей надо образумить кнутом.

Советы Уэнтворта привели короля к решению разрушить мир. Но денег не было, и казалось трудным оправдать в глазах народа необходимость войны с шотландцами. Король подозревал еще, что шотландцы получают помощь от Франции.

В январе 1640 года Карл решил созвать, наконец, парламент, который не собирался уже одиннадцать лет. На рассмотрение парламента он хотел представить вопрос о сношении шотландцев с Францией и о денежной субсидии на ведение войны с Шотландией.

В марте 1640 года Уэнтворт уехал в Ирландию доставать деньги и войско, а в апреле собрался английский парламент. Нижняя палата состояла из членов, враждебных двору, поэтому парламент оказался не-

угодным королю и был распущен через три недели. Он получил название «короткого».

Вечером на следующий день после роспуска парламента Карл послал за Уэнтвортом. Вельможа с месяц уже как вернулся из Ирландии и жил в Уайтгалле. Приехал он ко двору со своей старшей дочерью Агнесой, слабый, больной, совершенно измученный припадками подагры. Но, несмотря на боль, он продолжал заниматься делами. Агнеса терпеливо ухаживала за отцом.

Страффорд лежал в постели, когда ему доложили о приходе королевского пажа. Карл желал немедленно видеть графа.

Камердинер одел Уэнтворта, морщившегося от боли, но, войдя в кабинет короля, граф держался прямо, хотя был очень бледен.

Карл сидел в глубоком кресле и, склонившись на руку, что-то писал. В раскрытое окно врвался шум улицы. Свечи оплывали, и колеблющееся пламя освещало черные длинные кудри шелковистых волос, красивый мраморный лоб короля; Страффорд заметил, что за эти несколько дней волнений у Карла появились на висках серебряные нити.

— Положение дел скверно, граф, — резко обратился король к вошедшему. — Я теперь более, чем когда-нибудь, нуждаюсь в друзьях.

— Я всегда к услугам вашего величества, — сказал Страффорд.

— Знаю, знаю, дорогой граф. И, видите ли, я до сих пор всегда следовал вашим советам. Но теперь...

— Но теперь, государь?

— Теперь все, мне кажется, изменилось. Мне, очевидно, представили в ложном свете намерения нижней палаты... И потом этот Вен...

— Вен, государь?

На губах Страффорда мелькнула торжествующая улыбка. Король был недоволен его старинным врагом Веном, покровительницей которого являлась сама королева.

— Ну да, Вен. — Карл нахмурился. — Вен никогда не получал от меня полномочий объявлять парламенту, будто я не согласен менее, чем на двадцать субсидий.

На бледном лице Карла выступили красные пятна. Он все еще избегал смотреть в глаза Страффорду, и рука его, лежавшая на ручке кресла, заметно дрожала. Страффорд не изменил спокойного выражения лица. Он хорошо знал, что Вен исполнил приказание короля; не больше, а теперь король вероломно обвиняет его.

— Что же вы молчите, граф?

Страффорд холодно отвечал:

— Это очень неосмотрительно со стороны лорда Вена, и это вредно отражается на делах правления.

— Конечно, вредно, — подхватил король, — и потому, я думаю, нельзя ли отменить распускание парламента?

Тот же спокойный голос холодно отвечал:

— Это невозможно, ваше величество.

— Но тогда что же делать, граф?

— Давить, — прошептал Страффорд, и глаза его сверкнули. — Ваше величество облекли меня властью и доверием, и когда я переступил этот порог двенадцать лет тому назад, я сказал, что пришел отдать себя всецело, до последнего вздоха, моему монарху. И я сдержал слово. Когда ваше величество следовали моим советам, то не раскаивались. Когда архиепископ Кентерберийский, посветовавший корабельную подать, стал писать мне, что вся Англия против этого налога, мне было смешно, только смешно, и я отвечал ему, что не вижу причины, почему он не может принудить законников в Англии к тому, к чему я, бедный приходский сторож, принудил их в Ирландии. Потому-то ваше величество не жаловались никогда, что Ирландия не хотела платить...

Карл кивнул головою и нетерпеливо спросил:

— Ну да, ну да, что же вы теперь хотите мне посоветовать, когда кругом я вижу лишь раздражение и измену? Вот видите ли, граф, — добавил король мягко, с натянутой улыбкой, — ее величество, королева, нездорова... Мне бы хотелось, чтобы ей не пришлось жаловаться на Англию... Ее возмущает грубость нашей страны... Мне бы хотелось успокоить королеву...

Чуть заметная презрительная улыбка появилась на губах Страффорда. Он менее всего был обеспокоен самочувствием королевы; его единственной целью было

удержать железной рукою колеблющуюся монархию. Он резко ответил:

— Когда человек на границе смерти, не остается ничего, как принять решительные меры. И я могу предложить только решительные меры вашему величеству. Государству нужны деньги, и мы добудем их. Ирландия дала мало; прибавит Англия. Мы прикажем давать добровольные пожертвования...

Он сам улыбнулся этому странному противоречию между приказанием и доброй волей. Вяло улыбнулся и король.

— Но это опять вызовет неудовольствия, милорд?

— Ваше величество ничего не будете знать. Пожертвования будут добровольные от друзей короны и от папистов.

— Друзей королевы, вы хотели сказать.

— Да, от друзей королевы. Здесь не приходится рассуждать о средствах. Я придумаю еще какие-нибудь новые налоги. Кроме того, ваше величество еще получите доход, приказав бить монету низшей пробы...

Карл тихо засмеялся:

— Это остроумная идея; хотя, по правде сказать, она, пожалуй, недостойна королевского величия.

— Бить монету будет, конечно, не король Англии, а мастера. Буду ли я иметь от вашего величества широкие полномочия?

— Широкие, широкие, граф.

Страффорд поклонился.

— Может быть, что-нибудь еще пожелает мне приказать ваше величество?

— Ничего, милорд; я только хочу сказать, что вы меня ободрили. Благодарю вас, граф. Теперь идите; спокойной ночи. Вы устали. А, да, я еще хотел вам сказать: у вас очень милая дочь.

Уэнтворт пристально посмотрел на короля. Ему страстно хотелось, чтобы его любимая старшая дочь Агнеса получила должность при дворе. Он с достоинством отвечал:

— У меня очень хорошая дочь, послушная и любящая, ваше величество.

Но король уже думал о другом. Его внимание приковал громадный портрет королевы кисти Ван-Дейка; из мягких складок шелка она смотрела на него, обер-

нувшись вполуборот, и улыбалась своей чарующей загадочной улыбкой, полуудивленной, полувывызывающей. Карл кивнул головою Страффорду.

— Благодарю вас, граф... спокойной ночи... Я буду сегодня крепко спать!

Когда Уэнтворт ушел, король долго еще смотрел на портрет жены, потом встал, несколько раз прошелся по комнате, устланной пушистым ковром, и сделал величественный жест рукою.

— Теперь, моя королева, вы не будете говорить, что этот грубый, неотесанный провинциал не стоит графства, когда он спасет вас, меня и Англию!

Его охватила внезапная нежность к этой гордой красавице, тоскующей о зеленых берегах своей Франции.

Королю захотелось сделать ей что-нибудь особенно приятное. Он вспомнил, что сэр Антони говорил ему о своем молодом друге, талантливом придворном живописце Эльмере Повэе. Пожалуй, у него нашлось бы что-нибудь любопытное, у этого Повэя... королева любит новинки... Он позвонил Герберта и приказал тотчас же передать Повэю приказание короля принести на следующее утро самую лучшую из его работ.

На другой день утром Повэй явился к Карлу. Он бережно нес завернутую в холст картину, и руки его дрожали, когда он развертывал ее. Король удостоил неслыханной чести неизвестного живописца, подмалевывающего фон у великого сэра Антони или делающего копии с его картин. Почему сэр Антони не предупредил его о свидании с королем? И Повэй с ужасом думал о том, что его воротник недостаточно хорошо накрахмален, а камзол сильно поношен.

— Мистер Повэй, чье это лицо? — спросил король, вглядываясь в картину.

Повэй растерялся. Картина была написана, конечно, в тонах, свойственных Ван-Дейку, но с темного фона смотрело на Карла незнакомое удивительное лицо. Это была полудевушка-полуренок, с взглядом наивно изумленным, испуганным и в то же время глубоким, как у пророчицы; губы улыбались капризными извилинами, и в выражении рта была смесь блаженства и страдания.

— С кого вы писали, мистер Повэй? — повторил свой вопрос король.

— Это портрет одной маленькой уличной певицы, ваше величество...

— Уличной певицы? Замечательное лицо! Но сэръ Антони сказал, что вы называете свою картину «Леди»... Почему вы называете ее «Леди»?

— Потому что у девочки такое благородное лицо, как у маленькой знатной леди...

— А! это правда, — согласился Карл, все еще жадно взглядываясь в картину. — Это хорошо, очень хорошо...

Он задумался и продолжал с тихой улыбкой мягким, растроганным голосом, каким он говорил всегда об искусстве:

— Я сам рисую, и, признаюсь, ничто не дает мне такого наслаждения, как сознавать себя художником! Иногда мне кажется, что называться художником почетнее, чем называться королем. Художник — маленький творец, маленький Бог! Послушайте, вы еще молоды, вся жизнь у вас впереди; работайте, идите по этому пути! Я оставляю эту картину у себя; с сэром Антони мы поговорим о цене и о том, чтобы вам давать больше работы в Уайтгалле... вам непременно надо выдвигаться!

Быстро вбежал Повэй по скользкой лестнице на свой чердак, перепрыгивая сразу через две ступени, и широко распахнул дверь в жалкую конуру, которую он громко называл мастерской.

Нелли лежала ничком в нише окна и кормила голубей. Они сидели у нее на плечах, на руках; шелестя шелковистыми крыльями, они вспархивали разом, пропадая в лазурной выси майского неба, и возвращались назад с ласковым курлыканьем. Услышав шаги, Нелли обернулась, вся улыбающаяся, залитая ярким солнечным светом, с раздувающимися по ветру золотыми пушистыми волосами.

— Ну, милая моя маленькая леди, — пел Повэй, смеясь и танцуя, — теперь мы заживем с тобою, как принцы... Ты будешь принцесса, а я принц, слышишь? Я продал картину, и король мне обещал много денег... Король, сам король, понимаешь!

Нелли кивнула головой.

— И король обещал меня выдвинуть. Впереди меня ждут слава, почести, богатство, веселая жизнь... слышишь, слышишь, маленькая леди?

Нелли широко раскрыла большие голубые глаза и побледнела.

— Ты рада, Нелли?.. Рада?..

Она тихонько соскользнула с ниши, подошла к сундуку, стоявшему у стены и, приподняв крышку, серьезно сказала:

— Сэр Эльмер... вот, я заштопала все ваши чулки и зашила белье... Теперь все в порядке. Это я сделала сегодня с раннего утра, когда вы стали готовиться идти во дворец... Теперь я уйду...

— Уйдешь? куда уйдешь?

— На улицу. Я никогда, никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Я всегда буду любить вас и молиться за вас, но я не могу остаться с вами. Сэр Оливер Кромвель меня несколько раз хотел взять с собою, когда приезжал в Лондон, но вы упростили его оставить меня... вы называли меня сестрою...

— Но ведь это же так и есть; я всегда любил тебя, Нелли!

Она печально улыбнулась.

— Да, и вы обманули его, сказав, что я действительно прихожусь вам двоюродной сестрой по матери... И вы заботились обо мне, как брат... но я... я больше не могу у вас оставаться...

— Почему, почему, Нелли?

— Вы стали важным джентльменом; вы станете бывать во дворце, как сэр Антони, а я... я — бедная уличная девочка из Уайтфрайярза... Я уйду... только позвольте мне унести с собою ту тряпичную куклу, которую вы сшили для меня, когда...

Ее душили слезы. Она бросилась к двери, прижимая к сердцу безобразную куклу из тряпок, и на пороге обернулась, рыдая:

— О, сэр Эльмер, я... я никогда, никогда не забуду вас!..

Повэй растерялся, но, увидев, что девочка серьезно задумала бежать, бросился за ней и поймал ее, когда она уже спускалась с лестницы.

— Нелли... — шептал он, чуть не плача, — ну куда ты? Ну что ты хочешь делать?

Она смотрела на него полными слез глазами, и он понял, что не может без нее жить, что и эта каморка, где рождались его фантастические мечты, и самая жизнь без нее будет темной, как ночь, и невыносимой. И он заплакал, как ребенок, стирая к ней руки:

— Нелли... Нелли... не уходи... не уходи, моя маленькая принцесса... Я люблю тебя больше всего на свете, Нелли, и для меня ты дороже всех почестей, всего, что может мне дать человек...

Она слушала его с недоверчивой улыбкой, прижимая руки к бьющемуся сердцу.

— Нелли, — продолжал ласково Повэй, — я люблю тебя, и если ты захочешь, то женюсь на тебе года через два, когда ты немного подрастешь.

Девочка покачала головою.

— Разве может королевский художник жениться на бродяге?

— Не на бродяге, Нелли, а на дочери Фельтона.

Она радостно вспыхнула, и слезы задрожали на ее длинных ресницах...

В то время, как Повэй делал карьеру, король отдал свою судьбу всецело в железные руки Страффорда. Началась система небывалой тирании. Уэнтворту удалось собрать большую сумму денег, «добровольных» пожертвований для возобновления войны с Шотландией.

Больной, разбитый подагрой и лихорадкой Страффорд в августе отправился с королем на шотландскую границу к войску, над которым должен был принять начальство.

По дороге они узнали, что шотландцы приняли наступательное движение и, перейдя границу, разбили англичан при Ньюборне.

В Лондоне в это время народ волновался, и никакие угрозы Уэнтворта не могли остановить его. Архиепископу Лоду пришлось бежать в Уайтгаль из своего дворца, окруженного разъяренной толпой.

Не лучше было и в провинциях. Население отказывалось поставлять рекрутов, и их набирали силою. Английское войско проклинали войну, рассказывая с умилением о благочестии шотландцев, идущих в бой с пением псалмов и называвших англичан братьями. Английские солдаты не хотели сражаться и разошлись, к стыду и ужасу Страффорда. Строгости Уэнтворта уже никого не пугали; ему вслед летели проклятия.

VII
ПОД ГОРУ

Страффорд был очень болен. В сырой ноябрьский день он лежал в своей уайтгальской квартире, обложенный подушками, с закрытыми глазами; Агнеса сидела возле и с беспокойством смотрела на отца, сдвинув густые темные брови. На столе уныло горела восковая свеча в высоком серебряном подсвечнике. Агнеса уронила на колени шитье и глубоко задумалась. Тяжело и гулко ударил колокол у св. Мартина Великого, потом у Лаврентия, наконец, грустно отозвалась церковь Беркинг. Это был условный час, когда альдермены делали на улицах вечерний обход, а запоздавшие торговцы торопились запирать свои пивные.

Страффорд открыл глаза.

— Ты здесь? — позвал он дочь.

— Здесь, отец.

— Это очень дурно, что я не пошел сегодня к королю; ведь он знает, что я вчера еще вернулся в Лондон... Ты была у архиепископа?

Агнеса пожала плечами и сделала презрительную гримасу.

— Архиепископ? — резко проговорила она. — Что он мог сказать мне нового? Он гораздо больше занят кривлянием в соборной церкви и мечтою о том, чтобы поставить всех пуритан у позорного столба, чем происходящими событиями.

— Как можешь ты говорить с такой непочтительностью об архиепископе?

— Что же другое я могу сказать о человеке, который носитя со своим дневником, записывая туда всякие мелочи, вроде того, сколько капель крови вылилось у него из носа, в какую сторону рассыпалась соль из солонки и какого цвета птичка влетела к нему в библиотеку? Он сам мне об этом говорил и уверял, что по подобным приметам можно судить о событиях в Англии.

Страффорд промолчал.

— Отец, — начала Агнеса, складывая работу и придвигаясь к нему, — вы мне должны сказать всю правду,

если даже это будет тяжелая, горькая правда. Почему вы так не хотели ехать в Лондон?

Страффорд отвернулся.

— Мое присутствие здесь излишне, Агнеса...

Он остановился. Агнеса покачала головою.

— Отец, вы можете говорить со мною совсем серьезно, совсем откровенно, как с женщиной. Слушайте, отец, когда я была девочкой, я слышала о моем отце только как о светлом борце за свободу. И я привыкла чтить эту свободу и... и ненавидеть короля...

Страффорд вздрогнул.

— Потом я вас увидела в ином свете. Вы пришли домой и объявили, что отныне король облек вас своим доверием. Тогда я почувствовала смутно, как что-то улетело из нашего дома... Слуги стали обращаться со мною особенно бережно; мне говорили, что отец мой стал важным сановником... Тогда, отец, я долго плакала, потому что моя бедная голова не могла справиться с противоречиями. Вы помните, к нам прежде так часто ездил дядя Дензиль Голлиз, и он так горячо говорил с вами о лучших днях, которые увидит свободная Англия, и я любила сидеть у него на коленях и слушать его звучный голос. И вдруг он перестал к нам ездить. Я вас спросила: почему вы изменились и почему теперь браните дядю Дензиля, Гэмпдена и Пэйма, — всех, кого прежде хвалили, и хвалите короля? Вы сказали, что так надо, что так лучше для Англии... Вы тогда верили в то, что говорили?

— Я тогда верил в то, что говорил, Агнеса, — сказал твердо Страффорд, выдерживая взгляд ее пронзительных, умных глаз.

— Ну так вот... Теперь, мне кажется, вы больше не верите в это...

Страффорд тяжело дышал.

— Вы не верите в это, — упрямо повторила девушка. — Случилось так много неожиданного. Ваши старания в Ирландии не помогли королю; у него было все же слишком мало денег... Солдаты бунтовали и бежали со службы; всюду заводились сношения с шотландцами, а король должен был смотреть на все это и молчать...

— Агнеса, — простонал Страффорд, — будь великодушна... пощади меня.

В глазах девушки дрожали слезы.

— Если бы я не любила вас, — сказала она печально, — я бы не стала вам всего этого говорить. Взгляните в самую глубину того, что позади, и того, что впереди. Ведь шотландцы провели вас. Они одержали победу, почти не обнажая меча.

— Агнеса, — сказал Страффорд, — ты точно исповедуешь меня. Скажи, зачем это?

— Это необходимо, отец, и вот почему. Когда вы уехали и оставили меня здесь, в Лондоне, на попечении Голлиза, я знала, что вы идете на горе и беду. Тяжела была ваша роль на границе Шотландии. Когда после многих неудач вы наконец одержали некоторую победу над шотландцами, вас осудили, как человека, повредившего королю, и вам приказали воротиться на свои квартиры. Правду ли я говорю?

— Правду, Агнеса...

Глаза Страффорда были широко раскрыты, лицо исказилось от душевной боли.

— Я сейчас кончу этот неприятный разговор, — печально сказала девушка. — За два дня до вашего приезда парламент признал незаконным обвинение Прайна, Бёртона, Бествика и еще двух их товарищей, и их выпустили из тюрьмы. Если бы вы видели этот торжественный день въезда людей, стоявших прежде у позорного столба! Король, королева и весь двор должны были любоваться на триумф победителей, на триумф парламента, не смея запретить народу устилать путь освобожденных розмариновыми и лавровыми венками и убирать дома коврами. Король пошел навстречу народу, признав его права уже тем, что просил у лондонского Сити займы громадные деньги, надавав со своей стороны обещаний... Король стал избегать вас... А потом собрался и ненавистный ему парламент, который метил исполнить все народные требования; каждый день горожане и фермеры приходили толпами в Лондон с прошениями. Вот что осталось от вашей железной силы, отец.

— Ты говоришь беспощадно, Агнеса!

— Да, беспощадно. Но чего мне это стоило! Чуждая всем, провинциалка, не знавшая тонкостей обращения французского двора, я была встречена, как и вы, при этом холодном дворе насмешливыми улыбками

и злыми замечаниями, но в то время, как все думали, что я умираю от скуки и застенчивости в их обществе, я наблюдала и... трепетала за вас, отец. Вы не хотели ехать, когда понадобились королю. Вы писали, что ваше присутствие усилит опасность, и просили позволения удалиться в Ирландию.

— И король отвечал мне, Агнеса, что не может обойтись здесь без моих советов и что никто не посмеет тронуть волоса на моей голове. Завтра я буду у короля, а от него отправлюсь в парламент.

Агнеса, сложив руки на коленях, внимательно испытующим взглядом посмотрела на него.

— Отец,— сказала она тихо,— вы уже чувствуете, что проиграете эту игру?

Страфффорд молчал.

— Отец,— прошептала она полным любви и страдания голосом,— я мужественна, вы знаете, и вы должны мне сказать правду. Вы чувствуете, что почва колеблется под вашими ногами?

Тяжелый стон вырвался из груди Страфффорда.

— Дитя мое... ты должна быть готова ко всему... да, да, ты должна быть готова ко всему.

— Вы не верите королю?

— Я не знаю, кому теперь можно верить, Агнеса. Король... король сам накануне крушения...

Он прошептал это так тихо, что Агнеса едва слышала. Она не задрожала, не заплакала; она стала быстро ходить взад и вперед по комнате, заломив свои сильные руки над голову. Потом остановилась перед Страфффордом, сдвинув густые брови и исподлобья глядя на него.

— Значит, игра почти проиграна. Я угадывала чутьем, когда вы взяли меня сюда, и потому я, не умеющая, в сущности, шагнуть при дворе, согласилась так охотно поехать с вами «представиться» королеве... Я как будто знала, что могу быть здесь еще вам полезна... чтобы поддержать вас, если не смогу спасти...

Она положила ему на колени темную голову с массою жестких черных волос, непокорных, как у самого Страфффорда, и говорила:

— Голос крови звучит во мне сильно, отец. Я молилась на вас, когда вы говорили о свободе Англии, но я тогда была ребенком; когда вы повернули в другую

сторону, я дала обет Богу идти за вами до последнего часа, что бы с вами ни случилось... Я точно понимала тогда, угадывала сердцем, что вас ждет гибель... и мне хотелось отдать за вас жизнь... Бог вложил в меня вашу душу, но Он дал мне такую же несчастную душу, как и вам; меня никто никогда, кроме вас, не любил, даже в семье я была чужою, угрюмая, некрасивая девушка... и... мне так тяжело жить без веры, без любви, без надежды на лучшее...

Она заплакала. Страффорд гладил ей волосы и ласково, почти нежно повторял:

— Дитя мое милое... дитя мое бедное... тебе еще много предстоит перенести страданий и утешать меня... и утешать, Агнеса...

И почти весь остаток ночи они проговорили. Только к утру Уэнтворт заснул тяжелым, беспокойным сном... А Агнеса не спала и, стоя у окна, со страхом смотрела в темноту.

Заалело рассветом небо; проснулся Лондон. К Вестминстерскому аббатству, в парламент, потянулись толпы народа, жаждавшего заступы и справедливости от выборных страны.

Толпа шумела; слышались громкие крики на площади:

— Смерть Страффорду! Смерть, смерть! Смерть врагу народа!

В зале палаты пэров было тихо. Широкая галерея отделяла верхнюю палату от нижней — палаты общин. Торжественно восседали лорды на длинных диванах, крытых красным сукном и возвышавшихся друг над другом. В глубине виднелся великолепный резной королевский трон. Направо сидели архиепископы, герцоги, маркизы, графы и виконты; налево — епископы; в центре, против трона — бароны.

Зала была отделена от двери решеткой; за дверью тянулась длинная галерея к палате общин. Оттуда прорывались тревожные возгласы:

— Когда же кончится история Страффорда?

— Пэйм, Пэйм! Мы ожидаем Пэйма!

— Вон Страффорда!

— Тише, молчите! Сейчас мы узнаем решение!

— Внимание! внимание!

У решетки палаты пэров, через которую не смел переступить никто из посторонних, стоял на коленях Страффорд. Несмотря на позу крайней покорности и даже унижения, он смотрел, надменно сдвинув брови и высоко подняв голову. Возле него стоял герой дня, член палаты общин, «старик Пэйм», как называли его в парламенте. Пожилой Пэйм пользовался уважением как в нижней палате, так и в обществе. И вот этот справедливый Пэйм являлся обвинителем Страффорда в государственной измене.

Палата волновалась; служители удерживали любопытных, толпившихся в дверях... Президент подсчитал голоса и объявил, что верхняя палата утвердила обвинение, сделанное нижней, и Страффорд должен быть заключен в Тоуэр, как государственный преступник.

Страффорд вспыхнул, пробовал говорить, но голос его замер, заглушенный яростными криками.

С удивлением смотрел он на собрание лордов, еще так недавно трепетавших от малейшего косога взгляда всемогущего министра. Хранитель Черного Жезла, обязанностью которого было арестовывать преступников, потребовал у него оружие. Страффорд молча протянул ему шпагу и все с тем же надменным выражением лица, окруженный стражей, пошел к своей карете. Проходя по длинной галерее, он видел в дверях обеих палат любопытные лица, слышал насмешливый шепот... У Вестминстерского аббатства толпа, с нетерпением ждавшая решения парламента, при виде Страффорда торжествующе кричала:

— Долой изменников! Да здравствует справедливость...

После ареста Страффорда все незаконные меры были отменены, Звездная палата и Высокая комиссия были единогласно уничтожены; никакой налог не мог быть наложен на товар без согласия парламента. Так называемый «трехлетний билль»¹, обязывающий короля созывать парламент каждые три года, был подтвержден. Епископов исключили из палаты лордов. В декабре 1640 года был арестован и Лод, также обвиненный в государственной измене.

¹ Билль — одна часть проекта законоположения.

Шумно проходила зима в Лондоне. Парламент чувствовал свою силу. Все печальнее и печальнее было настроение при дворе.

22 марта начался процесс Страффорда.

С холодной ненавистью смотрела королева на то, что творилось в этом новом, ненавистном ей и чуждом королевстве. Нижняя палата самовольно отправила своих комиссаров в графства уничтожать в церквях жертвенники, образа, алтари — все то, что пуритане называли «мерзостями идолопоклонства».

Наконец положение приняло такой оборот, что король почувствовал себя точно под опекой; ему уже делали определенные предложения, скорее похожие на приказания. Пэйм должен был сделаться канцлером; Бедфорд — государственным казначеем и главою государства, а воспитание наследника престола, принца уэльского Карла, новые опекуны поручили Гэмпдену. Король должен был молчать.

VIII

ЗАГОВОР КОРОЛЕВЫ

В столице разнесся слух, что королева больна... Она не выходила из дворца; только избранные лица ежедневно должны были развлекать ее.

Апрельский вечер, тихий и ясный, спускался над Уайтгалем. Королева полулежала на мягкой кушетке своего будуара, нервно играя длинной веткой пунцовых роз и чуть-чуть улыбаясь загадочными глазами. Возле нее сидел Джермин с обычною сладкою улыбкой, а рядом с ним на кончике стула поместился молодой человек в форме офицера английских мушкетеров.

Королева вскинула на него свои удивительные глаза, перед очарованием которых, как говорили при дворе, никто не мог устоять, и углы губ ее дрогнули.

— Итак, мистер Горинг, на вас можно рассчитывать?

Он выдержал ее взгляд и с поклоном спокойно отвечал:

— Вполне, ваше величество.

Джермин заторопился расхваливать офицера.

— И он имеет такое влияние на солдат! Они его обожают! Да, да, я даже на него написал двустишие:

Горинг, всех мушкетеров кумир,
Принесет королеве он мир...

Королева кисло улыбнулась.

— Что говорят среди офицеров?

— Офицеры все, ваше величество, поголовно жаждут отдать жизнь за короля и королеву...

— Да, да, — перебила королева, — ведь армия недовольна. Она давно ропщет на то, что произошли некоторые задержки в уплате жалованья.

— Вот именно... вот именно... — залился визгливым смехом Джермин, — я им указал, что единственный источник, из которого они могут напиться золотого напитка, это — монархия, монархия, монархия, без счета готов я повторять...

— Монархия, — проговорила торжественно и с глубокой иронией королева. — Монархия и военный заговор во дворце короля, заговор против парламента, против бунтовщиков, которых называют народом! Заговор под видом развлечения больной королевы. Скоро я буду здорова...

Она ударила розою о вышитую атласную подушку; нежные лепестки рассыпались безшумно и мягко легли вокруг ее руки. Королева засмеялась.

— Вот так я рассыплю сборище всех этих мясников и грубых поденщиков, явившихся разрушить монархию ради вздорных идей о правах... Они коснулись церкви дерзновенными руками, а вы... — она наклонилась почти к самому лицу офицера, — а вы, прекрасный, благородный рыцарь, один из редких людей на свете, пришли, чтобы спасти из неволи короля и вечно благодарную вам королеву...

Ее голос звучал тихо, серебристыми, ласковыми переливами; у бедного Горинга закружилась голова, и рука его, лежавшая на колене, задрожала.

Красота королевы произвела на Горинга большое впечатление.

Он поднял на королеву восторженные глаза и сказал серьезно и отчетливо:

— Я один из ничтожнейших смертных, ваше величество, и делаю только то, что велит мне долг.

— Да, да, я знаю,— вздохнула Генриета-Мария,— я не видела еще сегодня короля, но его совсем измучили все эти истории. Он стал похож на тень. Парламентские бунтовщики устроили какие-то там комитеты, чтобы следить за образом мыслей наших подданных.

— Зато какой я привез сегодня памфлет вашему величеству на этих шпионов, бродящих по тавернам! Свеженький, тепленький, прямо из армии!

Джермин захлебывался от восторга и уже разворачивал тщательно сложенную бумагу. Королева сделала нетерпеливый знак рукою.

— После, после, милый сэръ Генри.

— Ваше величество озабочены мыслью о Страффорде и Лоде?..— спросил быстро Горинг.

Королева пожала плечами.

— Страффорд, Лод — это призраки короля, измучившие его до совершенной потери сил, а я весьма сожалею, что эти два лица осложняют мне дело, которое я затеяла, как мешает мне здесь, во дворце, унылая фигура этой некрасивой и несчастной лэди Страффорд. Она является сюда, пользуясь всяким случаем, чтобы вымолить помощь своему отцу. Вот посмотрите — и сегодня она сидит там, возле стола, с Клариссой; эта маленькая, взбалмошная Кларисса,— ах, ведь она развелась со своим мужем только потому, что он некрасиво носил плащ, и теперь упрямо подписывается по-прежнему герцогиней Девонширской,— эта взбалмошная милая Кларисса взяла ее под свое покровительство, когда ее стали избегать остальные придворные дамы. В самом деле, надоедает видеть вечно фигуру из похоронной процессии.

Джермин засмеялся.

— Лэди избрала себе участь многих женщин: на фоне безобразия особенно ярко выделяется красота.

— Ну, что вы там надумали, моя милая маленькая фантазерка?

Королева обращалась к Клариссе, шедшей к ней под руку с Агнесой Страффорд. Рядом с высокой мужественной фигурой Агнесы эта гибкая тоненькая Кларисса, с лебединой шейкой и пламенными до дерзости

глазами, казалась каким-то странным тропическим цветком сказочной страны.

Королева сделала знак Горингу, а он встал, поняв, что разговор кончен.

— Ручаюсь, — говорила королева, — что маленькая головка, обвитая короной черных кудрей, уже придумала какую-нибудь фантастическую историю для спасения графа Страффорда! Ну, ну, признавайтесь, Кларисса, нечего скрываться... есть ли что-нибудь теперь дороже для вас дела лэди Страффорд?

Герцогиня чуть-чуть сдвинула тонкие брови.

— Мне кажется, дело лорда Страффорда — дело всех нас, окружающих короля и королеву, раз его схватили бунтовщики из нашей среды. Вот поэтому я и должна идти заодно с лэди Страффорд, как впоследствии пойдут, конечно, все здесь, в Уайтгале...

Она смотрела вызывающе на королеву и ее любимца; ее губа с маленькой черной родинкой слегка вздрогнула, как будто была готова разразиться смехом...

Когда, несчастная, убитая горем Агнеса появилась в Уайтгале и искала поддержки возле трона короля, ради которого погубил себя ее отец, она встретила ледяную холодность. Ее слушали из вежливости; ее провожали насмешливыми взглядами и колкостями. Прежде стеснялись так ясно это показывать, но тогда ее отец был еще всесильным Страффордом; теперь он стал жалким узником Тоуэра, человеком, обвиняемым в государственной измене. Агнесе даже намекнули, что королева не любит Страффорда и рада от него освободиться, только как можно незаметнее.

И тогда-то ей протянула руку Кларисса, дочь герцога Девонширского. Что привлекло эту странную лэди к несчастной Агнесе, Бог весть; быть может, добрый порыв, а, быть может, и каприз, желание идти наперекор окружающим; вернее, что и то и другое...

Через полчаса Горинг лихорадочно шагал по улице. Он старался стряхнуть очарование, произведенное королевой, и говорил себе, отирая лоб, на котором выступали крупные капли пота:

— Я должен это сделать... я должен во имя блага Англии...

Он остановился на минуту.

— А что если *она* меня назовет шпионом?

Горингу представилось прекрасное лицо королевы с гневными глазами и презрительной улыбкой на губах. Он с минуту колебался.

— Пускай и шпион! — сказал он наконец решительно и повернул в пустынную часть Лондона, где возвышалась на границе пастбищ и нив великолепная громада дворца графа Бедфорда.

В этот темный весенний вечер Горинг оставался во дворце до рассвета. Он открыл графу Бедфорду военный заговор королевы.

А утром в совете вождей нижней палаты решено было до поры до времени молчать о сделанном открытии.

IX

В ТЕМНИЦАХ ТОУЭРА

Карета с пышными герцогскими гербами остановилась около мрачного Тоуэра; слуга молча соскочил с запяток и постучал в ворота.

Ему открыли не сразу. Было прохладно, как всегда по вечерам в апреле; темные воды Темзы плескались о берега, и над поверхностью реки стоял густой весенний туман. Где-то слышались однообразные всплески весел и оклики лодочников. Вдали ударил колокол башенных часов, гулко, тревожно и печально. Завизжал железный засов, зазвенели ключи, и вооруженный привратник с фонарем просунул голову сквозь маленькое отверстие в воротах.

— Кто идет? — спросил он сурово, думая, что опять привезли какого-нибудь нового заключенного. — Давай пропуск.

— Молчи! — прошептал таинственно слуга. — Кабы не было темно, ты бы увидел гербы герцога Девонширского...

Привратник только свистнул.

— Теперь такое время, что графов сажают под стражу, может, скоро дойдет и до герцогов...

— Мы здесь по желанию короля... — прошептал старый слуга на ухо часовому.

— А есть у тебя разрешение парламента?

Дворецкий герцога Девонширского даже отступил: Так дерзко прежде не смел бы никто отнестись к королевскому приказанию. Но голова привратника оставалась неподвижной. Дворецкий стал трусить. Голос его сделался очень вежливым, даже робким.

— Послушай, добрый человек, я ведь ничего не знаю, но в карете сидят мои господа, и у них есть дело до самого коменданта замка, сэра Уильяма Бельфора.

Фонарь исчез в отверстии; форточка захлопнулась; тяжелые шаги замерли под сводами. Скоро привратник вернулся со значительной стражей. Дверца кареты распахнулись, и из нее вышли две леди — обе в масках, обычных в путешествиях, на охотах и в публичных местах; обе леди были закутаны в широкие плащи и молчали; дворецкий следовал за ними.

Они прошли по подъемному мосту, вступили во двор и отправились, окруженные стражей, мимо мрачных стен казарм, к той части замка, где жил комендант. Здесь было темно и тихо, как будто в царстве смерти; только кое-где мелькали в окошках огни. По скользким, стершимся ступеням их провели в квартиру Бельфора.

Комната, в которую вошли леди, была большая, со сводчатым потолком и каменным полом. Она служила Бельфору и приемной, и канцелярией. Оглядевшись, леди заметили в углу под маленькой лампочкой, чадившей на столе, юношу. У него был нежный профиль полудетского лица с длинными белокурыми локонами и печальной растерянной улыбкой. Он тихо перебирал струны лютни и напевал слова поэмы величайшего из шотландских поэтов XV века Дёнбара:

«Нет средств против смерти, а потому лучше быть готовым к смерти для того, чтобы после нее наследовать жизнь»...

Он помолчал, задумчиво перебирая струны и не замечая прихода посторонних, потом снова начал высоким и печальным голосом:

«Если бы у меня тяжело было на сердце от людского жестосердия или если бы я был удручен печалью, я бы умирал медленной смертью...

Но я думаю, лучше быть слепым!
Но я думаю, лучше быть слепым!»

Он поднял голубые печальные глаза и, заметив в дверях двух леди, смутился, встал и хотел уйти, но одна из них решительным движением руки остановила его. Обе лэди сняли маски.

Выросший в мрачной обстановке тюремных казарм, сын Бельфора, юный Эдвард, не привык к женскому обществу; его жизнь была такая мрачная, такая однообразная и унылая; он знал о прекрасных леди только из книг, которые находил в библиотеке отца, да из старых песен, таких грустных, таких красивых, и они ему рисовались всегда туманными, почти сказочными видениями. Немудрено, что, увидев двух леди, он смутился.

— Не бойтесь, — услышал Эдвард мягкий серебристый голос, — мы рады, что встретились с вами. Мы искали именно вас; слуги наши успели уже заранее разузнать о вас... Мы знаем, что вы добры, иначе и не могли бы петь таких песен... Времени у нас мало, Агнеса, посмотрите, не слушает ли нас кто-нибудь...

Спутница леди заглянула за дверь и, вернувшись, спокойно сказала:

— Там стоит только ваш дворецкий, Кларисса. Стража внизу.

Эдвард посмотрел на Агнесу. Она была некрасива, но чуткая душа его прочла в ее глазах историю долгих страданий.

— Миледи... — сказал он робко с ласковой, растерянной улыбкой, — я не знаю, чем могу служить вам... у меня нет никакой власти и никакого богатства... я только сын сэра Уильяма Бельфора... и я от рождения так слаб, что меня ничему почти не учили... отец считает меня до сих пор ребенком...

Он сказал это просто, нисколько не стесняясь признаваться в своем убожестве; леди переглянулись с изумлением...

— Сэр Эдвард, — начала решительно Агнеса, — я — дочь узника графа Страффорда...

Глаза Эдварда широко раскрылись.

— Миледи хочет узнать о своем отце? — спросил он живо. — Я видел его сегодня... Мой отец и тюремщик позволяют мне иногда ходить к нему, и я играю с ним

в шахматы, чтобы ему не было скучно... Если хотите, я могу и вас провести к нему... Но это лучше было бы сделать завтра. А теперь я даю вам слово, что граф Страффорд здоров, миледи!

— Ах, все это не то,— прошептала с досадою девушка,— вы добры, я знаю, вы очень добры, и вот я пришла умолять вас... у нас есть один план... Кларисса... скажите ему все...

— Сэр Эдвард,— резко проговорила Кларисса,— граф Страффорд в очень опасном положении. Парламент не пощадит его и приговорит к смертной казни; это всем известно... Король, сам король не желает смерти графа, вы это знаете, как знает весь Лондон... Помогите нам подкупить стражу и увести тайно графа Страффорда, и я отдам вам все драгоценности его дочери и отдам вот это ожерелье, смотрите...

Она протянула Эдварду длинное ожерелье из крупных жемчужин. Эдвард никогда еще не видал такого богатства в мрачных стенах туэрских казарм. Он вспыхнул и опустил голову. Кларисса пожала плечами. Агнеса решительно подошла к юноше.

— Сэр Эдвард, я вижу, вам этого мало; драгоценности не привлекают вас. Но послушайте, я молю вас... Стены этой тюрьмы не могли не надоесть вам... я знаю... в песне вашей слышалась такая печаль, и каждый сторож Туэра знает, что вы плачете здесь по ночам и рветесь отсюда в широкий мир...

— Я не знаю широкого мира, миледи,— печально покачал головою Эдвард.

— И все-таки рветесь. Послушайте: спасите моего отца, и я дам вам все: почести, славу, богатство. Я предлагаю вам свою руку, сэр Эдвард...

Это было как в сказке... Юноша провел рукою по смертельно бледному лбу. Что ему говорят? Чего от него требуют? Боже мой, Боже мой, все это было слишком тяжело для его бедного ума...

— Послушайте, сэр Эдвард, вы все молчите... Я некрасива, я это знаю, но я богата; я — любимая дочь графа, и я все положу к вашим ногам. Этого хочет король, и король сделает вас вельможей. Вы будете жить роскошно далеко от этих мрачных стен... а я... я, некрасивая, нелюбимая вами, уйду от вас навсегда, оставив

почести и богатство... и тогда вы женитесь на молодой красавице, сэр Эдвард...

Эдвард тяжело дышал, губы его судорожно дергало, но он продолжал молчать.

Кларисса улыбнулась.

— Сэр Эдвард, — заговорила она дерзко, — ну а если бы я предложила вам руку дочери герцога Девонширского, неужели и тогда вы отказались бы?..

Она стояла перед ним с гордо поднятой головою, с вызывающей сказочной красотой, а он молчал и вдруг жалобно заплакал, как плачут дети.

— Послушайте, — прошептала с ужасом Агнеса, — что вы говорите... вы хотите сделаться его женою?

Кларисса презрительно пожала плечами.

— Почему бы и нет? Он дворянин, и прежде я отказывала многим женихам, пока не вышла за идиота, с которым пришлось развестись; теперь я не обольщаюсь больше ложными надеждами и жду, что парламентские мясники скоро сделаются нашими королями... Не все ли равно? Тогда сэр Эдвард Бельфор будет значить гораздо больше, чем герцог Девонширский... Итак, торг кончен, сэр Эдвард? Что более нравится вам: рука дочери графа Страффорда или рука дочери герцога Девонширского?

Эдвард устало посмотрел на Клариссу.

— Я не знаю, за что вы оскорбили меня. Я ничего не сделал вам дурного, — сказал он тихо. — Я ничем не торгую...

Кларисса закусила губы, вспыхнула и отвернулась.

Эдвард повернулся к Агнесе.

— Когда вы сказали о своем отце, мне сделалось жаль и вас, и его... И теперь я готов... я готов умереть за вас... но... только без торга... потому что... мне... мне ничего не надо...

Эдвард не умел высказать того, что жгло как огнем его душу. До сих пор он часто лелеял в воображении образ женщины, и был этот неведомый образ свят, и когда некрасивая Агнеса заговорила с ним, она ему показалась прекрасной; страдание придало ее большим умным глазам своеобразную красоту.

Агнеса протянула ему руку.

— Простите меня, — прошептала она чуть слышно.

— Простите и меня,— сказала твердо Кларисса,— я оскорбила вас, потому что привыкла видеть кругом много дурного и думала о вас, как о всех...

Кларисса не закончила.

Она видела, как лицо Эдварда вдруг смертельно побледнело. На пороге стоял сам Бельфор.

Бельфор смотрел сурово. Это был честный солдат, преданный душой и телом закону и хорошо помнивший о правах парламента.

— Что здесь происходит?— спросил он холодно.— Леди... мой сын...

Тогда Эдвард упал на колени перед отцом и заговорил, захлебываясь от рыданий:

— Они просят, отец... ах, согласись... я не могу, я не могу...

Бельфор поднял сына и вежливым жестом пригласил леди в свой маленький кабинет, находившийся рядом с приемной, где он принимал посетителей по секретным делам.

Обе леди вышли от него взволнованные. Прощаясь, комендант сказал:

— Передайте его величеству, что я тотчас же освобожу графа Страффорда, как только получу от его величества точное предписание с подписью и королевской печатью. Имею честь кланяться миледи... Что касается моего сына, то это еще ребенок, и я ни в коем случае не могу допустить его брака ни с кем: он болен очень серьезно, миледи, и таких, как он, не женят, хотя благодарю за честь... Если ваше сиятельство захотите повидаться с вашим отцом, то я попрошу вас пожаловать завтра утром; теперь уже поздний час, и всем заключенным пора спать...

Он вежливо поклонился и, когда леди скрылись за поворотом лестницы, позвал тюремщика.

— Джон,— сказал Бельфор,— как можно строже смотри за графом Страффордом.

Тюремщик молча поклонился.

— Осмотри хорошенько замок у двери. Ступай.

Тюремщик опять поклонился и пошел к помещению Страффорда.

Скоро он прибежал назад белее полотна.

— Ключи пропали,— брякнул Джон.— Их нет на обычном месте, под камнем, куда я их всегда кладу.

— Кто же кладет ключи под камни, дурак? Почему ты не носишь их с собою?

Тюремщик промолчал о своей склонности к элю, который давал ему такой крепкий сон, что он боялся носить ключи при себе.

— Хорошо, ступай и будь вблизи коридора, где помещается граф Страффорд; помни: сегодня я не сомкну глаз всю ночь и, если что случится, я выброшу тебя за ворота, как собаку, а кроме того, ты будешь обвинен в пособничестве государственным преступникам.

Тюремщик вышел, дрожа всем телом.

Бельфор распорядился, чтобы все выходы Тоуэра были заняты крепким караулом. Никто не должен спать в эту ночь. Потом он велел погасить фонарь в коридоре возле камеры Страффорда, горевший обыкновенно до утра, и решил сам дежурить неподалеку.

Настала ночь; Тоуэр погрузился в могильную тишину. Бельфор сидел в темной нише коридора и ждал. Скоро чуткое ухо его различило тихие крадущиеся шаги, и в лунном луче мелькнула чья-то фигура. Шаги приближались. Было слышно, как кто-то приник к двери и стал шарить ключом замочную скважину.

Бельфор ринулся вперед. Кто-то метнулся от двери, но в ту же минуту рука Бельфора схватила его и вытащила в полосу света. В серебристом луче луны бесшумно билась тонкая, гибкая фигура, сжимая в руке связку ключей. Бельфор слабо вскрикнул, узнав сына.

Молча, не говоря ни слова, он повел его по коридору. Встретясь с тюремщиком, Бельфор сказал:

— Ступай к двери Страффорда и ни с места до рассвета. Я сейчас пришлю к ней еще караул. Мы с сыном гуляли и видели в коридоре какую-то тень...

Бельфор привел Эдварда в кабинет и плотно закрыл двери.

— Я тебя поймал с поличным, Эдвард, — сказал он спокойно. — Ты собирался совершить величайшее преступление: устроить бегство важного государственного преступника. Я тебя спас от этого. Дай сюда ключи; я тебя должен буду запереть, пока ты не образумишься. С огнем не шутят; выпусти ты сегодня Страффорда, завтра я сам бы предал тебя в руки правосудия, хотя ты и мой сын, и я тебя люблю... Но я старый солдат... старый солдат и верный страж закона!

Он взволнованно прошелся по комнате и остановился против сына.

— Не плачь, Эдвард, — сказал Бельфор сердечно, положив руку на плечо сына. — Тебе было жаль молодую леди, но ты не знаешь, стоит ли жалеть ее отца. Сердце иногда играет с нами плохие шутки. Я не вечен, а ты, слабый, добрый и бесконечно несчастный, останешься один, когда я умру, и тебе будет трудно жить в этом жестоком мире, потому что ты не знаешь жестокости. Но тебя нельзя оставить без наказания. Я тебя запру и выпущу не раньше, чем ты хорошо обдумаешь свой поступок и когда уже не для чего будет стеречь Страффорда...

Он запер сына в одну из дальних комнат своей квартиры и распорядился поставить караул у камеры заключенного, а утром послал в Уайтгаль бумагу с требованием прислать в Тоуэр усиленную стражу. Король понял это как согласие освободить Страффорда, и прислал в Тоуэр сто человек солдат под командою капитана, снабженного соответствующими инструкциями. Бельфор сделал вид, что не понимает, чего от него хотят, и уведомил парламент, что команда капитана ненадежна и хочет у него похитить Страффорда. Король не решился открыто идти против парламента и официальной бумаги об освобождении Страффорда Бельфору не прислал.

X

ГИБЕЛЬ СТРАФФОРДА

Суд над узником шел своим чередом. 13 апреля Страффорд стоял у решетки палаты лордов. Над восьмидесятью пэрами, присутствовавшими в качестве судей, в закрытой ложе сидели король и королева. Страффорд угадывал, что там должна быть и его дочь, и мысль об Агнесе терзала ему сердце.

Процесс велся с явным, заранее принятым решением. Над Страффордом тяготело обвинение даже в том, будто бы он советовал королю употребить ирландскую армию для усмирения Англии. Он знал, что за этим

последует обычный удар — обвинение в государственной измене.

Заседание подходило к концу; Страффорд говорил оправдательную речь. Долго доказывал он свою невинность...

Развязка приближалась. Каждый день происходили заседания «долгого парламента», и каждый день Страффорд чувствовал, что жизнь его висит на волоске.

Король утешал его, продолжая писать:

«Даю вам честное слово короля: ни жизнь, ни состояние, ни честь ваши не потерпят никакого ущерба».

А Лондон волновался. Каждый день вооруженные толпы окружали Вестминстерское аббатство с криками, бранью и угрозами. В церквях молились о наказании великого преступника...

21 апреля Страффорд был осужден; оставалось только королю подписать его смертный приговор. Но король не соглашался: он признал Страффорда виновным, обещал во всю жизнь не давать ему никакой государственной должности, но объявил, что ни за что на свете не подпишет смертного приговора своему любимцу.

Тогда выступил на сцену ловкий, хитрый Пейм. Он неожиданно представил в палату общин донос о заговоре двора и офицеров, цель которого была вооружить армию против парламента...

8 мая Уайтгаль был охвачен волнением. Казалось, что король собирается в трудный поход и уверен, что из него уже не вернется. Королева вышла из его кабинета вся в слезах и, вернувшись в свои покои, упала на грудь матери, королевы Марии Медичи. Изгнанная из Франции всесильным кардиналом Ришелье в 1638 году, Мария Медичи жила в Лондоне в особом дворце, постоянно руководя своей дочерью.

Королева говорила матери с злыми, бессильными слезами в голосе:

— Он забывает, что оскорбляет в моем лице не только жену и мать своих детей, но и дочь короля Франции великого Генриха IV...

Тонкое лицо Марии Медичи выразило смиренную скорбь. Она посмотрела на дочь, поправила локоны, спустившиеся ей на лоб, и сказала:

— Дитя мое, все эти несчастья — крест, выпавший мне на долю, и я рада страдать во имя Господа... но вы... вы... и эти малютки...

Глаза молодой королевы метали искры.

— Где их высочества? — спросила она резко стоявшего в нерешительности пажа. — Скажи, что я прошу сюда всех, слышишь?

Появился гувернер принца Уэльского, ее старшего одиннадцатилетнего сына, а перед ним два мальчика — принцы Карл и восьмилетний Иаков. Оба дрожали с ног до головы и смотрели на мать испуганными глазами.

За ними явились принцессы с воспитательницей. Шестилетняя хорошенькая Генриета жалась к гувернантке, маленькая полторагодовалая Елизавета тихонько хныкала.

— Вы останетесь здесь, — приказала королева, задыхаясь от бешенства. — Если умирать, то всем вместе.

— В Уайтгале не убивают, ваше величество... — робко отозвался принц Уэльский. — Здесь довольно стражи.

— Откройте окно, — резко приказала королева.

Вместе с солнечными лучами и свежим воздухом в раскрытое окно ворвался шум толпы. Среди неясного гула слышались крики:

— Правосудия! Правосудия!

— Маркиз, — сказала королева дрожащим голосом, — посмотрите, что делается на улице.

Гувернер принцев маркиз Гертфорд высунулся в окно и сейчас же отскочил, взволнованный и смущенный.

— Ваше величество... Толпа остановилась против Уайтгала у стены.

— И что она там делает?

— У меня хорошее зрение, ваше величество, — отвечал Гертфорд, робко заглядывая на улицу, — и оно различает белый лист. Такие листы расклеены по всем улицам Лондона; на них имена пятидесяти девяти членов нижней палаты, подавших голоса против билля о государственной измене графа Страффорда. Под этими именами надпись: «Вот страффордисты, изменники отечеству».

Королева насмешливо сказала:

— Прекрасно! Все идет по крайней мере последовательно. Парламент дошел до того, что меня, свою королеву, пробует обвинить в государственной измене — военном заговоре, а трусы-заговорщики, пресмыкающиеся у ног моих еще неделю тому назад, постыдно бежали, хотя вот на этом самом месте клялись отдать за меня жизнь и спасти отечество!

Гертфорд продолжал дрожащим голосом:

— Ваше величество... это еще не все... народ, взбешенный их бегством, запер ворота... вскрываются все письма, приходящие в город... В Сити упорно говорят, что в Вестминстере сделан подкоп, и здание каждую минуту рискует взлететь на воздух... три дня тому назад уже был там переполох, это известно всему Лондону... толпы народа ворвались в аббатство и...

Королева прислушалась.

— Постойте, маркиз; слышите? Шум явственно доносится со стороны дворца ее величества французской королевы, моей матери...

Через окно было видно, как двигались нестройные, беспорядочные толпы.

Народ кричал:

— Двинемся грудью к дворцу проклятой французской ведьмы! Разобьем его стекла и ее разорвем в куски вместе с ее попами и всякой папистской нечистью!

Мария Медичи молча указала на окно, а потом медленно проговорила, обращаясь к принцу Уэльскому:

— Когда вы будете королем, Карл, вы не допустите, конечно, чтобы народ так оскорблял вашу мать.

Генриета-Мария закрыла лицо руками.

— Боже мой... Боже мой... — прошептала она. — Какой стыд... и я не могу защитить свою мать...

— Государыня, — робко заметил Гертфорд, — я позволю себе заметить, что ее величеству, королеве Франции, было бы лучше покинуть эту мятежную страну. Сегодня нижняя палата объявила, что ее величеству нужно выехать из Англии для водворения порядка, и назначила на ее путешествие известную сумму...

Бледное лицо Марии Медичи исказилось бешенством.

Паж доложил о приходе гонца из парламента.

— Государыня, — сказал вошедший королеве, — парламент отвечает за жизнь ее величества королевы-ма-

тери только в том случае, если ее величество тотчас же начнет собираться к отъезду.

Генриета-Мария сделала решительный шаг к двери.

— Маркиз, — сказала она Гертфорду, — вы сейчас же пойдете к королю и скажете ему, что моя мать уезжает и я также с моими детьми. Скажите, теперь мы знаем, что жизнь одного графа Страффорда для него дороже жизни всех нас...

По ее приказанию камеристка-француженка спешно начала укладывать ее драгоценности, приготавливаясь к отъезду во Францию. В это время ее мать Мария Медичи тоже торопливо собиралась, чтобы уехать из этой ужасной страны в Киль, где она нашла свой последний приют: через год она умерла.

Король сидел в своем кабинете, окруженный несколькими советниками, и обдумывал свое обращение к парламенту в защиту Страффорда.

Лицо короля было очень бледно; он сильно похудел за эти дни. Глаза его блуждали; красивая голова была опущена на руку. Рассеянно смотрел он на лист белой бумаги, где друг его детства, мягкий и благородный Голлиз, набросал королю речь в защиту своего родственника Страффорда. Эту речь король старался выучить наизусть, чтобы сказать потом в парламенте. Голлиз, полный сострадания к несчастной Агнесе, посоветовал королю просить у парламента отсрочки исполнения приговора. Этим можно было выиграть время и расположить некоторых более податливых членов нижней палаты смягчить приговор, удовольствовавшись одним изгнанием Страффорда. Голлиз ручался за успех.

Узнав от Гертфорда о решении королевы, король в ужасе воскликнул:

— Боже мой, боже мой, разве вы не понимаете? Какие тут могут быть разговоры о совести, когда ее величество плачет?

В это время Герберт молча подал королю на маленьком серебряном подносе запечатанное письмо. Король начал торопливо читать. Лицо его делалось все бледнее и бледнее.

Окончив чтение, он передал письмо епископу Джаксону.

— Прочтите его вслух, ваше преосвященство.

Джаксон медленно и вятно прочел:

«Государь! После долгой и тяжелой борьбы я принял единственное приличное в моих обстоятельствах решение. Всяким частным интересам должно жертвовать для счастья вашей священной особы и государства. Умоляю вас принятием этого билля устранить препятствие к благополучному миру между вами и вашими подданными. Мое согласие, государь, оправдывает вас перед Богом лучше, нежели всякие другие человеческие меры. Никакого наказания нельзя назвать несправедливым, если оно относится к тому, кто сам хочет ему подвергнуться. Моя душа, готовая оставить тело, прощает все и всем с бесконечною радостью. Прошу вас об одном: удостойте моего бедного сына и его трех сестер такой же благосклонности (ни более ни менее), какой будет заслуживать их несчастный отец, смотря по тому, будет ли он впоследствии найден виновным или невинным.

Граф Страффорд».

Воцарилось глубокое молчание.

Карл встал. Он шатался. Голос его звучал глухо.

— Теперь разойдитесь, — сказал он, — мне надо обдумать...

На другой день король послал Страффорду согласие на принятие его жертвы, а еще через день письмо в парламент. Карл просил только одного: оказать ему «величайшую милость» — отложить казнь Страффорда на несколько дней. Но эта просьба короля не была принята во внимание; с казнью Страффорда спешили: она была назначена на следующий день, 12 мая.

Королева во Францию не уехала, и мир между царственной четой был водворен.

12 мая на рассвете Эдвард Бельфор, только что выпущенный отцом на свободу, смотрел из окна на площадь полными слез глазами.

Ворота Тоуэра широко распахнулись, и впереди громадного конвоя, высоко подняв голову, вышел Страффорд, торжественный и спокойный, в своем лучшем праздничном платье. За ним шла небольшая кучка друзей, среди которых был его только что приехавший

брат Голлиз, поддерживавший Агнесу. Обнимая дочь в тюрьме, Страфффорд тихо сказал:

— У тебя должно быть только одно утешение, дитя мое: мое спокойствие. Я знал, на что шел. Я играл в монархию; ставка была велика, и я ее проиграл. Проигрыш — смерть, и я умираю.

Бельфор предложил ему карету, чтобы избежать оскорблений со стороны толп народа. Страфффорд покачал головою:

— Не нужно. Я не боюсь смотреть в глаза смерти и народу. Я не уйду, будьте покойны; а от руки ли палача умереть или от ярости народа — для меня решительно все равно.

Но толпа молчала, окаменевшая от любопытства и изумления, и Страфффорд подошел к помосту, не тронутый никем.

Эдвард Бельфор не отрываясь смотрел на эшафот. Палач, одетый с ног до головы в черное, в маске, спокойно ждал возле плахи, и лезвие хорошо отточенной секиры в его руках зловеще блестело в первых лучах солнца. Эти лучи освещали высокую фигуру Агнесы в длинном траурном платье. Она не плакала; она точно окаменела...

Страфффорд сначала стал на колени, потом поднялся и обратился к народу с речью. Громко и ясно, как в былые годы парламентских прений, звучал его голос:

— Желая этому королевству всяких земных благ. Счастье отечества было целью моей жизни; оно остается единственным моим желанием перед смертью. Но умоляю каждого, кто слышит мои слова, подумать хорошенько положи руку на сердце, должно ли писать начало государственной реформы кровавыми буквами, — подумайте об этом, воротясь домой. Дай Бог, чтобы ни одна капля моей крови не пала ни на кого из вас.

Опустившись на колени, Страфффорд помолился, потом простился с дочерью, братом и друзьями.

Эдвард видел, как Страфффорд подозвал палача и, став на колени, спокойно положил голову на плаху. Эдвард задрожал от ужаса, закрыл глаза и прислонился к стене, чтобы не упасть...

Он уже не видел, как скатилась голова графа...

Палач смеялся, потрясая в воздухе отрубленной головой, и весело кричал:

— Боже, сохрани короля!

Толпа ответила ему криками радости.

XI

РАЗЛАД НЕЛЛИ С ЭЛЬМЕРОМ

В 1641 году умер Ван-Дейк, и Эльмер Повэй занял видное место среди художников Уайтгалья. С этих пор он был завален заказами. Живой, веселый характер Повэй делал его желанным гостем на всех придворных празднествах.

Когда Эльмер уходил, Нелли садилась у окна и погружалась в грустные думы. Право, гораздо лучше жилось на чердаке, в мастерской, похожей на сарай. Тогда у Нелли была пропасть дел; теперь Повэй нанял прислугу, старую Идонию, которая ничего не оставляла на долю Нелли. Без Идонии Нелли не смела ступить и шагу. Впрочем, она охотно подчинялась старой добродушной ворчунье, которая подолгу вела с нею беседы о Боге и об обязанностях человека. Идония же посвящала Нелли в политические события страны.

Идония была пуританка; в ярких красках обрисовала она Нелли свою религию; она же ввела Нелли в несколько пуританских семейств.

И все-таки Нелли жилось невесело. В часы одиночества, когда Эльмера не было дома, она любила вспоминать прошлое и петь старые легенды; любила также бродить по Лондону и умудрялась надолго убежать из дома, несмотря на запрет старой Идонии. Раз, бродя возле Уайтгалья, она увидела, что из дворцовых ворот выезжало несколько карет с королевскими гербами.

— Фью,— свистнул проходивший мимо маляр с кистями и ведром краски на голове,— король с семейством дал тягу из Лондона! Плохо, когда короли начинают сбегать от народа...

Нелли принесла новость о королевском отъезде бабушке Идонии. Идония подтвердила слова маляра.

Карл сердился на парламент за казнь Страффорда и вырванные у него насильно уступки.

— Откуда ты все это знаешь, бабушка Идония?

— Знаю, девочка, от Анны Стэгг, умницы Анны Стэгг, жены пивовара, а он знает все на свете, потому что толчется и у мистера Ферфакса, и у мистера Гемпдена, и у мистера Кромвеля...

Раз как-то Нелли отпросилась у Идонии на улицу. Было пасмурно, и, несмотря на январь, Темза не замерзала. По темным водам ее сновали шлюпки, снаряженные по-военному; по берегу протянулась шеренга добровольной стражи из лондонских граждан под командою грубого, но прямого капитана Скиппона. У стражи на концах пик болтались белые объявления парламента. Процессия двигалась к Уайтгаллю.

Черные окна дворца смотрели мрачно. Было два часа пополудни, а из Уайтгалля не доносилось ни одного звука, как будто он был погружен в сон. Толпа закричала:

— Дворец опустел!

— Где король и его кавалеры?

Чей-то дерзкий мальчишеский голос крикнул:

— А птички-то улетели! Ха-ха-ха!..

Нелли узнала голос молодой жены богатого пивовара Анны Стэгг, яркой пуританки, пользовавшейся большим уважением среди лондонцев. Коренастая, с румяным, открытым лицом, в простом темном платье, Анна Стэгг шла навстречу Нелли.

— Здравствуй, девочка,— сказала Анна Стэгг, подойдя ближе.— Пойдем со мною к мистрисс Ферфакс.

Анна Стэгг была знакома положительно со всеми, кто называл себя друзьями свободы.

— И не смей отговариваться,— кричала бурно Анна Стэгг,— я обещала, что ты придешь сегодня петь свои легенды.

Нелли радостно согласилась и пошла за женою пивовара.

Сэр Томас Ферфакс, молодой дворянин-пуританин, жил со своею женою мистрисс Эдиттой Ферфакс недалеко от Ковент-Гарденской площади, в модной и людной части Лондона, и жил очень скромно. Мистрисс Ферфакс успевала вести хозяйство своей маленькой семьи и в то же время интересовалась политикой, горестями и радостями парламента. В доме Ферфакса часто

собирались члены нижней палаты потолковать о государственных делах.

Анна Стэгт и Нелли застали мистрисс Ферфакс в обществе жены одного из депутатов, молоденькой мистрисс Алисы Лайль. Обе дамы усердно шили рубашки для бедных, и Нелли прочла на одной из них вышитый, по обычаю пуритан, псалом: «Господь посет мя».

Анна Стэгт торопливо рассказала о виденном на улице.

— Ого, дела идут отлично! — весело сказала мистрисс Ферфакс, и красивое лицо ее оживилось... — Но отчего на твоих глазах слезы, Нелли?

Нелли серьезно посмотрела на мистрисс Ферфакс.

— Когда их везли, — сказала она тихо, — мне еще больше хотелось плакать.

— Разве тебя это огорчило?

— Нет... я радовалась...

Обе дамы рассмеялись. Анна Стэгт хлопнула Нелли по плечу.

— А что бы сказал на это Эльмер Повэй? — спросила она, подмигивая.

— Он был бы очень огорчен, — грустно отвечала Нелли.

— Да-а? — протянула мистрисс Ферфакс. — Он все еще ненавидит друзей свободы?

Нелли покачала головой.

— Эльмер так добр, что не может ненавидеть хороших людей, но, видите ли... он... он слишком любит короля... он говорит, что был бы рад умереть за короля...

— А ты что думаешь об этом, Нелли?

Нелли подняла на мистрисс Ферфакс большие серьезные глаза и тихо, но твердо отвечала:

— Я не люблю короля, и я хотела бы умереть за парламент, как хотят умереть те, у которых это вышито на шляпах.

Мистрисс Лайль тихо погладила золотистые волосы девочки, вздохнула и прошептала печально:

— Много горя выпадет на твою долю.

Нелли взглянула в окно и заторопилась идти домой. Эльмер мог вернуться; она не хотела его огор-

чать... но как тяжело скрывать от Эльмера свои сношения с пуританами?

— А легенду? — спросила Анна Стэгг. — Ты ведь хотела спеть легенду?

— Только не сегодня... сегодня уже поздно... Прощайте...

Когда Нелли вернулась, Эльмер был уже дома. Он встретил ее сердито, а она не захотела лгать и призналась, что была у Ферфаксов.

Эльмер пришел в отчаяние. Он был уверен, что Нелли не любит его, а потому и бегаёт в его отсутствие к разным бунтовщикам. Нелли не оправдывалась и только плакала.

Эльмер говорил неправду. Когда он был с нею ласков, она была готова отдать за него жизнь. Она так любила его, когда он не поднимал тяжелых вопросов о короле и парламенте, а просто танцевал с нею, пел песни, дурачился, наполняя мастерскую шумом и гамом, и Идония с кастрюлей в руках хохотала на пороге кухни, потому что она любила этого «вертопраха», хоть он и был монархистом. Но личико Нелли сразу вытягивалось, когда Эльмер начинал бранить друзей свободы. Тогда он казался ей чужим...

Нелли сидела у окна, глядя в унылый молочно-белый туман надвигающихся сумерек. Напротив зеркало отражало сердитое лицо Повэя. Сегодня Идония исполняла обычные обязанности Нелли, подавая художнику принадлежности его туалета.

Повэй сердито пудрил лицо и злился на то, что у него не выходят такие красивые банты на плечах, какие умеет делать Нелли. Нелли не шевельнулась.

— Я иду к лорду Фоклэнду, — резко обернулся к Идонии художник, — слышишь? Это на всякий случай, если меня кто-нибудь спросит.

Помолчав, он еще более сердито добавил:

— И вернусь не скоро. И вернусь, может быть, только к утру.

— А еще недавно говорили, что просидите весь вечер дома, — буркнула Идония. — Опять мы остаемся вдвоем с мисс Нелли.

— Мисс Нелли хорошо и без меня. Чтобы было повеселей, она, пожалуй, соберет у меня бунтовщиков со всего света.

Нелли молчала. Тогда Повэй решительно нажал ручку двери и сказал дрожащим от обиды голосом:

— Ничего нет удивительного, что я стараюсь как можно реже бывать дома; дома — ад, — закричал он визгливым, как у женщины голосом, — дома не с кем слова сказать!

Он хлопнул дверью. Нелли не побежала на лестницу догонять его, но, когда он ушел, она залилась горькими слезами. Ей казалось, что для нее рушится весь мир, что разбито вдребезги самое дорогое для нее в жизни.

— Глупенькая, — сказала ласково Идония, — хочешь, я закричу вниз, чтоб он вернулся?

Нелли покачала головой.

— Мне кажется, что Эльмер умер или ушел куда-то навсегда... и это не сегодня, бабушка Идония; только раньше... раньше я не замечала этого... скоро я останусь одна, совсем одна...

XII

НЕЛЛИ УХОДИТ ОТ ЭЛЬМЕРА

Проходили недели, месяцы; Нелли Фельтон минуло пятнадцать лет. Этот год сделал ее гораздо вдумчивее и серьезнее, и у нее открылись глаза на многое, что прежде она неясно понимала.

Жизнь у Повэя становилась для нее тяжелее с каждым днем. Они перестали понимать друг друга; они говорили на разных языках. Иногда он пробовал ее образумить, рассказывая ей о величии короля, создавшего золотой век в искусстве, говорил, что сам Бог отметил перстом своего помазанника. Он рассказывал ей о былых блестящих празднествах во дворце, о щедрости монарха к художникам; он рассказывал ей о великолепии Уайтгаля, об его картинах и статуях, а она думала о нищете бедных кварталов, о той нищете, которую видела в Уайтфрайрзе; она вспоминала горячие речи Анны Стэгг и наставления мистрисс Ферфакс.

В чудесный июльский день Нелли вышла из мастерской Повэя. Она больше не могла оставаться среди мольбертов, с которых на нее смотрели величествен-

ные лорды и леди в гигантских воротниках с чопорными и жеманными лицами и где Повэй нарочно рассказывал ей небылицы о наказанных королем и Богом бунтовщиках.

Нелли выбежала на улицу. На тротуарах дети продавали цветы, и маленький мальчик, протягивая алые гвоздики, звонко кричал:

— Пожалуйте! Гвоздики, алые, как кровь, которая скоро польется в Англии!

Люди всех сословий, громко разговаривая, направлялись группами к городской ратуше — Гильдгалю. В узкой улице из окна дома с восьмиугольными башенками выглянуло розовое девичье личико. Внизу, по тротуару, шел быстро Кромвель в своей обычной простой одежде пуританина. Девушка весело крикнула ему:

— Куда вы, сэръ Оливер? В Гильдгаль? Пойдите... я не могу отойти от больной матери... снесите за меня...

И на мостовую, к ногам Кромвеля, упал увесистый кошелек.

— Добрый день, мистер Кромвель, — сказала Нелли.

— И ты в Гильдгаль, дитя мое? — спросил он просто.

В самом деле, почему бы и ей не пойти в Гильдгаль? Нелли стало вдруг безумно весело, и она засмеялась.

— В Гильдгаль, сэръ Оливер, конечно!

— Так идем вместе.

Они пошли рядом. Нелли улыбалась и счастливыми глазами смотрела на оживленную, залитую солнцем улицу, с камешками мостовой, еще мокрыми от дождя.

Золотое солнце пробралось и в мрачный Гильдгаль. В снопе лучей дрожали пылинки, а возле узкого окна, там, где свет был сильнее, стоял белокурый юноша весь в черном. Его лицо с большими голубыми глазами, кроткими и невинными, как у ребенка, светилось счастьем. Возле него на громадных столах, на скамейках, просто на разостланном среди пола сукне были навалены груды серебряных и золотых вещей, женских безделушек, серебряной посуды; особо лежали деньги.

Люди приходили с новыми дарами; юноша принимал их, тщательно записывая в большую книгу, и после каждой записи расписывался:

«Принято такого-то числа, такого-то года в Гильдгале Эдвардом Бельфором».

Нелли увидела и в других углах ратуши столы с пожертвованиями, а возле них людей, производивших записи. Не хватало рук записывать.

— А ты, Нелли, что принесла? Давай-ка сюда...

Это говорил Кромвель... Нелли смущенно рылась у себя в сумочке, но там было пусто; она поднесла руку к шее и нащупала на тонкой затейливой цепочке золотой Ван-Дейка, сохраненный еще со времен Уайтфрай-ярза, и медальон с миниатюрным портретом Эльмера Повэя. Нелли вряд ли хорошо сознавала, что делает. Ее опьяняли гул толпы и сияющее счастьем лицо Бельфора. Она сняла с шеи цепочку и, подавая ее Кромвелю, просто сказала:

— Это все, что я имею, мистер Кромвель.

Он также просто взял от нее цепочку и передал Эдварду. Второпях Нелли не успела вынуть из медальона портрет Эльмера, да и забыла о нем в эту минуту.

Кромвель поднялся на трибуну и заговорил низким, немного хриплым и грубоватым голосом. Речь была коротка, ясна и правдива:

— Граждане! Король снаряжает войско; король идет на все, чтобы укрепить свою власть. Парламент должен упрочить, утвердить власть народа.

— Верно! Верно!

— Да здравствует власть народа!

— Молчите, слушайте!

— В три дня горы серебра, денег и драгоценностей выросли здесь, в Гильдгале. От лица родины говорю вам спасибо, граждане. Эти деньги святые. До последнего пенни пойдут они на то, чтобы организовать сколько-нибудь эскадронов народной милиции. Но послушайте, братья и сестры: это все же очень мало. Несите еще, несите вы, самые бедные, свои булавки, свои обручальные кольца, свои сбережения на черный день, несите в дар вашей родине.

— Мы отдадим все, что у нас есть!

— До последнего пенни, до последнего пенни!

Он сошел с трибуны при радостных кликах толпы. Люди торопливо отдавали свои последние сокровища.

У Нелли глаза были полны слез. Она схватила за руку проходившего мимо Кромвеля и пробормотала:

— Мистер Кромвель... у меня... у меня ничего больше нет...

Кромвель улыбнулся.

— Да ты и без того отдала много. Иди себе домой с легким сердцем и да благословит тебя Бог!

Вдруг Нелли что-то вспомнила и вся просияла.

— Я знаю, что могу еще отдать, мистер Кромвель! Граждане! — крикнула она дрожащим, неуверенным голосом: — сейчас я выйду на улицу и буду петь старые легенды, и пусть прохожие платят мне что могут, а я все отдам в Гильдгаль.

Улыбаясь, Нелли выбежала из ратуши и стала на площади возле столба с прибитой к нему кружкой для бедных.

И, скрестив руки на груди, она запела. Серебристый печальный голос ее западал глубоко в сердца, и странно было видеть эту прилично одетую девушку у столба, где обыкновенно толпились нищие. Вокруг Нелли уже собралась большая толпа.

Скрестив руки на груди и закрыв глаза, пела Нелли печальные, хватающие за душу песни, и в кружку в пользу народной милиции опускались деньги, и была она уже полна... А когда не стало сил больше петь, Нелли пошла домой.

Эдвард Бельфор, как очарованный, слушал на площади пение Нелли. Когда она отправилась домой, он долго еще стоял, смотря ей вслед.

У своего дома Нелли заметила карету лорда Фоклэнда. Из мастерской неслось веселое щебетанье леди Фоклэнд и красавицы Клариссы, к которой, говорили при дворе, он равнодушен. Аромат их крепких духов слышен был даже на лестнице. Переступив порог, Нелли почувствовала себя маленькой, жалкой и чужой среди этого избранного общества.

Смех и болтовня смолкли; голос Фоклэнда сразу оборвался:

— Я здесь только на несколько дней, сэръ Эльмер, чтобы...

Кларисса навела на Нелли лорнет.

— Я, право, не знала, сэр Эльмер, что у вас есть сестра.

Эльмер сдвинул брови.

— Это моя воспитанница, — сказал он резко.

Нелли молча поклонилась. Она думала, что он добавит:

— И моя невеста.

Но он не добавил.

Обе леди стояли рядом и разглядывали неоконченный портрет королевы. С тех пор, как она уехала из Лондона, было ужасно скучно и тяжело среди необузданной толпы, среди дерзких памфлетов и угроз. В этом уютном уголке, среди вереницы знакомых лиц, глядящих из рам, можно было отдохнуть душою.

— Прехорошенькая девушка ваша воспитанница, — сказала Кларисса. — И, вероятно, очень веселая... С вами что-нибудь случилось, милочка, что вы так раскраснелись?

Нелли еще больше вспыхнула от этого насмешливого голоса и молча потупилась.

Леди Фоклэнд, желая ободрить Нелли, ласково сказала:

— Не хочет ли ваша воспитанница, мистер Повэй, принять участие в сборе пожертвований на королевскую милицию?

— Ты слышишь, Нелли?

Голос Повэя звучал раздраженно.

Нелли подняла голову и, глядя прямо в глаза Эльмеру своими ясными, правдивыми глазами, твердо сказала:

— У меня уже ничего не осталось, Эльмер: я все отдала в Гильдгале на народную милицию.

На момент воцарилась гробовая тишина, потом что-то хрустнуло; Повэй в бешенстве сломал муштабель¹. Гости разом поднялись.

— Прощайте, мистер Повэй, — проговорила со смехом Кларисса, — право, я не знала, что вы, верный подданный короля, воспитали у себя такую опасную поклонницу черни!

¹ Муштабель — палочка, на которую опирается во время работы рука художника.

Проводив гостей, Эльмер вернулся в мастерскую. Он подошел к Нелли вплотную, приблизил к ней искаженное бешенством лицо и прошептал, задыхаясь:

— Ну, рассказывай, чего ты там еще натворила? Что ты делала в Гильдгале?

Нелли холодно и спокойно смотрела на него. У нее исчезали и жалость, и страх каждый раз, когда он говорил этим вызывающим тоном. Медленно, отдельно падали слова из ее уст:

— Я отдала мистеру Кромвелю мой золотой и медальон, что ты мне подарил:

— А мой портрет?

Густая краска залила ее щеки.

— Я забыла его вынуть...

В этот момент она чувствовала себя такой виноватой, что скажи он хоть одно ласковое слово, и она расплакалась бы у него на груди. Но Эльмер закричал:

— И мой портрет? Ты отдала мой портрет на поругание этим мерзавцам, продающим свою честь, короля и родину? Ты... ты... я не знаю, как назвать тебя...

Тогда лицо Нелли сделалось смертельно бледным, голос холодно-равнодушным.

— И потом,— сказала она, точно желая добить его,— и потом я пела песни на площади и этим еще собрала денег на милицию.

— Ты... ты?!

Эльмер забегал по комнате, потом остановился перед Нелли и закричал:

— Так ты отплатила мне, Нелли; подумай... ты меня осрамила перед лордом Фоклэндом, первым советником короля.

Нелли смотрела на него широко раскрытыми глазами. Что-то страшное надвигалось на нее. А Эльмер кричал, сжимая кулаки:

— Я знаю, кто тут во всем виноват... Я часто не бываю дома, и ты остаешься на руках у пуританской ведьмы... она тебя портит... я ее выгоню... сейчас... сию минуту!

Он открыл дверь и крикнул в кухню:

— Идония! Идония!

Старуха неторопливо пришла на зов.

— Собирай свои вещи и уходи сейчас же вон... Слышишь? Не то я убью тебя... убью!

Идония попятилась.

Нелли прошептала побелевшими губами:

— Эльмер... и я... и я... уйду с нею...

И ей стало вдруг легко от этих слов. Повэй посмотрел на Нелли жалкими, измученными глазами и показался ей маленьким обиженным мальчиком. Но она пересилила себя и сказала твердо:

— Ты сделал для меня очень много; я благодарна тебе, но все-таки я уйду.

— Нелли, — прошептал Эльмер, хватая себя за голову, — куда тебе уйти? Боже мой... это невозможно... Куда ты уйдешь? К кому? К бунтовщикам?

От него пахло духами, усы его были закручены; затейливо завитые локоны спускались на плечи. А Нелли стояла перед ним такая простенькая, и опять ясно почувствовала, что она ему чужая.

Когда за Идонией захлопнулась в кухне дверь, Повэй одумался и бросился вниз, крича, что вернет старуху, лишь бы успокоить Нелли.

Нелли осталась в мастерской одна. Эльмер вернется не сразу; придется долго уламывать Идонию; а ей тем временем удастся уйти. Но куда? Ах, не все ли равно?

Она обвела глазами мастерскую, потом на цыпочках, точно боясь кого-нибудь разбудить, подошла к одному из мольбертов и отдернула полотно. На нее глянули знакомые глаза, милые и ласковые, глянул Эльмер, как живой. Это он рисовал себя в зеркало. Она наклонилась, поцеловала несколько раз портрет и, задыхаясь от слез, бросилась к лестнице, куда ушли гости. Эта лестница выходила на другую сторону дома, и здесь ее не увидит Эльмер.

Когда Эльмер вернулся в мастерскую вместе с Идонией, он уже не застал там Нелли. На полу валялся холст, сдернутый с портрета. В комнате с отодвинутыми стульями после ухода гостей было пусто и уныло. Но мягко и тепло смотрели глаза Эльмера Повэя из золоченой рамы. Художник подошел к мольберту, оперся на стул и беспомощно заплакал.

Был конец марта.

Уже целый месяц королева жила в Иорке, и жизнь ее казалась окруженною какой-то легендарной тайной, полной обаяния. В городе рассказывали о беспримерной храбрости и обворожительном обхождении Генриеты-Марии, привлекавших сердца даже хладнокровных республиканцев Голландии. Из Голландии ей прислали четыре корабля, военных припасов и войска.

Говорили, будто королева не особенно торопится вернуться в Оксфорд к супругу и не прочь, чтобы война тянулась вечно, а она могла бы вечно повелевать...

В отряде, провожавшем королеву в Иорк, под знаменами Ньюкестля, был и Эльмер Повэй.

С тех пор, как Нелли ушла от него, прошло уже более полугода, тяжелые полгода. Кроме любви, у Повэя было к Нелли еще какое-то суеверное чувство: он верил, что Нелли вдохновляет его и приносит ему счастье. Он искал ее всюду, но не мог найти. И когда Повэй понял, что все поиски его напрасны, он пришел к лорду Фоклэнду и с рыданием рассказал об исчезновении Нелли.

Фоклэнд уговорил его уехать вместе с ним в Оксфорд, где король набирал войска.

Из Оксфорда Повэй был командирован в Иорк, ко двору ее величества. Королева казалась ему великой, славной мученицей.

Утром в конце марта в небольшой приемной королевы собралась толпа офицеров в полной боевой форме. Большею частью это была молодежь. Между офицерами мелькали рясы патеров.

Над толпою на возвышении стояла королева и благословляла по очереди воинов, шедших сражаться за нее, а рядом с нею их благословлял католический патер.

Повэй последним опустился перед королевой на колени.

Вся в серебре, белая, гибкая, стояла она перед Повэем и ласково улыбалась.

— Сэр Эльмер Повэй, твердо ли вы решили идти против бунтовщиков?

— Государыня...

Эльмер вспыхнул. Сладкий голос звучал:

— И вас не пугает, сэр Эльмер Повэй, то насмешливое название, которое придумали бунтовщики войску, собираемому лордом Ньюкеслем? Его называют «армиею папистов» и... «армиею королевы»...

— Я горжусь этим названием, ваше величество, потому что я — папист и слуга королевы.

— Тогда с Богом, сэр Эльмер! Да хранит вас Мадонна и архангел Михаил!

Она подняла руку.

— Благослови вас всех Господь!

Офицеры склоняли головы и выходили из залы благоговейно, как будто из храма...

Через час Повэй мчался во главе небольшого отряда на запад к Корнвалиссу.

Где он ни проезжал, всюду чувствовались следы междоусобной войны. Повэй ловил на лету все, что могло служить на пользу королю и королеве, и старался вербовать недовольных в армию ее величества. Скоро он убедился, что не все провинции настроены враждебно к королю.

Король поднял знамя еще в конце августа; лорд Эссекс, главнокомандующий армией парламента, последовал за королем, чтобы «битвой или другим путем освободить короля от коварных советников и возвратить парламенту», но скоро вернулся на защиту Лондона, испугавшегося слухов о приближении королевского войска. Столицу нельзя было узнать: жители, не разбирая пола и возраста, день и ночь работали на улицах, строя баррикады.

Двадцать третьего октября Повэй впервые участвовал в битве. Часть парламентского войска перешла на сторону короля и тем самым ослабила кавалерию парламента. Силы парламента ослабевали; несколько преданных ему городов сдалось королю без боя.

В Лондоне в это время образовалось две враждующих партии — партия мира и партия войны. К первой принадлежали в большинстве случаев люди состоятельные; ко второй — простой народ. По всей Англии, то тут, то там, вспыхивала война; часто какой-нибудь

богач, набрав себе отряд храбрецов-охотников, начинал военные действия в своих владениях, на собственный риск и ответственность.

Преданность парламенту проявляли западные, юго-западные и центральные графства; королю — северные, восточные и часть юго-западных графств; они простирались узкою и длиною полосою от юга-запада на северо-восток, перемежаясь с округами враждебными; сообщение было крайне затруднительно. Король расположился на зимние квартиры в Оксфорде.

Зимой происходили небольшие стычки и не было ни одного крупного сражения.

Комиссия, отправленная к королю парламентом в марте, не привела ни к какому результату. Король не пошел, ни на какие уступки. Ни король, ни королева не желали мира.

Покинув Эльмера, Нелли не знала, где преклонить голову. Всею бы лучше скрыл ее Уайтфрайрз, но при одной мысли об этом вертепе у нее сжималось сердце холодным ужасом. Тогда она вспомнила о жене богатого пивовара Анне Стэгг.

Нелли застала Анну у громадного чана, где бродило пиво.

— Что-нибудь случилось, девочка? — всплеснула Анна руками, увидев побледневшее личико Нелли.

— Я ушла от Эльмера, мистрисс Стэгг; он рассердился на меня за то, что я была в Гильдгале. Вы не откажетесь приютить меня?

— Ах, бедняжка! — воскликнула Анна. — Мой муж тоже рассердился на меня за Гильдгаль, да и еще за многое... ну, куда я дену тебя?.. Постой, подожди здесь; я сейчас потолкую кое с кем и вернусь.

Жена пивовара вернулась, чтобы отвести Нелли в дом богатого родственника Кромвеля Уоллера.

Нелли никуда не выходила от Уоллера, боясь встретить Повэя. Несмотря на то, что Нелли целыми днями была занята, помогая мистрис Уоллер по хозяйству, на нее находили минуты тоски.

Оживлялась она только тогда, когда к Уоллеру приходил его зять, молодой, но уже известный поэт мистер Томпкинс с красавицей женою. Говорили, что когда-то Томпкинс был предан королеве, и она находила какую-то особую прелесть в его стихах, несмотря на от-

вращение к английскому языку. Говорили, что под влиянием событий поэт перешел на сторону парламента и сделался ярим врагом кавалеров.

Нелли слушала стихи Томпкииса, забиваясь в уголок, и тихо плакала об Эльмере, навеки потерянном для нее.

Скоро она узнала, что Эльмер отправился в Оксфорд к королю. Тогда она поняла, что теперь уже все кончено, и ей стало как будто легче от сознания безнадежности. Но ей мучительно захотелось еще раз воскресить в себе воспоминания былого и посмотреть хотя бы с улицы на то место, где она прежде жила.

Отправившись навестить Анну Стэгг, она завернула к Уайтгалю. Окна мастерской Повэя были наглухо заколочены, и от вида этих досок у Нелли защемило сердце.

Когда Лондон начал готовиться к осаде, Нелли стала часто пропадать. В ней проснулась цыганская душа уличной певицы. Она сделалась оживленной и возвращалась в дом Уоллера с грубыми, покрытыми мозолями руками. Эти полудетские руки целыми днями без устали работали на баррикадах. Днем и ночью на улицах было весело, шумно, оживленно: среди грохота камней, бревен и звона железа громко перекликались голоса добровольных строителей.

Раз, таща тачку с камнями, Нелли столкнулась с белокурый юношей, лицо которого ей показалось знакомым. Она видела его только один раз, но запомнила его ясные и кроткие глаза. Он стоял тогда у стола в Гильдгале, принимая пожертвования на милицию. Столкнувшись теперь с Нелли, Эдвард Бельфор остолбенел и радостно вспыхнул.

— Это вы... — пробормотал он, потом снял шляпу и низко, почтительно склонил перед Нелли голову, как перед королевой...

Они смотрели друг на друга и радостно улыбались.

— Славный юноша, этот Эдвард Бельфор, — сказала Анна Стэгг, — хотя многие его и считают дурачком. Говорят, будто он прежде хотел выпустить из тюрьмы проклятого Страффорда, и отец, комендант Тоуэра, посадил его за это под замок.

С этого дня Нелли каждый день встречалась с Эдвардом, и он неизменно молча и почтительно ей кланялся.

Уныло прошли осень и зима, и снова наступила весна.

В последнее время мистрис Томпкинс стала прихварывать, и часто отнимала от губ платок, окрашенный кровью. Казалось, она гаснет с каждым днем.

В чудесный майский день Томпкинс обедал у тестя. Его жена в этот день казалась особенно бледной. После обеда мистрис Томпкинс почувствовала себя такой утомленной, что решила тотчас же уехать.

И когда она стояла на веранде, со смертельно бледным лицом, кутаясь в длинный бледно-розовый плащ, она казалась похожей на лепестки цветущих яблонь, устилавших дорожки сада.

Подали экипаж; бледная оперлась на руку мужа и, усевшись, улыбнулась.

— Может быть, мне поехать с тобою, дорогая? — спросил Томпкинс.

— Нет, ни за что! Если друзья парламента будут бросать дела из-за малейшего нездоровья своих жен, то тогда что станется с Англией?

Лошади тронулись.

Нелли стояла на веранде, грустно смотря на нежные лепестки цветущих яблонь. Из столовой доносился до нее разговор Уоллера с зятем от слова до слова. Они не замечали ее.

— А Чаллонера все нет, — говорил нетерпеливо Томпкинс.

— Ты боишься за Мэри?

— Да, я хотел бы быть дома пораньше. Сегодня она мне что-то не нравится. У меня есть письмо Чаллонера. Послушайте-ка, что он пишет: «Нас уже не так мало, как вы думаете, мистер Томпкинс: между нами достаточно лордов и членов нижней палаты, много граждан, кричавших прежде так громко: «Долой тиранов». Оказывается, не все такие дураки, чтобы не понимать выгод служения королю и уметь разбираться в парламентских бреднях».

Нелли вздрогнула и, вся холодея, замерла на веранде.

— Как думает поступить Чаллонер?

— Оружия довольно, чтоб вооружить кавалеров... мы овладеем Тоуэром, магазинами, важнейшими постами, арестуем главных вождей палат и, наконец, отроем королю лондонские ворота...

— Смотри, зять, не вздумай устраивать у себя собраний и не проговоришься жене: Мэри вбила себе в голову нелепую идею о святости и непогрешимости парламента. Когда предполагается овладеть Лондоном?

— 31 мая, т. е. завтра вечером. Я боюсь за Мэри; она так больна.

— До завтрашнего вечера непременно увези ее из Лондона, а там все сделается само собою, и она ни о чем не узнает; все будет зависеть от того, в каком свете мы преподнесем ей происшедший переворот. Что нового еще слышно?

— Оливер Кромвель прославился своими нападениями врасплох, — задумчиво сказал Уоллер.

— Да, да, наши родственники, Кромвель и Гэмпден, стоят всех военачальников короля...

— Все это так, милый мой, но ты забываешь, что войска короля состоят из хорошо обученных солдат, а войска парламента... Ни от кого не секрет, что в армии парламентского вождя Эссекса недостаток во всем: в жалованье, в съестных припасах, в одежде.

— Однако, — возразил Уоллер, — о солдатах Оливера рассказывают чудеса: многие из них — дети зажиточных землевладельцев, а между тем они ведут самую суровую жизнь: сами ходят за своими лошадьми, сами чистят оружие и спят под открытым небом.

— Да, если бы такова была вся парламентская армия, — мрачно сказал Томпкинс, — но солдат, созданных дисциплиной Кромвеля, слишком мало; остальные — «сброд Эссекса»; с такими людьми далеко не уйдешь. Оттого-то мы и поторопились с развязкой.

Нелли закрыла глаза и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Рука ее бессильно свесилась с перил, и ветер ронял на пальцы бледные лепестки яблонь.

Когда Нелли вернулась в столовую, там уже не было ни Уоллера, ни его зятя. Только на столе лежало забытое письмо. Оно было раскрыто, и Нелли бросилась в глаза первые строки:

«Нас уже не так мало, как вы думаете, мистер Томпкинс»...

Это было письмо Чаллонера.

Не сознавая ясно, зачем, Нелли сунула письмо за корсаж.

МИР ВЕЛИК, И ОДИНОЧЕСТВО СТРАШНО

Весь вечер Нелли ходила с письмом на груди, полная ужаса и сомнения. Первою ее мыслью было бежать к Анне Стэгг, но грубая прямолинейная жена пивовара могла сейчас же предпринять что-нибудь резкое, решительное, и у Нелли являлась мысль о хрупкой мистрис Томпкинс, которую необходимо было щадить. Ночью она не спала, и письмо под подушкой, казалось, жгло ей мозг.

Настало утро 31 мая.

Мистрис Томпкинс должна была уехать в имение к своему родственнику Гэмпдену до полудня, — об этом Томпкинс уже известил тестя.

Нелли трепетала при одной мысли о том, что, открыв заговор, она подвергнет позору и ответственности дом, приютивший ее, и, может быть, убьет кроткую больную мистрис Томпкинс... Но долг не позволял молчать...

Было совсем светло, когда Нелли подошла к маленькому домику Томпкинса, утонувшему в зелени дикого винограда.

Озабоченная служанка открыла Нелли дверь. Мистрис Томпкинс в дорожном платье показалась на пороге.

— А, Нелли, и так рано! А я думала, что это муж за мною... Иди сюда; я очень тороплюсь кончить укладку. В чем дело?

На губах Нелли появилась жалкая, растерянная улыбка.

— Отчего ты так бледна, Нелли? Ты больна?

В небольшой комнате с раскрытым в сад окном было уютно, несмотря на беспорядок разбросанных перед укладкой вещей. От груди белья и платья пахло слабо и нежно амброю; в окно врывалась цветущая ветка и приносила тонкий и бодрящий аромат весны. И мистрис Томпкинс была как-то особенно красива со своим утомленным нежным лицом и грустными глазами.

— Какое у тебя дело, Нелли? И отчего ты вся дрожишь?

Девочка упала перед мистрис Томпкинс на колени и, рыдая, спрятала лицо в складках ее платья.

— О чем ты? Господи, что случилось, Нелли?

Продолжая рыдать, Нелли рассказала все: нечаянно подслушанный разговор, свой ужас и колебания — и в конце концов показала оброненное письмо Чаллонера.

Бледное лицо мистрис Томпкинс с каждым ее словом делалось все бледнее; глаза широко раскрылись. Она провела рукою по лбу...

— Постой... Тут что-то не так... ведь это же невозможно... и муж, и отец, самые близкие... самые дорогие...

Мистрис Томпкинс несколько раз перечла письмо, задумалась и долго молчала, сдвинув тонкие черные брови, потом наклонилась и обняла Нелли.

— Не плачь. Не мучайся. Ты сделала то, что должна была сделать. И я сделаю то, что должна сделать, потому что у меня уже нет сомнения. Ведь он и прежде, до брака, был предан королеве, его преданность парламенту была, значит, неискренняя... Не плачь же и не оправдывайся... Лучше пойдем... дорога каждая минута...

— Куда мы пойдем, мистрис Томпкинс?

— Куда надо, Нелли. Молчи, молчи... ты что-то говоришь о доме, приютившем тебя? Ты туда уже не вернешься: я увезу тебя с собою в Букингэм...

Мистрис Томпкинс нашла силы распорядиться укладкой вещей. Через полчаса все должно быть готово. Она выдумала целую историю изумленной служанке и, сев с Нелли в карету, велела кучеру во весь опор гнать лошадей к Вестминстерскому аббатству.

Обе палаты находились за обедней в церкви св. Маргариты и слушали проповедь. Вошел церковный сторож и подал Пейму записку. Пейм встал, сказал несколько слов своим товарищам. Кругом слышался шепот:

— Дело государственной важности...

— Уж нет ли новой победы кавалеров?

— Вы видели: Пейм побледнел!

После окончания богослужения перед лицом парламента Пейм объявил, что им открыт опасный заговор.

Тотчас же Лондон был превращен в военный лагерь; главари заговора арестованы.

Мистрис Томпкинс вместе с Нелли уехала к своему родственнику Гэмпдену, даже не простившись с мужем. Уезжая, она оставила на столе записку:

«Перед самым отъездом я случайно узнала об организованном вами заговоре и открыла его парламенту. Я не хочу и не могу вас больше видеть: вы предали мою родину. Мне осталось жить недолго, но чтобы вас ни ждало, об одном молю Бога: чтобы вы хоть когда-нибудь раскаялись».

— Вы плачете, мистрис Томпкинс? Боже мой, вы плачете,— говорила Нелли, сидя в карете рядом с молодой женщиной...

Мистрис Томпкинс притянула девочку к себе.

— Мне сегодня слишком много пришлось отдать родине, Нелли... поплачь же со мною... я так одинока... но... не вини себя, как и я не стану себя винить: иногда для блага родины приходится вырвать из груди сердце.

Обнявшись, они плакали вместе, а карета катилась все дальше и дальше, к зеленой равнине Чальгрева, где они искали в эту тяжелую пору своей жизни приют...

Мистрис Томпкинск и Нелли нашли радушный прием в поместье Гэмпдена. Если бы не это радушие, мистрис Томпкинс сошла бы с ума от тоски; ее день и ночь терзали мысли, что она была причиной ареста отца и мужа. Ее утешала добрая мистрис Гэмпден, на долю которой выпало тоже немало горя и волнений. Смерть сына и дочери согнула преждевременно стан мистрис Гэмпден и посеребрила сединой роскошные волосы, но она сохранила юношеский блеск в глазах и любовь к людям в сердце.

Каждый день в березовые рощи жилища Гэмпдена приносились новые известия о военных событиях.

Сначала шли слухи об успехах корнвалиссцев, преданных королю, потом о бездействии Эссекса. Приходили тревожные записки Гэмпдена о том, что он не ждет ничего хорошего от отступления Эссекса, покидающего прежние позиции у Темзы. Но бывали и мучительные промежутки молчания...

В один из таких дней неизвестности, в июне, мистрис Гэмпден с мистрис Томпкинс сидели у окна залы за работой и молчали, думая свои тяжелые думы. Две

дочери мистрис Гэмпден гуляли с Нелли в саду. Вдруг под окном показался деревенский мальчик, без шапки, весь в слезах; он размахивал руками и кричал, что королевские войска подожгли его деревню. Это было совсем близко, и лицо мистрис Гэмпден покрылось смертельной бледностью.

— Начинается,— сказала она.— Ты ничего не знаешь о мистере Гэмпдене, мальчик?

— Ах, я ничего не знаю о нём... я убежал... вся деревня в огне, и отец мой лежит среди улицы мертвый... и много, много убитых у нас на улицах...

— Пусть кто-нибудь распорядится накормить ребенка,— сказала мистрис Гэмпден.— Нелли, душа моя, что там видно у калитки? Вы были в дальней аллее...

— Зарево видно даже отсюда,— отвечала Нелли.

В самом деле, небо пылало. На грозном алом фоне вырисовывались трогательно очертания берез с их нежной трепетавшей листвою...

Вечером пришло новое страшное известие, что полковник Джон Гэмпден тяжело ранен и лежит в маленькой лачужке соседнего селения. Это известие было скрыто от его дочерей, и мистрис Гэмпден отправилась к мужу вдвоем с Нелли.

Раненый лежал, закрыв глаза. Возле него по очереди дежурили верные солдаты. Он узнал шаги жены, приподнял голову и, морщась от боли, опять опустился на подушки. Она взяла его за руку.

— Не рассказывай ничего, дорогой; я все уже узнала, когда ехала сюда: ты не мог отнестись равнодушно к известию о том, что жестокий принц Руперт сжег мирную деревню, где жили твои друзья-фермеры; ты пошел на принца Руперта, несмотря на малочисленность своего войска.

Гэмпден кивнул головою и потом проговорил слабым голосом, точно оправдываясь:

— Видишь ли, я не мог поступить иначе, если бы я даже шел на верную смерть... Руперт перебрался уже за реку... мы бросились за ним, и я... и я был... был тогда ранен...

— Молчи, дорогой, ты слишком много говоришь...

— Мне не следует молчать. Вся моя жизнь принадлежала семье и родине... Теперь я умираю... не вздрагивай, милая, ведь ты — жена солдата и должна быть

тверда. Я непременно умру; я это чувствую... и вот... остаток дней я должен отдать на то, чтобы оставить советы... семье... и... родине...

Он тяжело дышал...

— Нет, ты не должен думать о смерти... У тебя был врач, и он говорит, что есть полная надежда...

— Да, да, так сказал врач,— рассеянно согласился Гэмпден; казалось, он думал о другом.

— Позови мне сюда кого-нибудь потолковее,— обратился он к одному из солдат,— кто бы мог отправиться сейчас же в Лондон. Мне необходимо послать парламенту мои соображения и расчеты относительно дальнейших военных действий... Ты... ты, дорогая, будешь писать под мою диктовку...

— Но ведь тебе надо беречь свои силы, Джон...

— У меня их еще достаточно, чтобы можно было поделиться с родиной. В моей походной сумке ты найдешь бумагу и чернильницу.

Гэмпден слегка приподнялся; возбуждение придало ему силы; глаза его блеснули.

— А знаешь, кто меня ранил? Это был молодой человек... Я встречал его в Лондоне веселым, жизнерадостным... я никогда не рассчитывал встретиться с ним на поле брани... Оливер Кромвель говорил мне, что он был опекуном Нелли... Это молодой королевский художник Эльмер Повэй.

Нелли, стоявшая все время молча в стороне, схватилась за косяк двери, но не произнесла ни слова...

— Начинаем писать, милая,— сказал спокойно Гэмпден.

Перо послушно закрипело в руках его жены.

Шесть дней невыносимо страдал Гэмпден, и шесть дней он диктовал советы парламенту. Его жизнь до последнего вздоха принадлежала родине...

Врачи не позволяли его трогать, и потому семье не удалось доставить Гэмпдену в эти дни уют привычной обстановки. На седьмой день он умер, скорбно молясь за родину...

Был ясный летний день; задумчиво шумели кудрявые березы и журчали ручьи в тихих рощах... Солдаты несли тело героя с опущенными головами и опущенными дулами ружей, и утренний ветер колыхал зеленые полы их кафтанов. Печально повисли древки свер-

нутых знамен... Гэмпдена несли к маленькой сельской церкви; она стояла неподалеку от его дома, окруженная скорбными ивами, и по суровым лицам солдат капились слезы... Громко звучали слова псалма.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься; уповай на Бога».

Вернувшись с похорон, мистрис Томпкинс нашла письмо из Лондона. Она вся задрожала, узнав почерк мужа. Поэт писал из тюрьмы; он хотел проститься с нею перед смертью; его ждал, без сомнения, смертный приговор.

«Жизнь теперь не имеет большой цены,— писал Томпкинс,— и головы летят каждый день, если не на эшафоте, то на поле брани, а я умру за свою ошибку. Очень рад, что заговор открыт».

Прочтя письмо, мистрис Томпкинс глубоко задумалась. Жизнь уходила от нее быстро; теперь чаще, чем прежде, она отнимала от губ платок, окрашенный кровью... Надо простить друг другу все ошибки, даже преступления, до новой встречи... надо было проводить его на эшафот, если *это* случится... И она решила ехать в Лондон...

— Я должна уехать, дорогая кузина,— сказала она мистрис Гэмпден, утешавшей своих плачущих дочерей,— мне жаль оставлять вас в таком горе; но, быть может, и я через несколько дней надену траур, как вы...

— Возьмите меня с собою,— обратилась к ней Нелли,— не оставляйте здесь!

— Но почему, Нелли? Ты можешь быть гораздо полезнее здесь, и тебя так полюбила мистрис Гэмпден...

Нелли заплакала.

— Я не могу, мистрис Томпкинс, я не могу... Второй раз от меня исходит зло людям, приютившим меня; мистера Гэмпдена убил Эльмер Повэй, мой бывший жених... Возьмите меня с собою, или я убегу.

Они обе уехали в тот же день в Лондон.

Мистрис Томпкинс пришлось проводить мужа на эшафот. Отец ее был помилован. Из пятерых участников заговора казнены были только двое: Чаллонер и Томпкинс. А мистрис Томпкинс, вернувшись после казни в опустевший дом, слегла.

Нелли жила у нее и уходила из дома только к Анне Стэгт, узнавать политические новости.

Смерть Гэмпдена явилась началом бедствий для парламента. Один за другим сдавались королю верные парламенту города. Эссекс смотрел на все эти поражения и оставался все так же медлителен. Король объявил парламент «скопищем бунтовщиков» и запретил ему повиноваться.

Неудачи заставили парламент просить шотландцев о помощи. Приказано было формировать новую армию в восточных графствах; начальство над нею было поручено лорду Манчестеру, а помощником его был назначен Оливер Кромвель. В Лондоне возобновились новые работы на укреплениях.

Нелли стала чаще оставлять больную мистрис Томпкинс, чтобы работать на укреплениях.

В парламенте и народе чувствовалась рознь: особенно резко начали обозначаться две партии — мира и войны. Богатые и знатные граждане ни за что не хотели теперь рисковать своим положением и советовали вступить в мирные переговоры с Оксфордом.

Утром в начале августа большая толпа собралась около Вестминстера. Эта толпа осаждала Вестминстер уже третий день, и с каждым часом она все увеличивалась. В парламенте обсуждался вопрос о мире, а на площади народ кричал:

— Мира! Мира!

— Долой мир! Война до последнего вздоха!

Около трехсот женщин ждали решения парламента. Символ мира — белые ленты развевались на их головах.

Одна из них неистово кричала:

— Мятежники! Клятвопреступники! Вы ведете страну к гибели! Отдайте нам наших детей, которые гибнут на полях битвы!

В это время Нелли проходила мимо с Анной Стэгт.

— Постой, девочка, — сказала жена пивовара, — так и чешутся руки поколотить это дурачье. Что им надо? Мир на гибель себе! Сколько голов падет на площади, когда мы откроем ворота кавалерам? Разве король простит обиды?

Она решительно повернулась к толпе. Нелли схватила ее за руку.

— Мистрис Стэгг... куда вы идете? Боже мой... часовые грозят стрелять, мистрис Стэгг.

Анна показала рукою на лестницу.

— Разве ты не видишь? Там, наверх, карабкается глупая Эмми Сэттон, моя кухня... Ее ведь сейчас застрелит часовой!

Раздавая направо и налево удары кулаками, она протолкалась к самой лестнице Вестминстера. Эмми Сэттон продолжала размахивать прошением, не обращая внимания на вытянутое дуло мушкета часового. Она кричала во все горло:

— Подайте сюда изменников, которые не хотят мира! В клочки их!

Шарф Эмми победоносно развевался в воздухе.

Нелли умоляла:

— Мистрис Стэгг... мистрис Стэгг... уйдемте... Боже мой, стреляют...

Раздались выстрелы; часовые, окончательно выведенные из терпения, дали залп в толпу; из смежной улицы выскочил эскадрон кавалерии с обнаженными саблями. Среди бешено размахивавших рук, среди скачущих лошадей Нелли увидела помертвевшее лицо Анны Стэгг, пересеченное кроваво-красной полосой.

— Мистрис Стэгг, — крикнула Нелли, не помня себя от ужаса, — вас ранили!..

Нелли чувствовала, что и ей заливают глаза и щеки что-то липкое, бежит по носу и губам, но она не обратила на это внимания и, склонясь к Анне Стэгг, подхватила ее и стала тащить из толпы.

У Нелли темнело в глазах; силы оставляли ее; все заволакивалось перед нею серой дымкой, в которой люди и лошади кружились и проваливались, и крики толпы казались уже слабыми, прерывистыми звуками, точно отдаленные удары колокола. И что-то волною подплывало к сердцу... Дотащив Анну Стэгг до первой скамейки, Нелли зашаталась и упала на мостовую.

Она очнулась и увидела, что кто-то заботливо склонился над нею. Точно сквозь дымку видела она золотистые кудри... Неужели это Эльмер Повэй? Не надо, не надо, пусть он уйдет... пусть уйдет...

Тихий голос говорил:

— Да, право же, здесь не Эльмер Повэй... это я — Эдвард Бельфор...

— Спасибо... Ей теперь совсем хорошо... Пустяки... только маленькая ссадинка на темени... Но Анна Стэгг,— неужели она убита?

— Это жена пивовара? Она жива, честное слово; муж унес ее на руках... А вот вас ведь считали убитой, мисс Нелли. Но вы очнулись. Позвольте мне проводить вас до дома, обопритесь на мою руку; вот так; вы ведь можете немного двигаться?

— Конечно, могу.

Они осторожно направились к дому Томпкинса. У двери Нелли протянула Эдварду руку.

— Завтра, если можно, я приду узнать о вашем здоровье,— сказал Эдвард.

Нелли кивнула головой и постучала. Ей открыла нескоро заплаканная служанка.

— Что-нибудь случилось?

Служанка махнула рукою и залилась слезами:

— Мистрис... мистрис...

Нелли бросилась в спальню мистрисс Томпкинс.

Полог кровати больной был откинут. В полутьме комнаты, куда из окна скупно проникали лучи солнца, в высоком серебряном шандале горела свеча, и желтый мигающий огонек терялся как-то странно и жутко в дневном свете. Среди белых подушек лежала, опрокинувшись навзничь, мистрис Томпкинс.

Она умерла...

Ужас охватил Нелли. С рыданием упала она перед кроватью, сознавая, что снова осталась одна в этом огромном мире...

XV

БИТВА ПРИ НЭЗБИ

Ночной мрак еще не рассеялся, и равнина Нэзби тонула в сером сумраке. Длинными прозрачными нитями ложился внизу туман, как будто кто-то чудовищно-огромный расстилал по зеленой траве свои длинные волосы. И когда туман стал убегать, испуганный алой полоской рассвета, на пригорках и в зарослях, у больших камней и пней рвались седые космы ночью-

го мрака, расползались жалкими обрывками, таяли и исчезали...

На высоком холме расположилось королевское войско, поджидая неприятеля. Офицеры двигались между солдатами и коротко отдавали приказания. Эльмер Повэй, вздрагивая от предрассветного холода, бродил между серыми силуэтами обоза. Ферфакс, получивший начальство над парламентскими войсками вместо Эссекса, гнал кавалеров в течение шести дней к северо-востоку от Оксфорда, и солдаты были утомлены. Утренний туман мешал далеко видеть, и казалось, что неприятель потерял след кавалеров. Расположившись в боевом порядке, армия ждала лазутчиков, которые должны были принести известия о Ферфаксе.

Небо разгоралось все ярче. Эльмер Повэй, бродивший в ожидании известий о неприятеле, посмотрел на восток и почему-то вспомнил Фоклэнда, так любившего зарю. Фоклэнд умер два года назад. Он нарочно искал опасностей; междоусобная война измучила его. Как часто, мрачный и молчаливый, сидел он между друзьями, мечтая о мире.

А мир не приходил. Перед несчастной для кавалеров битвой при Ньюбери он как будто предчувствовал скорую смерть и говорил, указывая на алевшее небо:

— Милый сэр Эльмер... какая красота! Вон там, за этой кровавой полосой — мир и тишина, страна вечного блаженства. Надо только решиться перешагнуть через нее...

И прощаясь, он крепко сжал руку Эльмеру.

Фоклэнда нашли на другое утро после битвы среди мертвых лошадей и всадников. Это слишком нежное сердце не выдержало; он переступил кровавую черту, за которою, верил, была страна вечного блаженства. А Эльмер Повэй шел вперед за королем, по дороге, отмеченной огнем, кровью и опустошением.

И опять пылала алая кровавая полоса на небе... Может быть, сегодня Эльмеру придется переступить через нее... Найдет ли он там страну блаженства?

Эльмер обернулся. Король с небольшой свитой стоял на склоне холма, устремив глаза вдаль. На фоне бледного неба вырисовывался его строгий гордый профиль, обрамленный густыми черными волосами, и ветер трепал длинные кудри и полы его походного каф-

тана. Как он устал от этой лагерной жизни! Как тосковал об уехавшей в Париж королеве и о детях своих, разбросанных Бог весть где! Какое у него бледное лицо!

Небо разгоралось все ярче и ярче. Брызнули первые лучи солнца.

По холму почти бегом спешил принц Руперт.

— Ваше величество... лазутчики явились с известиями, что нигде не видно неприятеля...

— Надо ждать, — сказал Карл.

Руперт показал рукою на туман.

— Ваше величество, пока не рассеется туман, мы не увидим горизонта. Неприятель может подойти к нам неожиданно.

— Вы думаете, принц?

— Если позволите, ваше величество, я отправлюсь на поиски с несколькими эскадронами.

Король задумался.

— Не будет ли это излишне и даже вредно, Руперт?

— Ваше величество, я думаю, это будет необходимо...

— Поезжайте.

Карл говорил вяло.

— Приказаний больше не будет, ваше величество?

— Нет... ступайте...

Одинокая скорбная фигура короля осталась стоять неподвижно на ветру, вглядываясь вдаль, где колыхались последние нити уходящего тумана.

Тянулись часы в томительном ожидании.

Был белый день, когда к королевскому лагерю прискакал гонец весь в пыли на взмыленной лошади.

— Ваше величество... Принц Руперт встретил неприятеля в полмили отсюда... Необходима немедленная помощь...

— Как многочисленно неприятельское войско?

— Их более двенадцати тысяч, государь...

— Больше, чем нас, — задумчиво сказал Карл и, выпрямившись, громко крикнул: — Эй, кто там поблизости? Трубите сбор...

Более двух часов принц Руперт удерживал неприятельские ряды. Солнце было уже высоко, когда к нему присоединилось остальное войско короля.

Пелена тумана сползала с равнины Нэзби. Зеленая бесконечная гладь полей, тихая и прекрасная в этот ясный летний день, раскинулась далеко, сливаясь с лазурью безоблачного неба. Убегали вдаль мирные всходы пашен, и когда ветер налетал на них, колосья шевелились, как живые, и по ним пробегали серебристо-седые волны. А с другой стороны мягко зеленели топкие луга с низкою порослью кустарника...

И эту безмятежную картину людской радости, труда и мирной красоты нарушили бесчеловечные крики озверевших от крови людей.

Люди бились отчаянно, насмерть. На зелени лугов носились желтые, оранжевые, голубые, зеленые и красные плащи. Мелькали в воздухе мечи и пики с ослепительными остриями на концах длинных древков; взвивались роскошно-вышитые знамена, сиявшие на солнце серебром и золотом, и притаптывалась яркая зелень сочной травы на лугу, и клонились низко к земле смятые тяжелые колосья, и уже не шелестела веселая нива, не серебрилась, когда волною пробегал по ней ветер...

Бой шел на левом крыле армии парламента. Принц Руперт во главе кавалерии правого фланга напал на парламентскую кавалерию Эйртона с громким криком:

— Королева Мария!

— С нами Бог! — дружно отвечали ему солдаты парламента.

Все смешалось; трудно было что-либо разобрать среди дыма выстрелов. Битва перешла на правое крыло. Могучая черная фигура неслась впереди кавалеристов парламента:

— С нами Бог! С нами Бог!

— Да здравствует Оливер Кромвель!

Бесстрашный, суровый, большим черным пятном выделялся Оливер Кромвель среди ярких плащей солдат. В короткое время он сделался кумиром армии. Кромвель уже выиграл несколько сражений, и у солдат было суеверное убеждение, что битва, в которой он участвует, не может быть проиграна. Отважно вел он своих «железнобоких» в бой.

Дымили фитили мушкетов, трещали заряды, кричали люди...

Как дикий зверь, разъяренный запахом крови, сражался принц Руперт, и был он страшен с остановившимися глазами, полными безумной ярости.

Кромвель направил своих людей против центра, туда, где дрался сам король.

Солдаты Кромвеля двигались с пением псалмов, и среди яростных криков и пальбы странно звучали первые слова молитвы:

«Господь пасет мя»...

Ферфакс летел вперед, с вдохновенным лицом, размахивая шпагой. Кто-то сбил ему шлем; он не заметил, только слегка пригнулся и дал шпоры лошади, помчавшись прямо к отряду королевской пехоты. Один из офицеров предложил главнокомандующему свой шлем. Ферфакс решительно отклонил протянутую руку.

— Не нужно, Дойли, я и так обойдусь. Говорят, эти молодцы неприступны? Вы пробовали их?

— Два раза, генерал, но все безуспешно.

— Хорошо, бейте же их в голову, а я в хвост, и мы сойдемся на середине!

И оба бросились вперед.

Кавалеры отступили... Короля охватило отчаяние; он стал сам во главе единственного оставшегося у него резерва, последнего полка гвардии, и пошел на Кромвеля.

— Проклятие! — крикнул бывший возле него полковник, схватил лошадь Карла под уздцы и повернул ее вправо. — Или вы хотите, чтобы вас убили?

Этот крик был услышан другими офицерами; короля окружили тесным кольцом, и в одно мгновение весь полк повернул тыл к неприятелю; королевские солдаты растерялись и бросились врассыпную.

Король кричал, размахивая шпагой:

— Стой, стой!

Но было поздно; голос Карла заглушал мотив псалма. Парламентские солдаты, не теряя хладнокровия, двигались на измученных кавалеров, окружая их со всех сторон; во главе конницы был Кромвель.

Высоко над головою Карл держал шпагу и, не слушая увещаний своих офицеров, дважды кидался вперед.

— Господи, еще один удар, и день наш!

Но короля уже никто не слушал; никто не трогался с места. Он увидел, что все потеряно. Поле было усеяно трупами; оставшиеся в живых или попали в плен, или спасались бегством. Он понял, что сражение проиграно, и с двумя тысячами всадников, жалким остатком своих полков, бросился по направлению к Лейчестеру, оставив 1000 убитых, 5000 пленных, потеряв почти всех офицеров, всю артиллерию и обоз.

Парламентские войска строились и покидали поле битвы; Ферфакс с Дойли увидели Кромвеля на коленях возле раненого.

— Что вы делаете, Оливер?

— Необходимое дело, — отвечал суровый голос Кромвеля, и он равнодушно продолжал отрывать от рукава своей рубашки белый лоскут, — малый умрет, если не стянуть ему руку. Он и так потерял слишком много крови.

У обоза шли оживленные толки. Говорили о том, что король оставил много ценного; считали знамена, артиллерию, съестные припасы... Дойли прислушивался к голосам и запальчиво закричал:

— Генерал, генерал, вы слышите? Этот дженгльмен уверяет, что знамя, которое вы ему дали подержать, он сам отнял у королевского знаменосца!

Ферфакс засмеялся.

— Оставьте его, Чарльз; у меня довольно славы, и я охотно дарю ему эту честь. Гораздо важнее обратить внимание на кабинетные бумаги короля; мне кажется, здесь мы найдем много важного.

Ферфакс не ошибся; бумаги короля были очень важны.

Торжественно возвращались в Лондон победители. Их встречали с триумфом, как спасителей отечества. Битва при Нээби была самой кровопролитной и решительной с начала войны.

Кромвель скромно умолчал в парламенте о своих заслугах, хвалил Ферфакса, но еще больше солдат:

— Добрые люди служили вам верно. Они исполнены надежды. Умоляю вас не ронять их дух. Желая, чтобы эта битва породила смирение и благодарность в сердцах всех, кто принимал в ней хоть какое-нибудь участие.

И опять был полон народа Гильдгаль, и толпа шумела вокруг, теснясь у дверей и на площади; и опять Кромвель стоял на возвышении, обращаясь с речью к народу.

Громко звучал его голос с трибуны.

— Граждане Лондона! Пусть всякий из вас подойдет и убедится, что здесь не подложные бумаги, а бумаги короля, с его собственной печатью, что это — почерк Карла Стюарта. Вот письмо к королеве... вот к герцогу лотарингскому... вот к королю французскому... ко всем государям Европы... На Англию, на ваше отечество, он собирался призвать чужеземные войска... Отдать родину на растерзание чужестранцам!

— Долой короля!

XVI

ОТДЫХ В ЗАМКЕ РАГЛЭНД

Покинув равнину Нэзби, Карл бродил по границе Уэльса с остатками разбитой армии.

Он нашел радушный прием в замке Раглэнд, резиденции главы католической партии лорда Герберта, маркиза Уорстера. Раглэнд оживился с приездом короля. После несчастной битвы и скитаний Карлу нужен был покой, и богатый старый маркиз Уорстер мог как нельзя лучше доставить ему этот отдых.

Казалось, в Раглэнде царило безмятежное счастье. Даже самое воспоминание о недавних сражениях, о тысячах убитых, о позоре и бегстве короля здесь было забыто.

Раглэнд оглашался с утра до глубокой ночи веселыми голосами. К Уорстеру съехались католики и роялисты из соседних городов и поместий; было несколько лордов и леди даже издалека, и между ними король встретил прекрасную Клариссу. Она немного поблекла, но все еще была хороша; на вещах ее и на карете уже не было гербов герцога Девонширского; на них красовались корона и герб маркиза Уинчестерского, которому она отдала свою руку. Старый маркиз приехал в Раглэнд повеселить жену, насладиться обществом короля и предложить ему свои услуги.

Около двух недель гостил король в Раглэнде и, по-видимому, забыл все неудачи, все горести, терзавшие его сердце. Изобретательность герцога Уорстера была неистощима. Со всего герцогства лесники и охотники сгоняли дичь в окрестные леса и парк Раглэнда, и король никогда не возвращался после охоты без богатой добычи.

Был ясный осенний день. С зарею протяжные звуки французского рожка подняли всех обитателей замка.

Солнце стояло высоко. Зеленым куполом смыкались деревья над головами охотников. Тропинка, просшая кое-где вереском, бежала зигзагом вниз, и в тех местах, где зелень была реже, в просвете виднелась узкая гряда гор, чуть-чуть подернутых дымкой. Сильно парило, и лошади утомились. Издалека слышался отдаленный лай разбежавшейся своры и долгий звук охотничьего рога. Между зеленью деревьев мелькали разноцветные фигуры всадников.

Кларисса ехала рядом с Повэем, опустив поводья своей лошади. Лицо ее было задумчиво; большие пламенные глаза опущены вниз.

— Сэр Эльмер, — сказала она тихо, — вам еще не надоело быть со мною?

— Нет, маркиза, но если мое общество...

— Оставайтесь. Лай собак и крики охотников издали гораздо лучше, чем вблизи. Охота мне надоела, как и все вообще в жизни.

— Разве... разве вы...

Кларисса усмехнулась.

— Вы хотели спросить: разве вы не счастливы замужем, миледи? Я не люблю своего мужа, сэр Эльмер; мне было скучно и одиноко, — он любил меня, — вот и вся история. Но, видит Бог, что на свете нет человека, которого бы я так глубоко уважала, как уважаю маркиза, и это не пустые слова: я могла бы отдать за него жизнь, хотя... — она сухо рассмеялась, — хотя я мало дорожу жизнью.

Она перегнулась с седла; глаза ее совсем близко заглянули в глаза Повэя и загорелись, как в былые годы, когда Кларисса была еще веселой фрейлиной королевы. Белые перья ее шляпы спустились ей на лицо, и рядом с ними волосы ее казались еще чернее, глаза еще глубже и загадочнее.

— Вы знаете, сэр Эльмер, ведь и я любила... да... Я любила лорда Фоклэнда...

— Лорда Фоклэнда? И он...

— Вы хотите сказать: любил ли меня лорд Фоклэнд? — Кларисса засмеялась и покачала головою. — Нет, нет, он даже ничего не знал о моем чувстве. Это было такое скрытое, глубокое обожание, обожание лучшего из людей, с умом таким светлым, со вкусом таким тонким и изящным... Да, да, ему уже ничего не оставалось делать на земле, где будут царить «круглоголовые» мясники и шорники, и он предпочел умереть. Когда он умер, я пришла к маленькой Мод, жене его, чтобы ее утешить, и тут я сказала, что любила ее мужа, и мы плакали вместе, и она дала мне вот это.

Кларисса выдернула из-за ворота своего голубого корсажа медальон на длинной золотой цепочке и открыла его. Из медальона на Повэя глянуло благородное лицо Фоклэнда.

— И мой муж знает об этом, — сказала она тихо, пряча медальон, — но разве к мертвым ревнуют?

Кларисса ехала молча. Повэю показалось, что под опущенными ресницами ее блеснули слезы. Она подняла голову и мягко спросила:

— Ну, а вы, сэр Эльмер... Я помню прекрасную девушку, полуробенка, у вас в мастерской... И вы тогда так неожиданно, так стремительно стали в ряды королевской армии, променяв кисть на шпагу...

По лицу Эльмера пробежала дрожь. Он закусил губу и медленно произнес:

— И я люблю почти мертвую, маркиза, потому что с тех пор, как вы были у меня в мастерской, я не видел Нелли. Она от меня убежала.

— И вы не женились?

— Нет, миледи... — Он помолчал. — Знаете, у меня есть суеверное убеждение, что эта девочка послана мне Богом и что только с нею я могу быть счастлив. Когда она со мною, я работаю, я — весь порыв и вдохновение, нет ее — чахнет, гибнет самый мой талант, темнеет и меркнет жизнь...

Кларисса смотрела на художника с изумлением и участием.

— А впрочем, — сказал Повэй, — не будем больше

говорить об этом... Что вы думаете о посещении королем замка Раглэнд?

Кларисса пожала плечами.

— Я думаю, что король хочет здесь веселиться. Герберты, отец и сын, три года тому назад уже отдали королю большую сумму денег; вероятно, он рассчитывает получить еще что-нибудь; ведь я никогда не могу поверить, чтобы он мог пойти на уступки круглоголовым бунтовщикам, а на Гербертов можно положиться, сэр Эльмер, как и на моего мужа; они — верные слуги короля. Да, король скорее примет смерть, чем пожмет руку одного из лавочников Оливера Кромвеля, точно так же, как и я, сэр Эльмер, если мне придется выбирать между смертью и господством этих людей с красными лицами, мозолистыми руками и запахом дубленой кожи и лука.

Глаза Клариссы вспыхнули прежним блеском; она гордо откинула назад красивую голову и засмеялась.

— Знаете, сэр Эльмер, если это случится, я пойду за лордом Фоклэндом в страну вечного блаженства за красной полосой неба. Потому что жить без блеска двора, без красивой музыки, без статуй, без красоты, утешаться гнусавыми напевами псалмов и вздохами пуритан, сэр Эльмер, скучно, нестерпимо скучно...

В смехе Клариссы звучали слезы; что-то дерзкое, стремительное было в ее взгляде, в смелом взмахе тонких изогнутых бровей. Она сильно стегнула лошадь.

— Ну-ну, сэр Эльмер, а пока это будет, в галоп! В галоп и догоним остальных! Н-ну! Гоп-ла, Джентри!

Лошадь поднялась на дыбы под ударами хлыста и бросилась вперед. Внизу неслись охотники, преследуя оленя. По мягкому ковру зелени, по топким местам, с кочки на кочку, скакал олень, закинув назад прекрасную голову с длинными ветвистыми рогами. Он далеко опередил охотников и несся одинокий и гордый, делая отчаянные прыжки, напрягая последние усилия.

Голубая всадница стремглав летела прямо на него. Прежде, чем Повэй успел перерезать ей путь, Кларисса очутилась перед оленем. Затравленный зверь тяжело дышал и ронял на траву белоснежную пену; в больших глазах его застыли ужас и бешенство. Он шатался. Еще одно усилие, и ветвистые рога со всего размаха ударят

лошадь и всадницу, но Кларисса вынула пистолет и, прицелившись, спустила курок. Олень вздрогнул, шарахнулся в сторону и рухнул на землю, разметав рога. В это время Повэй подлетел к Клариссе.

Она была очень бледна и, растерянно улыбаясь, отвернулась, чтобы не видеть предсмертных судорог животного.

— Вы подвергались большой опасности, миледи... — сказал Повэй..

— Да, да, я знала, — спокойно отвечала Кларисса, — но это-то и интересно. Зато теперь, когда дело сделано, противно смотреть на беспомощное животное.

Выбежавшие из чащи собаки разом набросились на умирающего оленя. Через минуту Кларисса была окружена всадниками.

— Вам еще остается пронзить грудь оленя ножом, — сказал с улыбкою король, любуясь смелостью маркизы.

Кларисса посмотрела на него усталым взглядом и покачала головою.

— Я прошу, ваше величество, принять на себя эту честь, — прошептала она с содроганием.

— Эту честь я уступаю хозяину, — сказал король.

И старый Герберт, герцог Уорстер, взяв у ловчего длинный охотничий нож, быстро прекратил муки животного.

Кларисса улыбалась. Право же, незачем расточать столько похвал и так удивляться; на нее уже и так давно привыкли смотреть как на странную особу... и правда, она не захотела даже надеть маски на охоте, пренебрегая этим обычаем, как и многими другими. Недаром же она так часто говорила, что хотела бы быть женщиной.

— Послушайте, милая Агнеса, отвлеките внимание этих чересчур любезных джентльменов... или вы все еще сердитесь, что я вас вытасила из вашего скучного поместья?

Она говорила, наклонясь к даме, одетой в темную амазонку, с маской на лице. Это была дочь казненного Страффорда, которая со смерти отца всем сердцем привязалась к Клариссе и часто гостила у нее.

Кларисса дернула поводья и помчалась вперед рядом с королем, снова смеясь и болтая, в то время как

часть охотников все еще возилась с оленем. К концу дня пошел дождь, и кавалькада вернулась в замок, презябшая и усталая.

Раглэнд сиял ярко освещенными окнами; у ворот толпились крестьяне, ждавшие возвращения короля. Выйдя на балкон, Карл горстями бросал в толпу мелкие монеты. Было сыро, и в огромном камине под колаком трещали дубовые поленья. Снаружи раздавались громкие крики крестьян:

— Да здравствует король! Многие лета королю!

В зале гремела музыка. За накрытыми длинными столами сидела католическая знать. Лилось рекою вино; десятки слуг разносили изысканные блюда; звенел хрусталь, звенело серебро; сладко пахли заморские цветы, взращенные в оранжереях Раглэнда; смеялись весело леди, сверкая драгоценностями богатых платьев, а старая леди Герберт сидела рядом с королем, царственно величавая и важная, как и ее муж.

И когда кончился пир, под плавные звуки музыки парами двинулись лорды и леди; король выступал впереди, высоко подняв руку леди Герберт, а лорд Уорстер с старомодной церемонностью вел Клариссу.

В роскошной соседней зале были поданы прохладительные напитки, вино, шафранные лепешечки и фрукты. Эта большая комната, вся устланная мягкими коврами и обитая парчою, располагала к послеобеденному отдыху. Кларисса села к клавибордам, и, как всегда, неподалеку поместились ее муж, маркиз Уинчестерский и Агнеса. Оба они почти одинаково обожали Клариссу.

Низким бархатным голосом Кларисса запела:

Белые пчелы саваном снежным
Землю давно устилают;
Стонет метель над холодным покровом,
Вьюга и ветер рыдают...
Бедной земле не забыть еще лета,
Ярких лугов разноцветных,
Рокота речек, пастушьей свирели,
Песенок птичек заветных...
Белые пчелы летят над землею,
Ветер поет и рыдает...
Но о весне и в тяжелой дремоте
Сладко земля все мечтает...

Она кончила и уронила руки на клавиши; жалобный аккорд замер в воздухе, и лицо Клариссы вдруг сделалось бледным до прозрачности, углы губ опустились, и она стала похожа на мраморную статую, плачущую над разбитой урной в парке Уайтгала.

Растроганный король быстро подошел к ней.

— Маркиза,— сказал он тихо,— нет слов, чтобы выразить мои чувства... я понимаю...

Но о весне и в тяжелой дремоте
Сладко земля все мечтает...

Верьте, и для вас, и для вашего короля, и для всех друзей короны настанет полная, дивного расцвета весна! Не правда ли, мои друзья?

Старый маркиз Уинчестер поднял на короля печальные глаза, и в них вспыхнул какой-то теплый огонек.

— Ваше величество хорошо знаете,— сказал он глубоким, задушевым голосом,— что я ваш преданный слуга.

Король протянул ему руку.

— Благодарю вас, маркиз...

Растроганный Уинчестер продолжал:

— Если бы у короля в Англии не было ни пяди земли, кроме моего замка Бэзинг-гоуза, я бы держался в моем замке до последней возможности, зная, что Бэзинг-гоуз будет известен в потомстве, как дом преданности вашему величеству.

Он торжественно поднял дрожащую руку, единственную руку, пощаженную парламентом, и прошептал:

— Да сохранит бог монархию...

— Да сохранит бог монархию,— повторили все, бывшие в зале.

Старый маркиз Уорстер взял за руку Уинчестера.

— Друг мой,— сказал он серьезно,— если падет Бэзинг-гоуз, но останется цел Уорстер, его поместья — в вашем распоряжении, а когда «вернется весна», мы снова станем твердым оплотом трона.

Король о чем-то думал.

— Пора спать,— сказал он, улыбаясь,— я еще раз благодарю моих друзей... До свидания, миледи... До свидания, милорды... Какая сегодня ночь!

Он распахнул окно, и в залу ворвалась струя свежего воздуха.

— Какая ночь! Милый граф, — обратился он к сыну Уорстера. Герберту графу Глеморганскому, — зайдите ко мне перед сном... Нам нужно о многом потолковать...

Он кивнул головою и вышел.

Зала опустела. Все разошлись, кроме старого маркиза Уинчестерского и его жены. Греться у догорающих углей камина было привычкой маркиза; он страдал старческой бессонницей.

Положив ноги на решетку камина, Уинчестер следил задумчиво за синими огоньками, вспыхивавшими тут и там, и кутался в меховой кафтан; Кларисса сидела возле мужа. Оба молчали. В зале стоял полумрак.

— Кларисса, — сказал тихо маркиз, — вы бы поехали в Париж к королеве. В Англии становится слишком страшно жить.

Она живо обернулась.

— Но у нас сильный гарнизон...

Маркиз грустно покачал головою.

— Мне что-то не верится в силу защитников короля, — сказал он. — Идет что-то громадное, сильное, беспощадное, дитя мое. Я стар, а вы молоды, и в Париже вы, может быть, найдете новую жизнь, прекрасную и безмятежную; здесь же я вам дам только одно горе.

Кларисса склонилась перед ним на колени и положила голову ему на грудь. Голос ее звучал робко и нежно.

— Эта рука, — сказала она ласково, беря его неподвижно свесившуюся руку, — эта благородная рука до последней минуты будет защищать меня и... и все, что мне дорого... могу ли я куда-нибудь уйти от нее?

И тихо, почти благоговейно она поднесла руку мужа к губам.

В опочивальне короля в это время шло совещание. Говорил граф Глеморганский.

— Итак, я должен отправиться к наместнику вашего величества, маркизу Ормонду в Ирландию и поднять восстание на защиту королевской власти?

— Ну, скажем, не восстание, — слегка поморщился Карл, — а просто вы наберете армию людей, преданных законному государю.

Глеморган наклонил голову.

— Вашему величеству угодно, чтобы я дал обещание ирландцам признать законной их веру, одним словом, идти на все уступки...

— Ну, да, ну, да,— повторил король, зевая,— обещайте им все, что хотите...

— А относительно папского посла, ваше величество?

— Относительно папского посла? Скажите ему, что я счастлив был бы принести чувства преданности к ногам его святейшества папы и быть верным сыном римской церкви... А главное, дорогой мой, мне нужны деньги, деньги и деньги. Приведете ли вы ирландцев, шотландцев или французов, чтобы усмирить английских мятежников,— это все равно. Пусть они разорят королевство, но я подниму потом развалины и поддержу данную мне богом власть. А теперь идите: скоро рассвет...

Сквозь спущенный занавес едва брезжил свет, когда короля разбудил перепуганный голос дежурного офицера:

— Ваше величество... ваше величество... гонец...

— Гонец... а? гонец? Введите сюда...

Вошел гонец.

— Ваше величество...

— Ну, ну, скорее...

— К Раглэнду идет неприятель...

— Но в Раглэнде отличный гарнизон...

— Государь... лорды вашего величества заперты в западных крепостях... громадные войска мятежников идут отовсюду... из графства Сомерсетского ужасные вести, хотя и смутные... на севере союзное шотландское войско уже захватило Карлейль и движется на Герфорд.

Король молча слушал, широко раскрыв глаза. Сладостный сон Раглэнда, длившийся более двух недель, кончился. Надо было опять пускаться в скитания.

В Бэзинг-гоузе стало особенно уныло, когда оттуда уехала к своей матери Агнеса Уэнтворт. Бэзинг-гоуз с его гарнизоном, с ежедневными военными перекличками и барабанным боем стал походить на суровый лагерь.

Стоял октябрь; в замке было холодно. Кларисса сидела у огня, рядом с мужем, кутаясь в теплый плащ, подбитый соболем. Склонив голову на руку, бледная и печальная, она рассеянно играла в триктрак¹, но мысли ее были далеко... Иногда она отрывалась от игры, чтобы поправить теплое меховое одеяло на ногах маркиза или помешать угли в камине.

Издали слышались голоса офицеров, наполнявших теперь весь замок. Каждый день собирались они за обедом и ужином в большой зале, у всех были пасмурные лица, и с ними становилось еще скучнее.

Тревожно прислушивалась Кларисса к команде, и от этих коротких приказаний, от звуков раздраженных голосов еще тяжелее становилось на сердце. А в трубе жалобно и печально гудел ветер...

Кларисса взглянула в окно. Там виднелась черная земля с замерзшими лужами; сверху медленно падали крупные хлопья снега.

— Вы так рассеянно играете, Кларисса, — сказал маркиз Уинчестер.

— Да, да, — нервно отозвалась молодая женщина, и слезы зазвучали в ее голосе, — мне кажется, что кругом меня все рушится, и я... и я так боюсь за вас...

— Вы бы уехали в Париж, дорогая...

Кларисса с упреком посмотрела на мужа.

— Каждый раз, когда мне становится грустно, вы посылаете меня в Париж.

Она опустила у ног маркиза на мягкий мех медвежьей шкуры. Резкими нотами прозвучал ее голос.

— Дела короля ведь очень плохи? Три месяца назад, гостя в Раглэнде, мы были бодры, почти веселы. Мы тогда крепко верили в силы монархии. Как весели-

¹ Модная в то время игра в стеклянные шарики.

лись мы эти пятнадцать дней! А потом стали сдаваться бунтовщикам крепости, одна за другою... В августе Лесли с шотландскою кавалерией пошел на помощь парламенту против Монтроза, одерживавшего победы в честь короля, и шотландские города, с Эдинбургом во главе, открыли перед ним ворота.

Маркиз кивнул седою головою, и потухшие глаза его вспыхнули:

— Да, да, славные победы Монтроза!

— Но король не был ослеплен этими победами. Он спешил на помощь принцу Руперту, отстаивавшему Бристоль, самую важную крепость.

— Ах, Бристоль! — сказал маркиз горестно.

— Бристоль сдался в сентябре?

— В сентябре, Кларисса.

— Перед тем, как он пал, мы снова видели его величество в Раглэнде проездом, но это были уже дни глубокой печали... Разгневанный король не хотел видеть племянника...

— Если бы понадобилось вылить по капле всю мою кровь, Кларисса, — отозвался маркиз, — и этим избавить страну от позора сдачи крепостей бунтовщикам, я бы не задумался...

Кларисса покачала головою и усмехнулась.

— Ничего не вернешь и ничего не сотрешь со страниц истории. Не забудешь несчастную битву у границы Шотландии в Эттрикском лесу, где Лесли обратил Монтроза в бегство, не сотрешь обиду сдачи более десяти славных крепостей...

— А от Глеморгана нет никаких известий, Кларисса... Что он делает в Ирландии?.. Ну, я пойду, Кларисса... простите... мне нужно узнать, что делается среди гарнизона. Нет ли каких приказаний от короля... Как скверно быть стариком, да еще больным стариком, дорогая!

Сидя на медвежьей шкуре в полутьме осенних сумерек, Кларисса смотрела на рассыпавшиеся в камине угли и, обхватив колени руками, монотонно повторяла слова привязавшейся к ней откуда-то песенки:

Никого не любить,

Ничего не хранить,

Точно ветер в горах, быть свободной...

Ничего не желать,

Ни о чем не мечтать,
Быть, как льдинка, бесстрастно-холодной...

Она засмеялась. На глазах ее выступили слезы. Когда-то в Уайтгале, в круговороте придворной жизни, она мечтала о счастье, а потом... все, что было прекрасного на земле, погибло... Умер тот, кто казался прекраснейшим из людей, лорд Фоклэнд, умер, твердя о мире... Погибло все; осталась только честь.

Быть, как льдинка...

Кларисса не докончила и вскочила, услышав глухой шум, похожий на отдаленный рокот моря. Что это? Неужели это взбунтовались солдаты? Маркиз... где маркиз? Они убьют его... Она смотрела в темноту анфилады комнат, погруженных в сумерки, и прислушивалась. До нее донесся взволнованный голос мужа:

— Их много, капитан?

Это говорят на сторожевой башне. Кларисса чувствует даже струю холодного воздуха, ползущую к ногам. Молодой голос капитана отвечал:

— Войско большое, ваша светлость, и с ним сам Кромвель.

— Все по местам, капитан. В порядке ли боевые припасы?

— В полном порядке, ваша светлость.

— Поставьте у пушек надежных людей. Вы говорите, сегодня ночью Бэзинг-гоуз будет обложен?

— Точно так, ваша светлость.

Клариссе казалось, что она видит нелепый сон. Неужели опасность так близка? Неужели что-то изменит монотонную жизнь Бэзинг-гоуза?

Угли гасли и снова вспыхивали, и тепло от них ласкало ее бледные холодные руки. На сторожевой башне торопливо двигались люди; по всему замку слышались голоса. Кларисса повторяла неотвязную песенку:

Ничего не желать,
Ни о чем не мечтать...

— Неужели еще короткий миг жизни, и смерть придет и прекратит муки неудовлетворенных желаний, и эту скуку, эту вечную серую скуку блестящего гнезда старой аристократии?

В дверях уже толпились слуги и приживалки, непременные атрибуты каждого замка, где ест, пьет на чужой счет и учится подслуживаться мелкое дворянство. Сегодня с утра Кларисса объявила, что хочет быть одна; она не в силах слушать глупую болтовню, когда так тяжело на сердце... Ну, а если придут бунтовщики? Что она потеряет тогда, кроме своей никому не нужной, маленькой, скучной жизни?

Перед нею стоял маркиз и смотрел на нее с грустным участием.

— Подите к себе, дорогая, и будьте спокойны; пока нет никакой опасности; гарнизон силен.

Маркиз нежно поцеловал ее в лоб. Она направилась в капеллу, но и там не могла привести в порядок мысли; в голове все еще вертелись слова:

Ничего не желать...
Ни о чем не мечтать...

— Ах, боже мой, хоть бы уж скорее конец...

Кларисса стояла на коленях перед Мадонною, но мысли ее были далеко. Она думала: вот придут они, эти новые люди, дерзко сбрасывающие покров со старого строя, эти «кровельщики и кузнецы» ковать новую жизнь. Имеют ли они право разрушать то, что не создали? Пускай люди, занимающие место на жизненном пиру, и лживы, и ленивы, и испорчены; но они создали яркую, красочную жизнь, полную красивых наслаждений, а они, что дадут они взамен? Ничего, кроме куска хлеба, потому что они не понимают красоты; они считают ее или лишней, или греховной.

Грозный и страшный Кромвель решил уничтожить последние остатки сопротивления и обложил Бэзинггоуз.

Кларисса поднималась на главную башню и смотрела вниз на войско неприятеля. На обширном пространстве печального обнаженного поля белели раскинутые палатки. Было мучительно жутко в замке, и старый маркиз каким-то новым торжественным голосом окликал жену:

— Уйдите с башни, маркиза; неожиданный приступ, и в башню полетят пули и ядра; не годится шутить во время войны.

Кромвель готовил свое войско с тою особенной строгой суровостью, с которой всегда начинал «святое дело войны». Солдаты приготавливались к осаде долгими молитвами, и когда в Бэзинг-гоузе открывали окна, из-за вала был слышен протяжный напев псалмов:

«Возлюблю тя, Господи, крепость моя... Господь — утверждение мое и прибежище мое»...

В молочно-белом осеннем тумане таинственно и неясно мигали огни костров.

Маркиз говорил в зале с офицером, заведовавшим съестными припасами Бэзинг-гоуза:

— Много еще осталось?

— Не так много, ваша светлость, но если употреблять с расчетом, то можно продержаться еще недели две.

Как только офицер вышел, Кларисса обратилась к мужу:

— Мой друг, прикажите сократить число блюд за нашим столом.

— Но, Кларисса...

— У вас плохой аппетит, мне же все надоело, и от сидячей жизни я начинаю безобразно полнеть...

— Но, Кларисса, вы страшно похудели...

— У меня нет аппетита.

Через день тот же офицер заявил, что вода в колодце иссякла, а новой достать неоткуда, — нет возможности выбраться за стены Бэзинг-гоуза. Стали собирать лед и снег, растапливали и пили талую мутную воду. Нестерпимо было слушать слезы и оханья дам Бэзинг-гоуза. Потом Кларисса стала замечать перемену, происшедшую между слугами.

Раз, проходя потихоньку от мужа, на сторожевую башню, она услышала разговор сторожа с солдатом, дежурившим у орудий. Артиллерист говорил:

— Ты думаешь, мне не надоела вся эта возня? Хоть бы скорее сдался замок. Все равно ему крышка; только зря терзают людей. Скоро выйдут все припасы... Вчера со стены, по ту сторону рва, я видел своего родного брата свинопаса; он пристал к клобменам¹. Уж у них

¹ В то время по всей Англии бродили толпы вооруженных поселян; они приставали то к той, то к другой партии. Им хотелось отклонить от своих сел и полей опустошение войны, и они нападали на всякого, кто подавал им повод бояться себя. Эти шайки назывались клобменами.

были стычки с парламентским войском, их здорово поколотили, и теперь он присоединился с товарищами к отрядам Кромвеля.

— Значит, Бэзинг-гоузу скоро конец?

— Понятно. А ты думаешь, я пойду против родного брата? Не стану же я стрелять в него! У каждого из нас найдутся братья за рвом...

Кларисса не рассказала о слышанном разговоре мужу. Не все ли равно? Гибель идет несомненная, и ее ничем не удержишь; пусть тешится этот старый ребенок мечтами о победе, о могуществе дома Стюартов.

Маркиз упрямо твердил каждый день:

— У нас еще порядочно сил, милая Кларисса, а там придет подкрепление, и мы разобьем шайку бунтовщиков, потому что Господь не может не защитить правое дело...

Кларисса слушала и низко опускала голову.

Кромвель пошел на приступ раньше, чем думала Кларисса.

Весь этот день летали ядра из неприятельских мортир; им отвечали тем же из бойниц Бэзинг-гоуза, и когда была пробита первая брешь в старых стенах крепости, маркиз все еще кричал:

— Еще немного продержаться, друзья мои, и придет подкрепление! За короля, за короля! Его хранит Господь!

Женщины, сбившись в кучу, плакали; одна из них уже говорила молчаливой Клариссе:

— Если бы маркиз согласился скорее сдать Бэзинг-гоуз... Ведь сопротивление, в сущности, бессмысленно... А Оливер Кромвель вовсе не так уж свиреп; ходят слухи об его благочестии... он делает много добра... возможно, что он будет великодушным победителем...

Маркиз вернулся в залу с укреплений бледный, с широкой красной полосой на лбу.

— Пустяки, — сказал он, — сорвало слегка со лба кожу. Господь прогневался на нас; наши люди уже плохо держатся и едва в состоянии защищать стенные бреши... Я пришел на одну минуту: соберите, Кларисса, все ценное... на случай сдачи...

Он ушел, шатаясь, а Кларисса не тронулась с места...

Тянулась томительная ночь; свистели пули; грохотали ядра; кричали обезумевшие от ярости люди... К середине ночи все было кончено; неприятельские войска ворвались в замок...

Маркиз вбежал в залу с перекосившимся лицом. Одна рука у него беспомощно болталась, другую с обнаженной шпагой он пробовал защитить жену. Позади слышались приближающиеся крики...

— Ваше оружие, маркиз.

Уинчестер обернулся на голос и высоко взмахнул шпагой. Кто-то крепко сжал ему руку выше кисти, и шпага упала на пол.

— Оливер Кромвель, — прошептал маркиз.

Кромвель выпустил руку маркиза.

— Увести пленного! — громко крикнул Кромвель своим людям.

Тогда маркиз сорвал с себя красную повязку, знак королевской партии, и, потрясая ею, как знаменем, воскликнул во всю полноту груди:

— Да здравствует король!

Силы его оставили, и он упал в глубоком обмороке на руки подхвативших его солдат.

Кромвель только теперь заметил неподвижную женскую фигуру, прислонившуюся к стене. На прекрасном лице женщины не было ни страха, ни страдания. Но едва Кромвель сделал к ней шаг, как рука ее протянулась с направленным на него дулом пистолета.

— Вы не дотронетесь до меня, — сказала она спокойно, — лучше прикажите меня сейчас тут же расстрелять.

— Миледи, — так же спокойно отвечал Кромвель, — я не расстреливаю женщин.

— Что же вы оставляете этим несчастным, отнимая все, чем они до сих пор жили?

— Я оставляю им жизнь и возможность сделаться добрыми гражданами.

Кларисса сухо рассмеялась.

— Подите расскажите это добрым женам пекарей и поденщиков, мистер Кромвель.

Она обвела глазами залу, полную тяжелой роскоши прежних веков, и усмехнулась.

— А что оставляете вы мне, мистер Кромвель, в этом новом строе господства английских мясников?

Дочь герцога Девонширского и жена маркиза Уинчестерского тесно связана с старым миром, ненавистным вам, а потому...

Рука Клариссы быстро повернула пистолет дулом к себе; раздался короткий звук выстрела, и стройная фигура ее без стопа рухнула на пол.

Кромвель снял шляпу и сказал дрогнувшим голосом:

— Пусть офицеры поднимут тело маркизы; погребение должно быть совершено с торжественностью; о смерти маркизы я объявлю ее супругу сам. Пойдите. С маркизом обращаться с полной почтительностью. Кто не исполнит моих требований, тот отвечает мне головою.

XVIII

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ШОТЛАНДЦЕВ

Дело короля всюду рушилось. Одна за другою сдавались крепости, переходили в руки парламента города. Для многих становилось ясным вероломство Карла.

Карл позволил своему наместнику в Ирландии арестовать графа Глеморганского, после того, как открылись замыслы последнего, набрасывавшие тень на короля, и отрекся от него в указах, данных палатам. Впрочем, Глеморган был вскоре выпущен. Почти через два месяца, в марте 1646 года, пал Уорстер. Карл начал с парламентом переговоры о распущении войск и о своем возвращении в Уайтгаль. В ответ на это парламент выпустил указ, которым присуждал смертную казнь всякому, кто, прямо или косвенно, будет находиться в сношениях с королем. Запрещена была всякая пощада ирландцам, захваченным в Англии с оружием в руках; их сотнями расстреливали и кидали в море.

В апреле Оксфорд был обложен войсками парламента. Карл предлагал сдаться, с условием, чтобы ему гарантировали неприкосновенность его личности, но получил отказ, и ему не оставалось ничего иного, как искать убежища в лагере шотландцев, на преданность которых он рассчитывал, как шотландец по происхождению. Он бежал в Кельгэм, их главную квартиру;

шотландское войско двинулось к границе своего отечества — Ньюкестлю, имея в авангарде короля.

Карл вполне доверился нации, не подозревая, что она в это время уже ведет торг его головою.

Из Лондона явилось к королю посольство с условиями, при которых Карл мог бы вернуться в столицу. Король нашел эти условия унижительными и отвергнул их. С каждым днем положение его делалось все тяжелее; шотландцы не позволяли ему перейти границу, если он не присоединится к ковенанту.

Уже восемь месяцев Карл жил среди шотландцев. Было январское воскресное утро 1647 года. В этот день король собрался в церковь.

Он чувствовал себя пленником в Ньюкестле. За ним всюду бродили шпионы; письма его перехватывались; к нему допускали лиц с большим разбором; уже многих казнили за то, что они поднимали оружие на защиту короля. Королю приходилось играть комедию величия, чтобы поддержать достоинство своего сана, и он выдавал приказания тайных тюремщиков за свои собственные веления.

В церкви Карл прошел за колонну, в укромное место. На Карла были устремлены сотни глаз. Вид этого бледного, поседевшего короля с глазами, полными бесконечного страдания, вызывал в сердцах глубокую жалость.

Служба кончилась. Толпа хлынула к выходу; на церковной паперти какой-то оборванец, низко кланяясь, протянул королю деревянную чашку за подаянием.

— Во имя Христа, — прозвучал его голос, показавшийся слишком знакомым Карлу.

Опуская монету в чашку нищего, король почувствовал в руке крошечную записку. Добравшись до своей квартиры, Карл прочел:

«Государь! Много раз я добивался аудиенции у вашего величества, но напрасно; письма мои, очевидно, тоже не передавались вашему величеству, и потому, теперь я решился, переодевшись нищим, передать вам эту записку лично. Государь! Ваше величество ожидает величайшее испытание: мятежные изменники, слуги парламента, продали вашу судьбу, а с нею и свою честь; шотландцам назначено 400.000 фунтов стерлингов за

выдачу королевской особы; комиссары не сегодня-завтра должны приехать в Ньюкестль, чтобы везти ваше величество в замок Гольмби, но клянусь честью, что государю нечего тревожиться за свою участь: друзья монархии откроют двери темницы. Составлено уже много планов, исполнение которых предвидится в самом непродолжительном времени, но писать о них в письме неудобно... Да хранит Господь моего государя, и да верит его величество в преданность своих друзей.

Верноподданный вашего величества и покорный слуга *Эльмер Повэй*.

Руки короля дрожали, когда он читал письмо; прочтя, он бросил его в камин и презрительно опустил углы губ. Участь его была уже решена — 400.000 фунтов, горько засмеялся Карл, нельзя сказать, чтобы эти неучи высоко ценили голову монарха!

Он позвонил и высокомерно сказал вошедшему слуге:

— Шахматы и кого-нибудь из лордов для игры.

Явился командир полка, шотландский граф Левен. Король с ожесточением накинулся на шахматы. Резкими движениями двигал он по доске фигуры.

— Еще ход... так... опять я... ну, чего же вы задумались, граф? Или до сих пор вам удавалось легко побивать только пешек и в лучшем случае — коня; что же касается до высокого сана короля... послушайте, я думаю, что королевский сан спасает от удара?

— Я не совсем понимаю ваше величество...

— О, да, граф, вам трудно понять меня... я говорю, конечно, о шахматах, а не о живых людях. Итак, продолжайте игру. Кажется, моя королева в большой опасности...

Руки графа Левена дрожали.

— Государь, — начал он, — я старый солдат и начальник над здешними отрядами, и мне досталась неприятная обязанность объявить вашему величеству...

Король пожал плечами.

— Если вы имеете мне что-нибудь сообщить, то сначала кончите партию.

Когда игра была кончена, король, улыбаясь, сказал:

— Ну, вот, и королеву не пощадила преданная рука графа Левена. Я проиграл. Теперь расскажите мне то, что вы хотели. Может быть, мне опять придется проиграть?

Левен потупился.

— Ваше величество, — пробормотал он, — мне приходится взять на себя весьма тяжелую обязанность говорить о постановлении английского парламента. Ваше величество не выразили согласия присягнуть ковенанту Шотландии, и потому мы не можем провезти вас через границу, не имея на то разрешения общего собрания, между тем войско наше возвращается домой... Поэтому мы поручили заботиться о дальнейшей судьбе вашего величества английскому парламенту...

На губах Карла появилась насмешливая улыбка.

— Мои верные шотландцы взяли слишком мало за это посредничество.

— Что вы этим хотите сказать, государь?

— Я просто нахожу, что 400.000 фунтов стерлингов, граф, не такая уж большая сумма. Какое же место выбрали англичане для обеспечения безопасности своего монарха?

— Замок Гольмби, государь.

— А, замок Гольмби! Они выбрали место для своего короля, утомленного походной жизнью, подальше от шумного Лондона.

Он на минуту задумался.

— Вашему величеству угодно сделать распоряжение относительно сборов к отъезду?

Карл выпрямился. Его везли пленником в Гольмби. Самолюбие говорило ему, что до последнего момента он должен разыгрывать роль свободного властелина, и он сделал повелительный жест рукою:

— Когда сюда прибудут комиссары парламента, граф Левен, я объявлю им свою волю. А теперь я больше не держу вас.

Левен ушел, а Карл погрузился в размышления.

Письмо Повэя не выходило у него из головы, и каждый час он ждал своего освобождения.

Но проходили дни и не приносили королю желанной свободы... Шотландцы крепко стерегли царственного пленника в Ньюкестле.

23 января в Ньюкестль прибыло девять комиссаров, и последняя надежда на бегство исчезла у Карла. Он принял их спокойно, почти весело, и говорил, протягивая руку для поцелуя:

— Добро пожаловать, милорды. Приятно видеть в добром здоровье графа Пемброка; суровое время года не отразилось на нем, несмотря на его годы. Вы не утомились, граф?

— Благодарю, ваше величество, я чувствую себя вполне бодрым.

— Это хорошо. А каковы дороги? Что скажет о них граф Денби, так любивший всегда комфорт?

Денби поморщился.

— Дороги ужасны, государь; близ самого Лондона нам пришлось заблудиться и переночевать в открытом месте; кругом топь, которая делается невозможной, едва только наступает оттепель; кареты наши вязли в грязи, а те, кто ехал верхом, пробирались по лугам, до края седел в воде. Один разносчик утонул в грязи около Ньюарка.

Король засмеялся.

— Неприятное мне предстоит путешествие, милорды, но эта неприятность искупается тем, что, наконец, я могу сблизиться с парламентом. Я рад. О дне отъезда мы еще успеем поговорить, а пока я распоряджусь, чтобы вам был оказан хороший прием и отведена удобная квартира.

День отъезда настал скоро. Ньюкестль был сдан английским войскам; шотландцы стали собираться восвояси. Карл под прикрытием кавалерийских отрядов направился к югу.

Пришлось ехать больше месяца. На бесконечных, унылых дорогах пленника Карла, запыленного и измученного, встречали толпы народа, как настоящего все сильного короля.

Вблизи Ноттингэма Карла встретил главнокомандующий парламентскими войсками генерал Ферфакс. Он сошел с лошади, поцеловал руку королю и почтительно проводил его по всему Ноттингэму.

16 февраля король подъехал к Гольмби. Судьба точно смеялась над ним. Его везли пленником в замок и в то же время ему оказывали царственные почести.

Не доезжая до Гольмби, Карл увидел издали густую толпу, выстроившуюся шпалерами по обеим сторонам дороги. Из-за дворян, старавшихся поймать мимолетний взгляд короля, тянулись к нему простые, бедно одетые люди. Солдаты пробовали разгонять толпу, но она не расходилась: в народе еще крепко жил древний обычай просить короля облегчить страдания больных золотухою. По преданию, короли были одарены от бога чудесным даром исцелять эту болезнь.

Королевская карета остановилась; Карл открыл дверцу и выглянул на дорогу. Со всех сторон к нему потянулись руки просивших об исцелении; со всех сторон слышались вопли и благословения:

— Да здравствует его величество король Карл!

Нищие с плачем показывали свои изъязвленные руки и стонали:

— Много лет подряд мы ждали тебя, как солнца, и не могли дождаться... Дотронься до нас, дотронься, и мы будем здоровы.

Женщины прижимали к себе окоченевших от холода детей, завернутых в жалкое тряпье, с бледными, истощенными лицами, плакали и звали:

— Ты пришел спасти нас! Коснись только пальцем наших детей, и они будут здоровы!

— Посмотри на моего крошку, король; он умирает от страшного недуга; в нем уже нет ни капли чистой крови, но ты дотронешься до него, и он оживет и будет петь и смеяться... Коснись! Коснись!

— Коснись! Коснись!

Карл протягивал руку и дотрагивался по очереди до всех, кто жаждал от него исцеления. И они уходили, плача от радости. И когда лошади тронулись, вслед удаляющейся карете раздались громкие крики:

— Да здравствует король!

А впереди уже виднелись тяжелые башни Гольмби и новые толпы народа, жаждавшего хоть на момент увидеть короля. Навстречу ему неслись новые крики:

— Коснись, коснись нас, король, и возврати нам жизнь и здоровье! Коснись!

Был август; нарядная осень осыпала золотом дорожки сада скромного дома, выходявшего фасадом к собору св. Павла. Два человека с лопатами работали в саду, разгребая листья и сваливая их в кучи. На эту работу смотрела из окна молодая девушка.

Один из молодых людей в солдатской куртке подошел к окну и протянул девушке пучок цветов.

— Это последние полевые цветы, которые мне удалось собрать, мисс Бетси. Я чуть-чуть не забросал их листьями. А вы опять очень бледны, мисс Бетси. Не закрыть ли окно?

— Нет, нет... в саду тихо, и я так люблю шелест листьев и запах осени, Ричард. И потом, я жду у окна возвращения отца с матушкой!

Ричард Арнелль вздрогнул.

— Позвольте пожелать вам всего лучшего, мисс Бетси.

Бетси Кромвель внимательно взглянула на юношу.

— Отчего с некоторых пор ты точно избегаешь отца?

Арнелль потупился.

— Мне надо идти, мисс Бетси...

— Я не могу тебя так отпустить, Ричи... Твоя сестра выходит в Гунтингдоне замуж; тебе нужен отпуск и деньги. Надо напомнить об этом отцу.

— Благодарю вас, мисс Бетси, но мне не нужны деньги, и отпуска я взять не могу.

Голос Бетси дрогнул.

— Разве мы тебе чужие, Ричи? Разве не мой отец взял тебя маленьким мальчиком, когда ты остался сиротой? Мы играли с тобою вместе и вместе плакали над страданиями наших земляков, когда бедную страну, во время постоянных наводнений, заливали воды Кема.

Арнелль опустил голову.

— Все это было, мисс Бетси.

— Помнишь, мы часто сидели с тобою на берегу Кема, смотрели на сердитые валы и думали о неспра-

ведливости жизни, заставлявшей терпеть столько нужды и горя бедным людям?..

— Помню, мисс Бетси.

Она задумчиво перебирала на подоконнике цветы. Арнелль еще ниже опустил голову.

— Мисс Бетси...

— Бедная страна, бледные, изможденные люди болот Кема! Вечный туман, грязь и сырой, тяжелый воздух родины, давший народу Оливера Кромвеля! Помнишь, как отец мой брал на руки крошечных дрожащих от холода детей фенменов¹ и приносил их к нашему очагу погреться... В нашей стране не было человека, не уважавшего Оливера Кромвеля!

— Я все это знаю, мисс Бетси! — прошептал с тоскою Арнелль.

— А во время пожара отец вынес тебя из горящего дома; ты заснул у него на коленях, а он не смел шевельнуться, чтобы не побеспокоить твой сон... Он тебя определил в полк Ричарда Лильборна, известный свою храбростью...

— Я честно сражался, мисс Бетси, и я хорошо помню добро. Если бы вся армия взбунтовалась и решила убить вашего отца, я бы никогда не дотронулся до него... я лучше убил бы себя...

Бетси вскочила. С изумлением, почти с ужасом смотрела она на Арнелля.

— Послушай, Ричи, что ты говоришь? Разве...

Арнелль не успел ответить. Совсем близко из боковой дорожки вышел Эдвард Бельфор.

— Мисс Бетси, — говорил Эдвард, радостно улыбаясь, — мы окончили уборку как раз к возвращению ваших родителей. Молодежь пошла им навстречу.

Послышались веселые голоса, и в конце дорожки, у калитки, показалась высокая широкоплечая фигура Кромвеля. Он вел под руку жену, некрасивую и незначительную блондинку с увядшим лицом.

Мистрис Кромвель опустилась на скамейку, обмахиваясь ввером и изнемогая от усталости. Через минуту возле скамейки собралась вся семья: подвижная маленькая старушка — мать Кромвеля, четыре дочери, два сына; к ним присоединился Эдвард Бельфор и мистрис

¹ Обитатели болот, от английского слова Fens — болото.

Лайль с Нелли Фельтон, жившей у Кромвеля после смерти мистрис Томпкинс.

— Я рада, — говорила мистрис Кромвель, — что, наконец, дома, дайте отдышаться. Сестра ваша осталась в Гэмптон-Корте, ну, а я скорее домой... устала до смерти... Что за парк, что за дворец в Гэмптон-Корте! Глаза разбежались от всего этого великолепия кружев, атласа, бархата и шелка... Король живет в полном блеске. Нельзя даже подумать, что он — пленник парламента. Его окружают разодетые, как куклы, вельможи и художники...

— И художники? — встрепенулась Нелли.

— Да, да... Сколько я видела картин! В каких прекрасных золотых рамах... А потом сад... Вот, Бетси, тебе бы посмотреть. И такая жара в оранжереях, что я стала пыхтеть, а придворные короля засмеялись...

Она говорила о первом ботаническом саде Англии в замке Гэмптон-Корта, неподалеку от Лондона, устроенном еще королевою Елизаветою.

— Ваша мать немного видела диковинок в жизни, дети, — сказал Кромвель, снисходительно улыбаясь, — но зато она много работала.

— Король принял меня очень благосклонно, — продолжала мистрис Кромвель, — но эти придворные, — надо всем-то они смеются... Мой реверанс перед королем вызвал их улыбки. Я сказала королю, что мне не нравится лондонская жизнь, потому что я люблю деревню, а здесь негде даже держать домашнюю птицу; я сказала, что моя свекровь плохо спит по ночам, потому что боится, как бы злые люди не убили Оливера. Тут кто-то хихикнул: «Сидела бы себе со своими индюшками в деревне».

Кромвель положил руку на плечо жены и ласково сказал:

— Бедная моя Бетси! В самом деле, для тебя было бы лучше сидеть в деревне, где ты была мне доброй подругою и редкой матерью для своих детей. А теперь тебе приходится, помимо воли, обивать пороги дворцов. Но погоди, скоро все переменится к лучшему.

— Почему ты считаешь, что Бетси не ко двору в Гэмптон-Корте? — обидчиво спросила мать Кромвеля.

— Разве ты забыл, что твоя мать из фамилии Стюартов?

Кромвель только теперь заметил Арнелля, прислонившегося к дереву, и нахмурился.

— Это ты, Ричард?

Мистрис Кромвель поднялась, а за нею бабушка и молодежь.

— Пойду переоденусь, Оливер; парадное платье нестерпимо жмет с непривычки.

— А мы пойдем гулять,— заявила младшая дочь Кромвеля Франциска,— ты с нами, Бетси?

— Я только помешаю вам... Я так скоро устаю. Идите себе все...

— Когда я проезжал по улицам, Ричард,— сказал резко Кромвель, оставшись с дочерью и Арнеллем,— я встретил толпу народа и среди нее много солдат. Они кричали мне: «Изменник, честолюбец, обманщик!» Мне показалось, что в толпе был и ты.

— Отец,— с мольбою проговорила Бетси,— зачем ты его спрашиваешь? Разве он мог быть в этой толпе? Арнелль поднял голову и спокойно отвечал:

— Да, я действительно был в толпе, кричавшей вам: «Изменник, честолюбец, обманщик!»

— Ричи... что ты говоришь?.. Ричи...

— Уйди, Бетси,— задыхаясь, прошептал Кромвель. Девушка с мольбою сложила руки.

— И ты... и ты кричал это?

Арнелль не опустил глаз и глухо проговорил:

— Генерал, позвольте мне не отвечать.

— А что это торчит из твоего кармана? Pamфлет «свободно-рожденного» Джона Лильборна¹?

— Pamфлет Лильборна, генерал.

— А если я велю тебя арестовать?

Бетси бросилась отцу на шею.

— Ты не сделаешь этого, отец... ведь Ричи — почти брат мне... вспомни, как ты на руках принес его к нам в Гунтингдоне...

¹ Джон Лильборн (1615—1657 гг.) — английский политический деятель XVII в., выступал против епископской власти, бежал от преследования в Ирландию, вернулся в Англию в 1637 г., где был арестован, приговорен к телесному наказанию, а потом к тюрьме на 3 года.

Лицо Кромвеля дрогнуло; выражение глаз смягчилось. Он отвел руки дочери от своей шеи.

— Но и сына судят, Бетси...

— Судят, но не расправляются без суда, отец! И наказывают, когда человек повинен в государственном преступлении, но не мстят за личную обиду.

Наступило томительное молчание. Из дальнего угла сада доносились ритмические удары мяча и детский смех Франциски.

Вдруг Арнелль с испугом вскрикнул:

— Генерал... мисс Бетси... мисс Бетси сейчас упадет!

Бетси тяжело опиралась на спинку скамьи. Кромвель бросился к дочери; глубокая нежность и страх смягчили суровые черты его лица.

— Ричард Арнелль, — сказал он сурово, не глядя на юношу, — уходи. Уходи и никогда сюда не возвращайся. Забудь о приютившем тебя доме.

Арнелль побледнел, потом низко поклонился и медленно пошел по дорожке к калитке.

— С тех пор, как я себя помню, — сказала Бетси тихо, делая над собою усилие, чтобы казаться спокойною, — я свято храню твой образ в душе, но теперь... теперь я чего-то боюсь... и мне так хочется что-то понять...

Она схватилась за голову.

— Я нездорова, отец. Доктора не понимают моей болезни, но обмороки и сердечные припадки часто мешают мне жить, и мне, как больной, никто не хочет сказать правды. Скажи же хоть ты мне, почему тебя, героя и освободителя отечества, могут называть такими постыдными, такими ужасными именами?

По лицу Кромвеля пробежала судорога.

— Ты хочешь знать? Хорошо. Слушай. Ричард Арнелль в числе бунтовщиков, обвиняющих меня в измене. Беспоконный Джон Лильборн, который бросил полк потому, что не мог никому подчиняться, подстрекает своими памфлетами солдат к бунту.

Он подал дочери бумагу. Руки ее дрожали, когда она пробежала глазами по строкам.

— Отец... что он пишет... будто ты... из личной выгоды... завел сношения с королем... что король обещал зятю Эйртону место правителя Ирландии, а тебе... на-

чальство над войском и над королевскою гвардиею... титул графа эссекского... орден подвязки...

— Да, да, это правда, Бетси; читай дальше.

Голос Кромвеля был спокойный.

— Он пишет, отец, будто ты хочешь вернуть короля во что бы то ни стало и даже... даже... если будет нужно, то поможешь ему бежать?

— Он не солгал, Бетси.

— Но тогда... я ничего не понимаю, отец...

В голосе ее звучала бесконечная мука. Она заломила бледные руки.

— Не волнуйся, дитя мое, — спокойно начал Кромвель. — Все сводится к простой вещи: Лильборн любит родину, как и Кромвель; но Лильборн хочет разрушать и на разрушенном до основания созидать новое; Кромвель хочет пользоваться имеющимся материалом и мирно строить из него, чтобы не проливать лишней крови, не наносить новых ран родине и не разорить ее. Поэтому Кромвель оборачивается на обессиленную монархию и хочет на ней воздвигнуть новую жизнь. Личные выгоды тут, разумеется, ни при чем.

Он покачал головою и грустно добавил:

— Пронесли слухи, что короля хотят перевезти в Лондон, что парламент собирается начать новую гражданскую войну от имени короля. Это привело армию в бешенство, и король был украден из замка Гольмби через три с половиною месяца по его прибытии туда. Тогда парламент напал на твоего отца, Бетси, обвиняя его в пособничестве королю. У меня много врагов в парламенте. Говорят, что я возбуждаю армию к мятежу... Вскоре мои солдаты двинулись на Лондон со своим требованием веротерпимости. Всем должна быть предоставлена свобода вероисповедания и богослужения, и когда мы не могли добиться этого от парламента, мы стали искать этого у короля.

— Бедная Англия! — прошептала Бетси. — Когда перестанут ее раздирать на части? Тяжело жить... и если бы у тебя было больше друзей, и если бы у тебя было больше милосердия...

Кромвель заглянул ей в глаза.

— Ты должна знать, Бетси, что для меня имеют мало значения слова «друзья» и «милосердие». Для меня

все — долг. Ради долга я принесу в жертву того, кого принято называть лучшим другом.

Бетси вздрогнула.

— Даже меня, отец?

Он подумал и отодвинулся от нее.

— Н... не знаю...

И потом, подняв голову, твердо сказал, глядя ей прямо в глаза:

— Даже тебя, дитя мое... и вместе с собою, — добавил он уже совсем тихо, — мою жизнь.

Бетси встала. Губы ее дрожали.

— Ты... ты — удивительный человек, отец; велика твоя сила, но за тебя страшно и с тобою и хорошо, и страшно!

Она услышала вблизи шаги и голоса, сделала над собою усилие и сказала приветливо:

— А, это ты, Нелли, милая! С тех пор, как мистрис Лайль тебя поселила у нас, я никогда не видела тебя такой веселой!

Она обняла подошедшую Нелли и ласково взглянула на раскрасневшегося Эдварда Бельфора.

— Вы разве не играете в мяч? — спросил Кромвель, поднимаясь.

— Нет, отец, — отвечала Нелли, которая за четыре года жизни у Кромвеля привыкла его называть отцом. — Эдвард не любит шумных игр, а я не люблю огорчать Эдварда.

Какая-то странная связь существовала между Нелли и Эдвардом Бельфором, и связь эта все крепла. После того, как отец его был убит в одном из сражений, Эдвард встречался с Нелли почти каждый день и поверял ей все свои горести и радости. Много раз Кромвель хотел устроить Эдварда солдатом в одном из полков, но Бельфора приводило в ужас самое слово «убийство». Приходилось поручать ему обоз, пристраивать его около складов с провиантом.

Когда Кромвель ушел, Эдвард, улыбаясь, сказал:

— Я спорил с мисс Нелли. Я спросил ее: может ли она убить человека? Она подумала и отвечала: да, если это будет необходимо. А я не могу верить, чтоб она решилась кого-нибудь убить.

— Я могла бы убить человека, — сказала грустно Нелли, — если бы он был вреден.

Эдвард покачал головою.

— Когда-то давно отец мой запер меня в тюрьму за то, что я хотел выпустить Страффорда. Он все старался мне объяснить, что я был не прав, жалея тирана. Но умом я понял, а сердцем нет. И когда я из окна смотрел на казнь Страффорда, я думал, что один человек не должен убивать другого никогда... что никто не смеет отнимать жизнь, которую он не дал...

Бетси одобрительно кивала головою.

— Да, да, милый сэръ Эдвард, и я так думаю... я не могу иначе думать...

Эдвард задумчиво продолжал:

— Я, впрочем, думаю, что свою жизнь можно отдать за хорошее дело, — пойти и защитить кого-нибудь. Мне было жалко Страффорда, когда я видел его на эшафоте у Тоуэра, но я говорил себе, что должен бороться против гнета разных Страффордов, и я решил, что с того дня мой долг спасти тех, кто страдает... но я не стану никого убивать... И потому я без роздыха могу работать на валу, на окопах; могу быть барабанщиком, гонцом, но не могу сражаться...

Нелли смотрела грустно и молчала. Она думала о том, могла бы она убить Эльмера Повэя, который сражается в рядах королевского войска?

— О чем вы думаете, мисс Нелли? — спросил Эдвард с беспокойством.

— О смерти, — улыбнулась девушка.

— Нелли! — с упреком спросила Бетси. — Разве тебе так плохо живется у нас?

Нелли покачала головою.

— Нет, но я часто думаю о смерти, особенно осенью. Я люблю осень и хотела бы умереть, когда умирает вся природа, заснуть вместе с деревьями, подняться и улететь в неведомую даль и исчезнуть, как эти блеклые листья, что так нежно шелестят под ногами... Можно умереть хорошею смертью, как умер король Гаральд, герой старой Англии...

Она пропела тихим голосом монотонный напев старой легенды:

Итак Гаральд, сын Годвина, лежал
Хладным трупом на изломанном знамени,
На упитанном кровью холме Суссекса.

И над Сетлакским полем битвы
Кружился откормленный сероклювый ворон...

— И когда-нибудь, Бетси, когда придет смерть к твоему отцу, он так же умрет на знамени... как великий король Гаральд.

А Кромвель в это время работал у себя в кабинете. Дела запутывались все более и более. Король не понимал всей умеренности и благоразумия предложений Кромвеля и Эйртона; он снова выжидал и искал случая натравить одну партию на другую, чтобы ослабить обе и на почве раздоров построить свое благополучие.

Его приверженцы-кавалеры не переставали готовить втихомолку восстание в пользу Карла.

XX

ДИСЦИПЛИНА ВОССТАНОВЛЕНА

Пришла глубокая печальная осень, и у Кромвеля еще прибавилось забот. В армии царил раздор; несколько полков, под именем гентов, набрало шпионов; эти шпионы должны были следить за Кромвелем и «изменниками», как называли его приверженцев. А намерения короля день ото дня становились подозрительнее; денег не было; армия нуждалась все более и более; все более и более становилось опасным положение Кромвеля, находившегося большей частью в Уиндзоре, где были главные квартиры армии.

В серое октябрьское утро Кромвель вышел из казарм. Его мучило беспокойство; несколько дней он не получал известий от агентов, стерегущих короля. Моросил дождь; дул пронзительный ветер. На улице лицом к лицу Кромвель столкнулся с Ричардом Арнеллем.

Кромвель схватил его за руку и глухо сказал:

— Зачем ты здесь? Разве ты не понял, что тебе не место бродить около меня? Только заступничество мисс Бетси спасло тогда тебя от ареста...

Арнелль презрительно отвечал:

— Я бы никогда не пришел сюда без необходимости, потому что стою среди ваших врагов и...

— Ну, доканчивай и по крайней мере скажи, кто твои сообщники? Я знаю, несколько полков против меня, генералы их примкнули к моим врагам в парламенте. Назови их имена. Что готовят они мне вместе с тобою?

— Я ни о ком ничего не скажу, — сказал Арнелль медленно, — но если бы я мог отдать вам все то, что я у вас взял, когда вы меня растили, я был бы счастлив.

— Вместе с моею любовью, не забудь, Ричард. Ну, а теперь говори, зачем ты здесь!

— Я пришел, — сказал тихо Арнелль, — потому, что мне это велел мой долг верного сына родины; я должен предупредить вас.

— Предупредить меня?

— Король Карл, которому вы так верите, только что отправил письмо к королеве, где излагает свои настоящие намерения относительно армии и ее предводителей. Письмо зашито в седле; седло понесет неизвестный человек, который не знает, что он несет. К десяти часам вечера этот человек доберется до Гольборна, где ему приготовлена лошадь в гостинице «Синего Вепря»; на этой лошади он отвезет седло в Дувр, а там уже найдутся люди, которые отправят письмо в Париж.

— Ты ручаешься за достоверность сообщения?

— Ручаюсь, но торопитесь, иначе можете опоздать.

Арнелль поклонился и насмешливо добавил:

— Желаю от души, генерал, чтобы безумный Джон Лильборн оказался просто веселым сказочником, рассказывавшим небывальщины и шутки о добром короле Карле!

Он засмеялся. Кромвель не ответил ни слова и повернул к казармам.

Скоро он выезжал вместе с зятем своим Эйртоном за уиндзорскую заставу, по дороге к Дувру, в сопровождении всего одного солдата. К вечеру они прибыли в Гольборн.

Над входом гостиницы тускло мигал фонарь, хотя двери были уже закрыты. Внутри слышались пьяные голоса раскутившихся крестьян и мастеровых. Солдат Кромвеля несколько раз стукнул в дверь и спросил выглянувшего в дверь толстого кабатчика:

— Можно у вас выпить, почтенный?

— Гостиница полна, но если...

— Мы заплатим хорошо, — вмешался Кромвель, — открывай, приятель. Джэк, — обратился он к солдату, — ты возьмешь лошадей и дашь нам знать, если слуга принесет мне новое седло...

— Слушаю, ваша милость.

— Поскорее нам пива, хозяин, и в особую комнату, если можно; мы немного устали с дороги.

Через минуту Кромвель и его зять сидели за кружками пенившегося пива.

Часы на колокольне гулко пробили десять. Прошло несколько минут; раздались три осторожных удара в окно. Кромвель и Эйртон выскочили на улицу. Во мраке, среди морозящего дождя, вырисовывались две темные фигуры: Джэка и неизвестного человека с седлом на голове.

Кромвель и Эйртон загородили ему путь шпагами.

— Ни с места, — сказал тихо Эйртон, — нам приказал главнокомандующий Ферфакс не пропускать ни одного путника по этой дороге, не осмотрев его вещей.

— Но я несу седло... только седло, ваши милости...

— У тебя нет ничего, кроме этого седла?

— Ничего...

— Давай сюда; не привязал ли ты к нему брильянтов, похищенных сегодняшней ночью у генерала Ферфакса?.. — сурово спросил Кромвель.

— Я бедный человек, но никогда не был вором...

— Хорошо, в таком случае подожди здесь; мы тебе вернем твое седло и не сделаем тебе вреда. Джэк, посмотри за ним.

Они унесли седло, и через минуту в их руках была тщательно сложенная бумага.

— Отец, — сказал Эйртон Кромвелю, — Арнелль не обманул вас. Это почерк короля. Читайте скорее.

При тусклом свете оплывавшей сальной свечи Кромвель читал и не верил глазам. Король писал королеве о том, что обе партии жаждут с ним союза; но он выберет ту, которая даст ему более выгод.

— Слушай, Генри, — проговорил Кромвель пораженный, — вот что он пишет: «Один я понимаю свое положение. Не беспокойтесь об уступках, которые я сделаю; в свое время я сумею расправиться с этими

чудаками и вместо шелковой подвязки¹ украсу их пеньковой веревкой».

Не теряя времени, они торопливо зашили седло и вынесли его ожидавшему перепуганному слуге.

— Возьми, приятель, свою поклажу,— сказал весело Эйртон и потрепал по плечу парня,— а вот тебе пенсовик за передрагу; ты честный малый; желаю тебе продолжать счастливо твой путь; жаль, что у нас нет такого верного слуги, который бы так бережно вез хозяйское добро.

— В самом деле,— подхватил Кромвель,— на дворе дождь, а он сохранил дорогое седло совершенно сухим. Послушай, друг, не хочешь ли выпить немного доброго эля за наше здоровье да двинуться с нами вместе, если тебе по дороге? Мы держим путь в Дувр и рады товарищу.

— Благодарю, ваши милости. Я еду тоже в Дувр и не откажусь ни от эля, ни от попутчиков.

Дороги были ужасны в эту пору года, и путникам пришлось ехать до Дувра две ночи и день.

Светало. В Дуврской гавани качались на цепях корабли. В тусклом брезжущем свете суетились матросы, осматривая снасти, записывая вновь прибывшие грузы и пассажиров.

На набережной перед мостиком стоял человек с ног до головы закутанный в черный плащ, с низко надвинутой на глаза шляпой... Он походил на строгого пуританина-купца.

Увидав слугу с седлом, привязанным сзади к крупу лошади, незнакомец быстро направился к нему. Но едва только он коснулся рукою седла, как кто-то сказал ему на ухо:

— От имени парламента я арестую вас.

Незнакомец отступил.

— Сэр Эльмер Повэй! — вскрикнул Кромвель в изумлении, вглядываясь в его лицо.

Рука Повэя, схватившаяся за шпагу, опустилась. Эйртон крепко держал его за плечи.

— Сегодня вам не удалось послужить королю,— сказал спокойно Кромвель.— Вы пойдете с нами добровольно до ближайшей гостиницы. Король передумал

¹ Орден подвязки.

посылать королеве свое письмо, посоветовавшись с нами.

— Но, сэр Оливер...

— Молчите. Помните, что на нашей стороне и сила, и право.

Опустив голову, Повэй молча пошел за Кромвелем и Эйртоном; Джэк вел лошадей в поводу. Матросы провожали их недоумевающими взглядами; парень с седлом остался стоять неподвижно, разинув рот от изумления...

С этого дня у Кромвеля открылись глаза на короля. Постепенно в Гэмптон-Корте был удвоен караул, удалены самые близкие слуги и советники.

А 12 ноября неожиданно разнесся слух, что Карл бесследно скрылся из Гэмптон-Корта. На другой день узнали, что король находится на острове Уайте, под защитой губернатора полковника Гаммонду, преданного парламенту.

Положение дел оставалось по-прежнему опасным. Армия была совершенно распущена; солдаты все еще волновались, аплодируя памфлетам, направленным против Кромвеля и его приверженцев. Распустили слухи, что бегство короля — дело рук Кромвеля. Ферфакс имел требования от шестнадцати полков, под названием «Договор народный», в котором между прочим солдаты обвиняли офицеров в измене и требовали скорого распущения нерешительного парламента.

Чтобы положить конец раздорам, Кромвель назначил в середине ноября в Уэре, в Гертфордском графстве, первое из трех собраний армии.

На равнине Уэра растянулись колоннами войска. Кромвель с Ферфаксом, в сопровождении нескольких штабных офицеров, появились невдалеке на холме.

— Сэр Оливер, — сказал Ферфакс, щурясь, — посмотрите: явилось два полка без приглашения.

— Ты видишь там что-нибудь? — спросил Кромвель Ферфакса.

— Солдаты Гаррисона собираются кучками...

— Да, да, я слышу шум... Они забыли дисциплину...

Между пехотинцами нет офицеров...

— Всего один капитан Брей; я узнаю его хорошо по длинному голубому перу на шляпе. Что они там кричат?

Пришпорив лошадей, Кромвель и Ферфакс понеслись вперед.

— У меня прекрасное зрение, сэр Оливер. К шапкам солдат прикреплены белые листы!

Подъехав ближе, Кромвель ясно увидел на шапках солдат экземпляры «Народного договора» с надписью: «Свобода Англии, права солдат».

— Долой тиранов! Нас обманули! Нас обманули!

— У нас связали руки! Королю помогли бежать!

— Мы снова попали в капкан!

— Долой изменников!

— Измена, измена!

Дикие вопли неслись по разрозненным рядам солдат.

— Слу-у-шать! — раздалась команда Кромвеля. Генерал Ферфакс будет сейчас читать вам всем обращение генерального совета офицеров. Слу-у-шать!

Ферфакс выступил вперед. Голос его звучал спокойно и уверенно. Он прочел вразумительное увещание солдатам, упрекал их за опасности, которым они подвергали армию, напоминал им о верности и о победах, одержанных под предводительством начальников, которых они называют изменниками.

— Вы должны вперед подчиниться правилам дисциплины, — говорил Кромвель, объезжая вместе с Ферфаксом полки, — и повиноваться приказаниям своих начальников.

Семь полков радостно отозвались:

— Да здравствуют генералы Кромвель и Ферфакс!

— Да здравствует армия!

Солдаты Гаррисона сорвали со своих шапок «Народный договор», и их голоса присоединились к голосам товарищей:

— Да здравствуют генералы Кромвель и Ферфакс!

— Нас обманули! Нас обманули!

— Среди армии не может быть изменников!

— Мы хотим жить и умереть с нашими генералами!

Медленно объезжали Ферфакс и Кромвель полки, кивая им приветливо головами. Но едва они приблизились к полку Лильборна, раздался громкий окрик:

— Эй, товарищи! Не генерал ли Кромвель устроил бегство короля? Ему за это обещан орден подвязки

и титул графа эссекского! Кричите: да здравствует король и граф Эссекс! Ха-ха-ха!..

Кровь бросилась в лицо Кромвелю. Он слишком хорошо знал этот голос. Высокий, с гордо поднятой головой и вызывающей улыбкой на губах, стоял в первом ряду, прямо перед ним Ричард Арнелль.

Солдаты высоко подняли Арнелля на своих плечах, и он смеялся, тряся головой, на которой виднелись громадные буквы воззвания: «Свобода Англии, права солдат». Раздался хохот, свистки, крики.

Лицо Кромвеля сделалось багровым. Он крикнул:

— Сорвать со шляпы эту бумагу!

Солдаты притихли. Арнелль крикнул:

— Разве мы трусы, что склоним головы от первого крика изменника?

Глаза Кромвеля налились кровью, и он ринулся в ряды солдат.

— Арестовать всех зачинщиков... с Ричардом Арнеллем!

Среди солдат произошла паника. Ряды расступились; смертельно бледные люди смущенно снимали с шляп «договор» и топтали его ногами. Некоторые сами толкали вперед указанных Кромвелем товарищей.

Окруженные крепким караулом, со связанными назад руками, стояли перед генералами четырнадцать солдат, а перед ними обезоруженные майор Скотт и капитан Брей.

На большом барабане заносили протокол наскоро организованного военного суда. Потом Ферфакс выступил вперед и громко, отчетливо прочел:

— Военный суд приговаривает бунтовщиков, возбуждавших товарищей к дерзостному неповиновению и оскорбивших начальников... такого-то... такого-то... такого-то... всех четырнадцать, а также майора Скотта и капитана Брея заключить под стражу; трех же из солдат, по жребию, расстрелять.

Осужденных развязали.

Четырнадцать человек побледнели; у четырнадцати человек дрогнули сердца.

Ферфакс подошел, держа в руках концы нескольких веревок; на одном был сделан узелок. Четырнадцать рук потянулись к нему.

— Кто первый? — спросил коротко Кромвель.

Кучка осужденных расступилась, и Ричард Арнелль медленно выступил вперед. Он был очень бледен, но спокоен; смело очерченные губы его все еще улыбались, немного вызывающе, немного жалкою улыбкою.

Рука Кромвеля, опиравшаяся на шпагу, дрогнула; глаза широко раскрылись; невольным движением он подался вперед.

— Ты... это ты... первый?

Он задышался. Арнелль спокойно выдержал его взгляд и медленно ответил:

— Это я, Ричард Арнелль.

Ричард Арнелль, Ричард Арнелль, какое страшно знакомое имя... Он стоял здесь, перед генералом, такой близкий и в то же время далекий, тот Ричард, которого он маленьким мальчиком укачивал на коленях, рассказывая длинные сказки... А теперь... а теперь он его приговорил к смерти. Его будут расстреливать, здесь, сейчас, а он, Кромвель, будет смотреть... как требует дисциплина... Но чего же они там медлят? Хоть бы скорее...

Кромвелю казалось, что почва колеблется у него под ногами. Стоит ему, Оливеру Кромвелю, сказать одно слово, и этот высокий юноша будет жить... Можно его помиловать, а для устрашения только на время посадить в тюрьму... Боже мой, но почему у него так тяжело, так мучительно тяжело на сердце?..

— Где же мне становиться?

Голос был звонкий, дерзкий, такой же, как полчаса назад, когда Арнелль кричал: «Изменник!»

По знаку Ферфакса солдаты сдвинулись в ряд.

Арнелль стоял, привязанный к дереву.

— Завязать глаза? — спросил капрал.

— Нет, нет, только не глаза! Я хочу видеть небо!

От этого болезненного крика опять дрогнуло сердце Кромвеля.

— Пусть останутся открытыми, — глухо сказал он.

Золотистая голова слегка наклонилась.

— Спасибо, генерал. Теперь стреляйте, во имя порядка, товарищи! Ну, цельтесь вернее!

Арнелль поднял глаза к небу, не заглянув ни разу в глубокую яму, вырытую перед ним в мерзлой земле.

Капрал считал:

— Раз, два, три!

Большие пламенные глаза, дерзкие и пытливые, хотели разглядеть под низко спустившимися тучами голубое небо. На землю грустно падали мягкие снежные хлопья... Осечка...

— Заряжай еще...

Томительное молчание... Белые хлопья все летят и летят, и ласково покрывают плечи Арнелля, и слепят ему глаза, мешают разглядеть то, что закрывают от людей тучи. Там великая тайна, которую он узнает после смерти. И обнаженная голова его с рыжеватыми непослушными кудрями стала белой от снега.

— Ну... раз, два, три... пли!

Раздался залп; белое облако дыма на минуту скрыло фигуру Арнелля; когда оно рассеялось, видно было, как весь он повис на веревке, обессилев, лицом к яме, точно заглядывал в ее мрак...

Солдаты шептались:

— Смотрите: генерал шатается... ему дурно...

Офицеры бросились к Кромвелю. Он стоял, отвернувшись от расстрелянного, и был страшно бледен.

— Вам дурно? — спросил Ферфакс, поддерживая его.

— Устал, — коротко отвечал Кромвель, — устал и продрог. Сегодня холодно.

— А остальных сейчас? — спрашивал Ферфакс, показывая глазами на осужденных, — кидать жребий?

Кромвель махнул рукой.

— На сегодня довольно, — сказал он глухо. — Я думаю, никто не будет против, если их заключат пока в тюрьму... довольно и одного, и одного Арнелля...

— Я полагаю, — согласился Ферфакс, — Арнелль был самый ярый бунтовщик. И солдаты теперь станут покорны; дисциплина восстановлена.

— Да, да, Арнелль был самый ярый бунтовщик, — повторил Кромвель, — и солдаты будут теперь покорны, а дисциплина восстановлена...

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Уныл был замок Гурст, куда привезли короля Карла под присмотр сурового полковника Эверса.

Еще на острове Уайт друзья короля предлагали ему бежать, но Карл решительно отказался.

— Бежать? — говорил он. — Но что скажет мое войско?.. Парламент дал мне слово; я тоже дал ему слово и сдержу его.

В замке ему отвели одну комнату, до того темную, что в ней даже днем горели свечи.

— Сегодня — 17 декабря, — говорил он Герберту, — я опять не буду спать и эту ночь.

— Знаешь, Герберт, мне кажется, что мои глаза уже отвыкли от дневного света, и я ослепну, когда выйду отсюда.

— Глаза вашего величества по-прежнему ясны. Господь укрепит ваши силы, государь.

— Да, да, ты прав, и потом — все делается по моему желанию. Я был утомлен; я был болен; мне нужен был покой; об этом знали мои друзья... и я по своей воле поехал в Гурст... Ведь так, мой добрый Герберт? Гурст мне полезен, но только врачи меня держат в нем слишком долго... они могли ошибиться... Отчего ты опустил голову, Герберт?

— Я не знаю, что отвечать вашему величеству.

Король посмотрел на него сердито.

— Я замечаю, что с некоторых пор вы все точно сошли с ума. Вам надоел Гурст, но раз ваш король выбрал его себе резиденцией, разве вы смеете выказывать неудовольствие?

Герберт с грустью смотрел на короля. Он любил его искренно, и ему были понятны все движения этой гордой и истерзанной души.

— Мундшенк служит отвратительно, — резко сказал Карл, — как он сегодня подносил мне за столом вино? Каким голосом отвечал? Я нашел свое платье дурно расправленным, и в этом виню тебя и форшнейдера. Скоро мне будут подавать кушанья раскрытыми, как какому-нибудь мещанину, и на платье моем будут дырки!

— Простите, государь... — пробормотал Герберт.

Его душили слезы от этого гнева, от этого страдания и нищеты, прикрытой величием. Король стыдился своего унижения; король скрывал его так тщательно, как большую язву, и Герберт помогал в этом королю: он сохранял в темной отвратительной тюрьме Гурста, затерянной среди мрачной, бесплодной пустыни мыса, дворцовый этикет.

Каждый день в этой темнице играли комедию величия. Форшнейдер торжественно нес на подушке королевское платье и подавал его, преклонив колени; метрдотель подносил, стоя на одном колене, пищу в блюде, довольно подозрительного вида, и когда король сидел за своим убогим столом, все выстраивались позади него с видом приувеличенной почтительности. И, зажигая с утра дымные факелы, в лучшем случае выпрошенные у Эверса сальные свечи, Герберт всякий раз почтительно говорил:

— Да не посетует ваше величество на то, что так рано приходится зажигать огонь: сегодня удивительно темная погода!

Темная погода в Гурсте сделалась почему-то обыденным явлением.

В этом скверном пустынном месте всегда дул ветер и гудел в трубе так, что по ночам становилось жутко.

— Сегодня 17-е декабря, Герберт; скоро Рождество.

— Скоро Рождество, государь.

— В Париже гораздо теплее, Герберт.

Он думал о королеве и вздрагивал от прикосновения к своему влажному от сырости платью. Врачи бывают удивительно странные люди. Разве сырость и холод полезны королям? А здесь стоит пар от дыхания...

Что-то стукнуло в запорошенное снегом окно и, пробив в нем маленькое отверстие, упало к ногам короля.

— Что это, Герберт? камень?

— Записка, государь.

Карл дрожащими руками развернул бумажку и прочел:

«Государь! Если вас повезут когда-нибудь из Гурста, то вспомните, что в Бэшоте у вас есть верный подданный лорд Ньюборо, а у лорда Ньюборо имеется ло-

шадь, которая слывет быстреей в Англии. Это единственное спасение, которое вам может предложить ваш слуга, находящийся в заточении Тоуэра».

Карл узнал почерк Эльмера Повэя. В своей тюрьме Повэй думал о короле и ломал голову, как ему помочь.

Карл еще раз прочел записку и бросил ее в топившийся камин.'

— Мы скоро опять поедem отсюда куда-нибудь, Герберт, — сказал он мрачно. — А теперь иди спать. Мне жаль тебя; ты, пожалуй, чего доброго, еще свалишься с ног, мой бедный старый слуга; ведь от того, что ты здесь сидишь, не перестанет свистеть ветер, а на душе твоего короля не сделается яснее... Уложи меня и иди.

Было тихо кругом; только порою монотонно перекликались солдаты да на башне гулко и зловеще били часы. Вдруг Карл вскочил, сел на постели и стал прислушиваться.

Какой-то неясный шум несся со стороны вала. Слышно было, как опускают подъемный мост; потом по настилке мягко застучали лошадиные копыта. Слышно было, как один за другим въезжают всадники в замковый двор.

Скоро все утихло, но король не мог заснуть и, не дождавшись рассвета, позвонил.

Герберт, спавший в комнате рядом, сейчас же явился.

— Ты ничего не слышал нынче ночью?

— Я слышал, как опускали мост, но не посмел без приказания вашего величества выйти из комнаты в неуказанный час.

— Узнай, кто приехал.

Герберт скоро принес ответ.

— Приехал полковник Гаррисон, ваше величество.

Король вздрогнул.

— Ты точно видел, что это полковник Гаррисон?

— Я узнал это от капитана Рейнольдса.

— В таком случае это верно. А Рейнольдс не говорил тебе, зачем он приехал?

— Я употреблял все старания, чтобы узнать это, но добился только одного ответа: причина приезда полковника будет скоро известна.

— Хорошо, иди.

Герберт вышел, но через час опять услышал резкий звонок. Когда он вошел в комнату, Карл сидел на постели с измученным лицом, с глазами, окруженными синими кругами; по щекам его медленно катились слезы.

— Извините, государь, — сказал Герберт дрогнувшим голосом, — мне кажется, что ваше величество очень опечалило это известие.

Король покачал головою.

— Я не испугался, Герберт, нет, но ты не знаешь, что Гаррисон составил проект убить меня во время последних переговоров. Ты не знаешь, а я получил об этом письмо без подписи.

Он с минуту подумал.

— И странно то, что я никогда не видел этого человека и не сделал ему никакого зла.

Карл покачал головою и горько улыбнулся.

— Смерти я не боюсь, но мне не хочется, чтобы на меня напали врасплох. Гурст чрезвычайно удобен для такого преступления. Поди и снова постарайся узнать, с какими намерениями приехал Гаррисон.

Герберт скоро вернулся с новыми известиями.

— Государь, — сказал он бодро, — хорошие новости: полковник Гаррисон приехал, чтобы пригласить вас ехать в Уиндзор... кажется, вы приказали это сами... Отъезд назначен через три дня...

Король вспыхнул; глаза его засияли.

— Слава богу... — прошептал он, — значит, они стали сговорчивее...

И, сделав величественный жест рукою, он добавил:

— Уиндзор мне всегда нравился; я там буду вознагражден за все, что выстрадал здесь.

Герберт стал собираться в дорогу. Полковник Гаррисон явился, чтобы сопровождать короля. Его благородная наружность рассеяла все подозрения Карла, но не изменила мечты в побеге.

— Ваше величество решительно желаете отдохнуть в Бэшоте? — почтительно спрашивал Гаррисон короля, когда они ехали по дороге, далеко позади оставив печальный Гурст.

— Да, да, полковник, непременно. Я отвык и от шума, и от людей, и меня утомила дорога... Мне при-

шлось выслушать столько приветствий с тех пор, как я выехал из Гурста! Особенно в Уинчестере.

Король не мог скрыть своего волнения. При слове «Уинчестер» по лицу его промелькнула тень. Он вспомнил Бэзинг-гоуз, бедного маркиза Уинчестерского и покойную маркизу... За свою преданность королю маркиз заключен в тюрьму. Уинчестер остался верен королю. Мэр и альдермены вышли к королю навстречу, вынесли, согласно обычаю, жезл и ключи от города, и Карл выслушал от них речь, полную любви и преданности.

— Мне хочется приехать в Уиндзор свежим и бодрым, полковник.

Гаррисон почтительно поклонился.

— Как прикажете, ваше величество.

Замелькали холмистые окрестности Бэшота, такие веселые летом; показались перелески; деревья стояли теперь оголенные, похожие на скелеты, и только ели яркими пятнами выделялись на сетчатом фоне безлистных берез; они волочили мохнатые длинные ветви по черной земле, покрытой кое-где налетом снега.

— Какая печаль! — грустно вырвалось у Карла: — точно кладбище... Но я узнаю эти места... вот здесь как раз мы гоняли часами лисиц и зайцев... Что это была за охота! Что это были за чудные дни!

Он показал рукою на большой оголенный холм и оживился:

— Вот здесь, полковник, бежала громадная лисица... Какая это была шкура! Она присела и совсем слилась с желтым камнем; но наши собаки нашли ее, нашли... и в один миг...

Карл увлекся; действительность напоминала о себе. Гаррисон слушал холодно. Несколько всадников окружили его почетною и в то же время постыдною стражею. Голос короля осекся; он проговорил грустно:

— А теперь зима! И так голо вокруг... и моя лошадь идет возмутительно... Придется ее заменить другою, полковник.

— Как будет угодно вашему величеству.

Король поник головою. Он вспомнил веселые дни, проведенные с Ньюборо, гостеприимным и неистощимым рассказчиком.

— Мы будем сегодня обедать в лесном домике Ньюборо, полковник, где всегда стоит запах леса...

Так выразилась когда-то королева, и это сравнение ужасно понравилось самому Ньюборо... Да, да, здесь скакала сама королева со своими великолепными борзыми... А теперь она в Париже принята из милости и терпит нужду; ее помещения не топят, и ей приходится целыми днями греться в постели. Если бы можно вернуть хоть один счастливый день совместной жизни...

Карл пристальным взглядом смотрел в даль. Там, впереди, возвышался замок Ньюборо. Он не поедет туда; он свернет вот тою тропинкой к охотничьему домику, окруженному седыми косматыми елями, которые заглядывают ветками в окна и стряхивают снег со своих обледенелых игл и, когда воеет буря, стучат таинственно в стекло... Он пошлет за Ньюборо в замок и велит устроить ему отличный обед в лесу и дать свежую лошадь. А потом... а потом... с богом в путь; он будет мчаться, как пуля, пущенная из мушкета, в бурю и ветер; ему хорошо известны все тропинки в лесу!

В охотничьем домике Ньюборо было холодно и мрачно, но скоро ярко запыхавший огонь в старом очаге осветил его. Карл сидел у огня, вытянув ноги, и улыбался, прислушиваясь к шелковому шелесту голубиных крыльев. Голуби слетали с черепичатой крыши, выпрашивая подачки. Они бродили по снегу перед окном, а маленькая внучка старого, едва передвигавшего ноги лесника кормила их овсом. И было что-то бесконечно отрадное в этой картине: сизые голуби бродили вокруг девочки, вспархивали ей на плечи, окружали трепетавшими крыльями веселое личико с золотыми кудрями, а солдаты, за несколько минут назад бывшие сторожами царственного пленника, теперь столпились в кучку и, затаив дыхание, любовались ребенком и птицами.

Как весело пылал огонь в очаге! И как красиво поднимали верху свои ветвистые рога олени головы, прибитые на стенах! И как скалил зубы волк из угла! А гигантская медвежья шкура так грела ноги... И голос полковника Гаррисона, твердый и ясный, звучал здесь совсем по-новому, почти сердечно...

Карл закрыл глаза и совсем уже не думал о побеге, отдаваясь приятной неге отдыха.

— Ньюборо здесь, ваше величество.

— Ньюборо уже здесь?!

Король вскочил. Перед ним стоял Ньюборо, в теплом платье с крошечными снежинками, блестящими на бархате камзола, как бриллиантовые звездочки, и радостно улыбался. Карл протянул ему руку, и кавалер, опустившись на одно колено, с благоговением прикоснулся к ней губами.

— Ваше величество сделали мне большую честь... сию минуту все будет готово... обед... я...

— Обед в охотничьем домике! Боже мой! Ньюборо, а вы все такой же! И сколько новых трофеев ваших лесных побед!

Король показал рукою на стены, украшенные звериными головами.

— Дичь не перевелась еще в вашем лесу?

— Не перевелась, ваше величество, и ждет, когда она удостоится чести послужить для забавы моего государя...

Король опустил голову.

— Да, да, мой верный Ньюборо... хорошие дни я здесь проводил с королевою...

Звенели благородным звоном стаканы настоящего венецианского стекла, а слуги разносили мудреные кушанья в драгоценной посуде; и Ньюборо был неистощим в своих смешных рассказах, как в былые дни; со стен смотрели звериные морды; в окна заглядывали пушистые ветви елей, а король был молчалив и задумчив.

— Ньюборо, — сказал король, пристально глядя в глаза лорду, — у вас все еще такие же прекрасные лошади, как прежде?

— Такие же, государь, но, к сожалению, Крокетт, моя гордость и слава, очень сильно ушиблась в конюшне, и теперь я боюсь, что мне придется ее пристрелить.

Лицо Карла слегка побледнело, и рука, державшая бокал, чуть-чуть дрогнула; капелька красного вина, точно капля крови, упала на скатерть.

— Какая жалость! — медленно сказал он. — А я думал у вас попросить лошади... моя никуда не годится...

В глазах Ньюборо король прочел тоскливую тревогу.

— Благодарю ваше величество за честь; я рад служить всем, что у меня есть; все лошади, кроме Крокетт, к услугам вашего величества... среди них много великолепных лошадей, государь, хотя, конечно, бедная Крокетт была лучшей...

Равнодушно звучал голос Карла:

— Благодарю вас, дорогой Ньюборо, я воспользуюсь какой-нибудь... выберите мне сами. Однако, полковник, — обратился он к Гаррисону, — нам надо поспешить с отъездом.

Он встал и отодвинул стул. За ним поднялся Ньюборо, Гаррисон и остальные офицеры, обедавшие за другими столами.

Карл как-то весь сразу осунулся, и оживление его исчезло. Уныло смотрел он в окно, и белый снег, такой веселый несколько минут тому назад, теперь казался ему мрачным саваном. Надежда на освобождение исчезла вместе с болезнью Крокетт. И сколько таких надежд уже исчезало и сколько было сделано неудачных попыток к побегу! У Ньюборо были на глазах слезы.

Гаррисон вышел отдать приказания.

— Государь! — прошептал Ньюборо. — Мои лошади все на подбор, а ваше величество знаете в лесу каждую тропинку...

Король покачал головою.

— Нет, дорогой друг, конечно; это будет рискованно, а у меня уже нет прежней отваги; я устал. За мною слишком следят. С Крокетт было бы другое дело... Ступайте, распорядитесь, чтобы мне оседлали другую лошадь; не судьба!

Ньюборо вздохнул и пошел исполнять приказание короля.

XXII

КАЗНЬ КОРОЛЯ

А в Лондоне в это время собирались грозные тучи. В день приезда короля в Уиндзор нижняя палата занималась решением вопроса: подвергнуть ли короля Англии суду? Армия настойчиво требовала, «чтобы главный и великий виновник всех беспокойств, волнений,

по поручению, приказанию и поощрению которого и для пользы и интересов которого, по его воле и власти, произошли все беспокойства и войны и все несчастья, бывшие его спутниками, был специально судим за измену, кровопролитие и зло, в котором он виновен».

Требование армии привело парламент в ужас. Уважение к королевскому сану было еще сильно. Многие из членов парламента соглашались лучше идти на всевозможные уступки королю, чем решиться на страшный переворот, грозивший, может быть, эшафотом Карлу.

Двенадцать лордов отвергли вопрос о суде над королем.

Тайные заседания длились до 19 января... Оливер Кромвель решительно стоял за суд. Гневно кричал он в собрании:

— Я говорю вам, мы отрубим ему голову и с короною.

Много голосов было в обеих палатах за принятие условий, предложенных королем. Этих членов арестовали и отправили в тюрьму; на следующий день были исключены новые члены, и палата общин принуждена была уступить.

После изгнания ста сорока членов палата общин сделалась простым призраком государственного учреждения. Оставшиеся члены, покорные воле армии, стали известны в истории под названием «хвоста» парламента, или «охвостья», и это «охвостье» постановило, что 20 января король должен явиться перед судилищем в вестминстерском зале.

Кромвель с 7 декабря жил в Уайтгале, в бывших покоях короля. Он почти не ел, не спал и целые дни занимался; с утра до вечера его осаждали посетители по экстренным делам. Он почти не показывался в семье, продолжавшей жить в домике возле церкви Св. Павла.

Кабинет Карла принял теперь неузнаваемый вид. Со стола были сняты все украшения; ковры свернуты; на столах и креслах, в нише окна, — всюду валялись груды бумаг. Только со стен, из золоченых рам старых портретов, удивленно смотрели надменные лица; грустно улыбалась красавица-королева, но ею уже ни-

кто не любовался, и тонкий слой пыли покрывал прекрасные черты. Кромвель редко позволял слугам убирать свою рабочую комнату...

Тускло горели свечи на рабочем столе. Кромвель торопливо писал, а перед ним стояла бедно одетая старуха.

— Итак, ты завтра снова повторишь перед решеткою парламента, как говорила сегодня на площади?

— Так и скажу, мистер Кромвель: «По свидетельству самого Господа говорю вам, что путь, избранный вашими милостями, есть путь истины, во славу Господа!»

Она протянула руку вперед и, потрясая ею, вдруг закричала визгливым голосом:

— Господь явил мне свою благодать откровением! Раскрылось небо, и крест увидела я, и голос грозный раздался: «Да будет воля моя. Да падет голова изменника Карла Стюарта». И страшный раскат грома заставил меня упасть на землю... И молния меня ослепила, и гром оглушил, хотя небо было безоблачно...

Кромвель слушал внимательно.

— Хорошо, Идония,— сказал он,— ступай, ты пробудешь в Уайтгале до завтра, а завтра я провожу тебя в парламент.

Он распахнул перед нею дверь. Старуха шаркающей неверной походкой переступила порог и почти столкнулась с женской фигурой, стоявшей у двери.

Женщина откинула с лица прозрачный шарф и вошла в кабинет.

— Бетси! — вскрикнул Кромвель, делая шаг назад.

Его дочь была очень бледна и едва держалась на ногах.

— Закрой дверь,— сказала она прерывающимся голосом.

— Ты вся промокла, Бетси. Сядь вот здесь у камина и говори, зачем ты пришла сюда?

Он усадил ее в большое кресло к самому огню и грел нежно маленькие озябшие руки, и голос его, суровый и грубый за минуту, теперь сделался мягким и ласковым.

— Я ушла из дома потихоньку, отец. Я шла пешком и могу здесь быть очень недолго. Ты не приходишь домой вот уже несколько дней, и я потеряла

надежду видеть тебя, а между тем завтра двадцатое января, отец... двадцатое января...

Она сделала ударение на этой фразе.

Кромвель внимательно заглянул ей в лицо.

— Что ты этим хочешь сказать, дитя мое?

Бетси крепко сжала его руки.

— Отец,— прошептала она,— войска запирают вход в палату; войска арестовывают короля и членов парламента; войска наводняют Лондон; ты в Уайтгале в собственных покоях короля... Армия овладела кассами разных комитетов...

— Объявляя, что принуждена сама заботиться о своих нуждах,— усмехнулся Кромвель,— чтобы не быть в тягость государству.

— Да, да, так они говорят... И армия уже представила план республиканского правления, под заглавием «Новый народный договор». Правда это?

— Правда, Бетси.

— Республиканский план правления, отец, а завтра вы призываете к ответу короля... значит, его участь уже заранее решена?

— Решена.

Он говорил спокойно. Бетси дрожала.

— Отец,— сказала она, складывая руки на груди,— разве это суд? Это комедия суда, отец.

— Правда, Бетси, это комедия.

— И ты... и ты участвуешь в этой комедии, ты, сильный, прямой, честный человек, имя которого я носила с гордостью... с гордостью, отец?

— И я участвую в ней, Бетси,— отвечал Кромвель, и голос его чуть заметно дрогнул.

Бетси смотрела в огонь, напряженно сжав тонкие брови.

— Зачем была здесь старуха, отец?

— Зачем ты меня допрашиваешь, дитя мое? Не все государственные вопросы доступны женщинам.

Бетси вскочила.

— Сегодня Нелли рано утром видела ее на площади и узнала. Эта старая Идония, служанка, которая когда-то учила Нелли любить людей и любить свободу... теперь она сошла с ума и пророчествует... и ты, отец, воспользовался ее безумием, чтобы подействовать на темные умы и ускорить гибель короля...

— Разве не ты со мною мечтала о свободе, Бетси? Разве не ты повторяла за мною слова: «Тиран»? — глухо спросил Кромвель.

Она покачала головою.

— Это говорила я. И если бы ты убил этого тирана в честной битве или в равном поединке, я бы целовала твои руки, обрызганные кровью, но так, заранее предумать смерть, после комедии суда... отец... это... это недостойно тебя...

Кромвель высоко поднял голову.

— Бетси, — сказал он ясным, резким голосом, — бывают случаи, когда зло так велико, что для прекращения его уж нет прямых путей. Тогда идут кривыми, как это ни печально...

Кромвель задумался.

Бетси опустила перед ним на колени.

— Отец, — простонала она, — у тебя есть дети... вспомни, как ты рассказывал о свидании короля с его детьми... Ты говорил, что многие плакали, видя, как король обнимал детей... и теперь ты хочешь сделать их сиротами...

— Это очень печально, — сказал Кромвель, — тем более, что я даже любил одно время короля.

— Любил?

— Любил. Но тогда я надеялся, Бетси, а теперь надежда исчезла. Встань, я не могу тебя видеть на коленях. Встань; я распорядюсь, чтобы тебя отвезли домой... Чего ты хочешь? Все уже решено, и ни одним мною...

Бетси заплакала.

— Но скажи, что не ты будешь осуждать его, отец, что ты будешь чист... а еще... еще есть другое средство: помоги ему бежать...

Кромвель вздрогнул и отстранил дочь.

— Никогда! Это невозможно. Кто вреден, того уничтожают...

Он поднял ее и, держа за плечи перед собою, страстно проговорил:

— У нас было перехвачено королевское письмо. В этом письме король грозит мне виселицей. Но если бы тогда, Бетси, я знал, что моя казнь спасет Англию, я бы помог королю исполнить его намерение.

Бетси прислонилась к стене и закрыла глаза. Лицо ее было смертельно бледно; жалкая улыбка кривила губы. Там, дома, в ее комнате, собрались женщины: мистрисс Лайль, мистрисс Ферфакс и Нелли. Они плакали о судьбе беззащитного короля, плакали из естественного чувства сострадания к его беспомощности.

— Отец,— прошептала Бетси, и черные глаза ее широко раскрылись,— когда-то я не успела тебя попросить даровать жизнь Ричарду Арнеллю... человеку, который любил меня больше всего на свете...

Кромвель вздрогнул.

Слезы медленно катились по лицу Бетси.

— Я не могу молчать,— сказала она грустно,— мне надо все тебе сейчас высказать... Ричард Арнелль не дает мне спать по ночам... Он приходит ко мне, такой жалкий, такой молодой, с глубокой раной в груди, и смотрит укоризненно... и качает головою... Как мог ты убить того, кто был тебе почти сыном?

Кромвель молча опустил голову.

— Бетси,— сказал он отрывисто,— кончено. Я убил Ричарда потому, что это был мой долг, и я убью другого потому, что это тоже мой долг. А теперь иди... я больше... слышишь... не могу...

Он позвонил. Вошел слуга.

— В Уайтгале всегда стоит наготове запряженная по моему распоряжению карета; вели ее подать для моей дочери. Прощай, дитя мое. Я сам не могу тебя проводить; у меня очень много дела; придется проработать всю ночь.

Голос его звучал уверенно и спокойно; он дотронулся губами до холодного лба дочери и открыл перед нею дверь.

Прошло десять дней. Было утро. Король, помещенный теперь в Сент-Джемский дворец, только что проснулся.

У него был усталый вид и большие красивые глаза ввалились на бледном лице.

— Я не могу никого видеть, Герберт. Я очень устал. Я жду детей. Королева тоже хотела меня видеть... хотела приехать из Парижа... но ей отвечали, что это невозможно...

Карл глубоко задумался; потом сказал, тряхнув головою:

— Давай, будем одеваться.

Одевшись при помощи Герберта, Карл опустился на колени перед аналоем и долго молился. Когда он поднялся с колен, лицо его было еще бледнее, но глаза смотрели спокойно и ясно.

— Поддай сюда ларец, Герберт,— сказал он.

Герберт подал маленький кованый ящичек, где прежде у короля хранились драгоценности. Карл открыл, взял ордена Св. Георгия и Подвязки и усмехнулся.

— Вот единственное богатство, которое я могу оставить детям,— сказал он тихо.

Лицо его было совершенно спокойно. Ордена напомнили ему о прежнем величии и о теперешнем падении. Воспоминания о событиях последних дней проснулись в душе его.

Он видел суд; в ушах его еще звучали слова председателя Брэдшота:

— Сержант! ввести арестанта!

Да, да, король Англии сразу превратился в простого арестанта.

Потом потянулась длинная бессмысленная процедура суда. Карл сидел у решетки, как преступник, а все эти люди с заранее приготовленным приговором делали вид, что судят его. Он не мог не засмеяться, услышав выражения обвинительного акта:

«Карл Стюарт, тиран, государственный преступник и убийца».

Карл спрашивал, кто судит его, и ему отвечали: народ английский; потом он спрашивал, где лорды и почему не весь парламент налицо; ему не отвечали. Он требовал, чтобы ему показали настоящую судебную власть, и услышал слова:

— Сержант! увести арестанта!

Это было каким-то нелепым сном...

Вспомнив длинные препирательства с Брэдшотом, Карл засмеялся.

— Милорд,— сказал он вошедшему епископу Джексону,— как изменчива на земле власть: ведь недавно еще эти люди готовы были пасть передо мною ниц, а теперь, в палате, солдаты, составлявшие мою стражу, закуривали трубки и пускали мне дым в лицо... многие громко смеялись и острили...

— Государь, — отвечал Джексон, — лучше не вспоминать... обратите ваши взоры к небу...

Карл покачал головою.

— Нельзя не вспоминать, ваше преподобие. Я примирился, но меня изумляет то, что мне не дали даже высказаться. Мне так и не дали ничего сказать в свое оправдание... А вчера, когда я шел из суда к своим носилкам, на лестнице я встретил самые грубые оскорбления!

— Но, государь, — вмешался Герберт, — были и другие, которые кричали: «Да сохранит бог ваше величество... Да освободит бог ваше величество от рук врагов ваших»...

— Да, да, были все же и такие... Толпа — это стадо или толпа детей, которые не знают, чего хотят. Я заметил, что носильщики стояли без шапок, пока я не сел на носилки... А солдаты все продолжали кричать: «Суда, казни!» Бедные люди! Они за шиллинг готовы кричать то же самое против своих офицеров! Вчера мне прочли приговор... Боже мой... дети... Наконец-то!

Он встал и радостно бросился к двери.

На пороге стояли королевские дети. Двенадцатилетняя принцесса Елизавета, увидев отца, побледнела, и глаза ее наполнились слезами. Трудно было узнать в этом седом, изможденном человеке того гордого, красивого короля, который так весело говорил с нею еще недавно в Мэдэнгиде, среди зелени и душистых ярких роз, рассыпанных на дороге. Сейчас только, идя сюда, принцесса слышала страшные крики:

— Справедливости! Казнь королю! Смерть, смерть!

Она упала к отцу на шею с громким рыданием. Восьмилетний герцог Глостерский тоже горько расплакался, уткнувшись в угол.

Карл осторожно взял детей на руки, опустился в кресло и посадил их себе на колени. Солнце играло светлыми кудрями принцессы, и они казались золотыми. Она все еще продолжала всхлипывать на плече у отца. А маленький брат ее загляделся на красивые блестящие игрушки в затейливом ларчике, широко открыв голубые глаза, полные непролившихся слез.

Карл улыбнулся, аккуратно разложил на две кучки бриллиантовые ордена и сказал:

— Перестаньте плакать. Лучше слушайте хорошенько, что я вам скажу. Святой отец,— он указал на Джексона,— научит тебя, дочь моя, как утвердиться в вере; молись, скажи братьям, что я прощаю своим врагам, а матери, что никогда мои мысли не отдалялись от нее, и до последней минуты я буду любить ее, как любил в день свадьбы... Перестань же плакать...

Он отвел темные кудри со лба маленького принца и снисходительным тоном, почти шутливо проговорил:

— Душа моя, они отрубят голову твоему отцу...

Ребенок оторвался от побрякушек и серьезно взглянул на отца.

— Будь внимателен, дитя мое... Слушай хорошенько. Они отрубят мне голову и, может быть, захотят объявить тебя королем; но слушай внимательно: ты не должен быть королем, как и твои братья, Карл и Иаков, потому что они отрубят головы братьям твоим, если найдут их, и, наконец, отрубят ее и тебе. Я приказываю тебе: не позволяй им делать себя королем.

Глаза мальчика засверкали.

Король поцеловал детей и, спустив их с колен, долго молился. Дети громко рыдали, когда Карл благословлял их.

— Велите увести их, милорд! — прошептал, наконец, Карл и отвернулся к окну, чтобы скрыть слезы, потом опять бросился к детям, еще раз обнял, благословил и упал на колени перед распятием...

На другой день с раннего утра народ стал собираться перед Уайтгалем, но конница скоро заняла всю площадь, все соседние улицы и въезды к Уайтгалю, вытеснила толпу и окружила помост, обшитый черным сукном.

На главной аллее выстроилась в два ряда пехота в полной форме. Снег в аллее был утоптан; с деревьев падал иней на плечи и головы солдат; взоры всех были устремлены в конец аллеи, где слабо темнели раскрытые двери Сент-Джемского дворца.

Анна Стэгт ловко работала сильными руками вместе со своей родственницей Эмилией.

— Скоро придет король? — спрашивала Эмилия, и голос ее дрожал.

Ей было страшно и жалко короля; ей казалось, что со смертью Карла погибнет Англия.

— Когда назначена казнь, добрые люди!

В парке солдаты не гнали народ, но и не отвечали ни слова: начальство приказало им хранить глубокое молчание.

Проходили часы в томительном ожидании; наконец, забил гулко барабан; отряд алебардщиков показался у дворца; они шли по аллее ровным, крупным шагом, распустив знамена. За ними показался Карл.

Король шел медленно, высоко подняв голову. На нем было парадное платье, и голова его была тщательно причесана.

Седая голова просунулась из-за плеча Анны Стэгт; жилистая рука поднялась вверх.

— Будь ты проклят! — прозвучал хриплый голос. — Будь ты проклят на том свете, как на этом! Нет тебе прощенья! Сегодня мы поспразднуем в честь твою, кровопийца!

Анна Стэгт с гневом обернулась к старухе.

— Молчи, Идония! — крикнула она сердито: — не то я заткну тебе глотку! Человека ведут на смерть, а она над ним издевается! Сегодня он сам даст отчет во всем богу!

Король шел твердым шагом под грохот барабанов, рядом с епископом Джексонем; по другую сторону его с обнаженной головой следовал полковник Томлисон, начальник гвардии.

Король говорил; голос его звучал спокойно:

— Вот все, что я хотел просить вас, полковник, относительно моих похорон.

— Все будет в точности исполнено, государь.

Перед казнью король отдыхал и молился в своей спальне. Он отказался принять присланных ему священников и причастился у епископа Джексона; потом съел кусок хлеба и выпил стакан вина, чтобы быть сильней на эшафоте; он боялся, что физическую слабость могут принять за страх перед смертью.

— Уже первый час, — проговорил король и, услышав стук в дверь, быстро поднялся с кресла.

Джексон и Герберт побледнели. На глазах у них выступили слезы. Они упали перед королем на колени. Карл склонился к епископу.

— Встаньте, старый друг. Опять стучат; Герберт, отвори; пора.

Вошел один из полковников парламентской армии.

— Идите, полковник, — сказал Карл, — я следую за вами.

Твердым шагом направился он в пиршественную залу среди гробового молчания.

В стене Уайтгалья было пробито отверстие, ведущее прямо на эшафот. Вся зала была полна солдат и народа.

В пробитое отверстие виднелась конница, сверкали алебарды. Карл подошел к выходу и ступил на черное сукно помоста. За спиной его раздались рыдания, и солдаты вытащили бившуюся в истерике женщину.

Карл шел медленно, важно, с высоко поднятой головой; у выхода он на минуту остановился, оглядываясь. Он рассчитывал увидеть на площади народ, для которого приготовил свое последнее слово. Но кругом эшафота виднелась только стража. У плахи, высоко над толпою, поднимались две мрачные фигуры в масках. Один опирался на секиру, и она сверкала ослепительным блеском на зимнем солнце.

Король вступил на эшафот.

— Вы одни только можете слышать меня, — сказал он Джексону и Томлисону, — поэтому я и обращаюсь к вам.

Карл говорил недолго; речь его была важна и холодна. Он шел на смерть, искренно считая себя мучеником, и даже в эту страшную минуту не сознавал своих ошибок; он думал, что настоящей причиной народных бедствий было неуважение прав государя; что народ не должен участвовать в управлении государством и что только при этом условии в Англии могут водвориться снова мир и свобода.

Во время его речи один из стоявших у плахи офицеров тронул секиру. Карл вздрогнул; лицо его передрнуло.

— Не портите ее, — произнес он с легким оттенком страдания, — мне будет больнее.

Потом он спокойно кончил свою речь.

При последнем слове ему показалось, что кто-то за его спиной опять двинул секиру. Он живо обернулся,

и бледные губы строго прошептали упрек тому, кто вздумал шутить со смертью:

— Берегитесь! берегитесь!

По знаку Карла, полковник Томлисон подал ему шелковую шапочку. При глубоком молчании он надел ее на голову и просто обратился к палачу:

— Не мешают ли волосы?

Палач почтительно поклонился.

— Прошу ваше величество подобрать их под шапочку.

Джексон помог хорошо подобрать волосы.

— На моей стороне правое дело и милосердный бог,— сказал Карл.

— Да, государь,— отвечал епископ,— вам остается сделать один шаг; он труден и тягостен, но недолог; а между тем вы делаете этим шагом великий переход: он переносит вас с земли на небо.

— Я перейду от тленного венца к нетленному,— прошептал Карл,— там мне не нужно опасаться никаких треволнений, никаких... Хорошо ли подобраны волосы? — спросил он палача.

Палач молча поклонился.

Карл снял крест Святого Георгия. Рука его не дрожала, когда он передавал орден епископу.

— Помните!..— проговорил он громко, с особенным ударением почти грозно, но никто никогда не узнал, что хотел сказать король этим словом.

Он расстегивал камзол спокойно, не спеша; сбросив его на руки Томлисону, король взглянул на плаху.

— Поставьте ее потверже,— сказал он палачу.

— Она стоит твердо, ваше величество.

— Я прочитаю небольшую молитву и, когда протяну руки, тогда...

Карл опустил на колени, потом медленно положил голову на плаху.

— Дождитесь знака,— сказал Карл.

— Я буду ждать, сколько будет угодно вашему величеству.

Король протянул руки. В воздухе сверкнула секира; голова Карла скатилась после первого удара. Палач поднял ее высоко на воздух с криком:

— Вот голова государственного изменника!

Из пиршественной залы хлынула потоком толпа к помосту, многие мочили платки в крови короля и уносили их с собою, говоря, что это — кровь мученика... Два отряда конницы лениво разгоняли толпу.

Когда площадь очистилась от толпы, солдаты уложили короля в гроб.

Кромвель распорядился выносом тела в Уайтгаль. Погребение решено было устроить просто, но прилично.

Гроб стоял на катафалке в Уайтгале, покрытый черным бархатом.

Толпа осаждала все входы дворца, но ее не пускали.

В синеватом свете зимних сумерек, среди жуткой тишины мрачная черная фигура Кромвеля склонилась над гробом.

Долго вглядывался он в мертвое лицо, застывшее в спокойном величии, с высоким красивым лбом, окруженным поседевшими кудрями. Оно и теперь, как при жизни, было так же величаво-надменно.

Медленно оторвался Кромвель от гроба и глубоко вздохнул:

— Хорошо было сложено это тело; оно обещало долгую жизнь!

XXIII

ТРИУМФ КРОМВЕЛЯ

На улицах Лондона с самого вечера суетился народ; обыватели всю ночь убирали дома коврами, цветами, зелеными ветками и устанавливали триумфальные арки.

Взобравшись на высокий шест самой нарядной триумфальной арки, долговязый малый прикреплял к нему последнюю гирлянду из разноцветных астр, цветов осени. Внизу, вся сияющая, в праздничном платье, стояла Анна Стэгт с корзиной цветов. Она собиралась разбрасывать их по пути Кромвеля, возвращавшегося из своего победоносного похода.

Сбоку было устроено небольшое возвышение, покрытое красным сукном, для семьи Кромвеля.

Анна Стэгг встретила глазами с молодой белокурой девишкой и, улыбаясь, поклонилась ей.

Парень, разглядывавший с верхушки шеста семью Кромвеля, сказал вслух:

— Не будь я Фрэнк Долговязый и не живи я в Уайтфрайярзе, если эта молодая леди не похожа, как две капли воды, на маленькую Нелли, которую я когда-то учил хозяйничать на улицах!

Но глаза его сейчас же обратились к легкому облаку, появившемуся вдаль, на дороге. Облако росло, и в клубах пыли показались силуэты всадников.

Фрэнк стащил с себя пояс и, размахивая им в воздухе, громко закричал:

— Да здравствует Оливер Кромвель, спаситель родины!

— Да здравствует Оливер Кромвель! — подхватила толпа.

С бойниц всех замков грянули разом пушки. У возвышения засуетились люди, вперед выступил президент государственного совета, лорд-мэр с альдерменами Сити и знатные лондонцы. Тщедушная старушка — мать героя, вскарабкавшись на скамейку, плакала навзрыд от радости и умиления; жена махала платком.

По длинной дороге, обрамленной липами в золотом осеннем уборе, медленно подвигалось торжественное шествие. Впереди ехали безоружные пленные. Здесь были все славные имена, и между ними имя знаменитого шотландского полководца, могучего Лесли. Лица пленников были мрачны; головы опущены...

С момента казни короля Карла I прошло более полутора года. Сын казненного короля принц Уэльский Карл нашел приют в Голландии. Шотландцы приглашали Карла вернуться из Голландии; и 1 января 1651 года он был коронован в Шотландии, как король Карл II. Ирландия также признала Карла королем. Собрав в Шотландии войско, Карл решил напасть на английскую республику.

Против него выступил Кромвель.

Сначала Кромвель разгромил «кавалеров» в Ирландии, потом разбил короля в Шотландии, и последний принужден был, наконец, бежать.

После целого ряда побед благодарное отечество устроило герою торжественную встречу.

Под гром пушек и ликующие крики народа Оливер Кромвель, окруженный офицерами, медленно въезжал в Лондон, раскланиваясь направо и налево.

— Ты видела, у него поцеловала руку белокурая девушка? Она ничуть не похожа на него. И она тебе раньше поклонилась, — спросила соседка у Анны Стэтт.

— Ну да, это Нелли Фельтон, она несколько лет уже живет у него и все равно ему, что дочь...

Кавалькада двигалась по направлению к Уайтгалю. Доспехи воинов ярко блестели на сентябрьском солнце...

В тот же день в Уайтгале был блестящий банкет. Двенадцать трубачей, стоя на широкой лестнице, приветствовали гостей звуками музыки; уайтгальский двор был полон карет. Маленькая жена Кромвеля в топорщившемся парчевом платье и в цветных батистовых рукавчиках встречала гостей, вся красная от смущения; она все еще не привыкла свободно держаться в большом обществе. На шее ее блестело брильянтовое ожерелье, и блеск драгоценных камней не шел к ее некрасивому, увядшему лицу.

Два великолепно сервированные стола ждали гостей в громадном зале. На особом возвышении играла музыка; и под ритмически унылый напев гости медленно шли по парам через всю залу.

Столы были украшены цветами и фруктами из оранжерей Гэмптон-Корта, отданного парламентом в распоряжение Кромвеля. Долго длился торжественный пир...

Когда Кромвель, а за ним и гости поднялись из-за стола, неожиданно среди тишины раздались звуки благодарственного псалма; и странно было слушать торжественно-печальные звуки в той самой зале, где еще многие из гостей помнили веселый смех, пение и легкую музыку при дворе королевы Генриеты-Марии.

Было уже поздно; луна поднялась над Уайтгалем. Банкет кончился; гости разъехались.

Нелли Фельтон осторожно спускалась по витой лестнице, которая вела в дальние покои дворца.

Уайтгаль тонул в сумерках, и жутко делалось от звука собственных шагов. По телу Нелли пробегала дрожь. На цыпочках пробиралась она к покоям, где когда-то жила королева. В полумраке тонула анфилада

комнат картинной галлерей; некоторые из картин, затянутые белым холстом, казались привидениями.

Кругом не было ни души. Луна заглядывала в окна галлерей; на полу легли длинные голубые полосы света, и в лунных лучах дрожали какие-то сказочные тени. Нелли казалось, что это тени давно ушедших из мира людей, оставивших здесь бродить и плакать свои одинокие души.

От стены отделилась темная фигура и вышла в полосу лунного света.

— Вы здесь, сэр Эдвард? — прошептала, вся замирая! Нелли.

— Я жду вас здесь уже больше часа.

Нелли осмотрелась.

— Я не могла раньше прийти. Вам здесь не страшно?

Эдвард покачал головою.

— А мне страшно... — прошептала она. — Мне кажется, что здесь бродит тень покойного короля. Взгляните сюда...

Она показала рукою на высокие кресла, составленные в кучу, и на столы с изящной резьбою, из которых каждое было ценным произведением искусства. На столах стояли бронзовые статуэтки, и на всех вещах были приклеены белые ярлычки.

— Это все принадлежало когда-то королю, сэр Эдвард; это все собиралось с терпением и любовью в течение многих лет, а теперь все это продается с публичного торга.

Она осторожно дотронулась пальцами до красивой серебряной вазы с головками медузы на ручках и, подняв глаза, вздрогнула. Перед нею в лунном луче выступала из золотой рамы гордая и прекрасная фигура лорда Фоклэнда с холодным недоумением в глазах. И в этом лице Нелли прочла затаенную тревогу предчувствия.

— Здесь царство смерти, — испуганно сказала она. — Взгляните, сэр Эдвард... это работа несчастного Эльмера... он писал Фоклэнда в подарок королю... Взгляните хорошенько: лорд оживает в лунных лучах; он точно хочет сказать: «Вот я стою здесь и смотрю, как раздирают на части жизнь прошлого, как продают

чудные памятники искусства за бесценок людям, которые ничего не понимают в этом мире красоты... И жалкий лавочник со своей толстой лавочницей будут сидеть на тех креслах, на которых еще так недавно сидел король!..» И так бы сказал Эльмер, бедный Эльмер...

Эдвард был страшно бледен; он молча смотрел на Нелли.

Нелли озиралась с тоскою. Ей казалось, что неодушевленные предметы оживают в заброшенных комнатах дворца. Вставали шорохи, и двигались таинственные тени, и стулья и столы, и картины начинали шепотом рассказывать свои печальные истории о недавней красивой жизни, и вдали слышались такие печальные звуки, и скрип пола, и вздохи, и тихий шелест ветров, и тихий смех, и шорох шелковых платьев, и бряцанье оружия, и отдаленная замирающая музыка, а в лунных лучах поднимались тени старого дворца и скользили по полу, залитому голубым светом, в медленном танце коранто...

Нелли тяжело дышала, полная страха и очарования. Голос Эдварда заставил ее вздрогнуть.

— Мисс Нелли, — сказал он тихо, — люди дороже вещей. Я принес вам скверные новости.

Бледная, почти прозрачная, в голубом свете луны Нелли с ужасом схватила его за руку.

— Скверные новости? Бога ради, сэр Эдвард... Эльмер... он... он жив?

— Сегодня я был в Тоуэре у тюремщика; это все тот же старый Джон. Теперь он стал уже совсем дряхлым; но все еще помнит меня. Он мне обрадовался до слез... и мне удалось узнать у него скверную новость относительно Эльмера Повэя.

Нелли прижала руки к сердцу.

— Ну? — протянула она, замирая.

— Эльмер Повэй помещен в просторную камеру Тоуэра, благодаря Джону. Джон говорил, что на него жалко смотреть. Несколько раз он пытался наложить на себя руки, до того ему хотелось на свободу... а потом опять стих...

— Бедный Эльмер! — прошептала Нелли.

— Он очень тих, и потому Джон его так жалует, передает ему разные новости, а на днях отдал ему даже лист с напечатанным «Иконоборцем» Мильтона.

— Боже мой, — сказала Нелли, — да ведь это — сплошная брань покойному королю... «Иконоборец» — ответ на сочинение короля «Королевский образ», над которым плачут все кавалеры... До Эльмера наверно дошло это сочинение, где описаны размышления, печали, надежды короля Карла; после появления этой брошюры Карла Стюарта многие начали называть королем-мучеником. Я думаю, как больно было Эльмеру читать «Иконоборца»!

— Он пришел в бешенство, — сказал Эдвард. — Он топал ногами, проклинал тюрьму и говорил, что покажет себя, если перед ним откроют двери тюрьмы. Потом он затих, не ел, не пил и сидел неподвижно, устремив взгляд в одну точку. А через несколько дней кавалер спросил у Джона перо, чернила и бумагу и долго что-то писал. Кончив, он взял с Джона слово, что тот передаст это письмо самому Оливеру Кромвелю.

— Кромвелю? — спросила Нелли, и сердце ее сжалось от недоброго предчувствия.

— Сегодня во время банкета ему отдали это письмо. Джон переписал для меня его содержание от слова до слова. Вот оно.

При лунном свете Эдвард с трудом прочитал:

«Вы — Оливер Кромвель; вы ненавидите все, что напоминает вам корону; вы жестоки. Вы встретились в Шотландии с пятнадцатью тысячами бездельников, изменников государя. Земля шотландская должна была краснеть; предатели-шотландцы, продавшие еще так недавно отца, предложили теперь позор и унижение сыну. От молодого, неопытного государя Карла II эти скоты потребовали всенародного признания тирании его покойного отца и идолопоклонства его матери. И со слезами на глазах юный король сначала сказал: «Если я подпишу эту бумагу, то не буду иметь возможности взглянуть в глаза своей матери». И все-таки его заставили подписать... Вы жестоки, Оливер Кромвель! Когда-то вы поддерживали отца; разве теперь не должны были вы поддержать сына и поднять монархию?»

Но вы двинулись против нее по земле Шотландии, принося с собою всюду ужас и опустошение. Ужас принесли вы с собою перед этим и в Ирландию. Вы приказали своим солдатам убивать всех, кто встретится вооруженным... говорят, вы приказали рубить руки даже детям»...

— Какая ложь! — воскликнула Нелли: — говорить так про человека, который раз, во время рекогносцировки в Шотландии, зашел к одному горячему приверженцу короля и проявил всю нежность своей высокой души! Каждый солдат знает рассказ о том, как он ласкал в этом доме больного ребенка и советовал матери отвезти его для излечения во Францию... Мальчик не боялся тогда, что ему отрубят руку; и играл рукояткой шпаги страшного Оливера Кромвеля. И Кромвель, — тут голос Нелли зазвучал нежностью, почти восхищением, — и Кромвель, глядя ребенка по голове, смеялся. — «Хорошо, хорошо, — сказал он, — ведь ты мой маленький капитан». И взяв за руки ребенка, он стал с ним на колени и громко помолился за семью, принявшую его в свой дом: Разве может такой человек убить ребенка?

Эдвард покачал головою.

— Я и сам не верю в это. Но в это верит Повэй. Вот что он пишет дальше: «Вы перебили в одной церкви около тысячи человек; вы не щадили даже монахов... Будьте же вы прокляты! Мне надоело томиться в темнице в бездействии; я не могу изнемогать и постепенно терять рассудок! Я хочу умереть. Продолжите же скорее со мною ваши жестокости: вот здесь я поднимаю голову и смело кричу вам: «Я презираю ваш парламент; я называю его скопищем бунтовщиков, изменников и преступников. Я поднимаю знамя короля и кричу: «Мир памяти короля-мученика! Да здравствует король Карл II и монархия!»

— Это писал сумасшедший человек, — прошептала Нелли.

— Да, но этот сумасшедший человек будет отдан под суд потому, что оскорбил парламент.

Глухой стон вырвался из груди Нелли. Эдвард тихо положил ей руку на плечо.

— Мисс Нелли,— сказал он дрожащим голосом,— видит бог, что я готов отдать за вас жизнь. Я думал об его спасении... Надо пойти и попросить генерала...

— Вы не знаете, что говорите, Эдвард! — прошептала Нелли.— Когда и кого прощал Оливер Кромвель? Если бы мы с вами нарушили долг и умирали у его ног; если бы ему пришлось вырвать свое сердце, прежде чем убить нас, он вырвал бы собственное сердце... Вспомните Ричарда Арнелля...

Эдвард задумался.

— Вот что, мисс Нелли, я все обдумал. Мне тяжело было идти против Оливера Кромвеля, слово которого для меня — закон, но если нельзя иначе, мы устроим побег.

— Это невозможно, сэр Эдвард!

— Я все уже обдумал. Мне не трудно будет уломать тюремщика. Переход через ров вплавь мне хорошо известен. Мне ли не знать Тоуэра! Там в одном месте есть брод, где не утонешь в тине.

Нелли печально покачала головой:

— Он не пойдет; он, очевидно, решил умереть.

— Вы сами придете за ним. Вы обещаете ему счастье... ваша любовь...

Нелли засмеялась.

— Сэр Эдвард... зачем вы говорите это... разве я дала вам право рассуждать о том, что я пережила? Я никогда не обещаю Эльмеру Повэю счастье.

Настало молчание.

— Мисс Нелли,— прошептал Эдвард,— но вам придется прийти к нему. Иначе он не согласится.

— Хорошо. Я пойду, я сама выведу его, но без обещаний... без обещаний...

Нелли теперь только заметила, как было мертвенно бледно лицо Эдварда.

— Сэр Эдвард... что с вами? О чем вы думаете?

Он вздрогнул и провел рукою по лицу.

— Эльмер Повэй бежит; в чужой стране найдет он свое счастье, это решено,— медленно сказал он,— но мне почему-то на минуту пришло в голову, зачем я

здесь; до чего я одинок, мисс Нелли, и до чего мне тяжело. Я, в сущности, не могу больше жить среди этой вечной вражды и крови...

Он закрыл лицо руками и заплакал бессильными детскими слезами. Нелли тихо опустилась перед ним на колени. Ее голос дрожал.

— Эдвард, — шептала она, — милый мой брат; никто не может любить тебя более меня... С тех пор, как ты около меня, мне легче жить... И разве ты со мною одинок?

Эдвард отнял руки от лица. Губы его улыбались.

— Эдвард, — продолжала шептать Нелли, — все, что есть прекрасного на земле, — все сосредоточилось в тебе... Рядом с тобой нельзя думать о злом... Я люблю тебя, как брата, как единственного друга на земле. Тебе нужно отдохнуть... Когда будет в безопасности тот, кто воспитал меня, жалкую сироту Уайтфрайярза, мы уйдем с тобою рука об руку отсюда, потому что мы уже здесь не нужны. Борьба кончена; железная рука Оливера Кромвеля крепко держит Англию. То, ради чего мы хотели отдать жизнь, разрушено им до основания. Он идет по злему пути, он отвернулся от того, что наметил вначале: от власти трудящихся. Он сделался сам владыкою Англии, но малейшему слову которого летят головы тех, кто является часто не врагом народа, но врагом его, Кромвеля... Ах, Эдвард, от этой мысли у меня больно щемит сердце... Мы уйдем и построим где-нибудь далеко новую жизнь... Мы уйдем...

— Мы уйдем, — как шелест, вырвалось из уст Эдварда.

XXIV

КРАСНАЯ ЧЕРТА ЛОРДА ФОКЛЕНДА

Кромвель сидел в комнате Бетси и читал библию. Медленно звучали слова стиха из пророка Иеремии:

«Так говорил Господь: слушайте слова пророков, которых Я послал вам».

Бетси сидела у его ног на ковре и внимательно слушала. Кромвель поднял голову и взглянул на дверь.

— Это ты, Нелли? Как ты бледна! Ты нездорова? Кромвель отложил книгу; серебряные застёжки громко звякнули. Он с тревогою посмотрел на вошедшую Нелли.

Нелли вдруг опустилась на ковер рядом с Бетси и приложила лицом к свесившейся руке Кромвеля.

— Ты плачешь, дитя мое... О чем?..

— Отец, — пробормотала девушка, — ты не можешь совершить такой жестокости, ты выпустишь Эльмера Повэя... он безумец, и поэтому ты дашь ему уехать далеко из Англии, чтобы он никогда, никогда не возвращался...

— Ты знаешь, что сделал Эльмер Повэй?

— Знаю, отец.

Наступила глубокая, жуткая тишина. Кромвель молчал, сдвинув брови.

Вдруг он встал.

— Вот здесь я думал, — медленно зазвучал его голос. — Короля нет; все распалось, как прах, величие монархии сделалось пустым звуком. Повэйи не опасны, но держать их в Англии нельзя. Они будут мутить других. Завтра утром я навещу его сам. Я потребую: пусть он даст мне слово, что он никогда не поднимет больше оружия в пользу дома Стюартов.

В ответ ему раздался радостный крик; Бетси и Нелли, обнявшись, плакали от счастья.

На следующее утро Кромвель отправился в Тоуэр и вернулся оттуда мрачнее ночи.

— Я не мог ничего сделать, — сказал он Нелли, — этот человек страшно упрям; он отказался дать мне слово.

— И что же теперь, отец?

— Я должен представить на суд парламента его письмо.

Нелли молча опустила голову.

Повэя судили, и суд был короток: изменника отечества — друга Стюартов, оскорбителя парламента ждала смерть.

Вечером накануне казни Нелли с Эдвардом тайно отправились в Тоуэр.

Старый тюремщик Джон ждал их. В глубоком молчании он отпер перед Эдвардом ворота и провел к себе в каморку. Джона удивило появление в Тоуэре девушки, но Эдвард объяснил ему, что это невеста Повэя.

Громадный ключ повернулся в ржавом замке. Тюремщик светил тусклым фонарем. За крепкою дверью высокий задорный голос пел:

Вперед, вперед, выборные болваны!
Пляшите в крови по колени!

Джон остановился и покачал головою.

— Вот уже несколько дней поет эту песню сэр Эльмер Повэй. Вы знаете, ее придумали кавалеры короля против шотландских войск. Когда я слышу это пение, мне становится страшно. Кавалер вне себя от бешенства.

Знакомый голос Повэя продолжал:

— Вперед, вперед, бичи ереси!
Жокей наденет клобук вместо шапки,
А Джени нарядится в рясу вместо юбки
И станет подтирать ею слюни своему ребенку!
Вперед, вперед, освященные каналы,
Армия праведников, вперед, на бойню!

Он остановился, прислушиваясь; глаза его широко раскрылись.

— Это вы, Джон? И с вами еще кто-то? Как, мне сейчас уже объявят приговор?.. разве близок рассвет? А впрочем, я готов.

Тюремщик молча пропустил вперед посетителей. Нелли распахнула плащ, и к ногам Повэя упала длинная свернутая в моток веревка. Он отступил, и лицо его стало смертельно бледно. Глухой стон вырвался из груди.

— Это ты?.. Нелли... Нелли... это ты?..

Он схватил ее за руки и вглядывался в ее лицо сияющими от счастья глазами.

— Это ты... ты пришла проститься... о, как я рад, как рад, дорогая. Тюремщик очень добр, и на том свете я буду молиться за него... да благословит бог этого прекрасного человека... Иди сюда; здесь можно сесть... дайте мне ваш фонарь, Джон, я хочу ее хорошенько рассмотреть... я так давно ее не видел... Нелли, Нелли,

радость моя... как легко мне теперь будет умирать... ведь я желал только одного: перед смертью увидеть тебя... Какая ты большая, какая красивая; сколько у тебя глубокой мысли в глазах...

Он усадил ее на скамейку и опустился у ее ног, блаженно улыбаясь, и говорил, держа ее руки в своих руках:

— Ты помнишь, я всегда был суеверен, и я знал, что пока ты со мною, несчастье не коснется меня. Ты пришла, и теперь я уверен, что сегодня, когда меня расстреляют, я буду в раю.

Нелли вздрогнула.

— Ты не умрешь, Эльмер, — прошептала она, — мы пришли тебя освободить. Вот здесь веревка; ты по ней вылезешь в окно; а вот тебе женское платье; мы спрячем тебя у Эмилии Сэттон; это уже решено... Мы пришли освободить тебя...

Повэй вскочил.

— Мы? Ты сказала: мы? Кто же еще пришел с тобою, кроме тюремщика?

Он оглянулся и только теперь заметил Эдварда, стоявшего за колонной, в полутьме.

— Это Эдвард Бельфор, Эльмер.

Эдвард поклонился.

— Поторопитесь, сэр, — сказал он просто, — дорога каждая минута.

Глаза Повэя сразу потухли. Он покачал головой и резко отвечал:

— Нет. Я не хочу бежать. Я приготовился к смерти. Эти долгие месяцы заключения, а главное — разбитые надежды заставили меня возненавидеть жизнь и желать смерти. Я не пойду с вами.

Нелли заплакала.

— Эльмер, — прошептала она, — если у тебя осталась хоть капля любви или даже жалости ко мне, ты не должен так говорить, ты не должен, слышишь?

Эльмер покачал головою.

— Я любил тебя, сколько мог, Нелли. Но ты умерла для меня. Умерло искусство, умерла и ты. Теперь я вижу тебя мертвой. Умерла и та жизнь, которая меня заставляла жадно искать счастья. Ничего не стало.

Умру и я. Как освобождения, я жду смерти. И добрый Кромвель дарит мне ее...

— Эльмер, Эльмер, неужели же до сих пор ты веришь в монархию?

Повэй высоко поднял голову. Брови его напряженно сдвинулись.

— Молчи, — остановил он строго Нелли, — что ты знаешь о монархии? Если рушатся надежды, если даже исчезнет вера в короля, то и тогда не исчезает вера в монархию... Король — смертен; монархия — бессмертна. Она вечна. И я скажу тебе больше, — добавил он с грустной улыбкой. — Потерянные надежды не дают еще права примириться с тем, что настало. Надо сохранить в душе мужество сойти со сцены с достоинством даже тогда, когда обманешься. Я не могу жить в том мире, который создал Оливер Кромвель, и я уйду вслед за королем, который когда-то создал для меня другой мир, заманчиво-прекрасный. Вглядишься в мое лицо: разве ты не видишь, что я все уже передумал и бесповоротно решил?

Повэй приблизил свое лицо к самому лицу Нелли.

— Что ты читаешь в моих глазах, Нелли?

Она содрогнулась.

— Смерть, Эльмер.

— Да, так... Через несколько часов я буду расстрелян здесь, во дворе. Спасибо, что пришла перед смертью. Господь пошлет тебе за это счастье. А теперь иди.

Он вежливо поклонился.

— Благодарю вас, сэр Эдвард Бельфор.

Нелли встала, шатаясь.

— Постой, милая, одну минутку, — обратился к ней Повэй: — если можешь, дай что-нибудь тюремщику Джону за меня; он был так добр ко мне, а у меня ничего не осталось... даже картины моей мастерской продают с публичного торгова. Я — нищий! Сегодня мне ничего этого уже не будет нужно: я уйду за красную полосу зари, за черту розовых мечтаний, туда, куда давно ушел лорд Фоклэнд. Мы встретимся там с ним...

Эльмер вдруг пытливо заглянул в лицо Нелли.

— А это... это — жених твой, Нелли?

Она молчала. Эдвард вспыхнул.

— Если вы любите друг друга, — спокойно сказал Повэй, — женитесь. Нелли нужна опора. А теперь прощайте; скоро рассвет... Передайте от меня генералу Оливеру Кромвелю мою искреннюю благодарность: он мне не дал дожить до того дня, когда всякая рвань на улицах будет кричать: «Да здравствует король Оливер!» Но это, конечно, скоро будет.

Он сухо засмеялся, потом серьезно, почти благоговейно наклонился к Нелли, поцеловал ее в лоб и слабо махнул рукою.

— Прощайте, сэр Эдвард Бельфор, да благословит вас Господь.

Дверь заскрипела на ржавых петлях; тюремщик с низко опущенной головою запер ее за уходящими посетителями... Повэй остался один ждать рассвета.

И кроваво-красная полоса зари загорелась на востоке. Тоуэр ожил. Звенело оружие; мерно шагали солдаты и выстраивались на дворе в ряд, заряжая мушкеты. Слышалась короткая команда.

Нелли и Эдвард сидели в камерке тюремщика, притаив дыхание. Джон ушел исполнять приказания командира. Сжав виски руками, закрыв глаза, Нелли сидела за столом, и сердце ее замирало. Она все еще надеялась. Придет помилование, и Повэй останется жив, а она со спокойной душою исчезнет из его жизни.

Нелли ждала; сейчас раздастся знакомый голос:

— Эльмер Повэй, волею парламента, вам дарована жизнь.

Но среди тишины прозвучала команда коменданта:

— Проведите приговоренного этим ходом.

— Слушаю, ваше превосходительство, — прошептал старый Джон.

— Поддержите узника, Джон; свежий воздух и волнения могут ослабить его силы.

В ответ прозвучал бодрый голос Повэя:

— Не беспокойтесь, сэр, радость всегда придает силы. Смотрите, как ярко пылает небо! Благословенна будь заря этого дня!

Нелли встала, полная жалости и ужаса. Шаги стражи гулко замирали на плитах коридора. Слышно было, как осужденный спускался по каменным ступеням во

двор. Еще момент... настала гробовая тишина; потом слабо и невнятно зазвучала команда. Опять все затихло, и молчанию не было конца... потом грянул залп.

Нелли широко взмахнула руками и упала навзничь...

XXV

ЭДВАРД И НЕЛЛИ

Прошло около шести лет.

Был ясный майский день. В соборе Св. Павла только что кончилось богослужение, и толпа хлынула на площадь. Проходили чинно благочестивые горожане и горожанки со строгими лицами, в темных простых одеждах пуритан; матери вели за руки детей и говорили им, что около церковных дверей нехорошо смеяться. А лондонские улицы, залитые солнцем, как нарочно, смеялись своими обмытыми ночным дождем камешками мостовой; весело курлыкали голуби, отряхивая мокрые мохнатые лапки; за ними гонялась босоногая детвора, а на углу звенел высокий голос разносчика:

— Купите цветы, ваши милости! Купите душистые свежие цветы!

Но почтенные граждане были настроены вовсе не для легкомысленного веселья в этот день, и окрик нескольких здоровых малых заставил ребятишек задать тягу, а голубей разлететься.

На портике храма коренастая женщина в простом темно-коричневом платье и белом чепчике говорила толпе, размахивая руками:

— Вот здесь я жила когда-то богато, и всякий лондонский мальчишка знал жену пивовара Анну Стэгт. Но Анна Стэгт, хоть и имела кров и пищу не хуже любой дворянки, не стала валяться на пуховых перинах, а, засучив рукава, пошла строить укрепления, когда родилась грозила опасность от королевских войск.

— Мы помним Анну Стэгт, как же, хорошо помним!

— Кто не помнит тебя?

— Мы все работали на укреплениях!

— Опасность миновала, — продолжала Анна, — короля уже нет на свете; Оливер Кромвель победителем въехал в Лондон, и эти самые руки, руки Анны Стэгт, осыпали его путь цветами. А теперь все изменилось. Взгляните хорошенько: где Оливер Кромвель? Или он умер, или он подменен. Свергнув короля, он дал нам гнет хуже, чем гнет Карла Стюарта. Но приблизилось время освобождения; бог хочет исторгнуть народ свой из этого рабства и даровать ему невозбранное пользование благами и плодами земными. Мы все равны перед богом!

— Верно! верно!

— Нелли! — крикнула Анна. — Эдвард, придите сюда!

Держась за руки, вперед вышли Нелли и Эдвард. Они оба сильно изменились за эти годы; Нелли очень похудела и казалась изнуренной; на бледном лице горели синие восторженные глаза. Эдвард тоже осунулся, но весь светился тихим счастьем, и губы его кротко и блаженно улыбались. Оба были одеты очень бедно.

— Вот перед вами муж и жена, — сказала Анна торжественно. — Она была воспитанницей Оливера Кромвеля, спасителя отечества; он — верным рабом того же Кромвеля. И оба они ушли от него.

Нелли хотела что-то сказать, но Анна остановила ее.

— Подожди, — властно заговорила Анна, — лучше покажи им свои руки, которые скажут о том тяжелом труде, который ты сама избрала, покинув этот Вавилон; лучше поведай им, как ты живешь, по воле бога, и как ты счастлива. Слу-у-шайте! Слу-у-шайте!

Нелли поднялась на портик и стала рядом с Анной Стэгт. Мягкий, серебристый голос ее зазвучал радостно и вдохновенно:

— Я ушла с мужем из этого Вавилона, от крови и ужасов, в графство Сюррей; там я встретила проповедников божьей истины; они дали нам клочок земли, и мы стали обрабатывать его с любовью и радостью. Мы стали в ряды братьев-копателей¹. День-деньской

¹ Секта копателей или уравнителей, появившаяся в Англии, главным образом, в графстве Сюррей, проповедывала восстановление древней общности пользования плодами земли.

мы работали и добывали себе сами хлеб насущный, и были счастливы со своей мирной работой и спокойной совестью.

Она улыбнулась и вся засияла радостью.

— Я — сестра копателей. Мы никому не делаем зла; и генерал Ферфакс был неправ, когда арестовал наших вождей. Разве есть что-нибудь дурное в том, что человек не хочет иметь своего поля, своего дома, который богаче дома его соседа, что он берет столько, сколько ему нужно для того, чтоб поддержать жизнь, что он хочет, чтобы все люди работали на общих полях, и ради этого готов отдать жизнь? Потому что каждый из нас готов отдать жизнь за свою правду. Мы знаем, что близко время, когда наше учение облетит весь мир, и за него будут готовы сложить головы все, кто в него верит!

— Да будешь ты благословенна, дитя! — сказал какой-то старик, отирая слезы; толпа подхватила:

— Праведница! Праведница!

Нелли вынула листок, принадлежавший перу вождя «копателей» Джерардо Винстэнли, и дрожащим, взволнованным голосом прочла:

«Отчего существуют богатые и бедные? Если бы бедняки-труженики захватили под обработку общественную землю вместо того, чтобы с согнутыми коленями и шапкою в руках вымаливать у помещиков работу, за которую им платят по 6 и по 10 пенсов в день и которая только дает возможность помещикам обирать своих ближних, то богатые фермеры скоро потеряли бы охоту арендовать всю землю; ведь фермеры арендуют так много земли в расчете на прибыль, какую им даст труд бедняков!

— Что правда, то правда!

Нелли запела своим звонким серебряным голосом вдохновенную песню копателей:

Близится время, жатва придет,
Полны амбары зерна;
Землю и хлеб нам свобода несет,
Близится наша весна!
Подымитесь с лопатами, братья, дружной,
Станем жить мы на свете вольней!

Отряхнитесь от старых наскучивших пут,
И да здравствует честный наш труд!

Толпа подхватила:

— Подымитесь с лопатами, братья, дружной...

— Идите же за нею, братья и сестры! — громко крикнула Анна Стэгт. — Ведь и я когда-то, как она, схронив богача-мужа, раздала все свое имущество и ушла из этого Вавилона, познав истинное счастье среди братьев-копателей!

— Научи нас! Просвети нас!

— Слушайте ее, мало ли кородивых на свете? — крикнул чей-то дерзкий голос. — Как смеет она называть Лондон Вавилоном!

Анна Стэгт обернулась на голос. Глаза ее засверкали. Она бешено потрясла кулаками над головой.

— Будь проклят этот Вавилон и со всеми, кто в нем правит!

— Она против властей!

— Как бы тебя не услышали шпионы Кромвеля!

— Она говорит правду!

— Слушайте, слушайте!

Глаза Анны Стэгт метали искры.

— Шпионы Кромвеля! Да если меня поведут на виселицу, я не замолкну! Что сделал Оливер Кромвель, которого мы все боготворили? Не милосердием он действовал на страну, а разбоем. Сначала он был беспощаден только к партии короны, потом он стал беспощадно давить все, что попадалось на его пути.

— Замолчи! Не смей отзываться так о лорде-протекторе!

— Дайте же ей сказать наконец: или вы кромвелевские шпионы?

— Правительства больше нет в Англии, — продолжала Анна Стэгт, — есть всемогущая власть одного Кромвеля. Где наша свобода? Или вы забыли, как он разделил всю Англию на военные округа, поставив во главе каждого генерал-майора, которому было приказано обезоруживать не только всех папистов и друзей короны, но арестовывать по малейшему подозрению всех и каждого?.. Сколько невинных тогда погибло, боже мой! А что делали уполномоченные этого зверя

в Ирландии, в несчастной стране, давно порабощенной и бессильной?

— А что делали прежде ирландцы с нами?

— Они паписты!

— Пусть, пусть, но зачем же мстить их детям? Люди там тысячами гибли от голода и меча, потому что их убивали, как собак, и отбирали у них имущество. Корабли перевозили несчастных, взятых в плен, за моря, и продавали в рабство в Индии. Говорят, сорок тысяч ирландцев бежали во Францию и Испанию... Это ли счастье и свобода, которую тиран обещал нам когда-то, пугая призраком королевской власти?

— Правда, правда! Хорошо разделала Кромвеля Анна Стэгг!

— Он правил самовольно. Когда ему не понравился парламент, он его разогнал и принял титул Его Высочества Протектора. Скоро он сделается королем. Вы знаете, что парламент ему уже предложил корону. Граждане! Я спрашиваю: где свобода Англии? Кромвель боится заговоров; 160 солдатам он платит офицерское жалованье и держит их при своей особе в виде стражи... У Кромвеля всюду шпионы. Говорят, у него в Уайтгале несколько спален, и в каждой из них потайная дверь...

Она не закончила; толпа заволновалась:

— Кромвель! Кромвель!

— Лорд-протектор! — пронеслось в толпе.

Из переулка во весь дух мчалась карета, сворачивая на площадь. Анна Стэгг громко рассмеялась:

— Любуйтесь! Вот он мчится, как вихрь, окруженный конвоем; в карете у него стража... и верьте, он уже не вернется этой же дорогой назад; он боится, что его убьют.

— Молчи, молчи!

Толпа расступалась; многие кланялись и снимали шапки перед Кромвелем. Анна Стэгг обернула к нему искаженное бешенством лицо.

— Это ли герой ваш, лондонцы, — раздался ее голос среди наступившей тишины, — это ли герой, которого вы когда-то встречали пушечной пальбою и цветами? Лошади его несут вскачь! Он трус! Он трус!

Карета остановилась. Дверцы ее распахнулись, и на подножке показался Кромвель. Он был очень бледен, и из-под нахмуренных бровей его угрюмо сверкали темные глаза.

Анна Стэгт крикнула еще громче:

— Вот он, вот! Вышел! Смотрите! Пусть же слушает: он обманул народ, господа; он — лжец и клятвопреступник; недолго царствовать ему...

Кромвель твердым шагом направился к толпе. Болезненный страх, заставлявший его всюду видеть измену и заговор, оставил его в эту минуту; гордо подняв голову, он прошел среди расступившейся толпы прямо к Анне Стэгт.

— Кто это, граждане?

— Это — уравниатели...

— Это — копатели... ваше высочество...

Толпа отхлынула.

Перед Кромвелем на портике храма остались трое: Анна, Эдвард и Нелли. Протектор так был далек от мысли встретить их здесь, что в первую минуту не узнал.

— Почему вы не снимаете передо мною шляпы? — спросил он резко Эдварда.

Эдвард поднял на него большие ясные глаза и спокойно ответил:

— Потому что я — такой же человек, как вы.

Кромвель вспыхнул.

— А вы скоро забываете старых друзей, ваше высочество, — засмеялась Анна Стэгт.

Глаза Кромвеля широко раскрылись.

— Арестовать их и привести ко мне немедленно в Уайтгаль, — сказал он конвою после минуты молчания и направился к карете.

XXVI

КОРОНА

Когда Кромвель вошел в кабинет Уайтгалья, он увидел в кресле у окна свою дочь.

— Бетси, — сказал он взволнованно. — Зачем ты здесь одна, больная и слабая?

Глубокая нежность звучала в его голосе. Он привлек дочь к себе на грудь и вглядывался в ее прозрачное бледное лицо, полное глубокой печали. Житейская волна перекатилась над головою этого хрупкого существа, и с тех пор, как на горизонте появился Джон Клейполь, Кромвель не знал ни минуты покоя. Джон Клейполь, друг и приятель сына Оливера Кромвеля, Ричарда, сумел овладеть сердцем Бетси. Он был красив и страстно любил жизнь; Бетси не могла идти за ним в погоне за наслаждениями, и он пропадал целыми днями из дому.

— Ты опять одна Бетси?

Бетси вспыхнула.

— Одна... Муж не может всегда сидеть со мною... я так больна...

Она опустила в кресло и положила голову на подоконник. Из парка до нее доносилось пение птиц; ветер тихо шевелил ее волосы; луч солнца упал на ее бледное лицо, и это лицо с траурной каймою опущенных длинных ресниц казалось лицом беспомощного ребенка, которому не под силу жить.

Кромвель смотрел на Бетси с испугом. Таким оценением всегда начинались ее непонятные припадки, приводившие в недоумение лондонских врачей.

— Бетси, — прошептал он, поддерживая ее голову, — ты вся дрожишь... ты опять боишься...

Зачем она покинула свой уединенный дворец за городом, который он дал ей и ее мужу, лорду Клейполю?

— Бетси, дитя мое, успокойся...

Бетси открыла глаза, полные безумного ужаса. В лице ее не было ни кровинки.

— Отец... разве... разве ты не видишь?

— Что я должен видеть, дорогая?

Она протянула руку вперед.

— Там... там...

— Ты показываешь на портьеру, Бетси. По ней скользит солнечный луч... Что ты там видишь? Бархат? Бетси кивнула головой.

— Бархат... ну, да... бархат плаща...

Она продолжала напряженно вглядываться в угол и вдруг вся задрожала.

— Это — король, отец... Разве ты не видишь? Он стоит с гордо поднятой окровавленной головой... спрячь скорее меня от этого видения... я не могу... Льется кровь... Рядом с королем Ричард Арнелль... у него рана на груди, посмотри... И оба они требуют мщения, мщения! Боже мой!

Бетси металась, рвала на себе платье и прятала голову на груди Кромвеля.

— Видишь, приближаются? Спрячь меня от них... А! Они уже дотронулись до тебя, отец... на твоём рукаве я вижу кровь...

Бетси откинулась назад, крепко стиснув зубы. Когда Кромвель поднял ее, чтобы отнести на диван, она была в глубоком обмороке.

Очнувшись, больная взглянула в окно, и глаза ее широко раскрылись.

— Отец, — прошептала она, — что это там, во дворе? Да это Эдвард и Нелли... и вокруг стража... Откуда они? Что это значит?

У Бетси кружилась голова, но она собрала силы и приподнялась.

— Отец, зачем они здесь?

Шатаясь, добралась она до окна и громко крикнула:

— Эй, стража! Именем его высочества говорю вам: расходитесь; вы более не нужны. Нелли! Сэр Эдвард! Пусть вас проводят в кабинет лорда-протектора.

Эдвард и Нелли увидели ее и вспыхнули от радости. Стража молча расступилась. Анна Стэгт воспользовалась удобным моментом и исчезла под шумок. Через минуту Нелли и Эдвард стояли на пороге кабинета Кромвеля.

Бетси не могла подняться им навстречу: силы оставили ее. Она сидела в кресле, улыбаясь, и протягивала им руки. Нелли опустилась перед нею на колени, осыпая ее поцелуями. Бетси улыбалась и повторяла:

— Нелли... милая... как она загорела... какие грубые руки... Я слышала, вы с мужем сами обрабатываете зе-

млю... вернее, крошечный клочок земли... и на это живете...

— И как счастливо, и как счастливо, Бетси!

Кромвель молчал, отвернувшись.

— Отец, посмотри, — просто сказала Бетси, — ты верно не узнал Нелли? А вот и милый сэр Эдвард... Ну, до чего я им обоим рада!

Кромвель с натянутой улыбкой подошел к Нелли.

— Я не мог при толпе поступить иначе, — сказал он глухо.

Нелли молча поклонилась.

— Я не сержусь, и Эдвард тоже. Каждый идет своей дорогой.

Протектор с грустью смотрел на жалкую одежду Нелли и ее мужа.

— Дитя мое, — сказал он мягко, — видит бог, что у меня в душе ничего не было к вам с Эдвардом, кроме любви.

— Когда-то вы любили нас, — тихо отозвался Эдвард, — и мы вам очень благодарны за это.

Его голос показался Кромвелю чужим и холодным.

— Ты совсем больна, Бетси, — заговорила опять Нелли, — у тебя такие холодные руки; ты так бледна... так похудела... а под глазами синие круги...

— Это ничего, Нелли. Главное, чтобы было легко на сердце, а в последнее время и у меня, и у отца очень тяжело на душе...

Нелли внимательно заглянула ей в глаза. Наступило долгое молчание.

— У лорда-протектора много дел, и мы мешаем, — сказал Эдвард.

— Нет, нет... Разве они мешают тебе, отец!

— В самом деле, — заторопилась Нелли, — нам пора. Нужно засветло выйти из Лондона. Ведь мы пойдем пешком.

— Но почему вам не погостить у нас? — вмешалась Бетси.

— Я вам обоим всегда рад, — проговорил Кромвель дрогнувшим голосом.

Нелли обернулась на роскошную обстановку каби-

нета с обновленной дворцовой мебелью, посмотрела на ковер, в котором тонули ноги, и покачала головою:

— Нет, нет, я уже отвыкла от такой роскоши. Ведь около шести лет я ничего подобного не видела! Прощай, Бетси; да хранит тебя Господь. Я буду молиться за тебя. Прощайте, ваше высочество.

Эдвард молча поклонился. Кромвель взял Нелли за руку.

— Нельзя так строго судить, дитя, — сказал он грустно.

Нелли вздрогнула. На лице ее появилось выражение сострадания. Она подняла на Кромвеля голубые глаза и тихо сказала:

— Не нарушайте мой сердечный покой, который я постепенно, с таким трудом завоевала за эти годы. Прежде я молилась на вас. Бетси, прости, прости меня, но я должна сказать правду. Слушайте меня в последний раз, лорд-протектор. Около шести лет тому назад я на коленях молила вас помиловать Эльмера Повэя. Ужас охватывал меня при мысли, что мне никогда не удавалось спасти тех, кого я любила. Но вы были беспощадны. Я слышала, как расстреляли Эльмера. Меня вынесли оттуда без памяти, и бедный тюремщик лишился места, благодаря тому, что пустил меня в свою каморку.

Нелли помолчала.

— Старик Джон теперь живет у нас, как отец, — продолжала она. — Меня поддержал Эдвард. Я тогда простила вам смерть Эльмера. Вы были так высоки, и ваш гнев мне казался божьим гневом. Вы принесли моей родине благоденствие; вы отдали свое сердце Англии; разве среди этого великого героизма могло быть место для скорби и упреков ничтожной Нелли Фельтон?

Она перевела дух и продолжала:

— Выслушайте мою исповедь до конца. Я уже не могла быть около вас. Вы пошли чуждою нам дорогою. Свергнув иго короля, вы дали стране другое иго — иго Оливера Кромвеля. Какая нужда в том, что уже никто не трепещет перед короною короля Карла? Народ трепещет перед пышностью протектора, и трудящимся.

нет доступа к его дворцу, как не было к дворцу короля. А мы в простоте сердечной шли прямою дорогою и верили, что счастье страны возможно только тогда, когда бедняк-трудящийся будет в ней правителем, и ушли, чтобы создать иную жизнь, где не будет слово «твое» и «мое», где будет иметь право жить каждый, кто несет в мир труд. Там, среди тяжелого труда, мы будем крепнуть и верить, что придет время, и наши братья лавиной налетят на одряхлевшую страну и возродят ее для лучшей новой жизни, для царства трудящихся.

— Нелли! — прошептала Бетси. — Что ты говоришь?

— Вы среди нас чужой, — упрямо повторила Нелли, — я вижу это теперь, придя из глуши в Лондон, чтобы поведать здесь истину моей веры. Вы так изменились. Вы стали искать для себя земных благ. Вы теперь уже не друг солдат, а ваше высочество, лорд-протектор; скоро, говорят, вы будете королем Англии.

Кромвель посмотрел на Нелли усталым взглядом и глухо отвечал:

— Ты неправа. Ты не говорила так, когда в этих покоех гремела музыка и весь Лондон был у меня в Уайтгале на пышном банкете.

— Это было торжество родины! — вырвалось у Нелли.

— Ты права, это было торжество родины. А вдумалась ли ты в то, что делается теперь? В Уайтгале, правда, пышные покои, но клянусь тебе истинным богом, что я бы с радостью променял протекторский сан на пастушеский посох и ушел бы с тобою в твой Сюррей или вернулся к бедным болотам моего родного Гунтингдона, но я этого не могу... Я должен поддерживать родину, не дать ей дойти до последней степени беспорядка и стать добычей общего врага, а это будет так, если я уйду. Англия — лакомая добыча для многих. Ее раздирают на части. Разве пять лет тому назад негодяй Генри Вен не пожертвовал тысячами бедных английских солдат, чтобы свергнуть мою тиранию, как он выражался? Он должен был создать флот, преданный налоте общин, и заставить народ, благодаря успехам этого флота, забыть о победах армии Кромвеля. И потому

была затеяна ненужная война с Голландией... На костях и крови братьев сэра Генри Вен хотел тягаться со мною своим влиянием; на костях и крови братьев он решил построить свое благополучие! Могу ли я оставить бразды правления на сэра Вена и ему подобных?

Кромвель горько засмеялся...

На глазах у Бетси были слезы. Нелли низко опустила голову. Эдвард весь дрожал и порывался что-то сказать. Кромвель остановил его движением руки.

— Могу ли я оставить Англию на произвол судьбы? Слушайте меня, вы, так строго судящие о моей жизни! Мне нужна неограниченная власть. Англия истерзана войною. Необходимо исцелить ее раны, необходимо устроить ее. Для этого нужны железные руки. Быть может, я суров и беспощаден; быть может, я делал и сделаю еще много ошибок, ошибок, но не преступлений. Мне приходится идти между живыми и мертвыми: между отжившей монархией и новой свободной Англией. Но я рад был бы хоть сейчас сложить с себя тяжелое бремя правления с величайшей радостью.

Голос его дрожал.

— И какое счастье я вижу для себя от всей пышности и блеска; окружающих меня? Лорды бегут от выскочки Оливера Кромвеля, некогда небогатого гунтингдонского дворянина; рабы, уши которых привыкли к старинным громким именам английской знати, кричат: «Кромвель со своей новоиспеченной аристократией!» Выпущенный из тюрьмы после общей амнистии кавалеров Герберт, маркиз Уорчестерский, занял место в парламенте, но он избегает меня почти с брезгливостью; маркиз Уинчестерский отказался сидеть в палате лордов, сказав, что в ней довольно счастливых башмачников и извозчиков... Все старинные пары отворачиваются от меня с глубоким отвращением... У меня так много врагов и так мало друзей...

Голос Кромвеля звучал печально.

— И вы, такой смелый прежде, теперь стали бояться, — прошептала Нелли.

— Суди и за это. Вот я стою здесь перед вами всеми, как равный, открыв свое сердце; и боль, и глубокая тоска в нем, дети. Вы пошли по общей дороге: вы от-

вернулись от протектора Оливера Кромвеля. Но разве я сам выдумываю против себя заговоры? Разве жизнь моя уже несколько раз не подвергалась опасности? Подумайте, разве сегодня, если бы эта сумасшедшая Анна Стэгг еще несколько минут продолжала свои безумные выкрики, толпа не бросилась бы на меня, веря ей, что я, как Карл Стюарт, хочу задушить ради своего благополучия Англию?

Он расстегнул пуговицы на груди, и под камзолом что-то блеснуло.

— Кольчуга! — вскрикнул Эдвард. — Так это правда, что вы носите под одеждой кольчугу?

— Кольчуга, — спокойно повторил Кромвель. — Я очень берегу жизнь, но берегу ее только потому, что она необходима моей бедной Англии, и если я делаю что-нибудь не так, то от души прошу у нее прощения. Я призываю в свидетели бога, что вся моя жизнь была отдана ей без остатка. Но я — человек, и у меня есть слабости.

В голосе его звучала глубокая мука.

— Придет время, и я сойду со сцены.

Дрожа от рыданий, Бетси протянула руки к отцу.

— Не судите великого человека, — прошептала она, — его величие — в страдании...

Эдвард сделал решительный шаг к Кромвелю.

— Простите нас, — сказал он сердечно. — Мы были неправы, когда осудили вас. Мы многого не в силах были понять. Но все-таки и теперь мы не можем остаться с вами. У нас уже нет больше сил идти вашей дорогой. Мы другие люди...

— А что скажешь ты, Нелли?

Она подошла к протектору, и взгляд ее сделался мягким и доверчивым, как у ребенка.

— Простите, отец, — сказала она просто, как в былое время, и поцеловала у него руку. — Эдвард вам ответил за меня.

Кромвель поднял глаза.

— Благодарю Тебя, Господи, — сказал он радостно. — Дети, сердца наши в эту минуту открылись друг другу.

В глубоком молчании Эдвард и Нелли покинули Уайтгаль. Они покидали Лондон навсегда, уходя к тихим пашням Сюррея, где ждал их общий труд и иная правда.

Бетси осталась с отцом. Тяжелый вздох вырвался у нее из груди.

— Мы уже не встретимся с ними здесь никогда, — сказала она тихо, — но мы встретимся с ними, как и с Ричардом Арнеллем, дорогим братом моим, в другом мире; тогда мы пойдем друг друга и узнаем, что разными путями, ты, они и я, — все мы шли к одной цели. И цель эта — любовь к братьям.

Ее голос звучал вдохновенно, и Кромвелю стало страшно.

Тяжелое предчувствие сжало его сердце. Он понял ясно, что скоро Бетси покинет его.

— Бетси... — прошептал он в безотчетном ужасе, — Бетси...

Кромвель не закончил. Он не находил слов.

Бетси поднялась. Потoki золотого света лились в окно и ложились на полу мягкими бликами; в ярком свете майского дня лицо молодой женщины казалось вдохновенно-прекрасным. Глаза ее сияли.

— Отец, — прошептала она, — посмотри, какой свет! Посмотри, какой ослепительный блеск! Я бы хотела, чтобы солнце светило так же ярко и завтра.

— Что ты хочешь этим сказать, дорогая?

— Завтра страшный день, когда в Англии может навсегда померкнуть солнце и уступить место вечной тьме.

— Что ты этим хочешь сказать, Бетси?

— Завтра ты должен дать окончательный ответ: принимаешь ли ты корону Англии, предложенную тебе парламентом?

Кромвель взял со стола бумагу с парламентской печатью и прочел ее еще раз долго и внимательно.

— Вот уже месяц, как идут переговоры, — заговорила снова Бетси, — и вот уже месяц, как я не сплю ночи, и все думаю, думаю... Корона! Как страшно звучит это слово! Мое сердце леденеет, когда я думаю о ней... Я знаю, власть тебе необходима. Тебе не должны ме-

шать устроить счастье страны, за которую ты проливал кровь, которую ты спас, отец. Но жалкие людишки хотят надеть тебе на голову побрякушку, отец, чтобы связать тебя путами и сделать тебя ненавистным армии, потому что королевский титул ей ненавистен... А ты сам, отец, неужели захочешь, сорвав с головы Карла Стюарта корону, надеть ее на себя?

Кромвель молчал, сдвинув брови.

— Ты был велик, — продолжала Бетси. — Останься на той же высоте и теперь. Всю жизнь я была твоим другом; ты не требовал от меня только одного безграничного почтения дочери. Твое дело было моим делом, и я не могу поверить, чтобы теперь, достигнув вершины, ты бросился добровольно вниз. Нельзя делать то, против чего прежде боролся.

Бетси помолчала; легкая тень промелькнула у нее по лицу.

— Мне жить уже недолго, отец. Не вздрагивай так, я не хочу тебя обманывать. Вынеси и этот удар мужественно. Ах, если бы ты знал, какое счастье ты можешь дать мне, если, уходя из этого мира, я буду знать, что Оливер Кромвель продолжает свой трудный путь на земле, высоко подняв гордую голову.

Она шаталась. Силы изменяли ей. Смертельная тоска и ужас исказили ее черты.

Кромвель положил на стол акт об избрании его королем. Лицо его было строго и торжественно.

— Бетси, — медленно сказал он, — ты можешь быть спокойна... ты можешь быть счастлива... солнце завтра будет светить ярко: в Вестминстере узнают, что Оливер Кромвель никогда не наденет на себя корону Карла Стюарта.

СОДЕРЖАНИЕ

Ж. Оливье

ПОХОД ВИКИНГА

Часть первая	7
Часть вторая	53
Часть третья	108
Эпилог	152

А. Алтаев, Арт. Феличе

МЕЧ АЛИ-АТОРА

Звезда и полумесяц	157
В садах пророка	199
Крест	264
«Ни больше ни меньше»	303
В ВЕЛИКУЮ БУРЮ	341

Ж. ОЛИВЬЕ
ПОХОД ВИКИНГА

А. АЛТАЕВ, АРТ. ФЕЛИЧЕ
МЕЧ АЛИ-АТОРА
В ВЕЛИКУЮ БУРЮ

Редактор *Жуйков С. В.*
Худ. редактор *Расторгуев В. Ф.*
OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

«Походы викингов»

Сдано в набор 12.06.93. Подписано к печати 01.07.93.
Формат 84 × 108^{1/32}. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 28,51. Тираж 75 000 экз.
Заказ № 501. Цена договорная

Набрано и отпечатано в типографии издательства «Пресса».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

